

Л. В. Зубова

Современная русская поэзия
в контексте истории языка

Новое литературное обозрение

Москва

2000

Светлой памяти моего прекрасного мужа

Владимира Лазаревича Тискина

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	7
I. ВВЕДЕНИЕ	11
1. ФИЛОСОФИЯ И ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К ЯЗЫКУ	11
2. ОБРАЗЫ ЯЗЫКА (МИР КАК ТЕКСТ)	20
II. ФОНЕТИКА.....	42
1. ФОНЕТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ	42
2. ОТРАЖЕНИЕ ПРАСЛАВЯНСКИХ ПРОЦЕССОВ	45
а) Палатализации и влияние [∗j]	46
б) Восстановление согласного после упрощения групп согласных	53
в) Слоговые плавные согласные	57
3. НОСОВЫЕ ГЛАСНЫЕ.....	60
4. РЕДУЦИРОВАННЫЕ ГЛАСНЫЕ	63
5. ПЕРЕХОД [∗'é]→[∗'ó].....	82
III. ЭТИМОЛОГИЯ	95
1. ТАВТОЛОГИЯ.....	95
2. ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ СЛОВ В КОНТЕКСТЕ.....	99
3. ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ	107
4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ	109
5. ЭТИМОЛОГИЗИРУЮЩАЯ ОРФОГРАФИЯ.....	110
6. АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ	113
7. СИНТАКСИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ	116
8. ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ	119
а) Синонимы	120
б) Исторически однокоренные слова:.....	121
9. ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА.....	129
IV. ЛЕКСИКА	134
1. ЛЕКСИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ.....	134
а) Стилистика лексических архаизмов.	134
б) Расширение словарного состава и сочетаемости лексических архаизмов.....	137
в) Переосмысление лексических архаизмов.	151
2. СЕМАНТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ.....	178
3. ПОЛИСЕМИЯ, ОМОНИМИЯ	190
4. ЭНАНТИОСЕМИЯ	194
5. ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ.....	204
а) Десемантизация.	204
б) Расширение значения.....	213
в) Сужение значения	226
V. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ	230
1. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АРХАИЧЕСКОЙ ФОРМЫ К ИСХОДНОЙ СИСТЕМЕ	231
2. ОСОЗНАННОСТЬ ИЛИ ИНТУИТИВНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ	234
3. АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ	237

а) Состав грамматических архаизмов в склонении и спряжении	237
б) Смыслообразующая роль и стилистические функции архаизма	240
в) Дефразеологизация реликтовой формы	246
4. АГРАММАТИЗМ АРХАИЗМА	250
5. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СВОЙСТВ И ОТНОШЕНИЙ	288
а) Синкретизм частей речи	289
б) Атрибутивное и предикативное деепричастие	292
в) Перфективное причастие	294
г) Указательное местоимение-артикль	308
VI. КАТЕГОРИЯ РОДА	312
1. СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ	317
а) Противоречие между грамматическим родом референта и полом денотата	318
б) Конфликт между средним родом и одушевленностью	327
в) Противоречие между грамматическим родом и основным словообразовательным типом склонения. Слова общего рода	331
г) Отсутствие показателей рода у существительных на -ь	334
д) Несовпадение в роде гиперонима и гипонима	338
е) Противоречие между грамматическим родом прямого и переносного значения существительного	340
ж) Влияние цитатного подтекста на изменение в роде	342
2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ	345
а) Родовые варианты существительных	345
б) Изменение морфологического облика существительных	347
в) Родовая гиперкорреляция	356
3. ОМОНИМИЯ, ПОЛИСЕМИЯ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД	359
VII. СИНТАКСИС И СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ	364
1. ГРАНИЦЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЛОВСОЧЕТАНИЯ, СЛОВА	365
а) Нерасчлененный текст	365
б) Пересегментированный текст	374
в) Нелинейный текст	384
2. ПОРЯДОК СЛОВ	391
3. СИНТАКСИЧЕСКИ ОДНОРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ	401
4. КОМПРЕССИЯ	412
4. АРХАИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕКСТЕ	436
а) Согласованное определение-существительное	436
б) Двойной именительный падеж	443
в) Относительное прилагательное в синтаксической структуре	446
г) Оборот «дательный самостоятельный»	455
д) Оборот типа «встав и рече»	459
е) Изоморфизм приставки и предлога	462
ж) Отрицание	464
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	479
Источники художественных текстов	498
Литература	509
Именной указатель современных авторов стихов	522

Грамматикъ долженъ быть добродушнымъ и жалостливымъ, особливо къ стихотворцамъ <...> НРть, у нас не каменные сердца, нРть! Грамматикъ чувствительной и даже справедливой, съ обыкновенною искренностию скажетъ им: <...> Пишите какъ вамъ угодно – какъ вамъ угодно, друзья мои...

(Карамзин, 1920: 144–145)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное искусство, и в частности поэзия 60–90-х годов XX в., наследует от предшествующих эпох две противоположные тенденции. Одна из них направлена на познание логики бытия, стремится к реалистическому отражению действительности, укреплению языковых норм, предполагает воспитательную функцию произведения. Другая тенденция связана с установкой на эксперимент, критическим отношением к языковой норме и отказом от дидактической функции. В таком случае внимание авторов и читателей привлечено к неупорядоченности мира, парадоксу, изменчивости сущностей и свойств, алогизму и нестабильности самого языка как отражения нашего сознания.¹

В этой книге речь пойдет о языковых свойствах русской поэзии преимущественно последних трех десятилетий, ориентированной на активные языковые поиски и языковые преобразования. Круг исследуемых авторов представлен такими, например, именами, как Г. Сапгир, Г. Айги, Вс. Некрасов, В. Сонора, И. Бродский, Л. Лосев, М. Еремин, Д. Бобышев, О. Охупкин, В. Кривулин, Е. Шварц, С. Стратановский, А. Миронов, А. Шельвах, В. Гандельсман, В. Казаков, Д. А. Пригов, Т. Кибиров, В. Строчков, А. Левин, С. Бирюков, Ю. Ким и др. – всего около трехсот авторов. Тексты многих из этих поэтов, написанные в 60–80-х годах, начали печататься у нас только в 90-е годы. Отсутствие в этой книге имен и текстов многих хороших и знаменитых поэтов, напри-

мер А. Тарковского, Д. Самойлова, Ю. Левитанского, И. Лиснянской, Б. Окуджавы, объясняется исключительно тем специфическим ракурсом, при котором в сферу внимания попадают тексты с какой-либо деформацией языковых элементов. Вместе с тем, за пределами этой книги оказались и многие современные поэты-авангардисты, настолько резко деформирующие язык, что их произведения оказываются приближенными к другим сферам искусства (например, к живописи, графике, музыке) и в большой степени утрачивают свойства собственно текста.

При отборе, организации и анализе поэтических текстов в центр внимания ставится не картина мира поэта, не его место в литературе, не авторская стилистика, а собственно язык в динамическом аспекте.

Выбор материала и его анализ не ограничиваются литературными направлениями, не имеют отношения к какой-либо оценке творчества поэтов и их конкретных текстов. Предпосылка анализа основана на доверии поэту как орудию языка. Вся совокупность анализируемых текстов рассматривается как один текст нашего времени.

Исследование языка современной поэзии не может претендовать на полноту ни по охвату опубликованных текстов, ни по исчерпанности языковых явлений.

В главах и разделах книги анализ сосредоточен вокруг названной лингвистической темы и не предполагает полного анализа стихотворений.

Интертекстуальные связи текстов невозможно ни обойти молчанием, ни учесть полностью. Степень их проявленности в стихах и доступности источников различна: нередки взаимные цитаты в пределах одного поэтического кружка, намеки на неопубликованные тексты. В ряде случаев ссылки на интертекст даются, но задача последовательного учета явных и скрытых цитат не ставится.

Нет оснований считать, что рассматриваемые явления уникальны в языке поэзии или свойственны только последним трем десятилетиям. Многие из анализируемых языковых черт проявляются в разговорной речи, диалектах, жаргоне, актуальном игровом фольклоре, однако в условиях стихотворного текста они нередко приобретают внутритекстовую психологическую, философскую и

¹ Конечно, между указанными противоположностями существует и множество переходных яв-

собственно языковую мотивировку, а также предоставляют возможность, а нередко и необходимость неоднозначной интерпретации. Многое из того, что имеется в современной поэзии, возникало и отрабатывалось в различных литературных направлениях Серебряного века, в модернизме. Однако – подобно тому как слово, не меняя звучания, может значительно менять свое место в языковой системе и свой смысл – художественный прием часто имеет другую природу и другие функции в новой парадигме мировосприятия. Кроме того, явления, уникальные в начале XX в., становятся массовыми к его концу, что указывает на чуткость экспериментальной поэзии к тенденциям языковой динамики.

Исторический комментарий, кроме особо оговоренных случаев, приводится в соответствии с изложением курса исторической грамматики в основных учебниках для филологических факультетов (Соколова, 1961; Иванов, 1964; Горшкова, Хабургаев, 1997).

Степень осознанности, с которой поэты воспроизводят исторические формы и языковые процессы, не обсуждается. Она может быть совершенно различной – от случайных совпадений до поставленной задачи. При анализе текстов внимание обращено не на намерения, а на результат. Бывает, что текст по своей глубине превосходит намерения автора, когда активизируется не эрудиция, не логика, а интуиция. Термин *архетип* употребляется в литературоведении для обозначения глубинных образов, входящих в «коллективное бессознательное», но его вполне можно было бы применить и к фактам языка: часто наши языковые игры или ошибки воплощают в себе отголоски неизвестной нам архаики в фонетике, грамматике, лексике (см., напр.: Бицилли, 1996: 172). Кроме того, они могут указывать на альтернативные возможности развития слов и форм и становиться сигналами будущих свойств языка.

Надеюсь, что эта книга поможет филологам и поэтам приблизиться к пониманию друг друга.

Благодарю всех, кто помогал ориентироваться в круге чтения, особенно Д. Кузьмина, А. Шельваха, В. Кривулина, И. Кукулина, а также тех, кто полностью или частично прочитал рукопись книги и помог уточнить некоторые формулировки – А. Е. Барзаха, М. Н. Берга, А. В. Бондарко, С. В. Вяткину,

А. Д. Еськову, Н. Н. Казанского, В. Б. Кривулина, О. Б. Кушлину, Е. В. Маркасову, А. Б. Пеньковского, Ю. Б. Смирнова, Д. А. Суховой, слушателей спецкурса в Санкт-Петербургском и Тартуском университетах, коллег, заинтересованно обсуждавших лингвистические проблемы, учеников, уточнявших и дополнявших анализ текстов.

Особая благодарность – моему мужу В. Л. Тискину, с которым обсуждались многие идеи этой книги и который всегда проявлял исключительное внимание к ее содержанию.

I. ВВЕДЕНИЕ

А я, как некий маниак,
Ищу всему словесный знак.
(Бонифаций, 1997: 698)²

1. Философия и эстетика современной поэзии в ее отношении к языку

Литературоведы и лингвисты так определяют основные тенденции развития литературы XX в. в отличие от XIX (выделю то, что наиболее значимо для данной темы): если в XVIII–XIX вв. поэзия была стилевой, дедуктивной, жанровой (слово в произведении воплощало смысл, сформированный в предшествующих авторитетных текстах), то поэзия XX в., особенно после символизма, становится индуктивной (значение слова порождается данным контекстом (Гинзбург, 1982: 16–42), в XX в. внимание перенесено с социальных вопросов на экзистенциальные (Лосев, 1986: 189), с результата познания на его процесс (Ковтунова, 1993: 9). М. Л. Гаспаров говорит о том, что в поэзии XX в. появился новый троп – антиэмфаза – расширение и размывание значения слов; «из-за этой опоры на новый троп, на антиэмфазу, от традиционной к современной поэтике меняется само соотношение между обычным языком и поэтическим языком. Там поэтический язык лишь продолжал обычный язык, надстраиваясь над ним добавочным слоем выразительных средств – здесь поэтический язык противопоставляется обычному, вторгаясь в него иной структурой выразительных средств. <...> В обычном языке слово моносемизируется контекстом –

² Все цитаты из современной поэзии приводятся с воспроизведением орфографии и пунктуации источников, указанных в скобках.

в поэтическом предложении и целый контекст полисемизируется эстетической изоляцией» (Гаспаров, 1986:191).

Понятно, что если значение слова формируется каждый раз заново³, если для автора динамика изменения важнее результата, если сам процесс формирования языкового значения получает экзистенциальный смысл и контекст не сужает, а расширяет границы лексических и грамматических значений, то внимание к языку, к пределам его возможностей становится ориентированным не на норму, а на изменение. Иногда это связывают с особенностями конца века, когда все процессы ускоряются, «приобретают интровертивный ход, но при этом, парадоксальным образом, эта интровертивная система обращена вовне <...> художественное произведение <...> является моделью мира, <...> при которой обязательно существование различных языковых слоев, описывающих мир как систему слоистую» (Хрусталева, 1993: 201–203).

Наиболее явственно все это оказалось представленным в постмодернизме. Это не одно из литературных направлений, а умонастроение и стиль нашего времени в совокупности направлений и индивидуальных систем. Приблизительно его начало – вторая половина 50-х – 60-е годы⁴. Термин *постмодернизм* в современной критике имеет несколько толкований: а) сопоставительное – искусство, язык которого сформировался после модернизма (авангарда). Имеется в виду как наследование, так и противопоставление; б) футурологическое – искусство на языке будущего – то есть того, которое наступит после современности⁵; в) эсхатологическое – искусство, которое отражает состояние после конца света, когда настоящего времени как реальности уже не будет.

Основные принципы постмодернизма – агностицизм, признание изменчивости и случайности всех сущностей, процессуальности бытия, философский, этический и эстетический плюрализм, не признающий иерархию сущностей, отказ от дидактической функции текста, эклектика и двойное или множественное кодирование, предоставляющее разные возможности понимания для разных субъектов восприятия, устранение авторского «я», интертекстуальность, смешение

³ Необходимо иметь в виду, что травестийная интертекстуальность слова в современных текстах, разрушая жанровую стабильность, все же формирует значение слова с учетом его смыслов, закреплённых в стилевой поэзии и в поэзии авангарда.

⁴ О разных точках зрения на время возникновения постмодернизма и на историю термина см.: Ильин, 1996: 205; Керимов, 1996: 372, 374; Маньковская, 1997: 349.

ние стилей, иронический модус высказывания, установка на эпатаж. Философские основания постмодернизма формулируются в работах следующих авторов: Ж. Деррида, М. Хайдеггер, Й. Хёйзинга, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко (см. обобщающие работы: Рыбников, Чукин, 1992: 87–88; Курицын, 1992, 1995; Ильин, 1996; 1998; Эпштейн, 1996; Керимов, 1996; Липовецкий, 1997; Маньковская, 1997, 2000).

Сравнивая понимание термина в применении к западному и русскому искусству, Б. Гройс пишет: «...западный по своему происхождению термин "постмодернизм" используется в современной русской критике по вполне определенной аналогии: освобождение от эстетической диктатуры модернизма и переход к программному культурному плюрализму, произошедшие в 60–70-х годах на Западе, приравниваются здесь к постепенному освобождению от норм официального социалистического реализма, наступившему в России в 70–80-х годах» (Гройс, 1995: 44). Вместе с тем, если западный постмодернизм переносит в пространство высокой культуры элементы низкой, массовой, китча, то соцреализм в основном и был ориентирован на массовую культуру, поэтому наиболее ярко выраженные направления русского постмодернизма – соцарт, концептуализм начали с доведения до абсурда клишированных приемов соцреализма.

Лингвистике Ф. де Соссюра, стремившегося увидеть систему в многообразии явлений, установить единый код описания в отвлечении от индивидуальности денотатов, исходившего из постулата о подчинении речи языку, оказалась противопоставленной теория Ж. Деррида, в соответствии с которой язык мыслится подчиненным речи, и на первый план оказались выдвинутыми денотаты во всем их неупорядоченном разнообразии (см.: Кнабе, 1995: 270).

Важно, что мир и язык перестали рассматриваться как система оппозиций. Устраняются оппозиции между конкретным и абстрактным, живым и неживым, субъектом и объектом, сакральным и профанным, высоким и низким, прошлым, настоящим и будущим, временем и пространством, культурой и природой, реальностью и вымыслом, искусством и не искусством. Язык неканонической поэзии заявляет о неизбежной и предпочитаемой маргинальности поэта, при этом он стремится и «нырнуть в стихию, вернуться к языковой плазме» (Ха-

⁵ Анализ этого наиболее принятого толкования см. в статье: Эпштейн, 1996.

занов, 1991: 238), и сохранить традиционные ценности, противопоставляя их ценностям официальной культуры (см. также.: Берг, 1991: 300; Линецкий, 1993: 241). Внимание авторов и читателей стали привлекать переходные состояния, трансформации, процессы становления и исчезновения.

Поэзия постмодернизма часто выходит за рамки этики, привычной эстетики, нормативной грамматики, что ограничивает круг ее читателей. Иногда стихи кажутся неумелыми или неряшливыми. Конечно, бывают и плохие стихи. Но примитивизм может становиться и культивируемой эстетикой, отражающей философию авторов. Так, анализируя поэзию концептуализма, М. Н. Эпштейн пишет: «Именно этот разрыв между идеей и вещью, между знаком и реальностью и воссоздается – но уже вполне сознательно, как стилевой принцип – в произведениях концептуализма. Питательной почвой для него становится окостенение языка, порождающего некие идеологические химеры. Концептуализм – это мастерская по изготовлению чучел, идейно-фигуративных схем, на которые наскоро наброшена неряшливая, дерюжная языковая ткань <...>. При этом складывается своеобразная эстетика (или, если угодно, антиэстетика) косноязычия» (Эпштейн, 1988: 152–153). Но даже в случае действительно плохих стихов оценка требует осторожности и хорошего знания культурного контекста (см., напр., статью А. К. Жолковского «Графоманство как прием» (Жолковский, 1994: 54–68). Исходя из презумпции доверия поэту, надо иметь в виду, что любимым может быть только знакомое, легко воспринимаемым – то, что содержит минимум новой информации или вовсе не содержит ее: «Путь поэта – путь к растущему одиночеству: публика движению предпочитает остановку, обновлению – привычку, а словесным открытиям – клише» (Эткинд, 1980: 38).

В большинстве случаев, даже когда сюжет, образы, лексика могут шокировать, это все же не падение морали, не безграмотность, не безответственность (см.: Коркия, 1987 – «Собрание обвинений»). Это поэзия нашего времени, нашего мироощущения – во всем его многообразии, и, при доминирующей установке на языковую игру и антиповедение, поэзия серьезная.

При кажущейся, а иногда и провозглашаемой авторами асоциальности весьма точными представляются такие формулировки:

«Если народ и язык неразделимы, то движение к нервным узлам языка в то же время оказывается движением к наиболее важному, корневому средото-

чию общественной жизни, движением к подлинному бытию общества» (Степанов, 1990: 217); «Изменилось представление **искусства и языка** – в ту же сторону, что **жизнь**: в сторону освобождения от утилитаризма и орудийности, в сторону самоценности. Следствие этого – возвращение форме ее активного творящего характера, и, тем самым, пресловутая "сложность" и "непонятность" новой лирики» (Седакова, 1990: 261).

Важнейшим конструктивным элементом постмодернистского текста является ирония и самоирония, языковая игра. Или, для некоторых направлений поэзии, – балансирование между иронией и пафосом (Кривулин, 1993: 80). Постмодернизм, наследующий скептицизм XVIII в., двоемирие символизма, предметность акмеизма, аналитичность футуризма, абсурдизм обэриутов, перемешал все стили, пропустил их через призму иронии. Ирония – мощная сила, спасающая человеческое достоинство и внутреннюю свободу в условиях несвободы, – дала литературному произведению выход в еще более глубокую традицию: в культуру смехового мира. Это имеет прямое отношение не только к психологии, идеологии, культуре, но и к языковой динамике.

«О п а с н о с т ь делает серьезным. Ее минование разрешается смехом. Необходимость серьезна – свобода смеется. <...> Серьезность практична и в широком смысле слова корыстна. Серьезность задерживает, стабилизирует, она обращена к готовому, завершенному в его упорстве и самосохранении. <...> Сатирический момент вносит в любой жанр корректив современной действительности, живой актуальности, политической и идеологической злободневности. Сатирический элемент, обычно неразрывно связанный с пародированием и трагестированием, очищает жанр от омертвевшей условности <...>. Такую же обновляющую роль играла сатира и в истории литературных языков: она освежала эти языки за счет бытового разноречия, она осмеивала устаревшие языковые и стилистические формы» (Бахтин, 1996: 10–13). Обновление неизбежно имеет две стороны: это прежде всего разрушение, которое, конечно же, лишает комфорта, пугает, потом созидание, которое вызывает сомнение в целесообразности. Эта двойственность динамических процессов заставляет любого человека быть к ним равнодушным, воспринимать динамику эмоционально.

О созидательной роли смеха Д. С. Лихачев писал: «Психологически смех снимает с человека обязанность вести себя по существующим в данном обще-

стве нормам – хотя бы на время. Смех дает человеку ощущение своей "сторонности", <...> снимает психологические травмы <...>, восстанавливает нарушенные в другой сфере контакты между людьми» (Лихачев, 1984: 3).

Всем направлениям постмодернизма свойственна тотальная цитатность вплоть до центонности. И это проявляется не только в структуре текстов⁶, но и в рефлексии поэтов по этому поводу:

Я слегка себя этим уродую
Но зато сливаюсь с природою.

И на разного рода мелодии
из груди моей льются пародии.
Но клянусь, что не я их творец.

То во мне пробудился скворец.
(Уфлянд, 1997: 44)

Что-то чужую я струнку пощипываю,
что-то чужое несу.
Ах, подражание! Вы не припомните,
это откуда, с кого?
А отражение дерева в омуте –
тоже, считай, воровство?
(Лосев, 1996: 12)

Прямая речь упрятана в кавычки,
что выдаёт отсутствие привычки
к речам прямым. От первого лица
она исходит перегретым паром,
она сипит и щёлкает катаром,
и этой пытке не видать конца.
(Строчков, 1994: 173)

Границы между своим и чужим сдвигаются, перераспределяются, а иногда и устраняются – вплоть до отказа от авторской индивидуальности, что было свойственно средневековой культуре. Цитатны и тексты Библии, и произведе-

ния классической литературы. Одни и те же сюжеты, образы, строки постоянно переходили из одного текста в другой. Изучение интертекстуальных связей – одна из центральных тем современного литературоведения. В постмодернизме цитата чаще всего пародийна, но высмеивается не предшествующий автор, не источник цитаты (постмодернизм никого не пытается «бросить с парохода современности»⁷, он присваивает всё, но и всё пропускает через современное мироощущение). Цитата преимущественно не сатирична, а травестийна: «"новая поэзия" как правило не посягает на художественный мир творческой индивидуальности, а обращается к своеобразному исследованию того, как те или иные высказывания, вырванные из целого цитаты начинают жить своей жизнью в массовом сознании, утрачивают свою первоначальную глубину и художественную оригинальность и становятся по существу пустой фразой, ненужной "красивостью", которой оснащена речь персонажа, никогда не знавшего первоначального целого» (Малышева, 1996: 42). Девальвация цитаты становится совершенно очевидной, когда ей придается другой, чем в источнике, смысл:

пахнет хрящами, мясом, больницей,
дымом спаленных трущоб...

Есть еще порох в пороховницах!⁸

Господи, сколько еще!

(Голь, 1995: 13)

Прелестная дева смотрела в окно,

как будто со мною хотела одно, –

а я –

совсем другое...

(Эрль, 1989: Оп. 430)

Это явление тоже находит себе полное соответствие в средневековой пародии: «Смех направлен не на других, а на себя и на ситуацию, создающуюся внутри самого произведения» (Лихачев, 1984: 11). Средневековой пародии на

⁶ Нет необходимости приводить здесь примеры: таковы многие тексты, анализируемые далее.

⁷ Формулировка из манифеста футуристов (Бурлюк и др., 1913: 3).

⁸ Здесь и далее выделение фрагментов текста полужирным шрифтом, в редких случаях дополнительным подчеркиванием, мое – Л. З.

сакральные тексты (гимны, проповеди, молитвы, жития, евангельские изречения) и пр. – в наших условиях во многом соответствуют пародии на патриотические песни, лозунги, высказывания классиков – на все источники так называемых «крылатых слов». Нагота, физиологические отправления, пьянство – архетипические знаки обнажения правды дурачеством. Многочисленные языковые деформации находят соответствие в древнем балагурстве, элементе антиповедения, представляющего собой код бытия в перевернутом мире. «Балагурство разрушает значение слов и коверкает их внешнюю форму. Балагур вскрывает нелепость в строении слов, дает неверную этимологию или неуместно подчеркивает этимологическое значение слова, связывает слова, внешне похожие по звучанию, и т.д.» (указ. соч: 21).

Типологическая общность смеха в постмодернизме и средневековой культуре состоит и в том, что непонимание, брань слушателей, а нередко и побивание балагура или юродивого камнями – важный элемент ритуала. Современный автор тоже организует спектакль, в котором запрограммировано негодование читателя или слушателя:

О князьки и актриски земного театра,
мы последняя ваша любовь!
Вседержители слов, мы отныне у вас отнимаем
весь словарный запас,
чтобы вы не сказали: мы всё понимаем
и значит, что спрашивать с нас.

(Щербина, 1991: 46)

И я испытал этот искус –
писать не понятно
ни себе, ни другим, пусть они
истолкуют превратно
стиховое пространство,
пусть вложат свое – тут как раз
кстати лавры и тернии в доску
талантливой жертвы,
обещающей обществу
«Нетрудовые резервы»
радость избранности и полета

над косностью масс, –

вот условия игры...

(Крыжановский, 1991: 199)

Общим явлением для всех направлений постмодернизма стала полисти-
листика – не только как смешение литературных стилей, но и как стилистиче-
ская контрастность текста. Контраст выступает либо как отражение дисгармо-
нии, либо, напротив, как ценностное уравнивание всего сущего, как средство
устранить оппозицию между высоким и низким:

Медузу между персей не ложи

(Кузьминский, 1995-а: 10)

– **Стащи**, – сказали, – **злато**.

Стащила у родни.

(Рябинов, 1994: 253)

Ланита небрита, сердце пробито.

Не хрен ли с ним, не хрен ли со всем?

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 11)

Типологическим свойством постмодернизма является и панхронизм как
устранение границ между настоящим, прошлым и будущим, ощущение себя во
всех временах:

Разлезься, ткань стиха! Разлейся ранью

Доисторической – безвременьем окрест!

(Охапкин, 1989: 125)

Поэзия же напротив вся в будущее устремлена

Хоть в прошлом черпает она силы для продлевающегося сна

(Волохонский, 1994: 49)

Смешение времен и стилей приводит к видоизмененному возрождению
целого ряда жанров: элегии, эклоги, дружеского послания, подражания псалму,

молитве и т.д. (см.: Малышева, 1996) – понимается, с теми коннотациями слова, которые сформированы этими жанрами.

2. Образы языка (мир как текст)

Из инструмента описания мира язык становится объектом описания. Язык понимается поэтом не только как средство общения, но и как форма существования субъекта, и, более того, как его сущность. Поэт же мыслится орудием языка (Винокур, 1948: 68; Бродский, 1992: 15; Топоров, 1986: 208 – 209). Наиболее близкая идея лингвистики – идея о том, что сознание формируется языком (см.: Потебня, 1993: 131, 164), а также гипотеза Сепира – Уорфа (см.: Уорф, 1960). Эта идея находит отражение непосредственно в темах стихов:

Язык взамен – дарит подчиненных
по-королевски щедро, например:
Толстой подарен сложноподчиненной
конструкцией, Высоцкий – звуком «р».
(Киперман, 1994: 213)

Действенность слова мыслится не как метафора, а как вполне реальное свойство этого слова:

потянулся к лампе, чтобы глагол «зажечь»
промелькнул в уме и осветил тетрадь,
и открыл тетрадь, чтобы возникла речь,
и сказал «Господи», чтобы Он мог начать.
(Гандельсман, 1995-а: 42)

Декларируется полное отождествление референта с денотатом (знака с предметом) – как в древнейшем мифологическом мышлении:

вечер – это не время, а слово:
оттого оно так и светло.
воздух будущей полночью сломан,
словно звонким лучистым углом.

и в воздушно-прозрачном увечьи
загорается небо-окно:
время – это не слово, а вечер,
оттого оно так и темно.

(Казаков, 1995: 158)

Я взял бумагу и перо,
Нарисовал уютюг.
Порвал листок, швырнул в ведро –
В ведре раздался стук.

(Григорьев О.)

Б е л ь в е д е р с к и й
Я ненавижу Чистякова –
От буквы «Ч» до буквы «В».
Покатый лоб да взгляд слепого,
Присущий рыбе и сове.

(Зельченко, 1991: 39)

Любопытно отметить, что если детям пяти-шести лет свойственно на вопрос о слове отвечать имея в виду предмет, этим словом обозначенный (см.: Леонтьев, 1965: 210–211), то в современной поэзии наблюдается противоположное явление: предмет вытесняется из сознания словом.

Метафора же может быть основана не только на значении, но и на свойствах материальной оболочки слова – звучании или начертании. Так, например, в следующем контексте слово *март* осмыслено как звукоподражательное и соотносено с мурлыканьем через прямое отождествление фонетики слова с его фразеологическими коннотациями (*мартовские коты*):

Вот комната. Вот в ней **мурлычет март.**
Вот время после пятого урока.

(Гандельсман, 1995-б: 15)

Метафоризация фонетического облика слова способна не только создать образ, но и выразить идею:

По-русски **Исаак теряет звук.**
 Ни тень его, ни дух (стрела в излете)
 не ропщут против буквы вместо двух
 в пустых устах (в его последней плоти).
 (Бродский, 1992-I: 268)

Вся поэма Бродского «Исаак и Авраам» представляет собой трансформацию этой метафоры в символ. (См. анализ поэмы: Крепс, 1984: 158–177).

Язык в его письменной форме чаще, чем в устной, становится основой художественного образа⁹, что, вероятно, связано с понятием о сакральности текста, преодолевающего время. Мир предстает книгой или любым другим носителем текста:

А вот показалась большая большая
 Корова корова звезда между рог
Она наклонилась теленку читая
Зеленую книгу. Зеленый лужок.
 (Денисенко, 1997: 556)

Больной старик приходит. Пьет поллитры
Котята спят комками на полу
Они как перепутанные титры
 К бегущему по берегу селу.
 (Денисенко, 1997: 556)

Сквозь **предложения домов,**
 мимо **кавычек перекрестков,**
 не слушая **Невы прямую речь,**
не парочка – а двоеточье:
 (Мельников, 1993: 67)

В языковой факт превращается даже последовательность букв на клавиатуре пишущей машинки или компьютера. Эта последовательность волей поэта образует слова, обозначающие неких фантастических персонажей:

⁹ См. также материал в статье: Калакуцкая, 1995.

Свети, **ячсмить**, свети.

Лети **фыва**, лети.

Катись, **проджэ**, катись.

Гори, **йцукенг**, гори.

<...>

Беги, мой **йцукенг**, беги.

Беги вдогонку словам.

<...>

Вращайся, мой **проджэ**, сильней.

Вращайся вокруг себя.

<...>

Лети, мой **ячсмить**, как грач. Стекла мои глаза.

(Воронежский, 1998: 114)

Способ произнесения текста тоже образует метафору:

Два стула у стола, развернутые спинкой,

Задвинутая в стул сутулая спина,

Неловко **по слогам** стекала на ботинки

Навязчивая сладость дешевого вина.

<...>

Неловко **по слогам** кончалась вечеринка,

От липкого стола пол-литра до окна,

Сутулая спина, изогнутая спинка,

Дешевое вино стекало по ботинкам.

(Литвак, 1997: 683–684)

Сознание фиксируется на художественном и философском осмыслении орфографических правил, формы букв, знаков препинания¹⁰:

О неизбежность «ы» в правописание «жизни»!

(Бродский, 1992-II: 385)

и улица вдалеке сужается в букву «У»

(Бродский, 1992-II: 412)¹¹

¹⁰ О глубоких традициях текстообразующей метафоры «мир – книга» см. работы: Панченко, Смирнов, 1971; Панченко, 1973; Смирнов, 1979.

**Ночи без мягких знаков,
Глухие мужские ночи.**
Как хочется быть,
Как хочется быть
Хоть кем-нибудь, кроме себя!
(Арбенин, 1997: 61)

**В бачке очковая змея
Лежит, свернувшись буквой «я»**
(Крепс 1992: 17)

Река Вечности. По ней
**плывут дырочки ноздрей,
встав, как двоеточие.**
(Вознесенский, 1990: 120)

Безоблачно и море лосо.
Ты ж, как песок, желтоволоса.
Как Швеция, когда ее
разглядывает датский берег
в бинокль (в третьем лице) истерик
моих. **В две точки над «ё».**
(Кутик, 1993: 58)

Буквальный портрет совершенства

**Грудь, как у Ф,
Талия, как у Х,
Линия бедер, как у О.**
А?!!
(Коваль, 1999: 100)

М-М-М-М-М-М – кирпичный скалозуб
над деснами под цвет мясного фарша
<...>
М-М-М-М-М-М – кремлевская стена,
морока и московское мычанье

¹¹ Вообще у Бродского эта сторона образной системы разработана наиболее полно. Анализ таких фактов стал темой специальных работ: Пярли, 1996; Ахапкин, 1998.

(Лосев, 1985: 16)

В последнем тексте хорошо видна множественная мотивация образа буквы. «М» – это не только зубчатые очертания кремлевской стены, но и первая буква в слове *Москва*, и обозначение мычания. Стихотворение опубликовано в сборнике 1985 г., тогда финансовой пирамиды «МММ» еще не было.

Образное представление языковых фактов и отношений имеет, как пишут в рецензиях на диссертации, несомненную теоретическую и практическую значимость. В следующем тексте речь идет преимущественно о звуках и буквах, отсутствующих в неславянских языках и наиболее трудных при обучении русскому как иностранному:

Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.

Воздуху! – как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, – и вот ты уже в роще,
в жуткой чашобе ц, ч, ш, щ.

Встретишь в берлоге единовеца,
не разберешь – человек или зверь.
**«Е-ё-ю-я», – изъясняется сердце,
а вырывается: «ъ, ы, ь».**

Видно, монахи не так разрезали
азбуку: за буквами тянется тень.
**И отражается в озере-езере,
осенью-есенью,
олень-елень.**

(Лосев, 1985: 70)

В этом стихотворении можно видеть прежде всего ответ В. Маяковскому, который писал: *Громоздите за звуком звук вы / и вперед, / поя и свища. / Есть еще хорошие буквы: / Эр, / Ша, / Ща* (Маяковский, 1956-II: 14).

Отметим сильные аллитерации – инструментовку на [к] в первой строфе, на [ч], [щ] во второй. Обратим внимание на то, что [ц], [ч], [щ] – это не чистые звуки (*нечисть* /!/), а звуки сложной артикуляции (в лингвистической терминологии [ц], [ч] – аффрикаты). Во второй строфе можно видеть идеальный методический материал по практической фонетике (*как объяснить им попроще* /!/), а в строчках *И отражается в озере-езере, / осенью-есенью, / олень-елень* – по истории языка и стилистике. Строка «*Е-ё-ю-я, – изъясняется сердце*», напоминает известный эпизод общения Левина и Кити из романа Л. Н. Толстого «*Анна Каренина*» – понимание сложных фраз по начальным буквам слов (Толстой, 1952: 421–422). Вместе с тем, вспомним рассуждения Лосева в «*Звукоподражании*» о том, что согласные – материя, гласные – душа. В стихотворении именно гласными *изъясняется сердце*. Строка *а вырывается: «ъ, ы, ь»* предполагает рифменное и ритмически обусловленное прочтение полных названий букв «ер, еры, ерь» и – одновременно –, осознание того, что Ъ и Ь вообще не обозначают звуков, то есть произнесены быть не могут. Однако тщетная попытка их произнесения все же запрограммирована автором: читатель должен выбрать, что прочесть: звуки или алфавитные названия букв. Звук [ы] похож на нечленораздельное мычание, а в фонологии вопрос о том, является ли этот звук представителем самостоятельной смысловоразличительной фонемы, является спорным (см.: Буладин, 1970: 78–80).

Лингвистический термин включается в поэтический контекст¹². Поскольку для поэта все языковые свойства и отношения – его внутренний и сакральный мир, отношение к собственно языковым реалиям оказывается чувственным и трепетным:

Невнятно **гласные** бормочем
И множим тем грехи свои,
Но мне явился светлый ангел

¹² Ср.: *Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой груди, / Ты поворачиваешь страницы книги той, / Чей почерк – росчерки пера морей. / Чернилами служили люди, / Расстрел царя был знаком восклицанья, / Победа войск служила запятой, / А толпы – многоточия <...> / И третины столетий – скобкой* (Хлебников В., 1986: 467); *Воин слова, по ночам / петь пора твоим мечам! // На бессильные фигурки существительных / кидаются лошади прилагательных, / косматые всадники / преследуют конницу глаголов, / и снаряды междометий / реутся над головами как сигнальные ракеты. // Битва слов! Значений бой! / В башне Синтаксис – разбой!* (Заболоцкий, 1994: 360–361).

Трехликий кроткий АОИ.
 Ведь **гласная** – почти на небе,
 Пропел и нет ее – лови,
Согласные же в плоть вонзились,
 Ножом заржавленным дрожат.
 Трепещет Б, прилипши пяткой,
 К земле, за нею В – как в лихорадке,
 Мычит ли Эм губой отвисшей,
 А Тэ недвижно как забор.
 ОИАУ – из воздуха цветов,
 Из ничего – летит веревка к небу,
Согласные плотнятся речи хлебом,
 А вы для языка – родник, вино, исток.
 Весь алфавит в теней сплетенье
 Предстал сияющей войной,
 Но **гласных** ясное томленье
 За локти вверх зовет – домой.

(Шварц, 1996: 95)

И в то время как он, быть может,
 Отправляется в край несчастий
 Из великой любви к свободе
 Для всемирной борьбы со злом, –
Я, покорный слуга глагола,
Я, поклонник деепричастий,
 Остаюсь со своим неверным
 Поэтическим ремеслом...

(Щербаков, 1990-б: 97)

Пусть мне изменят эпитет, предлог и союз,
 Пусть их другие согреют, укутают чем-нибудь нежным...
 Пальцы шершавы. К перу прикоснуться боюсь –
 Как наступить в темноте на пищащий подснежник.
 Лучше уж молча, чем в рифму про наши дела:
 Что происходит и что непременно случится...
 ...**Жалко частицу**, что в парусном платье плыла,
 Вся – на пуантах... **Особенно жалко частицу**...

(Бешенковская, 1992: 33)

И вполне естественно, что термин превращается в поэтический троп, предмет олицетворения, сравнения, метафоры:

Ветрено. Сыро, темно. И ветрено.
 Полночь швыряет листву и ветви на
 кровлю. Можно сказать уверенно:
 здесь и скончаю я дни, **теряя**
волосы, зубы, глаголы, суффиксы,
 черпая кепкой, что шлемом суздальским,
 из океана волну, чтоб сузился,
 хрупая рыбу, пускай сырая.

(Бродский, 1992-II: 292)

то ли я устал от всякого языка
 то ли все языки от меня устали
я теряю глаголы входя в обстоятельства
времени
места
цели

за свободу молчать благодарен статье ук

(Бунимович, 1999: 163)

Глаголы что-то делают,
Наречия знают как,
Существительные как-то существуют,
 Находя для этого **предлоги**
 И вступая в **союзы**.
Прилагательные прилаживаются к ним.
Числительные любят знаменательные даты.
Междометия путаются под ногами.
 И все это причащается и **деепричащается**
 К Слову,
 Всевышним **Сказуемому**,
Подлежащему исполнению
 в 24 часа каждых суток,
 по изначальному **Определению**
 со всевозможными **Дополнениями**
 при любых **Обстоятельствах**.
 Вот о чем речь.

(Моротская, 1993: 36)

Повилика, прильнувшая к стеблю,
 Бледный витень, чье тело длиной с его жизнь –
 Дериват ли от *vita*? **Гаплогия**
Композиты из *vita* и тень?

Гаплогия – гапология¹³

(Еремин, 1991: 80)

Владеть устами – навык или дар,
 Когда **молчание билабиальной речи?** – Окольцовывать
 (*Orbicularis oris.*) или отвергать.
 А гений, ставший на крыло,
 (Лазоревые кроющие перья, маховые –
 Пребелые.) не висает ли,
 Быв удостоен невесомым «Ах!» меж алых семядолей,
 Их разомкнувшим?

(Еремин, 1996: 5)

Ну, улыбнись, теперь и ты – в отрыве
 Ты сцеплен с пустотой наверняка.
 Перед тобою – **тьма в инфинитиве**,
 где стерегут нас мускулы песка.

(Парщиков, 1996: 28)

Мы станем добродетельны
 Мы станем тихонравны
 Мы станем безусловно
родительны и дательны
 Смирительно-Ивановны
 Улыбчиво-Петровны

Не то чтобы **творительны**
 но в общем-то **предложны**
 Простительно-Борисовны

¹³ Примеч. М. Еремина. Обратим внимание на то, что сокращение термина *гаплогия* на один слог как раз и осуществляет тот процесс слогового наложения, который обозначен термином:

и Глебовны прилежны

(Искренко, 1998: 109)

Мораль? Ах, да, мораль. Да ведь она,
как и **грамматика**, отсутствует в природе.

(Лосев, 1987: 60)

Вижу, старый да малый, пастухи костерок разжигают,
существительный хворост с одного возжигают **глагола**,
и томит мое сердце и взгляд разжижает,
оползая с холмов, горбуновая тень Горчакова.

(Лосев, 1985: 80)

В последнем из приведенных текстов («Открытие из Новой Англии.

1. *Иосифу*») совершенно очевидна отсылка к строке Бродского из поэмы «Горбунов и Горчаков»: *О как из существительных глаголет* (Бродский, 1992-II: 233), но, может быть, менее заметно, что в текст включено название ленинградского журнала «Костер», в котором работал Лосев и где состоялась первая публикация стихов юного Бродского. Цитированный фрагмент содержит также название стихотворения Бродского «Холмы», а там есть и *пастухи*, и строка *Холмы – это наша юность* (Бродский, 1992-II: 233). Конечно, нельзя не заметить в тексте Лосева и многозначность слова *глагол*: это и термин грамматики, и семантический архаизм со значением 'слово' (и в конкретном, и в обобщенном смысле). «Костерок» оказывается ответом на призыв Пушкина *Глаголом жги сердца людей* («Пророк»).

Характерны названия сборников, актуализирующие двойной смысл слов: терминологический и обиходный: «Часть речи» – Бродский, «Прямая речь» – Кушнер, «Обращение» – Кривулин, «Неправильные глаголы» – Яснов, «Глаголы несовершенного времени» – Строчков, «Наречия и обстоятельства» – Строчков и др.

В стихотворных текстах упоминаются имена знаменитых лингвистов:

Трапеции черепицы спят на загравках лечебниц

ср.: *знаменосец* ← *знаменоносец*, *розоватый* ← *розововатый*, *лермонтовед* ← *лермонтововед*. Тот же процесс отражен и словом *витень* (от глагола *вить*): *витень* ← *витатень*.

и усыпальниц наук смирительных и закрепощенных.
 Не достать ни дланью, ни палочкой-выручалочкой сонной
 из кладовок университета Фрейда или **Потебню**.

(Голышко-Вольфсон, 1994-а: 15)

и сотрясаясь в пароксизме страсти,
 как будто бы с крутого бодуна
 тойсть Годунова, то есть **Бодуэна**,
де Куртенэ, такого же лингвиста,
 как сам Сосо, тойсть этот, Оба Кэба,
 то есть Стахалин, в смысле Эль Ессей,
 стяжатель славы, кратныя в боях
 подле Каялы с Калкой, то есть кайлом.

(Строчков, 1994: 311)

Над полусферой метеопогодных
 свистит дыра в седьмом небесном диске,
 откуда триста лет тому негодных
 слетел в Россию в клёкоте и писке
 гордыни кристаллический птенец
 (он в третьем томе **Фасмера** – синец).

(Кальпиди, 1995: 44)

Сказал? Открой словарь **Зализняка**,
 где всё, как оспой, рифмой перерыто,
 бери подряд, и пусть наверняка
 всё белыми всё нитками всё шито.

А. А. Зализняк – автор «Грамматического (обратного) словаря русского языка», который я активно пользую в своей «войне» с рифмой.¹⁴

(Кальпиди, 1995: 57, 64)

«Глокая куздра», изобретенная Л. В. Щербой для демонстрации грамматического значения в отвлечении от лексического (фраза *Глокая куздра итеко будланула бокра и курдячит бокренка* – см.: Моисеев, 1982; Якобсон, 1985:

¹⁴ Примечание В. Кальпиди.

60)¹⁵, стала персонажем, вошедшим в литературу и ставшим символом смысла в бессмыслице:

брань на вороту не виснет

вздрагивают ноздри

глокая куздра прогуливается

семантически

в это же время

вдоль канала Грибоедова

делает попытку преодолеть пространство

Иосиф, напоминающий Осипа

<...>

хватит и капли Безмолвия

в это же время

В. Т. Шаламов уже бестелесный

идет по Москве среди осколков

речи или чиер ичер ечир чери

чеир

глокая куздра уже будланула

Безмолвие лишено слуха

слепые Питера Брейгеля бредут

под бодрые марши

<...>

Безмолвие состоит из возгласов

кудренком ощутил себя

надвигалась **Глокая Куздра**

(Бирюков, 1995: 121–124)¹⁶

¹⁵ Р. О. Якобсон обратил внимание на то, что идея экспериментального отрыва звучания от лексического значения существовала и до «глокой куздры» Л. В. Щербы, в частности, у Рудольфа Карнапа (Якобсон, 1990).

¹⁶ См. также в главе «Фонетика» (с. 000).

Исторические изменения в языке, реформы графики и орфографии переживаются как значимые события истории. Ъ («ер»), Р («ять») воспринимаются как репрессированные буквы. В современной поэзии четко обозначена метафора *твердый знак – последняя твердыня*:

Где тишина и звон собак,
шепотка соли на кулак
со щек в Рождественском тумане.
Да льдинка стойкая в стакане,
как в слове ПУШКИНЪ **твердый знак**.

(Казарин, 1996: 77)¹⁷

Буква Р изображается то как униженная, то как героическая:

голова клюет в тазу носом
как кувыркнувшаяся Ять

(Парщиков, 1995: 74)

А ять засажена по рукоять
на сажень в жирный культурный слой.
Косая сажень не может стоять...
Вот девушка и весло.

(Строчков, 1994: 250)

Между нами
– пространство
и время,
и пять силуэтов,
и казенная буква
по имени, кажется, «Ять»,
и дешевый кураж
опаленных талантом поэтов,
но на трезвую голову
это умом не понять.

(Коркия, 1988: 85)

Струились женщины, горели зеркала,

и воздух весь заполнен был смычками,
и букву ять богиня родила,
 тяжелую и влажную, как камень.

(Лаптев, 1994: 25)

Заученные наизусть школьные списки исключений из орфографических правил, особенно рифмующиеся, фразеологизируются и становятся частью культурного текста, входя в сознание как стихи: *терпеть, вертеть, зависеть...*; *время, семя, стремя...*¹⁸ :

Без малейшего притягивания конца – собственное полноправное участие

В уничтожении... самого себя? Как?.. Стоящего на ногах, теплого,
 Готового **бежать, дышать, смотреть, вертеть...** Боже!

Не готового только **зависеть, ненавидеть, терпеть...** Сердце

замирало и екало...

И значит, не было выхода – никакого, нигде, никуда и туда – тоже!

(Ушакова, 1991: 33–34)

Не чувствовать, как мерзну и немею,
 И как держусь на скользком полуслове
не слышать, не дышать, не ненавидеть,
не видеть, не смотреть и не терпеть,
 не думать, что рука твоя ослабнет,
 что ты устанешь и меня отпустишь,
 что греть меня однажды перестанешь,
 и отведешь глаза и отойдешь.

(Моротская, 1999: 62)

Бог есть! Как Бархударов - корень,
 Бог есть! твержу, что твой Крючков:
 Бог есть! **что, либо,нибудь, кое,**
 Бог есть! значение основ,
 Бог есть! состав инфинитива,
 Бог есть! **ва, ова, ива, ыва,**
 Бог есть! **уж, замуж, невтерпеж.**

¹⁷ Другие примеры см. в главе «Фонетика» (с. 000).

(Лосев, 1996: 31)

волнуется мудрое **темя**
 качается потное **вымя**
 иное нагрянуло **время**
 иное написано **имя**

(Эрль, 1995: 14)

Горит на небе пыльный знак
 Предшествующий **времени**
 И плачет неземной казак
 У порванного **знамени**
 И точит голубой резак
 Среди живого **пламени**
 И гной течет ему в глаза
 Из проткнутого **вымени**
 Матери-Отчизны

(Пригов, 1998: 146)

Действенным способом выразить значение неопределенности становится внесение в контекст вариантов слова. Наличие вариантов – проявление неупорядоченности нормы, поэтому варианты представляют собой резерв для моделирования поэтом хаоса. Следующие примеры демонстрируют ситуацию языкового беспорядка:

Белый, белый, белый день,
 Ты пальто свое надень, –
 как: **надень или одень** –
 Мне задумываться лень.

(Шпаликов, 1998: 130)

глянет ворон в зазеркалье ветхих вежд
 что там? **радонеж радбнеж радонéж?**

в героической кровавой полутьме
 ударенья препинания одне

ах податься бы куда-нибудь домой

да сковал меня покров языковой

(Миронов, 1993: 75)

А мерзкий истукан, болван вечновонючий,
 венерин фаворит, ублюдок посеядонов,
 сей подвиг совершив, натешившись девицей
 и в жертву принеся бычка на всякий случай,
 за бочку критского – подумайте, подонок! –
 за девушку всучил девицу **Дионíсу** –
или Диобнису? И не всучíл, а всúчил?

...Да кто их разберёт, тех древних греков!

(Строчков, 1994: 209)

Поэма из одних концов.

Как в эротическом кошмаре,

где стулья на одно лицо,

как пропуск на трибуну в мае.

Ну ладно бы – к о н е ц н е д е л и ,

иль – на худой конец – дождя;

а то прождав (или – прожда?...

(или – прождав?) ...), – на самом деле

я все равно забыл о чем

хотел сказать. Переучет.

(Митюшëв, 1997: 685)

Такой перебор вариантов имеет широкое распространение не только в литературе, но и в практической речи. В. Г. Костомаров видит в этом и карнавальное языковое поведение («пренебрежение нормой нетрудно увидеть, например, в распространении забавной моды употреблять варианты колеблющихся форм, как бы подчеркивая свое нежелание разбираться как правильно, а как ошибочно» – Костомаров, 1999: 11), и «вполне законный индикатор времени шатких норм, сосуществования вариантов или их исторической смены» (там же).

Необходимо иметь в виду, что наличием вариантов отмечены самые динамичные участки языковой системы. «В любом языке заложен внутренний стимул к спонтанному развитию. Основой его является наличие внутренних проти-

воречий в самой природе языка как определенным образом организованной субстанции, обладающей коммуникативными функциями. Характер внутренних противоречий во всех случаях отражает несовершенство отдельных уровней языка, ущербность ее организационной системы. Эти несовершенства, не нарушая заметным образом общего равновесия языка как коммуникативно-приспособленного механизма, являются первопричиной динамических изменений, происходящих в нем при определенных условиях. К их числу относится, в первую очередь, феномен вариативности структурных элементов языка и их реализаций, наблюдаемых на всех ярусах, затем ущербность парадигм и систем оппозиций, образуемых ими и др.» (Туманян, 1999: 88).

Обычно конкуренция вариантов приводит либо к вытеснению одного из них, либо к формированию стилистических значений, либо к семантической дифференциации. Беспорядок превращается в порядок, хаос предстает разнообразием возможностей. Приведем несколько примеров семантизации вариантов, имевшей место в истории языка. Это закрепление разных значений за полногласием и неполногласием – *сторона* и *страна*, акцентными вариантами – *за́мок* и *замо́к*, вариантами, отразившими чередование е // о – *крестный* и *крёстный*, чередованиями гласных с нулем звука – *сбор* и *собор*, *воскресение* и *воскресенье*, родовыми вариантами – *опор* и *опора*, падежными – *листы* (бумаги) и *листья* (на деревьях).

Помимо фиксации беспорядка поэзия занята осмыслением стилистики и семантики вариантов, выбор слова становится в тексте сюжетом или предметом изображения:

– Умри за клоч земли, пусть он загажен, выжжен! –
плотина-Мать на осетра орет.

Он – оземь из воды. А было: люд – на гибель
во имя имени... Или – **имен? Имян?**
Навороти любые глыбы, –
все в прорву унесет река **времен (времен)**...

(Бобышев, 1992-а: 103).

Здесь архаизированные варианты слова (псевдоархаизмы¹⁹) моделируют описание брэнного как вечного, обозначают повышение ситуации в ранге – ее символизацию. *Река времен* – цитата из предсмертного стихотворения Державина²⁰. У Державина слово *река* – метафора, у Бобышева – символ, в который преобразуется реальная река, перегороженная плотиной.

Бывшие варианты формируют антитезу:

Поэту лучше быть **невеждой**,
 Чем **невежей**.
 Во-первых,
 У **невежды** взгляд на вещи свежий;
 А во-вторых,
 Нередко могут в рыло дать **невеже**.

С **невеждой** так бывает много реже!
 (Заходер, 1997: 174)

В мире, дыбом поднятом
 надо всем святым,
 хочется быть **пóнятым**,
 а не **понятым**.
 (Голь, 1994: 30)

Противопоставление вариантов может быть основано и на социальной дифференциации носителей языка:

Бывало,
 Попробуй скажи
 «**Алфавít**» –
 Тебе
 Сейчас же

¹⁹ Исторически первичная форма *времен* фонетически закономерно трансформировалась в современную *времён*. Вариант *времен*, возникший по аналогии с именительным падежом *время* (ср.: *семя – семян*), в языке не сохранился; таким образом, архаизмом оказалась не исходная форма. В классической литературе вариант *времен* встречается, например, у Пушкина в «Евгении Онегине» он характеризует именно прежние времена: *Но эта важная забава / Достойна старых обезьян / Хваленых дедовских времен* (Пушкин, 1969-V: 99–100).

²⁰ *Река времен в своем стремленьи / Уносит все дела людей / И топит в пропасти забвенья / Народы, царства и царей* (Державин, 1957: 360).

Поставят на вид.
 А нынче
 Того,
 Кто скажет «Алфáвит»,
 Любой грамотей
 С насмешкой
 Поправит.

(Заходер, 1997: 135)

Т. Кибиров пародирует известный текст В. Высоцкого «Мы говорим не штормы, а шторма...»:

Мы говорим не дІскурс, а дискúрс!
 И фраера, не знающие фени,
 трепещут и тушуются мгновенно,
 и глохнет самый наглый балагур!

(Кибиров, 1998: 19)

Но, пожалуй, чаще всего можно обнаружить воплощение потенциальной семантической дифференциации, особенно фонетических и акцентологических вариантов:

дубравы мирной сень, **дубровы** шум широкий

(Кибиров, 1997: 6)

Мне бы вспомнились озера,
 Сестры – Ладога, Онега,
 Те синонимы простора,
 Где **ни берега, ни брега.**

(Крестинский, 1993: 34)

Утром – господи – **ветер!** Нет – **ветр** и метель!

(Буковская, 1991: 22)

Я выгляжу **не стáро,**
а – старó,
 как анекдот. Как новая реприза.

(Вишневский, 1992: 254)

не находить ни слéда, ни следá.

(Аронзон, 1995: 231)

Встречается также расподобление словообразовательных и морфологических вариантов:

Когда был **младше** я, я был **моложе**...

(Вишневский, 1992: 225)

Ах, в **старом фильме** (в **старой фильме**)

в окопе бреется солдат.

(Лосев, 1985: 98)

Слово женского рода *фильма* имеет тенденцию к восстановлению в современном языке (90-х годов): так обычно и называют самые ранние произведения кинематографа, особенно немые, с их особым стилем²¹. Слово приобретает новую номинативную функцию.

Все это говорит о том, что поэты занимаются исследованием языка профессионально – и в смысле полной отдачи этому делу, и в смысле высокого уровня осознания языковых процессов.

Можно сказать, что они не только интуитивные, но и практические лингвисты.

Поэтому современные тексты становятся серьезным источником изучения истории языка, а история языка помогает во многом понять эти тексты, которые и возникают из внутренних потребностей самого языка.

²¹ Ср. мнение Г. Адамовича, высказанное в 1925 г.: «Затем, не лучше ли говорить "фильма", чем "фильм" в мужском роде, как это повелось в последнее время? Русский язык привык к словам на "льма", "тьма" и т. д. женского рода. Окончание же "льм" ему чуждо. Кроме того, "фильма" в женском роде удобнее, потому что и другие обозначения того же понятия таковы: лента, картина. В разговорном языке эти слова употребляются так же часто, как и "фильма", и к мужскому роду надо вновь приучать сознание» (цит. по статье: Янгиров, 1997: 447).

II. ФОНЕТИКА

Я говорю: ах, минута! –
 т.е. я говорю: М, Н, Т –
 скомканно, скрученно, гнуто
 там, в тесноте, в темноте,
 в мокрых, натруженных, красных
 мышцах (поди перечисль!)
 бульканьем, скрипом согласных
 обозначается мысль.

(Лосев, 1991: 88)

1. Фонетические архаизмы

В современных стихах нередко встречаются фонетические архаизмы двух типов: 1) слова, произношение которых изменилось в XIX–XX вв., 2) фонетические старославянизмы и русизмы, известные по древним текстам и давно вышедшие из употребления.

К первому типу можно отнести такие примеры из современной поэзии, как *аглицкого, в альбуме, воксала, гексаметр, иамбическим, кафелическая, клоба, латынским, маскарад, революционных, скрыпят, шкапа, крафины*. Они обычно восприняты из классической литературы и являются средством стилизации, рисуя образ аристократа, интеллигента прошлых поколений, отстаивающего свои ценности и не вписывающегося в современную жизнь:

В Достоевском Павловске когда-то,

с окунем карась,
на скамье шептались воровато
злой купец и князь.

<...>

Не стемнев как следует, светало.
Рысаков и кляч
не видать на трассе от **воксала**
до шале и дач.

(Кублановский, 1994: 80)

А то, прослыть рискуя снобом,
Влезаеть важно в шарабан
С гербами **аглицкого клоба**
И катишь важно, как чурбан.

(Соколов, 1990: 37)

На пегоньком Пегасике верхом
как сладко **намбическим** стихом
скакать, потом на землю соскочить,
с поклоном свиток Государыне вручить.

(Лосев, 1985: 84)

Старушечьи руки, и рюмочка из хрусталя, и несколько капель пустырника, и опасенье, что жизнь оборвется вот-вот, но еще, веселя, по капле дается, и вкусно сосетя печенье. И крылышки моли из **шкапа** летят, нафталя.

(Гандельсман, 1998-б: 8)

значит и вправду зима
если достают ремизова
из глубины **вишневого шкапа**

и по комнатам распространяется запах
ножниц смоченных в уксусе,
кишева ниток цветных

(Кривулин, 1998: 50)

Фонетические архаизмы, восходящие к древности, в современной поэзии представлены преимущественно церковнославянизмами, известными по биб-

лейским текстам: *живый, простой, святой, хромый, шестый, змий, мечет, ночь, пѣщи, свеща, пийте, прииду, придет, примет, юрод, юродом, юродуя*. Но встречаются и русизмы: *зарожаемь, по нуже, лóдья, настоячий*. Последние можно воспринимать и как диалектизмы.

Библейское происхождение старославянизмов всячески подчеркивается, акцентируется контекстом, иногда прямо или косвенно цитирующим Священное Писание. Так, в следующем фрагменте из поэмы К. Кедрова «Допотопное Евангелие» перефразируются слова Иисуса Христа: *сие есть Кровь Моя* (Мф., 26 28), *пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную* (Ио., 6 54–55)²²:

Во имя Хама и Сима
 Во имя отца и сына
Пийте сия есть кровь
 моя
 в горле сия есть кровь
 в крове сия есть горль
 в корме мяса есть Гор –
 островерхий Египта бог

(Кедров, 1990: 40)

Эмоция архаической формы усиливается и передается читателю в аллитерации:

Зябки библейские кущи
 И огнедышащи **пещи**.
 Хрупки столетние мощи,
 Немощи символ и мощи.

(Крестинский, 1993: 23)

Контекстуальное столкновение архаической и современной огласовки создает резкий контраст, подчеркивает десимволизацию слова и стоящего за ним образа:

О юность! как твой опыт узок.

²² Цитаты из Библии сопровождаются указаниями на текст, принятыми в изданиях Библии.

Уж не вернуть любвей и музык,
 заезжен диск,
 зеленый **змиЙ** бумажным **змеем**
 стал, да и мы уж не сумеем
 напиться вдрызг.

(Лосев, 1987: 105)

Интересно помещение старославянизма в контекст строки, противоположной по стилистике. Так, в песне учителей Цифиркина и Кутейкина из стилизованной пьесы Ю. Кима по мотивам комедии Фонвизина «Недоросль» вариант формы *приимет* вполне характеризует персонажей, однако обратим внимание на антитезу *Что не примет через голову, / То приимет через зад*:

У кого есть глупо дитяtko,
 Неразумное, хоть брось,
 Вы пойдите нас найдите-тко:
 Вразумим его авось.
 Чай, вдолбим науку олуху,
 Да родные пособят.
 Что не **примет** через голову,
 То **приимет** через зад.

(Ким, 1990-а: 38)

Строка *То приимет через зад* может обозначать и порку, и долгое сидение за уроками. Форма *приимет* в данном случае явно относится к более серьезному и действенному (и наиболее традиционному) методу обучения из двух сравниваемых – то есть церковнославянизм рядом с вульгаризмом не утрачивает, а, напротив, проявляет присущее ему свойство авторитетного слова.

Помимо прямого употребления фонетических архаизмов в современной поэзии можно видеть и воспроизведение не готовых форм, а процессов, что рассматривается в следующих разделах главы.

2. Отражение праславянских процессов

а) Палатализации и влияние [*j]²³

В современном русском языке имеются многочисленные исторические чередования согласных *г // ж // з* (*друг – дружить – друзья*), *к // ч // ц* (*пророк – изречение – прорицатель*), *х // ш* (*сухой – сушить*), *д // ж // жд* (*ход – хожу – хождение*), *т // ч // ц* (*свет – свеча – освещать*), *з // ж* (*сказать – скажу*), *с // ш* (*красить – крашу*) и др. Такие чередования в большинстве случаев объясняются законами праславянской (общеславянской) фонетики, действовавшими в основном со II тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э. и частично до XI в. н. э. – тенденцией к открытому слогу, то есть слогу, кончающемуся гласным (или слогообразующим согласным) звуком, и тенденцией к сингармонизму в слоге, то есть смягчением согласных перед гласными переднего ряда [e], [и], [ь], [ѣ] (P), [ę] (T)²⁴. При 1-й палатализации происходило изменение заднеязычных согласных [г], [к], [х] в [ж], [ш], [ч], а при 2-й и 3-й палатализациях – изменение тех же согласных в [з’], [с’], [ц]. Звуки [ж], [ш], [ч], [ц] в праславянском и древнерусском языках, в отличие от современного русского литературного, были мягкими. Происходило также приспособление артикуляции – полное слияние согласных [г], [к], [х], [д], [т], [з], [с] с [*j] (йотом), сопровождавшееся качественным изменением исходных звуков (сам йот при этом не сохранялся).

Результатом 1-й палатализации стало появление шипящих, например, в словах *вражда, ручка, страшный*, в которых после [г], [к], [х] находился гласный [ь]. В современном языке результаты этого изменения представлены регулярно, а результаты 2-й палатализации на стыке основы и окончания – например, в формах *врази* (‘враги’), *в руке* (‘в руке’), *в страхе* (‘в страхе’) – не сохранились. После смягчения [г], [к], [х] произошла реставрация исходных согласных под влиянием тех форм, в которых [г], [к], [х] не изменялись. Но в некоторых фразеологических сочетаниях и наречиях встречаются формы с реликтовыми свистящими на месте [г], [к], [х]: *притча во языцех, темна вода во облацех*,

²³ Звук [*j] приблизительно соответствует начальному звуку в современных словах *яма, юг*. Знак * указывает на факты, не зафиксированные в памятниках письменности и реконструированные сравнительно-историческим языкознанием.

²⁴ Звук [ѣ] (обозначавшийся буквой P) – узкий долгий или дифтонгический гласный, близкий к современному [e], [ие]; звук [ę] (обозначавшийся буквой T) – носовой [e], близкий к польскому и французскому носовому [e].

все в руце Божией, вкратце. В некоторых славянских языках 2-я палатализация дала устойчивый результат (ср. подчинение новых заимствований общей закономерности в украинском языке: *в универмазі, на дискотеці*). 3-я палатализация – изменение [г], [к], [х] после гласных переднего ряда – осуществлялась нерегулярно, но ее результаты сохранились в языке, в ряде случаев создавая варианты морфем (ср.: *подвизаться, зеркало, сотрясать* и *подвигаться, зеркало, отряхать*).

В стихах современных авторов результаты 2-й палатализации представлены иногда как элементы высокого стиля, восходящего к церковнославянским текстам (первый из следующих примеров), но чаще в ироническом употреблении (остальные примеры):

...по разумеющему небу
всплывает выросшее солнце.
Деревья совершают требу
В остепенности **высоцей**.
(Каменкович, 1996: 54)

Лучше в **дырце** посмотри:
на **мостырце** – пупыри,
красные,
лиловые,
девятиголовые
(Сапгир, 1995: 30)

Что ты сыне бродишь **руце – в брюце**
не глядишь ни долу ни жене
ни горам что возвышаются одне
за окном на предрассветном блюдце
(Искренко, 1998: 259)

Чадце мы что **червяцы** под лупой
извиваемся причудливо вельми
как орехи прищемленные дверьми
тщимся о блаженстве кротости великой
(Искренко, 1998: 259)

С другой стороны, может происходить реставрация исходного согласного с устранением результатов 2-й палатализации. Это обнаруживается в тех случаях, когда 2-я палатализация осуществлялась не в конце, а в начале корня – в этой позиции ее результаты закрепились в русском языке и оказались не связанными с чередованиями. В стихах находим древнюю огласовку корня:

Тополь молит за всю Украину.
 А ведь прав был по-своему и Мазепа,
 И Матрена, кстати, его любила:
 Ой-ты **квечочек** мой рожаненький!
 Мелитополь, как жаркая дверца топки,
 За которой угольная бездна юга,
 Где роятся москиты и бродят мавры.
 (Шварц, 1995: 19)

Это выпорхнул, выпорхнул вверх в небосклон Орион.

И, вбиты весело-светло,
 как **гвозди** в польское седло,
 на узкой перевязи вряд
 три ярких **гвездочки** блестят.
 (Бобышев, 1992-а: 67)

В обоих случаях явно влияние родственных славянских языков – украинского и польского, обозначенное и лексически – *Мелитополь*, *польское седло*.

Во втором тексте хорошо видна множественная мотивация слова *гвездочки* 'звездочки'. С одной стороны, оно мотивировано русским словом *гвоздь* (уподобление звезд гвоздям, вбитым в небо, поддерживается созвучием). С другой стороны, слово *гвездочки* представлено как уменьшительная форма от польского *gwiazda* (в западославянских языках в отличие от восточно- и южнославянских звук [в] препятствовал 2-й палатализации). В некоторых говорах русского языка такое тоже возможно, и текст показывает контаминацию польской огласовки корня и русского суффикса. В таком контексте и сочетание *польское седло*, вполне литературное и стилистически нейтральное, предстает квазиполонизмом, так как содержит сочетание звуков [дл] (восточнославянские языки отразили устранение звука *d в группе *dl).

Непоследовательность, с которой происходила 3-я палатализация, представлена со- и противопоставлением квазиомонимов:

Трамвайноликий юноша,
зачем вы здесь тоскуете
в саратовской глуши?
Трамвайнолицый юноша,
развеемся, станцуемте,
покуда хороши.

(Покровская, 1993: 67)

...зерцало меркло, зеркало мерцало.
Иная волость, с волос толщиной,
нас отражала, словно отрицала
в нас глубину и некий толк иной
нам придавала в третьем измереньи,
какой-то нежелательный уклон,
учтённый отражения углом,
или – что то же – нашего паденья.
Как пали мы!..

(Строчков, 1994: 10)

В современной поэзии встречаются такие ситуации, когда исторические чередования, связанные с влиянием йота или палатализацией, распространяются и на те слова, в которых эти процессы не отражены литературным языком.

Изобразительные возможности исторических чередований весьма разнообразны. Приведенный ниже пример показывает чередование, отразившее альтернативное присоединение [*j] в личной форме глагола не к гласному основы, а к согласному корня:

О, море, море,
маремёйское море,
О, как ты **глбчешь**,
божем№.
карамб́ря, –
– Привет, моллюски:
привет, креветки, –

этическом тексте возникает то, что можно было бы назвать псевдочередованиями:

но поскольку на выход поведут без вещей, рукой,
от вещей, равно как от иллюзий, свободной,
 можно взмахнуть на прощанье.
Этот жест, исходящий от **вещи**, обретающей **вечный** покой,
будет, в сущности, **завещаньем**
тем вещам, что ещё остаются. И жест этот тем хорош,
что один и останется, когда ты,
 вещь,
 умрёшь.
 (Строчков, 1994: 369];

Собачьими **брёхами** шла тишина,
одну за другой затыкая их **бреши**,
и эта походка была тяжела
и делалась всё и слышнее, и реже.
 (Строчков, 1994: 190)

Он **сочится по сотам** кварталов
 котярой, глаза – светлячки.
Его гонят в тычки
за его на губах быстротечную млечность
 (Скородумова, 1993: 59)

В некоторых случаях автор предусматривает возможность соотнесения формы с разными производящими основами. Так, Д. Кузьмин сам указал автору этой книги на то, что причастие *загаженной* образовано им и от слова *газ*, и от слова *гадить*:

Где выстрела прямой Ружейный недоулок,
Где глазу долог взгляд – как воздух горлу узок,
Но выдох твой синей и тоньше детской вёнки
В тумане голубом **загаженной** Смоленки, –
 (Кузьмин, рукопись)

Возможности системы хорошо видны и на примерах окказионального формообразования – форм 1-го лица 2-го спряжения глаголов, страдательных причастий, притяжательных прилагательных, вообще не образующихся в норме: *я обессмерчу плоть – ты обессмертил душу!* (Бродский, 1992-I: 311); *Обезлюженные* года // выводили на площадь мамонта в космах и колтунах (Кривулин, 1993-а: 9); *Сипит оленинграженный* расстрига (Чернов, 1991: 69); *зачаженные*²⁶ всплески эдемских кустов (Жданов, 1991: 88); *Вон в траве, замазучен*, / мой трамвайный билет (Лосев, 1985: 122); *Нева, да петербуржье* солнце (Антонова, 1991: 34); *хоть песенником синагожьем* (Голышко-Вольфсон, 1994-а: 47).

Очень выразительно передается манерность окказионального причастия с йотовым чередованием в тексте, пародирующем стиль Игоря Северянина при столкновении «красивого» причастия с его семантикой:

В шумном лифте **огаженном**²⁷,
Средь окурков и пакостей,
Вы назвались Наташею,
Вы шептали мне колкости.

<...>

А потом было морево,
И под музыку странную,
В душном лифте **огаженном**
Было нам ошарашенно.

(Головин, 1996: 28–29)

В некоторых случаях поэты предлагают те формы, которые не вошли в современный язык, хотя вполне могли бы в нем существовать. Так, например, хорошо известна вариантность типа *махает – машет, двигает – движет, страдает – страждет*. В говорах альтернативные способы образования подобных форм представлены шире, например, на месте нормативных *чихает, икает* употребляются формы *чишет, ичет*. Ср. пословицу: «Ичется з голоду, а дрожится с холоду» (Словарь XI–XVII вв.-VI: 359).

²⁶ Ср.: *Зачаженный бутон заколов за кушак* (Пастернак, 1965: 130).

²⁷ В данном случае окказиональность определяется не чередованием, а приставкой (ср.: *загаженный*).

Реализация таких возможностей представлена в следующих текстах:

Потому не забыть ни Стеньки,
 Ни иного кого в застенке.
 Если всех нас Творец не терпит,
 Каждый чашей своею черплет.
 (Охапкин, 1989: 120)

За последнюю страницу
 кто заглянет в пустоту,
 на конце споткнув зегзицу?
 – Ветер **лицет** книгу ту.
 (Бобышев, 1997: 11)

С костями в рукавах, **хихича** беззаботно,
 Соперницы галдят, закусывая плотно
 (Крепс, 1996: 207)

б) Восстановление согласного после упрощения групп согласных

Результаты упрощения групп согласных, которое происходило в праславянском языке, сохранились частично, например, в таких словах, как *вянуть* (←**vędnŏti*)²⁸, *стынуть* (←**stydŏti*), *гребти* (←**grebti*), *скрепсти* (←**skrebtŭ*). В других случаях утратившийся согласный оказался восстановленным после того, как закон открытого слога перестал быть актуальным – ср. слова *пискнуть* (←**piskŏti*) и *прыснуть* (←**pryskŏti*). Такая непоследовательность побуждает поэтов исследовать обе возможности – с одной стороны, устранять согласный в позиции, где он теоретически должен был утратиться (первый пример из следующей серии), с другой стороны, восстанавливать исчезнувший согласный, что встречается и в просторечии (остальные примеры):

– ... А тот, ну, Вечный Странник, Мореход?
 Выбне моглили – фас его! и профиль!

²⁸ Здесь и далее знак «Q» обозначает носовой гласный [o] в записи реконструированных праславянских слов и форм.

нарисовать? портрет попоясней.
Мы знаем мастера **гораздриснуть...**

– Ну что ж, **рисну**, искис, попопытаюсь.
Он звался Нельсон. Кроче, Кацнельсон.
Никто не звал. Он как-то сам прибился
под нашу стенку. Я и швартовал.

(Строчков, 1995: 10)

Ящик тот когда-то был посылкой:
Был отправлен он царем Салтаном,
Был получен князем Гидеоном.
А в посылке той была бутылка,
А в бутылке той была записка:

«На душе моей скреблись котята ,
Но пока дойдет моя посылка, –
Будут кошки на душе **скребстися...**»

(Глозман, 1995: 41)

В этой лодке нету, Аттис, на заплыв пучины морей,
трескнул Рим, и вёсла в ступе, пифы золото унесли,
плебса слезы не в новинку, и отстрел Сената хорош,
форум полн демагогов, Капитолий в масках воров

(Соснора, 1999: 13)

«Поэта далеко заводит речь... »²⁹

И не поэта.
Туда, где нам ни сесть, ни стать, ни лечь,
ни тьмы, ни света
и ничего, к чему привык,
и тщетно бедный наш язык
к десне старается **прильпнуть**,
и выговорить, и всплакнуть.

(Горбаневская, 1997: 46)

²⁹ Строка М.Цветаевой (Цветаева, 1994-II: 184).

В примере из стихов В. Строчкова представлено нарочито омонимическое столкновение возможного, но не осуществившегося глагола *риснуть* 'рисковать' с окказиональной формой совершенного вида от глагола *рисовать*, а также контекстуального сращения *гораздриснуть*, содержащего вульгаризм. К глаголу *риснуть* в контексте относится сращение *искис* (= *и скис*), а к глаголу *рисовать* 'нарисовать' слово *искис* (= *эскиз*).

Когда слово непечатно из-за его грубости, не формируется орфографический навык его написания без согласного и, применяя общее правило правописания «непроизносимых» согласных, подбирая однокоренные слова, В. Коваль восстанавливает этимологический согласный перед суффиксом *-ну*:

Ну было, было. А кто тут без греха?
 Жить, жить, как говорится, и не **перднуть**?
 А инквизиция – что? Во поле цветочки?
 Крестовые походы – лопушки? Один. Два. Три....
 А этот – Мюнхен твой?
 Сто молотовых стоит и двести риббентропов!

(Коваль, 1999: 90)

Обратим внимание на то, что перед суффиксом *-ну*- последний согласный исторического корня часто отсутствует и орфографией не восстанавливается, например, *треснуть*, *прыснуть*, впрочем, непоследовательно – ср.: *свистнуть*.

Реставрация согласных после того, как закон открытого слога утратил свою актуальность, – явление довольно частое – ср. такие слова, как *дрогнуть*, *пискнуть*, *обвернуть*, *седьмой*. Но в ряде случаев согласный оказался восстановленным не во всех реализациях морфемы, например, ср.: *седьмой* и *семь*.

В языке поэзии возможно более последовательное проявление тенденции:

Когда осемь и **седмь**
 не слагаются в десть,
 я не сплю и не ем,
 не имею, не есмь

(Горбаневская, 1996: 16)

На пари – не сбейся на счете **седьмь** –
 на псковщине порознь предметы все:
 одесную – берега Великой реки,
 ошую – из них изъятый поток...

(Голышко-Вольфсон, 1994-а: 32)

В поэме А. Сергеева «Шварц» приводится ряд чешских слов, в том числе слово с с этимологическим согласным, утраченным русским языком:

Вселенские проистекали души
 Лишь из вселенских языков. Но слушай:

 «Был поздний вечер, првни (первый) май,
 Вечерни май, был ласки (ласки) час,
 Знал благовоньем вдаль боровы гай,
 Звал к ласки грам **грдлички** (птички) глас...»
 Как музыка. Но нет, не понимай,
 Что это слышит кто-то, кроме нас:
 Наш чешский слишком избранный сосуд.
 Учи немецкий – все тебя поймут.

(Сергеев, 1997: 397)

Иноязычные вкрапления в текст – варваризмы – часто подчеркивают чуждую языковую стихию, но когда в русский текст вносятся элементы славянских языков, скорее можно говорить не о чуждости, а о родственности иноязычных слов, хранящих историческую память о прошлом русского языка

Восстановлением согласного предпринимаются попытки этимологической регенерации слова, причем иногда возможно переосмысление корня, утратившего согласный. Так, глагол *воспрянуть* имеет этимологический корень *пряд-* (ср.: *прядать, прядь*), но интерпретируется автором следующего текста как слово, производное от корня *прям-* (*прямой, выпрямить*):

Я мелодику слухом вослышу
 Уловлю сии звуки, **воспрямну**.
 И тебе пропою я ея, моя дорогая краля.

(Рябинов, 1994: 251)

Наблюдается и этимологическое восстановление исходного корня, данное как сведение вариантов к единому слову:

а логика – былинка скуки
и не даст ни шанса **об/в-ернуться**,
ведь орфей вернувшуюся эвридику
за свою – за себя! – не признает,
да и аидоней персефону.

(Голышко-Вольфсон, 1994-б: 188)

в) Слоговые плавные согласные

В праславянском языке согласные [р] и [л], называемые плавными, могли быть слоговыми. В некоторых современных славянских языках, например, в чешском, в сербском, они сохранились. В ритмической организации стихотворного текста эти слоговые плавные согласные могут легко и естественно воспроизводиться. Следующие два примера показывают, как слоговые плавные помещаются в тексты с историческими сюжетами и образами:

А внизу, сшибая гоп на галоп,
бьется Игорева рать прямо в лоб.
Сами розовые, красные до пят.
бьются Игоревы войски
да кричат:
«У татраков оторвать да поймать.
Тртацких девок целоком полонять.
Тртачки розовые, красные до пят,
а **тртацкая** царица –
белоснежный сад».

(Красовицкий, 1997: 393)

Тмутаракань, страна моя,
ты вся опять во тьме...
Якиров сын, Тмутаракань,
в твоей сидит тюрьме.

Очнись, очнись, Тмутаракань,
 очнись, на солнце глянь:
 Вновь над тобой, Тмутаракань,
 тмутараканский **блван!**³⁰
 (Ким, 1990-б: 73–74)

Но слоговые плавные возможны и в текстах, не имеющих отношения к исторической стилизации:

а на райской кух
 постоянно пах
 жареной пече
 море крем тече
 айсбергами – **сахр-ррр!**³¹
 (Сапгир, 1993: 172)

Благоприятен след
 оставленный Луной
 в том месте где я был
 ПЛУТАЦИМ
 ПЛАТОНОМ
 ПЛАТОН
 мо-
 л-л-л-
 чал-
 л-л-л
 (Кедров, 1991-а: 16)

Вспомним, как В. Высоцкий умел петь согласные [р], [л], [н], которые становились у него слоговыми. Любопытную мотивировку слогового [л] видим в прозаическом фрагменте стихотворной пьесы Ю. Кима – в сцене с героиней, переодетой в мужскую одежду. Героиня эмфатически выделяет конечное –л как показатель мужского рода:

³⁰ *Тмутараканский блван* – цитата из «Слова о полку Игореве» (Слово о полку Игореве, 1985: 46).

³¹ В этом стихотворении «На смерть пуделя» слоговым [р] имитируется рычание собаки.

О р л а н д о . Вы видели герцога?

Р о з а л и н д а . Видел.

О р л а н д о . Виде-ла!

Р о з а л и н д а . Виде-ллл! И разговарива-ллл! И весьма недружелюбно!

О р л а н д о . Вы хотите сказать... Он не узнал вас!

<...>

Р о з а л и н д а . Я же говори-ллл: ищите Розалинду.

(Ким, 1990-б: 211–212)

Не воспринимаемые современным языковым сознанием слоговые плавные проявляются при ненормативной вокализации:

сегодня пена наших **волон**
разбилась у наших ног
мы братья тонкие мы братья
горько люби меня, браток.

(Гронас, 1993: 65)

Так как вокализация на месте бывших слоговых плавных факультативна, в некоторых словах возникает паронимическое (звукосмысловое) сближение, создается художественный образ, реставрирующий этимологическую общность слов:

Расположение между вдохом и выдохом – время.
Наконец-то птицы ничего не значат,

Долог, как долг, брод через великую реку. Счастье.

(Драгомошенко, 1993: 43)

Во имя отца и сына и святого духа
оживела летошняя муха,
не летает ещё,
только **ползает полозом**
по газетным полосам.

(Сатуновский, 1994: 103)

Слово *полозом* в последнем примере может быть интерпретировано и как существительное со значением ‘змея’, и как наречие в тавтологическом сочетании типа *криком кричит*.

В некоторых случаях восприятию и воспроизведению слогового плавного способствует обращение автора к тем славянским языкам, в которых слоговые плавные сохранились:

Лёт **мртвого** птаха
 Над **чрною** житью
 Он **мртвел** летаха
 Над **Влтавой** жидкой

(Пригов, 1997-в: 214)

То, что слоговой плавный воспринимается современным носителем русского языка как пропуск гласного, видно по следующему тексту, в котором автор экспериментирует с разными словами, фонетически уподобляя их чешским словам:

Вот я **птцу** ли **гльку** ли **лъящу**
 Иль про **чрвя** размышляю **плзуца**
 Или **звря** ли **бгуца** в чаше
 Я **змечаю** ли **дльны** уши

Странно, но на все есть слово
 Здесь ли в **Прге**, иль в **Мскве** ли
рдимой

Даже в **Лндоне** – тоже слово
 На **естство** оно **первдимо**

(Пригов, 1997-в: 215)

3. Носовые гласные

Носовые гласные [ɛ̃] и [ɔ̃] существовали в русском языке до IX –X вв. В древних текстах они обозначались буквами **Т** и **Ѡ**. В поэтических текстах появление ненормативных огласовок с носовыми согласными на месте бывших [ɛ̃]

и [Q]³² чаще всего мотивировано инославянской языковой стихией, например, включением в текст полонизмов (в польском языке носовые сохранились):

Мегсі, как и мне, когда брел я
 зигзагом по мызе и каламбурил,
 как принято в Краковии:
 немедленно будет **в свентых взенты**
 уразумеющей женски **выкренты**
 даже егозы – настоятельница
 монастыря кармелиток,
 не то что девочки русской
 (Голышко-Вольфсон, 1994-б: 187)

Однако такая мотивировка не является непременным условием привлечения внимания к судьбе носовых гласных. Русский язык, в котором имеются чередования типа 'а // ен (*теля – теленок, семя – семени*), позволяет легко восстановить исходные слова **telen*, **semen* (ср.: *пламя – пламени и пламень*):

Гром-колобок навел меня на избу из щавельного малахита,
 на крыше хлева из яшмы мяукают филин и **телен**.
 В настольном ларе – яйцо. Моей жизни собака зарыта
 в олонецком яйце, закутанном в скорлупы творожную зелень.
 (Голышко-Вольфсон, 1994-а: 13)

Не катаньем, так мытьем **семен**
 в двухмерную пахоту ушел,
 и в земле прослышал – бела-ртуть
 в столбиках расстояний поет.
 (Голышко-Вольфсон, 1994-а: 32)

Оказывается возможным и образование именительного падежа любых существительных на –*мя* по образцу традиционного поэтизма *пламень* (формы бывшего винительного падежа):

Лупочка озеро видит в огне

³² [ɛ] и [Q] возникли из сочетаний [*en] и [*on].

Черную книгу в руках Теофраста
Время и вымень! И льва-педераста
 Страшно мне! – Лупочка шепчет, – И мне
 страшно! –
 Признается кто-то за ее левым плечом
 Она оборачивается –
 Никого.

(Пригов, 1998: 62)

Но и отсутствие прямых аналогий не создает препятствия для образования выразительных окказионализмов с носовыми звуками. В следующем примере возможно действие косвенной аналогии для слова *зундит* – тоже звукоизобразительного глагола *гундосит*:

«М. Бахтин, – говорили саранцы,
 с отвращением глядя в зачетки, –
 не ахти какой педагог».

Хотя не был Бахтин суевером,
 но он знал, что в костюмчике сером
 не студентик **зундит**, дьяволок:

«На тебя в деканате телега,
 а пока вот тебе alter ego –
 с этим городом твой диалог».

(Лосев, 1985: 71)

Иногда в текстах можно видеть эксплицированные ряды чередований с бывшими носовыми гласными:

И этот пейзаж (что ни «бе»,
 ни «мяу» – ни бякам, ни букам,
 но – боком и ветром в трубе,
 но **звоном, и звяком, и звуком**
 паденья последней звезды
 и дребезгом, скажем, трамвая,
 немыслимого для езды
 затем, что дорога кривая)

не то, чтобы очень достал,
но все же... Пожалуй, Вы правы –
занозит, как некий кристалл,
лишенный оправы...

(Сычев, 1999: 39)

4. Редуцированные гласные

Первый пример показывает собственно модель самого процесса редукации – одновременно и в фонетическом, и в графическом выражении:

Я перестал лгать
гать
ать
ть
ь!

Я стал произносим.

(Миронов, 1993: 7)

Слово все более и более сокращается, пока не остается только мягкий знак – буква, которая в древнерусском языке обозначала редуцированный [ь], а в современном языке звука не обозначает. Модель утраты гласности в этом тексте – не пустая игра слов, а выражение этики и философии поведения, выражение жизненной позиции индивидуума, противостоящего миру лжи и вынужденного замолкнуть в этом мире. Поэт как воплощение речи отождествляется со знаком, утратившим смысл: *Я стал произносим.*

Теперь посмотрим, как фонетика соотносится со смыслом в усеченных строках, начиная с самой короткой.

Стихотворение невозможно произнести полностью. Строка, состоящая из мягкого знака, прочитана вслух быть не может, однако именно после ь стоит восклицательный знак (автор предлагает читателю этот мягкий знак воскликнуть!). Интенция чтения заставляет сделать некоторое артикуляторное движение в попытке все-таки произнести ь (напомним, что в древнерусском языке это

был сверхкраткий звук). Эта попытка заранее обречена на неудачу. Читатель, делающий собственное телесное усилие, внутренним жестом как бы повторяет безуспешную попытку поэта сказать вслух и быть услышанным. Таким образом, в тексте запрограммировано физическое сопереживание читателя духовному опыту поэта.

Предшествующая строка *ть* по своему звуковому составу почти воспроизводит императивное междометие *тс*, призывающее к молчанию.

Угасание речи градуируется не только длиной строк, но и последовательной десемантизацией, и снижением гласности в том терминологическом смысле, который это слово имеет в лингвистике – наличие голоса (тона) в звуке речи. Строка *ать* – бессмысленна как обрывок инфинитива, но этот обрывок омонимичен элементу армейской команды, призывающей к движению (*ать-два!*). Это последняя из градуированных строк, содержащая гласный звук – дальше гласный исчезает. Но именно этот последний гласный – [а] – самый звучный в системе гласных и формирует междометие *aaa!* – крик боли и отчаяния.

Предыдущая строка *гать* – обрывок глагола *лгать*. В русском языке существует и полнозначное слово *гать* – ‘мостки на топком месте’. Можно здесь увидеть метафору, если иметь в виду, что речь идет о попытке установить коммуникацию в мире лжи. Возможна и ассоциация со словом *гадость* – окказиональное собирательное существительное 3-го склонения *гадь* звучало бы именно [гат’].

Первая строка *Я перестал лгать* интересна своей пресуппозицией: глагол *перестать* предполагает затекстовую ситуацию противоположного поведения. Таким образом, оказывается, что несказанное, произнесенное находится не только в конце градуированного фрагмента, но еще и до его начала.

Позиция на стыке слов *перестал лгать* создает условия для появления [л] долгого или слогового плавного. Артикуляционное движение, определяющее и тот и другой вариант произнесения, – это задержка языка у зубов, фиксация внимания на этом движении вызывает в памяти поговорку *держать язык за зубами*. Получается, что и в первой строке жест, моделирующий ситуацию вынужденного молчания, воспроизводится читателем.

Возвращаясь к самой последней строке *Я стал произносим*, отметим, что причастие здесь двусмысленно. Речь идет о поэте, многие годы не печатаемом и не упоминаемом.

Конечно, все это множество потенциальных смыслов, связывающих артикуляцию, звучание, лексику, фразеологию, историю языка, психологию, философию, социологию и даже политику, может быть и не прочитано. Но и в таком случае достаточно вспомнить школьный урок, на котором говорится о произносимости мягкого знака, и зрительно воспринять постепенное исчезновение текста, чтобы почувствовать метафору.

Следующий текст тоже основан на произносимости бывшего редуцированного гласного и на попытке его произнесения:

ЪЪ
 ъъъъъъъъ
 ЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪ
 ъъъъъъъъъъъъъъъъ
 ЪЪЪЪЪЪЪЪ
 ъъ

(Гороховский, 1992: 6)

Последний текст озаглавлен «Проявленная твердость». Понятие твердости как свойства характера или формы поведения, производное от термина «твердый знак», передается парадоксальной экспликацией молчания.

Обратим внимание на то, что исторический процесс падения редуцированных переживается как событие и в таких текстах:

Шаг вперед. Два назад. Шаг вперед.
 Пел цыган. Абрамович пиликал.
 И, тоскуя под них, горемыкал,
 заливал ретивое народ
 (переживший монгольское иго,
 пятилетки, **падение ера**,
 сербской грамоты чуждый навал;
 где-то польская зрела интрига,
 и под звуки падепатинера
 Меттерних против нас танцевал <...>).

(Лосев, 1985: 22)

Вот написана бегло страница:
остановится в *** месте блудница,
где из окон виднее другая
жизнь гремящего мимо трамвая,
где деревья глядят в клетке сквера
на падение Еря и Ера.

(Петрова, 1994: 8)

Характерно, что падение ера и еря понимается не только как процесс, наиболее активно проходивший в XII в., но и как изменение правил орфографии реформой 1918 г., устранившей написание буквы Ъ после твердых согласных на конце слов.

Редукция и как результат, и как процесс представлена в исследованных текстах чрезвычайно многообразно. Механизм процесса мы видим в многочисленных фактах утраты гласных, продолжающейся в языке и фиксируемой за пределами нормы. Продолжение редукции затрагивает более широкий, чем в литературном языке, круг слов и морфем, в результате чего происходит делексикализация (преодоление лексической закрепленности) исторических изменений. Нередко можно видеть, что современные поэты как бы заново переживают XVIII век с его языковой вариантностью, поэтическими вольностями и языкотворчеством:

Дхнул Борей во мраке ночи.
В **льдяных** ризах бледны рощи.
Мраз тепло похитить хошет.
Мещет искры снег.

(Кибиров, 1994: 101)

Глагол *дхнуть* является традиционным поэтизмом в литературе XVIII–XIX вв.: *Румянцов молньи **дхнет** сугубы* (Державин, 1985: 86); *А тепло лишь **дхнет** весною* (Державин, 1985: 291); *Дьявол прилетел, к лицу его приник, / **Дхнул** жизнь в него* (Пушкин, 1969-III: 327); *И милость нежная твоими **дхнет** устами* (Пушкин, 1969-IV: 356).

Вместе с тем современное языковое сознание воспринимает слово *дхнул* в стихах Т. Кибирова скорее как просторечное, чем как традиционно-поэтическое (ср. выражение *а ну дхни*, обращаемое к человеку, которого подозревают в нетрезвости).

В слове *дхнул* осуществлено закономерное устранение бывшего редуцированного в слабой позиции. В литературном языке произошла его вокализация – во избежание столкновения трех согласных и последующей перспективы упрощения этой группы звуков, приводящего к деэтимологизации (ср.: *хорь* ← *дъхорь*). В слове *льдяных*, напротив, утратился исконный гласный полного образования [e], что продолжило тенденцию к распространению чередования *e // ноль* звука, реализованную литературным языком только в склонении слова *лед*, но не в образованном от него прилагательном.

Взаимное стилистическое влияние, когда слова с противоположным стилистическим значением могут быть психологически включены одновременно в оба стилистических ряда, в большой степени отражает тенденцию современной поэзии к полистилистике и стилистической перемаркировке языковых элементов.

Утрата гласных полного образования как следствие падения редуцированных продолжается до сих пор и представлена в поэзии живым процессом.

Особенно часто встречаются невокализированные приставки в тех словах и формах, в которых современная норма предполагает наличие гласного.

Многие примеры связаны с прямым или косвенным цитированием классиков XVIII–XIX вв. или являются выразительными элементами стилизации: *И вспрянут где-то кони* (Жданов, 1991: 14); *И только птицы, птицы, птицы, / Вспарили с белым светом, вместе с тишью* (Востриков, 1993: 20); *в душе моей, страстьми*³³ *издранной* (Кибиров, 1994: 324); *Но Государыня изволила издрать* (Лосев, 1985: 85); *В провода, съединившие день деловой* (Ахмадулина, 1995: 367); *С Родиной воссоединятся* (Пригов, 1997-а: 141); *Но в целое уже не съединятся части* (Бударагин, 1990: 47)³⁴; *он не всхотел стать гений длинновыый* (Левин, 1995: 23); *И чресчур благообразны / Три красотки кубаре* (Соколов,

³³ Ср.: *Владелец – коль страстьми владею* (Державин, 1985: 184).

³⁴ Ср.: *С Востоком Запад съединил* (Державин, 1985: 27).

1990: 79); *Горя вокруг древа мирового* (Шварц, 1995: 9); *Меж идолов переменных* (Щербатов, 1990-б: 88); *где ЯНЬ преходит в ИНЬ* (Кузьминский, 1995-а: 31).

Живую современную редукцию можно видеть в таких примерах: *Недразуменье. Федот да не тот* (Соколов, 1990: 169); *Почти что ничего не перживая* (Пригов, 1997-а: 147); *достойнейшие из перьдовиков* (Строчков, 1994: 308). Последний пример представляет собой каламбурное созвучие с вульгаризмом на основе реального произношения формы *передовиков* в разговорной речи.

На конце слова, в том числе и предлога, редукция часто отражает живое произношение в просторечии и говорах³⁵: *Он [дом] позадь³⁶ других домишек* (Уфлянд, 1993: 32); *Бредя во тьму, нам остается бресть / Туда во тьму, где мужество – брести* (Охапкин, 1989: 161); *Где змей порока пойман был и не сумел уползть* (Ким, 1990-б: 38); *Это что же происходит – прям не выговорит язык!* (Ким, 1990-б: 246); *Эта ласковость в природе / Словно предопределение / Но зато замест в народе / Эка сила разделенья / Страшная* (Пригов, 1997-г: 8); *То же невидимо взрастают* (Шварц, 1995: 16); *Военн-морская птица чайка* (Пригов, 1996: 182); *Но, Дева! Разве ж это дело! / Темна твоя прозрачная речь / Возьми мое хотя бы тело / В СССР вочеловечьсь!* (Пригов, 1997-а: 147); *И разногром вскружилсь в разнопространстве* (Востриков, 1993: 19). Встречаются и такие случаи, когда с перемещением ударения утрачивается бывший ударный гласный: *и по трубам вода не жуurchь* (Иконников-Галицкий, 1995-а: 28).

На месте бывших напряженных редуцированных (перед [*j]) превращение звука [и] в [j] тоже воспринимается как просторечное: *Ведь засыпал-то я в Германьи* (Пригов, 1998: 32); *Рассмотрим также опыт Югославьи* (Ким, 1990-б: 99); *Когда Мадонна из Японьи / Однажды ехала на пони* (Пригов, 1998: 66); *Ой, не ездится на море в Эстонью* (Ким, 1990-а: 150); *Из алюминья –*

³⁵ То, что в живой речи конец слова особенно часто подвержен сокращению, было замечено давно. Здесь наиболее убедительным кажется объяснение: «по мере употребления слова уменьшается количество звуков, несущих информацию, что ведет к смещению границы слова» (Себребренников, 1974: 445). Это предположение хорошо согласуется с представлением о языковой энтропии, возрастающей от частого употребления слова. Постепенно утрачивается не только смысл, но и само произношение.

³⁶ Здесь и далее пояснения к текстам стихотворений, помещенные в квадратные скобки, мои – Л. З.

ложка (Крюкова, 1989: 232); *Ах! В этом есть своя поэзия!..* (Ким, 1990-б: 36); *В час печали, в час отчайнья* (Кибиров, 1999: 147); *Ах ты, аудиторья* культурная (Кибиров, 1994: 335); *Цветами инфракрасными и ультра- / Фьёлетовыми* (Лён, 1990: 47); *Без идьёсинкразии / К нехватке тех монет* (Лён, 1990: 38); *Я ношу сандаляи* летом (Друк, 1991: 23); *Я не улитка, чтоб тащить спираль / дьялектики* за Гегелем марксизма (Кутик, 1993: 22); *напевая / мелодью* Френкеля покойного (Кибиров, 1997: 6); *Про то съя песня сложен°* (Пригов, 1997-а: 198); *Живая, лучшья* часть меня (Пригов, 1998: 14); *А вот в армью* не хочется (Пригов, 1998: 241); *Вот и ряженка смолистая / <...> Полная отсутствья* запаха (Пригов, 1997-а: 8); *Так в этом случье* и она / Самка таракана в смысле (Пригов, 1998: 17); *Я с домашней борюсь энтропией / Как источник энергьи* божественной (Пригов, 1997-а: 15); *Я не выдумал бы Конституцьи / <...> Ясно, что Конституцья* значительней (Пригов, 1997-а: 149); *Когда небес живая мастурбацья / Россию белым чудом поражает* (Пригов, 1998: 25); *Мы вызванные дети соцьялизма* (Пригов, 1997-а: 211); *Советскья* власть – та метит точно / А Бог – так и того точней (Пригов, 1997-а: 210); *чтоб исторья* вдругорядь / не увенчалась фарсом (Бирюков, 1995: 92); *постигнем лбом всю формулу исторьи* (Иконников-Галицкий, 1995-а: 6); *Народные деньги* валялись в пыли, / Зеленые, красные, синьи (Мякишев, 1992: 81).

Процесс затрагивает и гласные полного образования: *Ах ты, подлая и рыжья* (Пригов, 1997-а: 72). Утрата гласного после йота ведет за собой утрату суффикса: *Срок неминуыймый* подойдет (Пригов, 1997-а: 212); – *Пусти, пусти!* я здесь *нечайно!* (Пригов, 1998: 67).

Такие примеры говорят о том, что сочетания гласных, даже разделенных йотом, до сих пор неудобны в языке. В этом смысле показательна адаптация заимствованных слов с редукцией гласного в корне: *Напишу-ка я длинный йероглиф // Но чуток кривоватый, кажись* (Пригов, 1997-а: 70). Но и в собственно русских словах звук [и] подвержен редукции – и даже в том случае, когда он не находится рядом с другим гласным: *За гробом идет китайц-рыдатель* (Пригов, 1997-в: 144). Редукции [и] в слове *идет* способствует аналогия однокорен-

³⁷ Ср. у Пушкина в «Сказке о Медведихе»: *Живет он байбак позадь гумен* (Пушкин, 1968-III: 361) в «Сказке о царе Салтане»: *Во все время разговора / Он стоял позадь забора* (Пушкин, 1968-III: 363).

ных слов с приставками типа *пойдет, найдет, зайдет, уйдет*, а также традиционного поэтизма *нейдет* и устаревшего написания *прийдет*, которое сейчас считается орфографической ошибкой.

Девокализация осуществляется и в корнях слов: *И судрога пронзила сердце* (Пригов, 1997-а: 205); *но растения смерти, лдяные ростки* (Строчков, 1994: 60). В этой группе примеров преобладает утрата гласного перед нулевым окончанием родительного падежа множественного числа: *Шьет зов в висках венозной строчкой письм* (Иконников-Галицкий, 1995-а: 42); *что было стекл зеленоватых* (Лосев, 1987: 105); *и в порах подвальных окн* (Строчков, 1994: 157); *прямо в банке коммерческих вишн*³⁸ (Строчков, 1994: 206). Эта позиция характерна тем, что редуцированный здесь был неэтимологическим, следовательно, реставрируется первоначальный вид корня. Подобная реставрация встречается и в заимствованных словах: *и на Олимп взошел Юпитр* (Левин, 1995: 188).

В суффиксах наблюдается аналогичная картина: *Роза – белизна свадьб* (Соснора, 1998: 115); *Я у сердц твоих кисть искусства* (Иконников-Галицкий, 1995-а: 37); *Безумец Петр – безумц второй* (Пригов, 1997-а: 119); *что спасала и насла / стадо чёрных овиц* (Горбаневская, 1996: 37); *А все беспечн не по летам* (Пригов, 1996: 183); *К вам был бы мил и нежн... да нет* (Пригов, 1997-а: 47); *Чувствителен но непреклонн* (Пригов, 1997-а: 200); *Покуда буду праведн и неистов* (Пригов, 1998: 70); *старинный парк огромн и пуст* (Пригов, 1996: 51); *Морячок лихой, Голландц Летучий* (Пригов, 1997-а: 189); *А он не так! он так свободн и юнн*³⁹, */ как мориц одноглазый и суровый* (Левин, 1995: 23); *И красный, стремитльный, темнеющий сок* (Пригов, 1998: 240).

³⁸ В данном случае есть игра слов: в полисемантических стихах Строчкова форма *вишн* является одновременно именем бога Вишну.

³⁹ Явная игра с именем поэта Юнны Мориц, с именем персонажа из комиксов Вильгельма Буша «Макс и Мориц», с типичной орфографической ошибкой *юнний*, влияющей на произношение, и редукцией – как традиционно-поэтической, так и осуществляемой в быстрой речи. Очень вероятно также игра с грамматическим родом: *свободн* произведено от *свободна*. Эта игра подтверждается омонимией мужского имени Мориц и женской фамилии Мориц, преобразованием женского имени *Юнна* в прилагательное мужского рода *юнн*. Кроме того, А. Левин, вероятно, пародирует употребление краткого прилагательного самой Юнны Мориц: *День – недолог, / А путь мой – так длинн* (Мориц, 1990: 91).

Если формы *сладк* у Кантемира, *красн, честн* у Тредьяковского, *черн, бледн* у Державина, *верн, черн* у Пушкина⁴⁰ имеют стилистическое значение традиционных поэтизмов, то у Пригова они скорее маркируют торопливое коноязычие.

Обратим внимание на утрату гласного перед согласным в окончании: **Можт**, *пиджак перекосился* (Пригов, 1997-а: 48).

В стихах Д. А. Пригова наглядно представлена оппозиция слов в нормативной огласовке с теми же словами в вокализованном варианте, создающая не только ритмическое движение с неким аналогом возмездительного продления, но и эффект иронического столкновения невнятицы с патетикой:

А нам-то что – ну, **Президент**
 Ну, **Съединенных** Штатов
 А интересно все ж – **Президент**
Соединенных Штатов.
 (Пригов, 1991: 41)

Когда здесь на посту стоит **милиционер**
 Ему до Внуково простор весь открывается
 <...>
Отвсюду⁴¹ виден **Милиционер**
 (Пригов, 1997-а: 188)

Иногда можно наблюдать, как сокращенное написание, отражающее редукцию, воспроизводит церковно-славянское написание под титлом:

Гспди! я Твой ра
 Давший – всем тебя лю
 наши тела заклю
 небо душа пода
 <...>
Гспди! я Твой ра –
 следний между людьми
 Давший! – Твоя ра

⁴⁰ Примеры см. в статье: Винокур, 1959: 346–350.

⁴¹ Ср.: *Отвсюду к старику сошлись / Бесчисленны толпы теней* (Державин, 1985: 27).

вот Твоя жизнь – возьми
 Взавший! – Тебя бла
 слезы – Твоя вла
 (Сапгир, 1996: 4)

о, это зарево-пожарево
 над небом **црит** самодержавенно
 и этим жаривом из звёзд
 и тем звездаривом как монстр
 любитесь луннейший Звезд –
 звездеший Лун облачных бездн
 (Климов, 1994: 24)

В первом из этих текстов сокращенное произношение находится в ряду прерванных и искаженных слов, изображающих косноязычие взволнованной мольбы.

Второй пример – текст из сборника В. Климова «Сдвиг по фразе» – рисует такую картину зарева *над небом*, которая вполне позволяет видеть изобразительную функцию слова *црит*. Слово и его производные в церковно-славянских текстах всегда сокращались и писались именно под титлом. Здесь мы видим любопытный пример стилистической перемаркировки: от сакрального письменного сокращения к отражению разговорной редукции. И это наводит на размышления о возможном происхождении современных сокращений на письме, переходящих в речь (типа *г-же* – см. пример на с. 00) от титлованных написаний.

Покажем еще одно проявление экзотической редукции:

Второй же так ответил на вопрос о свободе поэта:

– Пусть лежит перед нашими **взрами**
 Целина, несвободный поэт.
 Вот поэт, скудный всякими **влями**
 Разбирает где **цлина** а где нет.
 А свободный поэт, аки птица,
 Устремит свой восторженный взор
 На дрофу – улетающую жрицу
 Коя новый питает простор.

(Рябинов, 1994: 294)

В этом тексте сокращение *влями* от [*волями*] явно не фонетическое: оно устраняет ударный гласный и осуществлено по аналогии с не менее экзотическим для современного русского языка неполногласием *взрами*. Слова *влями*, *взрами*, *цлина* иконичны: они показывают сжатость несвободного поэта. Не исключено, что здесь пародируется поэтическая традиция, более всего связанная в сознании с неполногласием.

Редукция с новым упрощением групп согласных и гласных, аналогичная лексикализованной редукции типа *склянка*, *тыща*, *здрасьте*, наблюдается и у многих других слов, при этом происходит редукция не только слов, но и словосочетаний – по существу, превращение их в звуковой сигнал (ср. часто встречающийся в современной речи заполнитель пауз из сочетания *так сказать* → *дескать* → *скать* → *ск* → *с*, а также происхождение «словоерса» из слова *сударь* – аналогичный процесс, прошедший раньше). В исследованных текстах зафиксированы следующие факты, отражающие различную степень редукции слова и словосочетания: *грит* ← *говорит* (Ким, 1990-б: 251); *тойсь* (Ким, 1990-б: 178); *тойсть* (Строчков, 1994: 44); *без десьти* (Коваль, 1999: 87); *Юллексеич* (Ким, 1990-б: 11); *здрав жлам* (Сатуновский, 1994: 240); *можбыть* (Сатуновский, 1994: 152); *леньградский* (Голышко-Вольфсон, 1994-а: 45); *паняй* – ‘погоняй’ (Строчков, 1994: 182); *обжжи* – ‘обожди’ (Строчков, 1994: 177); *зми* – ‘возьми’ (Строчков, 1994: 177); *твариц* – ‘товарищ’ (Пурин, 1995: 77); *тока-тока-тока* – ‘только-только-только’ (Ким, 1990-а: 148); *хотца* – ‘хочется’ (Хлебников О., 1996: 102)⁴²; *низзя* (Вишневский, 1992: 197); *низззя* (Ким, 1990-а: 153)⁴³.

Упрощение групп согласных как живой процесс, актуальный в современном языке (см.: Баринаева, 1971), можно видеть в таком тексте:

По дорожке ездит Трактор,
он весьма честолюбив.
У него вчерась **артиска**,

⁴² Инициал авторского имени в адресе цитаты ставится для различения поэтов-однофамильцев, упоминаемых в книге.

⁴³ В двух последних примерах редуцированное слово является цитатой из репризы театра «Лицедеи», показанной по телевидению.

а сегодня – **тениска**,
он отличный дефлоратор
И к тому же, выездной.

(Левин, 1995: 168)

Показательно, что редукция затрагивает слово и в таких синтаксических позициях, когда оно, казалось бы, должно произноситься полностью:

Из меня вдохновение прет,
а я с женщиною развлекаюсь.
Она **грит** мне, что любит, и врет,
Когда с ней по утрам просыпаюсь.

<...>

Надо мною кружит воронье,
метафзически гря. Вновь перчатки
я, волнуясь, снимаю с нее.
пряча слезы вселенной в лопатки.

(Бауэр, 2000: 39)

На фоне многочисленных проявлений редукции язык легко осуществляет лексикализацию (превращение в самостоятельное слово) аббревиатуры в ее звуковом прочтении:

...Сколько б каждый сезон ни стреляли бекасов,
ни дарили нарядов Панаевой **г-же**,
завсегда оставались
товарищ Некрасов
верным Музе печали и гнева в душе.

(Кублановский, 1994: 44)

За редукцией слова и словосочетания естественным образом следует деэтимологизация, а следовательно, и семантическое опустошение, демонстрируемое языком поэзии. Так, в поэме В. Строчкова с характерным названием «Большая Р.» демонстрируется замусоренность сознания цитатами, вырванными из забытых текстов, знаменитыми именами-сигналами. В абсурдном хаотическом смешении всех слов и явлений, когда поток сознания направляется внешними признаками сходства слов, воссоздается ситуация болезненного бреда.

Такая редукция знания и сознания, вызывающая обесмысливание слов или, напротив, им вызванная, сопровождается назойливым повторением союза *тойсь*:

И в белоснежных хлопковых полях
там, под Москвой, ну, в общем, в Елисейских,
на берегу своих пустынных дум
он вспомнил жизнь: как не было её.

Он думал о Царевиче: о том,
как он в гробу видал свою невесту
хрустальном и таких же башмачках,
тойсть тапочках, свою Синедрильону,
тойсть Золушку, **тойсть** это, Белоснежку,
тойсть спящую, **тойсть** мёртвую царевну,
то есть мертвецки спящую её

(Строчков, 1994: 308)

В деформации стихотворного слова встречается исторически точное воспроизведение одной из стадий развития слова или реализация иного, чем в литературном языке, пути развития. Так, например, из праславянского слова **stьklo* появились варианты слова *стекло* и *скло*⁴⁴. Вариант *скло* возник в результате закономерной утраты редуцированного в слове *стькло* с упрощением группы согласных – ср. слово *склянка*, чешск. *sklo*:

разбито **с-кло** – там через двор –
досчатая убор

(Сапгир, 1993: 174–175)

и за углом поет трамвай
о **стклянных** головах

(Эрль, 1995: 90)

Там дальше зелень рощ, там **стклянных** вод струенье,

⁴⁴ Употребление редуцированных вариантов этого корня имеет устойчивую традицию в литературе: *Стекляные реки* (Державин, 1985: 255); *Скло, с полок бережных: / <...> Скло – в пыль песочную!* (Цветаева, 1994-III: 125); *Через стол, необозримый оком, / Буду чокаться с тобою тихим чоком / Скла о скло?* (Цветаева, 1994-III: 134). Ср.: *И стклянки с кислотой* (Мандельштам, 1995: 327).

Там тучны пажити, там нив златых волненье
(Киби́ров, 1997: 77)

Где, души раздвоив, телами ждут распятий,
В кривых осколках **скла** клубится жадно мгла.
(Кузьмин, рукопись)

Интересны факты десемантизации различий – реставрация былой вариантности слов. Тем самым осуществляется этимологизация, оживление образной основы каждого из слов – и эксплицитно, и имплицитно выраженных:

Хорошо: колесить, куда хочется,
словно геммы, глядеть города
(кроме бывшего хмурого **Отчества**)...⁴⁵
Погулял, и – до дому. Сюда.
(Бобышев, 1992-б: 84)

Не заткнет старик Сократ
Грецкими словами.
Ах, премудрость – страшный сад
С черными плодами.
(Стратановский, 1993-а: 105)

Другим заметным явлением, также наглядно представляющим историю редуцированных, является ненормативная для современного языка вокализация, преимущественно в приставках и предлогах: *Человечки **во плащах** и шляпах / кутаются, а по лицам влага* (Соснора, 1987:176); *Зверь неспроста **во образе** двоится* (Охапкин, 1989: 154); *все вбежали **во хлеб*** (Шварц, 1995: 83); *Когда же ангел душу понесет, / Ее обняв в тумане – и **во пламя*** (Шварц, 1995: 54); *И город этот будто бы припаян, / Прикован, как кольцо **во пасти** льва* (Вольф, 1993: 77); *и отправиться **ко святым** костям* (Шварц, 1995: 79); *жмя длань сию **ко пояснице*** (Кузьминский, 1995-а: 45); *Отставная кухарка **со целым** грешит государством* (Скородумова, 1993: 41); *Легко ль... на пятый... **возойти...** этаж...* (Ахмадулина, 1995: 96); *Иль то усталость моего же лба, / **восплывши***

в небо, надо мной смеялась? (Ахмадулина, 1995: 186); *И печаль восколыхнулась* (Шварц, 1993: 75); *А Мужик во сне тихонько **воздыхает*** (Шварц, 1995: 51); *Но я глаза сощурую и **вспомню*** (Акчурин, 1989: 15); *Скрытое терпит скорей огласку, / чем обладает **вояве** тайным* (Бурихин, 1990: 140);); ***Вослед** за кошкой Том скрывается в овраге* (Кибиров, 1997: 13); *всюду – отблески зарева, языки **сожигаемых** книг* (Кривулин, 1988: 108); ***Сопутник** и **собрат** в широкополой шляпе* (Бударагин, 1990: 13)

Вставка гласных осуществляется и в корнях: *кто **в моху**, кто в защитном сукне* (Кенжеев, 1992: 69); *он ловит **ирук**, обросших длинным **мохом*** (Кекова, 1995-б: 18); *Нет ни слов таких, ни **буков*** (Левин, 1998: 8); *Осыпаются капли с еловых игол* (Яснов, 1995: 24). Гласный звук появляется также в группах согласных, не содержащих этимологических [ъ] или [ь], напоминая историю неорганических гласных в словах типа *огонь* (← *огнь*), *ветер* (← *вѣтръ*): *Сядь, родной, на **мотоцикел**, / Заведи свой **быстрый газ*** (Воронежский, 1998: 117); *И в тот же час спускался вниз / За ланью **тигор** смелый* (Пригов, 1997-в: 109); ***Петор** Первый как злодей* (Пригов, 1997-а: 120); *Народы замерзли. / Туда и обратно / несли **ззынамены** / и **тыранспоранты*** (Соснора, 1987: 224). В последнем примере вокализация с продлением вставного звука до превращения его в [ы] и двойное [з] имеет отчетливый звукоподражательный характер, воспроизводя произношение, а может быть, и пение, когда «зуб на зуб не попадает».

Вокализация в суффиксах всегда происходит на месте утраченных редуцированных: *Поэты слыли чем-то вроде **солнец*** (Бобышев, 1992-б: 50); *Церквушка брякает вдали // Своим полуостывшим колоколом / И жизнь неясным мне **осколоком** // Вонзается на пять минут / В мою истерзанную грудь* (Пригов, 1997-а: 205); *Да разные там **внучеки** и внучки* (Пригов, 1997-а: 180).

В последнем примере явно влияние уменьшительных форм с суффиксом *-ик-* типа *зайчики*, *ключики* на слоговой объем слова *внучеки*. Это позволяет установить различие между мужским и женским родом слов *внучек* и *внучка* во множественном числе. Реакция на фразеологическое закрепление исходной

⁴⁵ Ср. в литературе XVIII в.: *Скажи мне, отчество заслуг / Твоих сколь много ощутило?* (Петров В., 1972: 334); *Ты любишь отчество, и мил тебе герой, / Который жертвует собой* (Костров, 1972: 175).

формы видна в примере: *а число его было 999, / которое есть число Зверя-чёрена* (Левин, 1995: 64).

Современными авторами поэзии осваивается слово классической поэзии *пришлец* – с девокализацией корня и вокализацией суффикса. Этот произносительный вариант представляет собой результат правильного развития сильных и слабых редуцированных в исходном *пришьльць* (современное нормативное ⁴⁶*пришелец* возникло по аналогии с косвенными падежами – *пришьльца*, *пришьльцу*). Слово *пришлец* вполне можно считать традиционным поэтизмом – оно встречается, например, у Державина, Пушкина, Лермонтова⁴⁷. У современных авторов находим: *Трезор и Цыган, и лохматый Вьюн / не встретят хриплым лаем **пришлеца*** (Кибиров, 1994: 310); *Дети бегут к матерям, к отцам / от недоверья к нам, **пришлецам*** (Хлебников О., 1989: 55); *Ах, ревнив был норев у **пришлеца!*** (Хлебников О., 1989: 103); *Тень по границам лица / и внимательный взгляд **пришлеца*** (Бобышев, 1992-а: 74); *А что Москва – на то она и есть Москва / Что насмерть поражает **пришлеца*** (Пригов, 1997-б: 181). Во всех приведенных примерах слово стоит в косвенных падежах, показывая альтернативу при изменениях по аналогии: все эти формы образовались по аналогии с именительным падежом.

Вокализация бывших напряженных редуцированных становится сильным средством иронии и, как правило, встречается в контекстах с лексикой, резко противопоставленной высокому стилю: *что Агасфер до пишущей машинки / дошел – и тычет пальцем в IBM, / как мы в грудину впалую **бием*** (Бобрецов, 1994: 74); *Одевая небо облаки! / Что-то изменилось в облике / Времени, и душной **пылию**, / Еду ли в автомобиле я / Или мчусь верхом на лошади – / Людные покрылись площади* (Каменкович, 1996: 116).

Вокализованные варианты слов и форм с буквой «и» на месте бывшего [ь] в литературной традиции характеризуют высокий стиль потому, что они попали в русский язык из церковно-славянского. Непосредственно в русском языке

⁴⁶ Двойным подчеркиванием обозначен редуцированный гласный в сильной позиции, где он должен был превратиться в гласный [e]; одиночным подчеркиванием обозначен редуцированный в слабой позиции, где он обычно утрачивался.

⁴⁷ Приведем два примера: *Утешься, мать градов России, / Воззри на гибель **пришлеца*** (Пушкин, 1967-1: 71) *Приветствую тебя, воинственных славян / Святая колыбель! **Пришлец** из чуждых стран, / С восторгом я взирал на сумрачные стены* (Лермонтов, 1989: 260). У Пушкина на девять употреблений варианта *пришлец* приходится три употребления варианта *пришелец*.

ке на этом месте появлялся звук [е], который в современном произношении совпадает с [и], но русское [е] не закрепилось орфографически. Когда в современных текстах вокализация напряженного редуцированного обозначается буквой «е», это, имитируя орфографическую ошибку, воспроизводит собственно русскую фонетику. С одной стороны, написание «е» характеризует вокализацию, свойственную высокому стилю, а с другой – явление русского просторечия. Таких примеров много в стихах Д. А. Пригова:

*Над картой **ночью** бессонной / Сидели в штабе до утра* (Пригов, 1997-а: 136); *Стоял на посту он отлично / Она поздней **ночью** шла* (Пригов, 1997-а: 196); *Почти что с **дрожью** иного пола / Полженициною смотришь на себя* (Пригов, 1997-в: 199); *Глупый, глупый мишка <...>/ Бритву съел, залился / **Кровью** – на треть* (Пригов, 1998: 91); *Кто ж **грудью** нас заслонит?* (Пригов, 1997-а: 194); *Я больше **мышью** не назовусь* (Пригов, 1998: 75).

Встречается и вокализация звуком [а] окончания притяжательного прилагательного – *ья*, которая соответствует ранней стадии образования прилагательных в русском языке: *Вот пуля **вражяя** взошла / Над живой частью его жизни* (Пригов, 1997-а: 71); *Тебя, тоскуя о твоей пропаже, / наставница **ребьячая**, ничья, / не нахожу в промышленном пейзаже, – / и заживо мертвеет жизнь моя* (Бобышев, 1992-а: 11); *Вот детка **человечая** / Насекомая на вид / Головкой овечью / Над сладостью дрожит* (Пригов, 1997-а: 21).

В некоторых случаях происходит замена нормативного написания «е», соответствующего бывшему произношению русского [е], на «и», восходящему к старославянской фонетике и ставшему принадлежностью высокого стиля в классической поэзии: *Ибо ты Змия Сама* (Каменкович, 1996: 32); *виден Курган о Трех Деревьях, / окруженный зминою топью / на вершине того кургана – Алатырь-камень* (Каменкович, 1996: 45); *Змийка с глазиком бурлила в колбе винного бокала* (Соснора, 1998: 166). Такие примеры обращают наше внимание на то, что в современном языке есть стилистические варианты *змей* и *змий*. Поэты распространяют эту вариантность и на другие формы, не закрепленные устойчивым употреблением.

Помимо большого количества примеров эксплицитно выраженной вокализации с обозначением гласного буквой, язык поэзии демонстрирует широкие возможности имплицитной вокализации – в рифме и ритме. В прозаическом

тексте такое явление невозможно. Приведем некоторые рифменные пары, в которых можно видеть неорганические гласные: *юбер аллес – вальс* (Бродский, 1992-1: 433); *Кассандра – Александр* (Чейгин, 1995-б: 590); *не иначе как – на карачках* (Щербаков, 1990-а: 21); *хотя бы – Октябрь* (Лосев, 1985: 41); *угол – кругл* (Григорьев О., 1997: 91)⁴⁸; *тополи – сопли* (О. Григорьев, 1997: 135); *стёкла – около* (О. Григорьев, 1997: 174); *мускул – тускл* (Крепс, 1992: 31); *ухаря – кухня* (Ким, 1990-б: 233); *разом – протоплазм* (Бобышев, 1992-а: 52); *глазом – спазм* (Ровнер, 1992: 63); *хахаль – спектакль* (Охапкин, 1989: 19); *фикусом – иксом* (Арабов, 1991-а: 13); *жабы – дирижабль* (Арабов, 1991-б: 55); *поники – никеле* (Рейн, 1995: 13).

Немало подобных примеров имеется и в литературе прошлых лет (см., напр., Григорьев, 1971; Реформатский, 1971). А. А. Реформатский объясняет такие факты в поэзии XIX и XX вв. отражением факультативного слогового согласного, который появляется в результате редукции соседних гласных (Реформатский, 1971: 207). Массовый материал современной поэзии позволяет видеть здесь именно добавочный гласный: лишний слог образуется не только там, где есть сонорные [р], [л], [н] или щелевые [с], [з], [ж], [ш], [х], но и в таких словах, где продление согласного было бы совершенно невозможно: *на карачках* (произношение [чч] нереально). Появление добавочного гласного естественно – в отличие от удвоения некоторых согласных –, так как тенденция к открытому слогу в русском произношении существует до сих пор, что подтверждается данными экспериментальной фонетики.

Примеры имплицитной ритмической вокализации не менее многочисленны, чаще всего это явление представлено перед сонорными согласными, особенно в названиях месяцев и их производных. Приведем пример сгущения этого явления как приема:

дождь присылает секундантов –
двух **неноябрьских** повес:
один – **сентябрьский** дотепа,
другой – **декабрьский** балбес.

(Казаков, 1995: 145)

⁴⁸ Ср.: *Брови приподнятой печальный угол... / И он изгибом тонких рук / Берет свирели ствол*

Обычно в названиях месяцев появляется вставной гласный между звуками [б] и [р], но возможна имплицитная вокализация и на конце слова. В стихотворении Вс. Некрасова обнаруживается суффиксация части *-брь*, ее автономизация и семантизация⁴⁹. Отделяясь, эта часть получает гласный либо после [б], либо после [р]⁵⁰:

И сентябрь
 На **брь**,
 И октябрь
 На **брь**,
 И ноябрь
Брь
 И декабрь
Брь.
 А январь –
 На арь
 А февраль –
 На аль
 А март
 На арт,
 Апрель
 На ель
 Май на ай,
 Июнь на юнь,
 Июль –
 На август,
 Август на сентябрь.

(Некрасов, 1980: 504)

(*широк и кругол*) (В. Хлебников, 1986: 193).

⁴⁹ Семантизация, основанная на звуковой близости части *-брь* к междомию *брр!*, выражающему комплекс негативных эмоций, послужила причиной идеологического скандала в связи с публикацией этого стихотворения в детском журнале, поскольку слово *октябрь* было сакрализовано советской идеологией.

⁵⁰ Впрочем, не исключены и еще две возможности: превращение согласного [р] в слоговой и перенос ударения на предлог *на* во второй и четвертой строках.

Иногда появление неорганического гласного специально актуализируется графически – дефисом и переносом в другую строку фрагмента слова, не содержащего гласных:

Я даже блядь, большую СПИДом,
своим властям вовек не выдам.
Мы все и так мотаем срок.
Мне важен не ответ, а **рит-м**.
(Г. Григорьев, 1990: 18)

Блок покойный, Алексан-
др Александрович,
стишок начиркав, пьян
был и бел, бледен
лицом и сердцем.
(Залогина, 1994: 89)

Воспроизведение звука, который обозначался буквой «Р», можно видеть в тексте В. Сосноры:

Но по порядку: солнце еще не затмилось,
близко бежали на хутора овцы с глазами евреек,
дети-**диети** в цветастых платочках – их гнали.
(Наши платочки для носа, но и на голове хорошо им,
платочкам!)
Дети-генети их гнали, а овцы
шли на цепях, как белокурые бестии каменоломен
Рима, – до гуннов.
(Соснора, 1998: 174)

Конечно, здесь есть мотивация словом *диета*, но тем не менее Р в русском языке до XVIII в. произносился именно как дифтонг [ие].

5. Переход [’é]→ [’ó]

Изменение [’э] → [’о] (*e* под ударением, после мягкого согласного перед твердым или на конце слова) было активным фонетическим процессом XII–XVI вв. В результате возникло чередование *e* // *o* в таких словах, как, например, *весна* – *вёсны*, *сестра* – *сёстры*, *медовый* – *мёд*, *желтизна* – *жёлтый*, *шелка* – *шёлковый* ([ж] и [ш] до XIV в. были мягкими). Фонетический переход сопровождался и действием грамматических аналогий, после падения редуцированных некоторые согласные не сохранили своей мягкости, в церковно-славянском языке перехода [’э] → [’о] вообще не было. Всё это привело к ряду исключений, фонетические основания перехода стали неактуальными, образовались такие пары слов, как *небо* и *нёбо*, *крестный* и *крёстный*.

В современном русском языке чередование *e* // *o* является промежуточным между живыми фонетическими и историческими чередованиями. Тот факт, что буква «ё» может обозначать только ударный гласный, указывает на зависимость [’э] и [’о] от позиции звука в слове, то есть на то, что это чередование в современном языке живое. Но и [’э], и [’о] нередко могут находиться в тождественных позициях, что возможно только при исторических чередованиях: ср.: *нашей Лене* и *нашему Лёне*; *крестный* и *крёстный*.

Язык поэзии дольше, чем разговорный язык, удерживал исходное [’э]. Его сохранение было литературной нормой XVIII в. и в значительной степени XIX в. Однако «запрет употребления *ё* нарушался в XVIII в. систематически и издавна. Когда в 1820 году Воейков назвал пушкинскую рифму *копиём* "мужицкой", он опоздал почти на целый век» (Томашевский, 1959: 86).

Б. В. Томашевский исследовал динамику перехода [’э] → [’о], его условия и последовательность на материале рифм из поэзии XVIII в. Он установил, что [’о] проникало в поэтическое употребление сначала в суффиксе *–ёк*, а затем в падежных окончаниях существительных *–ёю*, *–ём*, затем в окончаниях глаголов *–ём*, *–ёшь*, *–ёт* и в корнях. Дольше всего [e] сохранялось в страдательных причастиях на *–ен*, *–енный*. Прослеживается и фонетическая зависимость: [’э] переходило в [’о] легче после шипящих согласных [ж], [ш], [ц], [ч] (указ. соч: 81–86). Обратим внимание на объяснение: «Наличие таких непарных согласных давало возможность изображать гласную не буквой *ё* (или ее старым вариантом), а буквой *o*, что до известной степени затушевывало стилистический характер этого изменения гласной» (указ. соч: 86).

В литературе XIX в. отмечается лексическая зависимость: «помимо форм на *-енный* и некоторых явных старославянизмов находим такие слова, как *мертвый, утес, рев, веселый, полет, села, знамена, орел* и др.» (там же – со ссылкой на исследование рифм XIX в. Р. Кошутичем).

В языке современной поэзии переход [’э] → [’о] представлен в значительной степени как живой процесс.

Следующий текст показывает, что переход ударного [’э] в [’о] после мягкого согласного перед твердым стремится к большей регулярности, чем предписывает норма современного литературного языка:

Как Эпикур, настало лето,
как петушок на палочке растаял Ричард III.
Но неизвестный **человек**
не стал смотреть в него – **убег**.
Но неизвестный **человѣк**
не стал смотреть в него – **убѣг**.
(Жуков, 1999: 117)

В данном случае автор предлагает либо в обоих случаях произносить [’э] (рифмой *человек – убег*), либо в обоих случаях произносить [’о] (рифмой *человѣк – убѣг*). В истории языка звук [’э] на месте бывшего [Р] (а именно [Р] был в словах *человек* и *бегать*) почти никогда не переходил в [’о], но есть и такие исключения, как слова *звѣзды, гнѣзда*. Эти исключения появились в результате действия аналогии (*весна – вѣсны*). Поскольку [Р] не сохранился, система современного языка не препятствует распространению аналогий и на другие слова.

Рифма нередко воспроизводит архаические варианты слов без перехода [’э] → [’о], имеющие в русском языке классической и современной литературы статус элементов высокого стиля и традиционных поэтизмов. Попытки реабилитации высокого стиля более всего заметны у поэтов петербургской школы, наследующей традиционные ценности культуры в противопоставлении идеологическим ценностям соцреализма:

В годину невзгоды, во время
Позора Батыева **плена**

Запомнило русское племя

Военные шведов **знамена**.

(Охапкин, 1989: 93)

Не лучше ль, князь Иван, нам хворостинкой сорной

Сгореть у Господа в карающей **руце**

Чем в чернецах чернеть, чем изменить **лице**

Чем тихо кончиться в немотствии соборном?

(Стратановский, 1993-а: 50)

Возьми щепоть от Бога, и тогда-то

в честном овале, в черепном **яйце**

напечатлеешь, осолишь **лице**,

и крест на нем проступит брусковато.

(Бобышев, 1992-б: 8)

Но к шинелям солдат, я молю, не питай отвращенья.

Нам, убитым, уже не приснится прощенье,

Потому что мы бились и гибли, и пали как **жертвы**

В этом братстве врагов, где одни уцелевшие **мертвы**

(Охапкин, 1989: 34)

Употребление [е] на месте [о] становится и сильным средством иронии. Любопытные примеры рифмы, настаивающей на отсутствии перехода [’é] → [’ó], находим в пародийных текстах. Лексическое наполнение рифмы сталкивает традиционный поэтизм (*полет, потек*) с такими словами, которые к поэтической традиции принадлежать не могут. Это либо поздние заимствования (*паркет, аптека*), либо слова конкретной семантики, никогда не входившие в высокий стиль, не образующие символа (*ноздря*):

Летает дева по **паркету**

кричит смеется и грустит

паркет не радуясь ее **полету**

таращит доски и блещит [о Наташе Ростово́й]

(Эрль, 1995: 21)

От яств дымились белые столы.

Дымились бочки, полные смолы.

Дымился лед под тяжестью пчелы,
 что выпила пьянящий йод в **аптеке**
 и умерла на зимнем **солнцепеке**.

(Артамонов, 1994: 12)

А в океане **пузырей**
 Скакали аленькие утки
 И кит дыша одной **ноздрей**
 Другою нюхал незабудки

(Волохонский, 1994: 34)

Иногда произношение [e], как в рифме, так и вне ее, дополнительно обозначено графическим способом:

колено ольги **оголЕнно**
 закончить нешто оглавленьем
 у ка зэ ка це ка

(Кузьминский, 1995-а: 17)

и **вдохновлЕн** овалами кругами
 <...>
 припав окладу ко **вспалЕнными** устами
 бесстыдно глаз в грудя твои уставя
 сих кайфу приобщиться недостоин
 зри: вод меж и небес парят твои шары
 солями **слЕз** даря прохладу от жары

(Кузьминский, 1995-а: 27)

вода и огонь понеже твердь
 воспоминанья также смертны

в пустом подвале воздух **спЕртый**
 пришед КОМАР что суть не жердь

с евженией и неким третьим

(Кузьминский, 1995-а: 46–47)

Есть немало примеров с контактом слов, различающихся только одним звуком. Когда между этими квазиомонимами нет генетической общности, такой контакт воспринимается как игра слов:

Закрою глаза
до самого лета,
до лётного лета,
до летнего лёта.

(Залогина, 1994: 77)

Может **допрежь допрёшь** упряжку
Коль не завалишься (вдруг – вороп!)
А там – кайся не кайся – уж не вывезешь.
(Векша) сорока стрекочет гостей пророчит.

(Кропивницкий Л., 1990: 68)

Но гораздо чаще квазиомонимия основана на словах общего происхождения. При этом антитеза, естественная в подобных случаях, практически не встречается: поэты постоянно стремятся не противопоставить значение квазиомонимов со звуками [e] и [o], а сблизить смысл этих слов в художественном образе, то есть устранить исторически сложившееся семантическое расподобление. Десемантизация возвращает слова, разные для современного языкового сознания, к статусу вариантов:

Египетские плечи напрягая,
мучительным усилием колен
мы разрывали **плён** блестящих **плен**

(Строчков, 1994: 11)

Остановка над дымной Невой,
замерзающей, дымной,
черный холод зимы огневой –
за пустые труды мне,

<...>

за граненый стакан наплаву
ресторана «Приморский»,
за блатную его татарву

в мерзкой слякоти мёрзкой

(Гандельсман, 1995-а: 24)

Особенно характерно для современной поэзии устранение оппозиции *небо – нёбо*, имеющее явную философскую основу в сближении духовного и телесного, а также в описании человека как мироздания и мироздания как органа речи⁵¹:

С ним согласны равно оба –

небо звездное и **нёбо**.

Ну какой же это враг:

и солгал бы, да никак!

(Бобышев, 1992-а: 31)

Нельзя назвать свинцовым это **небо** –

оно распухло, как в ангине **нёбо**, –

саднит гортань, и белым порошком

присыпано, как тающим снежком.

(Буковская, 1991: 84)

И Пьер, назад взглянув на повороте,

Увидел, что ворота превратились

В раскрытый рот: бульжник, будто зубы,

И **небо** красное, как будто **нёбо**.

(Чернов, 1980: 27)

Откуда взяться боли или гневу,

чтоб стало **небу** жарко, горько **нёбу**

привратника ворот высоких? Кто б ты не был,

премудрый страж ограды, слушай в оба.

(Хвостенко, 1995: 53)

О **небе** ночи и о **небе** **нёба**

⁵¹ Ср.: *Шарики, шарики! / Шарик детские! / Деньги отецкие! / Покупайте, сударики, шарики! / Эй, лисья шуба, коль есть лишни, / Не пожалей пятишни: / Запуцу под самое нёбо – / Два часа потом глазей, да в оба!* (Анненский, 1990: 129); *Я больше не ребенок! / Ты, могила, / Не смей учить горбатого – молчи! / Я говорю за всех с такою силой, / Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы / Потрескались, как розовая глина* (Мандельштам, 1995: 207) *Так, между небом и нёбом, /*

о **нёбе** неги и о небе слова
 о звездном соре и любви расплаве
 о приближеньи в чутком приближеньи
 О кранаховском мраке парадиза
 (Бурихин, 1992: 60)

Десемантизация различий еще более ярко проявляется вне контакта квазиомонимов – в контекстах, когда одно и то же слово выступает сразу в двух значениях:

Между еще не упавшим яблоком и повисшим облаком
 простирается **небо** изменения гласной –
 под оболочкой глаза лучи очертаний собраны
 в зияние точки.
 Поэзия открывает письму бесконечное чтение,
 и время, будто сокровенный магнит,
 искривляет прямую речи.
 (Драгомощенко, 1993: 48)

Примечательно, что здесь мы видим не стилистическое снижение высокого, а, напротив, номинацию телесного тем словом, которое в языке отчетливо противопоставлено названию телесного. Таким образом, название органа речи значительно и значимо повышается в ранге.

Развертывание метафоры *небо – нёбо* имеется и в таком тексте:

Выпадают зубки словно дождички
 видно, **небо-десна (нёбо-весна)** всё
 исстарилось
 исхудало оно, продырявилось
 стало шамкать, облачком балуясь
 хотя съело бы гром с удовольствием
 но под старость – беда с удовольствием
 пожирается лишь то, что съедается
 а желается все, что нельзяется...
 И разинуло пасть небо горестно

процедило сквозь зубы солнышко
 наступила зима солнцевелая
 ну а осень...

(Климов, 1994: 25)

У В. Строчкова генетическая и образная связь между *небом* и *нёбом* остается в подтексте, формирующем новую метафору:

Медленно-медленно **море ведёт языком**
по краю неба. И, вздрагивая, прогнувшись в спине
 до самой линии горизонта,
 длинно вздыхает. О чём? О ком?

(Строчков, 1994: 326)

В начале следующего текста слово *нёбо* имплицитно присутствует благодаря сгущению слов с буквой «ё», а затем появляется и эксплицитно, после чего опять встречаются два слова с буквой «ё».

Сфера не слабо, а нежно **солёного**
неба вращалась над бегло **зелёным**
клёном, что в сумерках цвета **топлёного**
 масла не выглядел **неудивлённым**.

Это желание трогать ребристое
 дерево в складках, как **нёбо котёнка**...
 это желание не серебристого
 цвета, но им замерцало в **потёмках**

(Кальпиди, 1995: 110)

Имплицитное включение слова *нёбо* представлено и синтагматически: сочетанием слова *небо* с теми определениями, которые в нормативном языке – вне художественной метафоры – могут относиться только к *нёбу*:

Отит,
 скарлатина,
 летит паутина:
 коклюшное **небо**,

синюшное **небо**,
 клетухи в тифу,
 у деревьев желтуха,
 пришли сентябрины
 на тощие глины.

(Сатуновский, 1994: 33)

Во многих из цитированных текстов со словами *небо* и *нёбо* можно видеть, как действует общий закон поэтического языка: стремление образной парадигмы быть обратимой (см.: Павлович, 1995: 79). В частности, современные стихи показывают такое существенное для культуры XX в. явление, как перестановку связей и отношений человека и природы (см.: Некрасова, 1994: 48).

М. В. Панов говорит о том, что в истории русского литературного языка накладывались друг на друга две тенденции: сделать все слова двухвариантными для разных стилей или уменьшить вариативность, закрепляя за словом определенное произношение, при этом соотносительность знаков должна была бы распадаться. «Развитие пошло и тем, и другим путем <...> Так, например, уже в послешишковские времена произошло со словом *небо* – *нёбо*. Сначала говорили [н'óбо] – обозначая (в среднем стиле) и небеса, и часть ротовой полости. «Ты что, с [н'ó]ба упал?» – так, по свидетельству А. С. Шишкова, было принято говорить еще в конце XVIII в. Постепенно, под влиянием церковнославянских произносительных традиций, стали в одном из значений (в том, которое семантически ближе к темам Священного писания) употреблять слово [н'э]бо. Такое произношение закрепилось. Вариантность слова *небо* исчезла. Появилось два слова» (Панов, 1990: 311). В настоящее время мы наблюдаем, что нереализованные в нормативном и обиходном языке возможности способны вновь стать актуальными и осуществиться в языке поэзии спустя столетия.

При осмыслении соотносительности звуков [э] и [ó] в современном языке, а также букв «е» и «ё» в орфографии, стоит обратить внимание на следующий факт: необязательность и, более того, нежелательность регулярного обозначения «ё» (анализ причин и следствий такой ситуации в орфографии см. в работах: Еськова, 1967; Иванова, 1988) сообщают букве «ё» своеобразный маргинальный статус. Поэтому отношение многих поэтов к самой букве небезразлично. Постмодернизм особенно внимателен к маргиналиям. Некоторые из при-

веденных текстов – *простирается небо изменения гласной Драгомощенко, море ведёт языком по краю неба Строчкова, коклюшное небо, синюшное небо Сатуновского* – осуществляют именно те возможности, которые обусловлены необязательностью буквы «ё» на письме. Поэтому письменное представление текстов оказывается функционально более нагруженным, чем устное, которое не могло бы обойтись без выбора. И это тоже значимо в поэтике и в философии постмодернизма, культивирующего визуальную поэзию: «Именно возможность П[исьма] гарантирует абсолютную идеальную объективность, историоризацию и традиционализацию смысла» (Керимов, 1996: 364).

Для нашего времени характерно, что механизмы текстуальной оплошности, в данном случае связанные с неполнотой фонетической обусловленности и лексической закреплённости чередования *e//o*, с факультативностью буквы «ё»⁵² осваиваются не только языковой игрой, но и становятся весьма серьёзным средством осмысления мира.

Некоторые авторы, игнорируя орфографические рекомендации, ставят букву «ё» во всех позициях, где звучит соответствующий звук, например, В. Строчков, В. Кальпиди. В некоторых текстах, вопреки правилам, пишется «о» после шипящих:

Вот и есенинская цветь
Столетний юбилей справляет.
Как пену *жолтую* воспеть
Главы? – Ее он подставляет

Всем сострадательным рукам.

(Машевский, 1997: 57)

Мне б разрыв-травой разжиться
И напиток **чорна** сока,
Ах, как стала бы я птица
Улетела б я далеко.

(Шварц, 1996: 34)

⁵² Ср. *он уехал в Сибирь, женился, осел* (из очерка) или *в нашей гостинице вы передохнете* (из рекламы в газете).

Такие написания можно считать орфографическими архаизмами (ср. приведенное выше наблюдение Б. В. Томашевского о том, что в XVIII–XIX вв. буква «о» помогала избегать неприличной для высокого стиля буквы «ё», что способствовало более легкому перенесению разговорных элементов в поэзию).

Психология восприятия буквы «ё» как неприличной переносится и в современность, однако уже на другой основе – на основе ассоциации с бранной лексикой (ср. достаточность начальной буквы для формирования эвфемизмов типа *ёлки-палки, ё-моё, ёксель-моксель*):

Звук «е» от «ё» настолько же отличен,
насколько «маму» отличим от «мать».
За это «ё» в печати обезличен
стираньем точек – чтоб не оскорблять

людей фонетикой ассоциаций.

(Киперман, 1994: 215)

На основе чередования 'е // 'о предлагается и омонимическая игра слов – ироническое сближение слова *пение* со словом *пень*:

В конкретно-историческом контексте
пожалуй, лучше танцы, чем **пеньё**...⁵³
Я молча выполнял ходьбу на месте
не то, чтоб с радостью,
но и не без нее.

(Бунимович, 1999: 151)

Обзор и анализ материала показывают, что процесс перехода ['é] → ['ó], который происходил в истории языка, не прекратился, его результаты не закрепились окончательно. Современные поэтические тексты активно реализуют стилистические потенции традиционных поэтизмов – как попытками воссоздания высокого стиля, так и травестийно-ироническим употреблением. Слова и формы с ['é] на месте современного [i] имеют ярко выраженный цитатный ха-

⁵³ Ср.: *Чтоб наших дочерей всему учить, всему, / И танцам! и пень! и нежностям! и вздохам!* (Грибоедов, 1988: 40).

рактен часто независимо от лексического наполнения фонетической модели. Семантизация различий оказывается обратимой, и это связано с вниманием к трансформациям, с философией устранения границ между конкретным и абстрактным, высоким и низким, сакральным и профанным, природой и культурой, человеком и природой.

Преобразование бывшей языковой метафоры *небо* – *нёбо* в художественную (лексикализация фонетического различия привела к тому, что в обиходном языке она даже и языковой метафорой быть перестала) особо значимо в современной философии логоцентризма, поскольку сакрализуется название речеобразующего органа.

История орфографического отражения перехода [’é] → [’ó] также становится предметом рефлексии в современных текстах. Оказывается, что сама орфография позволяет актуализировать двусмысленность, понять ее как метафору отождествления. Эта метафора вносится в контекст философии XX в., культивирующей плюралистическое восприятие действительности, которое в определенной степени и на новой ступени наследует традицию символистского двомирия, но отрицает иерархию ценностей, составлявшую основу символизма.

III. ЭТИМОЛОГИЯ

Корчюя корни сросшихся слов,
библейский торф, перегной былин,
бульдозер сносит культурный слой
до рыжих безродных глин.

(Строчков, 1994: 256)

Поиски первичного, сущностного смысла слов всегда занимали людей, и этимологическое сближение понятий – иногда наивное, иногда исторически точное – постоянно было и остается актуальным. Поэты сделали в этой области очень многое для того, чтобы удержать язык от энтропии, слово от деэтимологизации. Этимологическое сближение слов связывает прошлое с настоящим: исторические связи между понятиями мыслятся как актуальные. По существу, для поэта нет разницы между этимологическими сближениями и тавтологией, во всяком случае, эту разницу он старается устранить.

1. Тавтология

Тавтологический повтор, нередко порицаемый нормативной стилистикой, но имеющий глубокие корни в словесной магии заклинаний, провозглашается правом и обязанностью поэта:

Поэт! Не бойся тавтологий,
Окольных троп не проторяй.
Пусть негодует критик строгий,
Ты удивленно повторяй:

«Какое **масляное масло!**»

Какой на свете **светлый свет!**» –
И ты поймешь, как много смысла
Там, где его, казалось, нет.

Пусть химик видит фтор и стронций,
Тебе же – истина видна:
Какое **солнечное солнце!**
Какая **лунная луна!**

Среди полян, машин и башен
Броди восторженно один
И бормочи: «Как **дом домашен!**
Как **дождь дождлив!** Как **зверь зверин!**

Как **ум умен**, как **дело дельно**,
Как **страшен страх**, как **тьма темна!**
Как **жизнь жива!** Как **смерть смертельна!**
Как **юность юная юна!**»

(Эзрохи, 1995-б: 204–205)

И автор прав в своем заклинании: метафорические и метонимические потенции языка, а также непредсказуемость переноса наименований по функции настолько сильны, что практически всё в языке подвержено деэтимологизации, потере исходного смысла. Сейчас вполне можно писать *красными чернилами*, *стрелять* совсем не стрелой, наши *мешки* давно не из меха, строительные *леса* делают из металла, воздушные *шарики* теперь бывают вытянутыми, переплетенными, с ушами и хвостом. Воспитатели поправляют только тех, кому *страшно весело*. В 60-е и особенно в 70–80-е годы студенты летом – во время *третьего семестра* – становились *бойцами стройотряда проводников*, и мало кто удивлялся этому абсурдному пустословию. Потому что это, в сущности, нормальный, то есть естественный, путь развития лексических значений. Только в любой точке времени то, что в данный момент находится в процессе деэтимологизации, заметно как ошибка словоупотребления или как художественный прием.

Настойчивый повтор в случае стертых, но еще не забытых этимологических связей тоже, подобно очевидной тавтологии, превращается в заклинание:

Вселенная **передняя** в трактир
Оставьте мысли место за вином

<...>

Пирог приятных откровений
Преподан ей. Он **перед нею**.
Он **спереди**. Вот он **передний**.
Пред нею он. Она имеет
Его. Она его владелец.
Владеет им. Он весь ее.

(Волохонский, 1994: 29)

Вместе с тем внимание авторов привлечено к возможному изменению словообразовательной мотивации:

О сила глагола, жгущего сердце кайлом,
и кожу – клеймом, и голову – утюгом.
Всякую безоружную и живую
жгущий и выжигающий
губы – глаголом губить,
море – глаголом морить,
травы – глаголом травить.
Игра слов, что стала битвой
при кладбище любимой из многих планет,
поэтому я против глаголов
и за – предмет.

(Щербина, 1991: 72)

При изменении мотивации новые значения, сформировавшиеся в истории языка, мыслятся как исходные, и тавтология в таких случаях перестает быть собственно тавтологией; тавтологический эпитет превращается в логическое определение:

этому дала
этому дала
этому дала

странная страна

странная страна

странная страна

и временные времена⁵⁴

(Некрасов, 1989: 15)

Какое странное число,
какая **странная страница**,
и воздымается весло,
и по веслу вода струится.

Какая **странная страна**,
кругом заброшенный торфяник,
и ты – какая старина! –
как зачерствелый мятный пряник
грызешь слова, слова жуешь,
но не разжевывая в звуки.

Шурша травой, уж и еж
не отражаются в излуче

(Горбаневская, 1997: 10)

Вместе с тем иногда очень точно подмечается смысловая тавтология в тех языковых фактах, которые обычно проходят мимо языкового сознания. Приведем полностью текст Б. Констриктора под названием «Тавтологический стих»:

Аркадий

Райкин

(Констриктор, 1997: 316)

Текст основан на синонимии слов *рай* и *Аркадия*.

Анализ фактов, показывающих внимание современных поэтов к этимологии (именно язык мыслится хранителем и носителем правды) позволяет ска-

⁵⁴ Ср. название летописного текста «Повесть временных лет».

зять, что способы представления этимологических связей чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Конечно, этимологизация наиболее активно проявляется в контекстуальном сближении родственных слов.

2. Этимологическое сближение слов в контексте

Самым распространенным способом оживления этимологических связей является помещение однокоренных слов в контекст. Нередко родственные связи слов открыто декларируются:

– Чего ты **трясешься**?
Ты, видимо, **трус**.
Разве можно бояться коров?
– Я не трус, я не трус,
Я коров не боюсь,
А боюсь только их рогов.

(О. Григорьев, 1997: 47)

Так горит заря в ботве.
(С **клубнем** – туч **клубы** в родстве!)
Снизошла с небесной битвы
до картофельной молитвы.

(Бобышев, 1997: 70)

Забытое этимологическое значение слова (внутренняя форма) обновляется определениями, сказуемыми, обстоятельствами, выраженными теми частями речи, которые сохранили исходный образ:

На века затянулась расплата.
Память **печет раскаленной печатью**.
Смутное время изводит **печалью**
забывших, что Голос есть Логос –
Слово, разум, мысль и закон.

(Пробштейн, 1993: 60)

И отмеченный **жгучей печатью**,

я пришел ко второму причастью,
 чтобы видеть и ведать, и верить,
 чтоб избыть немоты проклятье
 (Пробштейн, 1993: 60)

сутки выдохлись **впритык**
 сутки свежие занялись.
 сутки **смежились** как штык
 сутки следние взялись
 (Сапего, 1995: 7)

Там, в речной струе речевых затей
 Верткий воздух ловить: не хватает прыти
 Уходить, сверкнув, из любых **сетей**,
Сплетен, судеб, объятий, болей, наитий.
 (Вольтская, 1994: 8)

Этимологическая образность создается актуализацией словообразовательного механизма – помещением слова в структурном параллелизме с другим, аналогично образованным словом, этимологически прозрачным:

Кружево снежное.
Ветрево синее.
 Дымно-туманная
 бытность российная.
 (Залогина, 1997: 22)

Поэт находит в современном языке ближайшие словообразовательные связи слов, указывающие на прямую связь исходного и производного слова:

До свиданья, Русь моя во мне!
 До світання проміня во мгле!
 Отзвенел подойник **по делам**, –
поделом!..
 Пойдемте по домам
 (Соснора, 1998: 143)

Не детализируя разновидности этимологических фигур, покажем, как этимологизируются некоторые слова и приведем минимальные контексты, демонстрирующие массовость явления и его лексическое разнообразие.

Ниже приведены примеры контактного расположения исторически однокоренных слов⁵⁵.

ба-: *И «баю-бай», и туго пеленами / заматываем по рукам-ногам, / (потом – иные меры применяем). / И – сказочку, как баивали нам* (Бобышев, 1992-б: 72–73);

брем- // берем-: *брремя беременных – толстое пузо* (Йодов, Вещагин, 1994: 42);

ве- (←вР -) // ви-: *Березка. Девушки прическа. / Рассвета/заката полоска. / Виток (т. е. ветер). Волна. / «Дороги». «Закат над заливом»* (Лосев, 1987: 46); *Вихорь времени едва шевелит / мой вихор* (Кублановский, 1994: 80);

воп- // вып- (←вьп-): *И скрипка вопит в переходах метро, / Вопит, как болотные выпти в России* (Бетаки, 1995: 62); *и выпть вопила / черными ночами* (Бирюков, 1995: 85); *Ушел, и возопил я выпью* (Пригов, 1998: 150); *выпью он вопит ухаает совой* (Кузьминский, 1995-а: 56)⁵⁶;

гад- // гаж- : *Загадкою гадкой загажен* (Крутой, 1989: 467);

гла-: *и счастлив мой глагол и глас!* (Соснора, 1982: 101);

гор-: *Горько мне гореть ручной звездой* (Чейгин, 1992: 3);

горож- // гражд- (←гор/о/д-): *За город грянули граждане горожане* (Волошин, 1995: 62);

дых- //дох- // дух- // дыш- // душ- (←дъх-): *Я, задохнувшись, сдохну по д ручьем* (Барскова, 1994: 17); *без вдохновения я сдохну / вдохни в мя дух свой спелым телом* (Кузьминский, 1995-а: 44); *Слышу – как душа моя дышит.* /

⁵⁵ В список не входят тексты, анализируемые в следующих разделах главы об этимологии. Иногда поэты включают в ряды с этимологическим повтором включаются и сходно звучащие, но не родственные слова (явление паронимии). В цитатах они графически не выделены. Варианты корня с исконным согласным или гласным приводятся в скобках только для тех случаев, когда исторический корень содержал элементы, отсутствующие в современном языке. Для полногласия и неполногласия в качестве исходных принимаются те варианты корня, которые встречаются в цитируемых текстах. Список этимологически родственных слов дается с опорой на словари: Фасмер, 1986–1987; Этимологический словарь славянских языков, 1974–....

⁵⁶ Ср.: *И осень, дотолу вопившая выпью* (Пастернак, 1965: 355).

Дышит и в вас, коли не задушили, / <...> Страдание мое – глубокий вдох. / А выдох ее – любовь (Шварц, 1993: 72);

зор- // **зар-** // **зир-** // **зер-** // **зр-** (←**зьр-**): *ее, ея, которую я зрю, – / на выморг ока только, навсегда ли, – / такую не зазорно, как зарю // вос-созерцать! Но пристальные зерна / несносны ей... (Бобышев, 1992-б: 93); прозрачных юношей, невзрачнейших девиц (Лосев, 1985: 54); Зрячему зрителю – зряше ли? зря ли пляшу? – / И надзирателю – с оптикой в призрачном оке (Галкина, 1989: 51);*

кон- // **-ча-** (←**кон-** // **кен-**): *Начало упирается в конец* (Бурихин, 1990: 132);

край-: *Вот и поем про годы золотые, / про то, как край выкраивали наши* (Миронов, 1993: 27);

кром-: *С кем на кромке тьмы кромешной / Друг Актера говорит?* (Галкина, 1989: 82);

крут- // **круч-:** *Сидоров впал в кручину, / Бросился с кручи в пучину* (Григорьев О., 1997: 143);

кры-: *Открытие крыльев – за спиной и за душой* (Залогина, 1994: 103);

лед-: *Перспекты, линии, ступени, ледышка вместо леденца* (Кенжеев, 1992: 74);

мещ- (←**мРст-**): *та – мещанка, эта – помещица* (Кривулин, 1990-в: 177);

мор- // **мрак-** // **морок:** *Мрак. Морок. Обморок. Морока. Мор. / И – мрак...* (Михайловская, 1995: 34);

/об/лак- (←**/об/вълк-**): *Оболокнув наш город облаками* (Галкина, 1989: 91); *и никак не растает таблетка, облатка, тусклая капсула, / рассосаться не может её оболочка, обложка, обличие, облачко* (Строчков, 1994: 339);

ок- // **-оч-:** *Закононый ли свет заочный* (Кенжеев, 1993: 64); *в очках все очи* (Соснора, 1997: 155);

порох- // **порош-:** *и пороху напороши* (Соколов, 1990: 29);

прав-: *И всадник право правит сим конём* (Охапкин, 1994: 25);

прост- // **прощ-:** *Прощание поссорилось с прощеньем* (Залогина, 1994: 14);

- роб-:** *Хлопкоробкам робкого десятка* (Пурин, 1995: 29);
- ры- // рв- (←рѣв-):** *он сам, Рылеев, рыл тот ров, в который / сорвался, оборвав веревку* (Голь, 1994: 7);
- ряд-:** *Как беспорядок тут распорядился?* (Галкина, 1990: 65);
- си- // се- (си- // сР-):** *Сеятель грубого света, прошедшего тайно сквозь сито* (Аристов, 1992: 72);
- сквоз- // скваж-:** *Где-то кузнец в звукокузне / словно гвозди кует эти звуки: / Сквасина... сквозь... и наскрозь* (Стратановский, 1993-а; 120);
- слов- // слав- :** *Только словом слава и крепка там* (Пурин, 1995: 45); *и слава одна, что слова – / бумага простая без пятен* (Буковская, 1991: 11);
- стор- // стер- // стра-:** *И просторнее пространство* (Шельвах, 1992: 12); *потом растворилась, в пространстве – простерта* (Климов, 1994: 38);
- сторож- // страж-:** *и краткое забвение должно быть / настороже, на страже, на посту* (Ахмадулина, 1999: 11);
- студ- // стыд- // сты-:** *тарелки студня стыннут на окне* (Гандельсман, 1995-б: 13); *Я зажигаю свет, и проступает стыд, / как тайнопись меж строк постыдных и постылых* (Яснов, 1990-а: 32); *А кто съест студень, тот стыден будет* (Йодов, Вещагин, 1994: 9);
- суд-:** *Сами судьбы – страшные суды* (Соснора, 1994-а: 16);
- твор- // твар-:** *Творчеством то есть они занимались, – и это понятно. / Всякая тварь испытала на собственной шкуре, что значит творить* (Соснора, 1994-а: 6); *Где чем меньший творец я, тем большая тварь* (Юрьев, 1992: 154);
- трав-:** *Резиной и бензином, отравленной травой* (Бетаки, 1995: 60);
- Чай – трава отравная* (Шварц, 1996: 33);
- тоск- // тес- // тощ- // тщ- :** *Ухожу, а тоска тесна* (Друскин, 1989: 89); *Пою тебя, мое уничтоженье / И истощенье, и, уже в тщете / Отчаянья, последнее вторженье* (Охапкин, 1994: 47);
- треп-:** *тик-так любое / трепет а не треп* (Бирюков, 1995: 142);
- тряс-:** *И что за трясина / тряская в самом нутре?* (Лосев, 1985: 99);
- тяг- // туг- // туж-:** *Полно мне тужиться, тяжбу с собой заводить...* (Миронов, 1993: 47); *Тяжесть в тяге моей* (Парщиков, 1995: 32);

уз-: *Эти пути, узлы, эти узы – / узы родства!* (Постникова, 1989: 324);
Этот холм в степи, неумышленно голый, – / это узел пространства, узилище свету (Жданов, 1991: 77);

холм- // шелом-: *В чаше летнего холма, / Полного шелома* (Булатовский, 1995: 14);

хором- // храм-: *От храмов до хором, от теремов до тюрем* (Еремин, 1979);

хорон- // хран-: *Чтобы тело свое / Мужика **схоронить**, / Чтобы душу свою / На века **сохранить*** (Лён, 1990: 8);

хруст- // хрящ-: *Хрустит хрящами, хлопает ушами* (Николаев, 1994: 28);

чад-: *Исчадие, / Но чадо века* (Ширали, 1992-а: 34).

Обратим внимание на то, что в этимологических сближениях нередко участвуют слова, генетическая общность которых не лежит на поверхности, однако художественный образ оживляет утраченную связь или устанавливает новую:

Тьма путей

прочерченных червем

все поглотила

как яблоко – Адам.

<...>

Но

для червя одно –

Адам и яблоко и дерево.

На их скрещеньи червь восьмерки пишет

червь

вывернувшись наизнанку чревом⁵⁷

в себя вмещает

яблоко и дерево

⁵⁷ Этимологические словари (Фасмер, Трубачев) не отмечают этимологического родства слова *червь, чрево, чертог* и *чертить*, однако современные исследования такое родство устанавливают: указанные слова восходят к праиндоевропейскому корню * *ker-* с чередованием *e // #* (ноль звука) и с первичным значением 'резать'. (см.: Откупщиков, 1967: 174; Этимологический словарь славянских языков, 1977-IV: 82–83).

(Кедров, 1990: 27)

кит – червь верченый
 во чреве скит
червя время –
чрево
чертог
 горечь
 речь
 Рек киту Иона
 во время оно

(Кедров, 1990: 37)

В ряды этимологического повтора включаются и слова, заимствованные из других индоевропейских языков, а также производные от этих слов:

бордосский – бордовый: *Рецептов бордосских пропоиц / <...> Священную силу кагоров / С бордовым осадком на дне* (Соколов, 1990: 70);

герб – гербарий: *Пшеница перешла, покинув герб, в гербарий* (Бродский, 1992-II: 420);

гений – гениталии: *я знаю Фрейда: / гений гениталий* (Кутик, 1993: 67);

гранит – граница: *Дальше – камень, гранит, граница* (Залогина, 1994: 72);

идиот – идиома: *Какой-то идиот / придумал идиомы* (Еременко, 1991: 119);

кристаллик – хрустальный: *Ну, поработай, стих, кристаллик хрустальный, призма* (Машевский, 1992: 138);

музыка – муза: *Ибо музыка с музой коллеги* (Скородумова, 1993: 23);

парус – парусина: *И парусов парусина / сохнет в соседнем дворе* (Лосев, 1985: 99);

редактор – редуктор: *Из тебя выйдет славный доктор, / или редактор, или редуктор...* (Щербаков, 1997: 153);

роман – романс – романтика: *наверно я / романтизирую / романизирую / и романсизирую / наши отношения // как ты думаешь* (Ахметьев, 1993: 83);

универсам – универсум: *И сказочный в окне Универсам / сияет, будто целый универсум* (Левин, 1995: 116).

Этимологическое сближение нередко осуществляется сопоставлением слов, имеющих уменьшительные суффиксы, с производящими словами:

Вот так и живем в минимальном мире,
где горы суть соитие **пыли**
с пыльцою крыл грубоватого, впрочем, помола
в разливах хмеля, которому несть финита.
(Скородумова, 1993: 32)

...Не говорю, что понят, но говорю – любим
черной **пыльцою-пылью**, следующей за ним...
(Беспрозованная, 1995: 247)

Зритель прыскает в кулачок, словно снимает стружку.
Шут с тобою, коль под тобою трон.
Будь я последним в миру, я б ко двору приходился
Петрушкой,
будь я первым – **Петром.**
(Скородумова, 1993: 9)

А на первых ступенях разлежся,
грея пузо солнышком Эпира⁵⁸,
ученик любимый пастернаков
и сынок любимейший эдипов.
Там, вверху, он скалам повторяет,
как орал сам цезарь на него,
благо, что и **цезарь** был не **цезарь** –
так себе, **цесарка**, гоголек.⁵⁹

⁵⁸ Ср.: *Нерасторопна черепаха-лира, / Едва-едва, беспалая, ползет, / Лежит себе на солнышке Эпира, / Тихонько грея золотой живот* (Мандельштам, 1995: 147).

(Лаптев, 1994: 63)

и, избочившись стоя прилечь,
тут же,
где **не лыком**, а **лычками** шит,
пухло
обмякает тупеющий меч,
тучно
оплывает рыхлеющий щит.

(Строчков, 1994: 207)

И **ряска рясой** золотой
Мерцает, как бы под водой

(Охапкин, 1989: 41)

Морена, майя, маета! Как **ряса, ряска**

(Щербина, 1991: 24)

В карманах молодость и **шпильки**,
воспоминания, знакомства...

А вне карманов – только **шпили**,
Нева, да петербуржье солнце.

(Антонова, 1991: 34)

В таких случаях привлечение внимания к суффиксу с уменьшительным значением потенциально ведет к восстановлению понятийных и образных связей между производящим и производным словами.

3. Этимологическое расчленение

Другим распространенным способом этимологизации, тоже заметным как массовое явление, можно назвать этимологическое расчленение слова на части.

⁵⁹ Ср.: *Откуда привезли? Кого? Который умер? / Где <...> ? Мне что-то невдомек... / Здесь, говорят, какой-то Гоголь умер? / Не Гоголь. Так себе. Писатель. Гоголек* (Мандельштам, 1995: 356).

Слово может превращаться в словосочетание: *ночи солнечный свет, первой бытности ток* (Антонова, 1991: 72); *Да вместо имения над речкой – / местоимения, наречья* (Бобрецов, 1994: 106); *Отчаянье... Оно зовется так. / И это – путь от чаянья к нему же* (Охапкин, 1989: 153); *Лежу всей тяжестью души / В отчаяньи, отчалив что ль / От чаянья, в такой глуши, / Где слышать что-нибудь уволь* (Охапкин, 1989: 160); *Ох, спасибо же ей, спасибо, / Спаси Бог ее, Бог спаси* (Бергер, 1990: 88); *Во благо рода лечь – не есть ли благородство?* (Строчков, 1994: 13); *на благо всем ух^ола колбаса* (Левин, 1995: 21).

Нередки случаи графического членения, сопровождающегося изменением ритмики слова, появлением дополнительного ударения: *Говорил мне Шу, воз-дух Египта* (Голышко, 1995: 577); *Со-мнение. Сладкий дым вечера. / Со-ре-нование. Словом очеловечено. / Со-скучимся. Вино извинит* (Залогина, 1994: 74), а иногда и переосмыслением одной из морфем: *Во всяких там стихо, – о, твореньях!* (Шельвах, 1992: 46).

В последнем примере гласная буква, соединяющая два корня, перекодируется одновременно на двух противоположных стилистических уровнях: в одическое *О!* и в передразнивание заикания. Кроме того, здесь не исключено имплицитное присутствие глагола *отворить* – ‘открыть’, и тогда *о, твореньях* может читаться как ‘открытиях’.

Интересен пример с множественным переосмыслением каждой из морфем без потери этимологической достоверности:

Придется с веком наравне,
как в просвещении и мне
стоять пред Господом – и не
досадуя, что о России
судить возможно лишь по силе,
с которою она по сыне
беспамятствует, чтобы в **пра,**
как в право, славии с одра
– удвоенным: *пора, пора* –
ответить по его кончине,
в котором из московских царств
и некоторых государств
последнюю нам силу даст! –

Бежать все дальше от царей
туда, где голова целей,
а значит, и от их церквей.

(Бурихин, 1990: 137)

Слово *право* получает в этом стихотворении двойную синтаксическую нагрузку: оставаясь частью слова *православие*, разделенного запятой, оно становится и обособленным модальным словом. Часть *–славии*, сохраняя статус второго элемента двухкорневого слова, становится одновременно и окказионализмом, образование которого можно связать и с понятием славы, и с понятием славянства.

4. Графическая этимологизация

Этимология может быть представлена совмещением знаков, предназначенным для того, чтобы зрительно выразить семантический синкретизм исторически однокоренных слов:

на **двор(ц)е** [двор+ дворец]
оловянный скляннй лунч
тигротóвый к прыжку
щуурит глаз

(Альчук, 1994: 6)

лесвет сетьмы
ве(т)ёр рыбік [веер + ветер]
лодок сквозь

к...

(Альчук, 1994: 17)

Тут бы мне и разочароваться –
Да ведь очарован и не был.
Кареглазый я **к(о)роль(ик)?**, [король+ кролик]
к(о)рол(ь)ик.

(Голынкин-Вольфсон, 1994-б: 191)

Сл^с_ава Сл^а_ева
 сл^с_ава сл^а_ева
 с^л_нова с^н_ела
Сл^о_авно [словно+ славно]
 словно я и не я
 и сам не свой
 словно ты не я
 а я не твой

(Могутин, 1993: 11)

Вариант, обозначенный буквой в скобках, написание через косую черту (см. пример *об/вернуться* на сс. 000), написание в виде арифметической дроби предназначены для того, чтобы создать модель синкретического, неразделенного представления смысла, которое было типичным для древних языков и соответствовало мифологическому способу познания. Такие стихи, конечно, можно читать только глазами.

5. Этимологизирующая орфография

В ряде случаев этимологизация может быть ориентирована на визуальное восприятие, поскольку отклонение от нормы затрагивает орфографию, но не произношение⁶⁰. По отношению к современной норме автор делает намеренную ошибку как непослушный или неприлежный ученик, однако это нарушение восстанавливает исторический корень, чем демонстрируется правота непослушания, право быть иным:

а рядом –
 попал в перетяжку –
 трепал **деревяжку** [деревяшка ← деревяга]
 Карп Рябов...

(Сатуновский, 1994: 119)

⁶⁰ Впрочем, в текстах с орфографической этимологизацией возможно искусственное произношение звука, соответствующего букве не в слове, а в алфавите.

В. Ширали показывает общий корень слов *работа*, *робеть* и *раб*:

А с бардака на работу.

Благолепствовать.

Рабетъ.

(Ширали, 1992-а: 22)

Он утверждал:

– Всю жизнь я в мастерах,

Всю жизнь я сам

и самый.

Я самоею,

господствую,

И все со словом смею,

А мне бы

порабетъ в учениках.

(Ширали, 1992-а: 130)

Орфографическая этимологизация выполняет и характеризующую функцию:

я засмеялся в страхе за этого старца:

«Ты **черезчур** беспечен, старательный старец...».

(Шельвах, 1992: 10)

В контексте обращения к *старательному старцу* воссоздается языковая примета его времени, когда морфологическое написание приставок на –з было нормой и перед глухими согласными. Это становится то ли мысленным передразниванием (мысленным – потому что фонетически оно непередаваемо), то ли, напротив, включением мира собеседника в свой мир, установлением своеобразной связи времен).

В следующем примере устаревшее написание *мятель* не только вновь объединяет слово *метель* с исторически производящим глаголом *мять*, но и устанавливает слова *метель* – *смятение*. Тем самым создается ситуация психологически мотивированной образности слова (теперь принято объяснять

внутреннюю форму слова *метель* сугубо бытовым действием *мести*). Архаическая орфография гармонично соответствует рисуемой картине с ангелами и демонами:

Не здесь мой дом.

Где ангелы летят дождем
 В бульжник тертый, камень битый,
 Надо всем стоит Исакий,
 Тусклым золотом облитый.
 Где ангелов метет **мятель**,
Мятель метет – туда, туда,
 Где демоны, как воробьи
 Сидят на проводах.

(Шварц, 1991: 145–146)⁶¹.

К примерам этимологизирующей орфографии примыкает такое явление, которое можно было бы назвать этимологизирующим окказиональным словообразованием. Авторская деформация слова направлена на его сближение с однокоренными словами:

то ли овраг, не то ли провал,
 или куда?... Он весь замок,
 но дул из **скважины скважняк**,
 и где-то гдесь плутал звонок,
 и в голове возник возняк.

(Строчков, 1994: 176)

И он летел и зорким обводил,
 и воздевал, и гордо устремлялся,
 и ел **вортушку** (ею он питался),
 угрозен и волнист, как крокодил.

(Левин, 1995: 23)

⁶¹ В сборнике Е. Шварц «Западно-восточный ветер» слово *метель* напечатано по современной орфографии (Шварц, 1997-а: 72).

В первом тексте слово *скважняк* по своему звучанию отдаляется от этимологического корня *сквоз-*, но приближается к слову *скважина*. Фон правильного слова *сквозняк* ощутим очень ясно, и в результате происходит не деэтимологизация, а, напротив, этимологическое сближение двух родственных слов. В данном случае написание показывает корень слова не в его первичном варианте *сквоз-*, а в производном, тем самым сближая исторически однокоренные слова *скважина* и *сквозняк*.

Во втором примере слово *вотрушку* – типичный пример игровой поэтической этимологии – интересно тем, что за ним ощущается возможный этимологически первичный вариант слова *вотрушка*.⁶²

Следующее употребление слова, меняющее его произношение, можно было бы назвать этимологизирующей подправкой:

Бегущей пищи по урочищам
 Не **поймать** середь ладоньми
 Срывая когти в мехе убегающих
 Иль крылиев пернатых лебедями
 Тени улавливать?

(Волохонский, 1994: 24)

Слово *поймать* с заменой буквы «й» на «и» реставрирует и написание до XVIII в., когда буквы «й» еще не было (она введена в алфавит в 1735 г.), и произношение до редукции гласных полного образования, и этимологические связи слова с такими словами, как *иметь*, *понимать*.

6. Акцентологическая этимологизация

Перемещение ударения тоже способно возродить стертую образность слова:

⁶² Существуют разногласия в установлении этимологии слова *ватрушка*. Версии о его происхождении от глагола *втереть* со звуком [о] в приставке придерживались А. И. Соболевский, К. Грот (Фасмер, 1986-I: 279). Есть также предположение о перестановке согласных в слове *тво-*

И раб, поспешающий с новым романсом,
и в трансе литейная голь,
чей ветхий манжет отдает декадансом
и в брючинах **пóрхает** моль,
– все знают, сколь властно на полном развале
ты царствуешь тут. И свеча
в твоём канделябре сравнима едва ли
не с блестящим зверьком у плеча.

(Кублановский, 1994: 31)

Слово с архаической огласовкой включено в контекст, указывающий на устаревший быт, ушедшую жизнь (*ветхий манжет отдает декадансом, свеча в канделябре*). Показательно, что при перемене ударения меняется образное восприятие слова. Современный глагол *порхать* связывается с легкостью, беспечностью, пустым, не одобряемым удовольствием. По существу, метафорическим значением глагола (ср. *порхать по жизни*) почти вытеснено основное. Перемещение ударения все эти коннотации, появившиеся в языке, снимает, и движение рисуется как неприятное.

Глагол *восхитить*, первичное значение которого 'похитить, подняв вверх' уже совсем вытеснено переносным 'вызвать сильную положительную эмоцию', проявляет свое этимологическое значение в поэзии при переносе ударения настолько часто, что глагол в его первичном значении можно считать возрожденным⁶³.

шагнет – и **восхИщенный** будущей Колымою
художник тюрьмы разрывая с телесной
тюрьмою
парит над веками – и счастлив еще дурачок.

(Кривулин, 1990-а : 44)

рожька (Этимологический словарь русского языка, 1968-III: 26). А. Левин предлагает другую перестановку.

⁶³ Традиция поэтического употребления слова с таким ударением и значением восходит к сакральным текстам, например: *Я сказал: Боже мой! Не восхити меня в половине дней моих!* (Пс., 102 /101/, 25). Ср. также: *ВосхИщенной и восхищённой / Сны видящей средь бела дня / Все спящей видели меня / Никто меня не видел сонной* (Цветаева, 1994-I : 531).

Господи, Господи! Не дотянуться рукой
 Ни до кого – все **восхищены**⁶⁴ жизнью.

(Буковская, 1991: 65)

И благодарно созерцать
 Как, самодержец, ляжешь спать,
 Наследуя державный сон,
 Отчизною со всех сторон
Восхищенный незримо,
 Во власти серафима.

(Охапкин, 1989: 41)

Характерно, что во всех цитированных текстах акцентологический архаизм в форме причастия стоит в таком окружении, что вне стихотворного ритма его можно было бы читать с современным ударением и переходом ['é] → ['ó]. Переакцентировка придает слову противоположное значение: положительная эмоция трактуется как насилие. Слово в стихе оказывается противопоставленным слову обиходному как истинное ложному.

Другие примеры:

Вы помните, что бегуны⁶⁵
 От Мира до Чукотки
 Не отличались, хоть бы хны,
 Изяществом походки,

Поэтому, чахотки не
 Взирая на угрозу,
 Рысцою двигались оне,
 Чтоб избежать курьёзу.

ТрусЛи, трусили, трясли
 Мошной пустой мошонки –
 Турусы на колёсах ли? –
 Труссы ли одежёнки!

(Лён, 1990: 22)

⁶⁴ Ударение поставлено мною – Л. З.

и, все-таки, я разглядел,
 как недотепистый подпасок
 шел через поле и горел
 в его руке фонарь. А следом,
трусИли (трУсили?) слоны
 (или коровы?) и неведом
 был путь процессии (длины
 едва ли кем-то постижимой)
 и сердце тикало в тисках.

(Сычев, 1999: 32)

См. также примеры на с. 000 (*пошло – пошло, гнилюю воду*).

К примерам акцентологической этимологизации примыкает употребление слова *издохни* О. Охапкиным:

Приди! Гортань моя тебе открыта
 Алтарным сводом. Слово **издохни!**
 И вознеси горе сад алфавита,
 О, альфа и омега *alma vita*.
 Златого семисвещника огни!

(Охапкин, 1994: 74)

В этом тексте неизбежно присутствует фон вульгаризма *издохнуть* – слiва, которое выводится автором текста из грубого просторечия в высокий стиль.

7. Синтаксическая этимологизация

Этимологическое значение слова может быть выражено и синтаксически: изменением сочетаемости этого слова. Это достигается, например, употреблением слова без типичного для современного языка синтаксического пространства:

⁶⁵ Ср.: *Вы помните, как бегуны / В окрестностях Вероны / Еще разматывать должны / Кусок сукна зеленый* (Мандельштам, 1995: 215).

Что ж, пожалуйста,
 Если в Одессу.
 В Одессе прошлым летом было мне хорошо.
 Был я смуглая пляжная голь,
 Фруктов уйму наел,
 И кровь **перестала** из десен.
 И с обугленной кожи морскую облизывал соль.
 (Ширали, 1992-б: 28)

Не утверждаю, что наступит год,
 Когда нас славой и добром помянут.
 Не утверждаю,
 Но твержу:
 Вперед.
 Устали мы,
 Стихи не **перестанут**.

Мы еще будем молоды, друзья...
 (Ширали, 1992-а: 45)

Я тебя быть может **перестану**.
 Я тебя никогда не забуду,
 Даже если ты
 Полустанок
 В тупиковых
 В столичных
 <...>
 Нас,
 Любимая,
 Жизнь одолела.
 Это очень весеннее дело.
 Я тебя может быть **перестану**.
 Я тебя
 Никогда
 Не устану.

(Ширали, 1992-а: 67)

Жизнь **перестанет**,

устанет, уйдёт, отлучится.
 Как нервно она замирает,
 когда её мучат.

(Залогина, 1997: 39)

...В стране, где **перестать** недолго,
 Где киснет, а не льется кровь –
 Я разыграла пальцем долга
 Свою великую любовь.

(Каменкович, 1996: 76)

В современном русском языке слово *перестать* может употребляться и без последующего инфинитива, но только если речь идет о погоде: *дождь (снег, мороз) перестал*; в Библии употребление глагола *перестать (престать)* без синтаксического распространителя гораздо шире: *любовь никогда не перестает* (1 Кор. 13, 8); *доколе не престанет луна* (Пс., 71, 7); *неужели престала милость Его* (Пс., 7, 9); *не престанет правда Моя* (Ис., 51, 6).

В следующих трех примерах видим противоположное явление: к существительным *точка, очерк, восток* в современном языке почти совсем потерявшим связь с производящими глаголами *ткнуть, очертить, течь* добавляется генитивный распространитель, типичный для отглагольных существительных (ср. фразеологизированные термины, в которых слова *точка* и *очерк* представляют собой стертые метафоры: *точка кипения, точка зрения, очерк истории, очерки русской диалектологии*). Это приводит к оживлению связи между глаголом и существительным, то есть этимологизирует это существительное:

Лети, ты, лепет трех морей и трех
 времен! Ты в поднебесье – только **точка**
моих чернил... Передо мной папирус,
 и утром знаки новые на нем
 не знаю, – зазвучат, не зазвучат.

(Соснора, 1994-а: 37)

Очки мои, покидающие
 лица моего границы,
 два светлосиреневых глаза,

очерк носа неясен.

(Лосев, 1985: 42)

Прильни ко мне, о, счастье, Суламита!

<...>

Я – речь твоя. Ты – песнь моя. И оба
Мы – устье двух потоков, слитный ток.
И в нас отражены все звёзды неба,
Сопряжены Эдема и Эреба
Всемирные струи, **речей восток**.

(Охапкин, 1994: 74–75)

Языковая метафора *время истекло* становится авторской в сочетании глагола с дополнением:

Тут мимолетный катерок,
как милицейский ветерок,
промчался, изменя
Фонтанки мутное стекло.
Я понял: время **истекло**.
Буквально – из меня.

(Лосев, 1985: 45)

Любопытно, что в этом тексте лексически парадоксальное сочетание накладывается на типичную для древнерусского языка идентичность приставки и предлога. Текст примечателен еще и тем, что изображение ситуации представлено в нем одновременно и грубо сниженным (человек не нашел уборной) и философским – с опредмечиванием понятия времени как отчуждаемого внутреннего содержания человека. В современных языковых шутках с усеченным цитированием знаменитых изречений есть и такая: «Всё течет, и всё из меня». И приведенный текст Л. Лосева, и эта шутка вполне отражают постмодернистское устранение различий между высоким и низким.

8. Этимологический подтекст

Этимологический подтекст (намек) – пожалуй, одно из самых интересных явлений, получивших значительное распространение в современной поэзии. Обычно указанием на несказанное слово становятся его синонимы или исторически однокоренные слова:

а) Синонимы

О родная речь! До дьявола – оттенков,
слов, словес, словечек – просто короба...
Синонимов, антонимов изысканные пенки!
Сочные прибрежи дворняги-матерка!

<...>

Пресная рыбешка – знаки **спотыкания**... [препинания]
Как ножом консервным
в банку
с пресной той,
в знаки **шепотания**, в знаки **заикания**
врежу восклицательною запятой –
!

(Прийма, 1989: 329)

А повар хитер и лукав

<...>

Он гладит мальчонку чуть-чуть
И ласково курвой
Зовет худощавую мать,
Что моет посуду
И **зябнет** глаза подымать – [стыдится]
В них словно по пуду...

(Крестинский, 1993: 54)

В тексте А. Крестинского происходит обновление метафоры *стыдиться* – ‘испытывать холод’ (см.: Ларин, 1977: 63).

б) Исторически однокоренные слова:

Пришли вороны с востока, а я робче птенца, сед как овца,
не оставили ни волосца животца и деревню сожгли до кола.
Рожь **бронею** пожали, на небо сбежали. [борона]
Живем на кладбище, а хлеб в огнище,
на ногах воистину одни голенища.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 7)

В стихах А. Иконникова-Галицкого, где постоянно взаимодействуют русские элементы с инославянскими, слово *бронею* употреблено и как полонизм, соответствующий русскому слову *бороною*, и как собственно русское слово в его метонимическом значении оружия – поскольку речь идет о военных действиях.

Другой пример:

В твоём лице есть два **окна**, [око]
я через них на мир смотрела бы.
Зачем тебе нужна жена,
зачем купил мне платье белое?

(Саед-Шах, 1989: 344)

В данном случае метафорическая и одновременно этимологическая замена *око* → *окно* порождает развертывание метафоры: *я через них на мир смотрела бы*.

У А. Миронова противоположно направленная замена в той же этимологической паре поддерживается анаграмматическими созвучиями, связывающими все слова строки в единое целое:

Не сочтите, что казнь жестока,
в третий раз поклонюсь Востоку,
окунусь в купельное **око**, [окно]
чтобы мертвых не узнавать...

(Миронов, 1993: 36)

Этимологическая пара *окунуть в купельное* содержит звуковые комплексы [окн] и [кно], полностью составляющие слово *окно*: **окунуть в купельное**. Они и настраивают на то, чтобы в слове *око* прочесть слово *окно*. Вместе с тем слово *купельное* указывает на исторический корень *куп-* в слове *окунуть*.

Похожий пример – *Над зажмуренными окнами / Над заснеженными крышами* (Летов, 1994: 38). Слово *окнами* выступает здесь в своем основном значении, но согласуется с причастием *зажмуренными*, характеризующим только глаза.

Приведем еще несколько примеров таких метафор, которые представляют этимологию в художественном образе, созданном на базе однокоренного слова:

Дальше – камень, гранит, граница
между **дланиями рек** и почвой. [долинами]
(Залогина, 1994: 72)

Ослеплый грешок – канва, а **расплата – каемка**, [раскаяние, казнь]
пальцы бегают по ложеснам виноватым аллюром.
Косвенный переводчик литературы –
страх заполнить собою женскую емкость.
(Гольинко, 1995: 569)

Стратановский – поэт-академик,
Держит в руке **роз веник**, [венюк]
Роз Анакреонта.
(Филиппов, 1992: 101)

Хорошо на смертном ложе:
запах роз, **других укропов**, [кропить]
весь лежишь, весьма ухожен,
не забит и не закопан.
(Аронзон, 1995: 235)

в **порошок снеговой** ли сотрут [пороша]
этот город ледащий
за пустой огнедышащий труд,

в ту трубу вылетающий

(Гандельсман, 1995-а: 24)

Смерть подражает очертаньям жизни,

и речь в проказу вбита запятыми, [сказать]

и непривычно видеть эти тени

от внутреннего солнца в нас самих.

(Жданов, 1991: 68)

куда ни сунешься – везде журнальное *вчера*

чего мы ждали – жизнь перевернется

когда Четвертая, из чеховских, сестра

пройдя и лагеря, и старость, и юродство

таким заговорит кристальным языком

что и не повторить? но только зубы ломают

студеные слова несомые **тайком** [стыдные]

весь век во рту – и век уже на склоне

(Кривулин, 1993-б: 84)

На внутреннем темном **вскипевши** огне,

Горячие слезы бегут по щекам, [горючие]

Промокшие четки – стекают оне

По грубо притиснутым к векам рукам.

(Шварц, 1998: 54)

и мощные узлы ограды

метали копья на бегу

в – чтоб воскресая был не рад он –

веков **простуженный чугун.** [застывший, остуженный]

(Казаков, 1995: 62);

Поэзия –

Это попытка быть точным, [ткнуть]⁶⁶

Это **пытка точностью.**

(Ширали, 1992-б: 146)

Ворона хлопает крылами,

качая дерево сухое,
и время, сотканное нами, [сутки]
 летит, как облако больное.

(Миронов, 1993:12)

Слова *сутки* и *ткнуть* – исторически однокоренные, этот же этимон – *тък-* лежит в основе слов *текст* и *ткань*.

Образ создания поэтом текста как формирования судьбы мифологическими парками – одна из важнейших тем современной поэзии. У Л. Лосева есть стихотворение «Ткань (*докторская диссертация*)», подробно развивающее тему текста-ткани⁶⁷. При этом автор обсуждает различные подходы к анализу текста – метод академического структурализма, метод интертекстуального анализа с его сосредоточенностью на поиске литературных источников, вульгарно-социологическое литературоведение, критику, заботящуюся о соответствии авторской позиции идеологическим установкам государства:

1. *Текст* значит *ткань*¹. Расплести по нитке тряпицу текста.

Разложить по цветам, улавливая оттенки.
 Затем объяснить, какой окрашена краской
 каждая нитка. Затем – обсуждение ткачества ткани:
 устройство веретена, ловкость старухиных пальцев. 5
 Затем – дойти до овец. До погоды в день стрижки.
 (Sic) Имя жены пастуха. (NB) Цвет ее глаз.

2. Но не берись расплетать, если сам ты ткач неискусный,
 если ты скверный портной. Пестрядь перепутанных ниток,
 корпия библиотеки, ветошка университетов² – 10
 кому, Любомудр, это нужно? Прежнюю пряжу сотки.
 Прежний плащ возврати той, что продрогла в углу.

2.1. Есть коллеги, что в наших (см. выше) делах неискусны.

Все, что умеют, – кричать: «Ах, вот нарядное платье!
 Английское сукнецо! Модный русский покрой!»³ 15

⁶⁶ Обратим внимание на повтор сочетания [тк] в словах *пытка* и *попытка* – на стыке корня и суффикса.

⁶⁷ Ср. слово *текстиль*.

- 2.2. Есть и другие. Они на платье даже не взглянут.
 Все, что умеют, – считать миллиметры, чертить пунктиры.
 Выкроек вороха для них дороже, чем ткань.⁴
- 2.3. Есть и другие. Они на государственной службе.⁴
 Все, что умеют, – сличать данный наряд с униформой. 20
 Лишний фестончик найдут или карман потайной,
 тут уж портняжка держись – выговор, карцер, расстрел.
3. *Текст – это жизнь.* И ткачи его ткут. Но вбегает кондратий⁵ –
 и недоткал. Или ткань подверглась воздействию солнца,
 снега, ветра, дождя, радиации, злобы, химчистки, 25
 времени, т.е. «дни расплетают тряпочку по-
 даренную Тобою»⁶, и остается дыра.
- 3.1. Как, Любомудр, прохудилась пелена тонкотканной культуры.
 Лезет из каждой дыры паховитый хаос и срам⁷.
4. *Ткань это текст это жизнь.* Если ты доктор – дотки.

Примечания.

1. См. латинский словарь. Ср. имя бабушки Гете.
2. Ср. то, что Набоков назвал «летейская библиотека».
3. Эгих зову «дурачки» (см. протопоп Аввакум).
4. Ср. ср. ср. ср. ср. ср.
5. (...) Иванович (1937–?).
6. Бродский. Также ср. Пушкин о «рубщице» и «певце», что, вероятно, восходит к Горацию: *purpureus rannus*.
7. См. см. см. см. см. см. см.!

(Лосев, 1985: 78–79)

В следующем примере видим сближение понятий *ткать* и *шить* из жаргонного фразеологизма *шить дело (приговор)*⁶⁸ :

в то время, когда **ткались** договоры –
 совсем как приговоры – ни о Ком –

⁶⁸ Глагол из современного фразеологизма *шить дело* имеет глубокие исторические корни. В XV в. записан текст притчи: *Она же яже о крагуяре своем сказа мужу своему, яко леть на ню шишл есть, того ради, яко не послуша его на скверное дело* (Стефанит и Ихниллат, 1969: 84).

двух демиургов европейской флоры,
писателей с гремучим языком.

(Миронов, 1993: 45)

Слово-подтекст может быть иноязычным (внутренняя форма, то есть первичный образ, дается через перевод):

Посреди степи бескрайней
на двенадцати дубах
неспроста обосновался
орнитолог Розенбах.
Он себя еще покажет
этот немец,

этот гусь!

[Ганс]

Я боюсь не за Европу,
не за Азию боюсь!

(Салимон, 1989: 351)

Но много ли теперь осталось:

безликий ноль, **овал яйца**,
пасхальный нимб, такая малость

[лат. ovum – ‘яйцо’]

(Скородумова, 1993: 63)

Вот отнимут, накажут, забудут в углу,

Где **змея серпантина** на скользком полу,

[лат. serpens, –entis – ‘змея’]

И проекты побега к кисельному берегу...

(Зельченко, 1991: 24)

А ведь царь, наш отец, посылал за полками полки –

На **Луну** шли драгуны, летели уланы, кралися стрелки,

И **Луну** притащили для нас на аркане,

На **лунянках** женились тогда россияне.

Там **селения** наши, кладбища, была она в нашем

[лат. Selena – ‘луна’]⁶⁹

плененьи.

А теперь – на таможне они будут драть за одно посмотренье.

(Шварц, 1995: 20)

⁶⁹ Ср. у того же автора: *Вокруг Селены быстро мутной / Ладьею утлой кружилась я / На содрогающемся, смутном / И темном сердце бытия* (Шварц, 1998: 45).

Есть солдат аляповатый и **червь**
пахнувший вермутом (все спрятано за спиною) [лат. *vermis* – ‘червь’]
 В свидетелях нет подлога –
 туда-сюда спасатели и пожарники Чем
 обеспечено свидетельство?
 Мною.
 Но нет залога.

(Парщиков, 1995: 9)

При замене слова однокоренным может быть создан текст, рассчитанный на восприятие современного значения слова как нарочито абсурдного по отношению к этимологическому:

Нечетно раз бежит Евгений [нечетно]
 младенцев новых наводнений,
 бежит туда, безумный муж,
 где в муках мается Параша.

(Миронов, 1993: 9)

Пусть я поверил – алгеброй **гармонь**, [гармонию]
 ведь я всего лишь клавиш-лилипут.
 Вот ходит ищет по двору горбун,
 что нам до них? никто не виноват.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 18)

Этимологическим подтекстом может стать и двойная мотивация слова или формы (в приведенном ниже контексте это окказиональная форма сравнительной степени *тощей*):

Рай гранулированных гор в аду тусовок,
 фольварков, парков, роц, могил⁷⁰ для двух
 кроссовок,
 скудельницкий джаз-рок, биг-бенд, и на трахее
 играет соло мой скелет, душа, психея.

⁷⁰ Ср.: Так некогда Шопен вложил / Живое чудо / Фольварков, парков, роц, могил / В свои этюды (Пастернак, 1965: 447).

Морена, майя, маета! Как ряса, ряска
 скрывает, что **тощей** кнута в неволе ласка, [тощий – тоска]
 и что у тела тыла нет и веры нету,
 и сыплет бабочка-душа пыльцу по лету.

(Щербина, 1991: 24)

Помимо замещения слова исторически однокоренным возможна и синонимическая замена, выявляющая этимологию слова, эксплицитно в контексте не представленного. В следующем примере находим основание для того, чтобы прочесть несказанное имя *Спас*. Оно угадывается через созвучие *бéрег – берёг* (для современного языкового сознания паронوماзию, поэтическую этимологию)⁷¹ и синонимию *сберечь – спасти*:

Я помню силу.
 И прыть прыгать
 через реку на другой
берег. И он берёг.
Ведь берег и Бог – [беречь, Спас]
одно слово.
 Только первое – мать,
 второе – Отец.

(Залогина, 1994: 99)

Однокоренная и синонимическая замены комплексно представлены в следующем контексте:

Вчера был вечер. Гости соблюдали **морды поведения.** [приличия]
 Терпи, бумага!
 Не Вакх, не варвар,
 с черепом стакана я витийствовал однако. [черепок, черпать]
 Колодец водки на столе! В ушах – звук крови.
 Испытывал **кружение мозгов,** – симптом любви. [головокружение]

(Шельвах, 1992: 19)

⁷¹ Впрочем, об этимологическом родстве этих слов и о мотивации *берег* – ‘берегуший’ см.: Потебня, 1993: 103.

Этимологизирующий подтекст, основанный на символе, можно видеть в следующем примере, наглядно показывающем множественность языковых и культурных связей слова в контексте и за его пределами:

А он стоит, сам-князь на пире брачном –
 крылатый, Божий и ничей,
 и, обнимая взглядом мир прозрачный,
 стреляет галок и грачей.
 Ложится спать пред утреней субботней,
все мясо рыбой окрестив окрест,
 Свеча горит у Матери Господней,
 и воробей тугое сало ест.

(Миронов, 1993: 21)

Строка *все мясо рыбой окрестив окрест*, абсурдная при первом восприятии, имеет множественную мотивацию: она выявляет синонимию *окрестить – назвать*; актуализирует этимологическую связь *окрестить – окрест*, основанную на том, что ближайшая территория была названа как церковное объединение; намекает на антиклерикальную поговорку *перекрестить поросю в карася*⁷². Но кроме всех этих смыслов при возможном прочтении слова *рыбой* как творительного инструментального возникает смысловое сближение *рыба – крест – Христос*.

9. Этимологическая метафора

Этимологической метафорой можно было бы назвать метафору, основанную на забытом этимологическом значении слова; образ, вызванный этимологией и реставрирующий утраченные смысловые связи.

Так, например, слово *завидовать*, помещенное в метафорический контекст *завидовать, зенками звезды бодая*, выявляет свой корень *вид-*:

⁷² Переименование мяса в рыбу – один из бродячих сюжетов, осмеивающих притворное соблюдение поста. Эпизод с таким переименованием встречается, например, у П. Мериме в «Хронике времен Карла IX» (глава «Два монаха» – Мериме, 1955: 250).

Оставьте **завидовать, зенками звезды бодая,**
 Походке моей, что гагачьему пуху подстать.
 Тут нет ни одной, что б затмила бобылок Валдая,
 И так на салазках никто вас не станет катать.

(Соколов, 1990: 177)

Следующий пример показывает образное описание артикуляции глухого билабиального смычного (образуемого тесным смыканием губ) звука [п'] в слове *Петербург* (стихотворение «Без названия»):

Родной мой город безымян,
 всегда висит над ним туман
 в цвет молока снятого.
 Назвать **стесняются уста**
 трижды предавшего Христа
 И все-таки святого.

(Лосев, 1996: 49)

По существу, такая артикуляция [п'] – это жест молчания: при произнесении этого звука рот закрыт. Слово *стесняются* – ‘не решаются произнести’ приобретает и буквальный этимологический смысл ‘смыкаются’, а название стихотворения из писательского клише превращается в прямое обозначение обсуждаемой темы. Смысл этого образа уходит корнями в философию исихазма с его постулатом о непронизимости святого имени и еще дальше в мифологическое табуирование слова.

Один из способов создания этимологической метафоры – выстраивание ряда образов, основанных на синонимичных этимонах:

Любая мысль есть правда с ложью
 В святом сойти, как в сугубом сраме,
 Всех уравнив, всех приобщив к **лекалу**
Изгибов духа, **кривизны лукавой,**
 Когда все стало всем, все переходит
 В инаковость, как блудный инок.

(Феоктистов, 1994: 5)

Вот самое время настало крушить

миражи,
 Не верить ни эху, ни оху, ни ушлому уху,
 И помнить, в угоду кротам высветляя
 чернуху,
 Слегка **перегнешь** и как раз **изовьешься**
во лжи.
 (Лейкин, 1991: 72)

Рассмотрим несколько примеров употребления слова *время*, этимологическое значение которого связано с глаголами *вертеть*, *вертеться*. Деэтимологизация этого слова, развившегося из праславянского **vertmen*, произошла вслед за упрощением группы согласных, которое состоялось еще в праславянскую эпоху. Но современная поэзия упорно разными способами вновь и вновь связывает это слово с кругом, круговым движением, кольцом, со всем, что имеет округлую форму:

Нет, память – не ноша, а пьяное **время**,
мохнатых Эриний услужливый рой.
 Умершее в сердце горчичное семя,
 горчайшее время с полынной звездой.

Вино настоялось и **кружится время**,
 в слепой **круговерти** лишь тело живет,
 лишь тело – нелепое горькое бремя –
 в горчайшую Лету, как время, течет.

(Миронов, 1993:19)

А день так и метит в висок.
 А темь так и дышит в затылок.
И вертится век, как в воронке
 оплошно застрявший волчок.

(Чухонцев, 1989: 88)

В кольце времен есть камень семигранный
 и чаша есть с небесного стола,
 чтоб напоить народ богоизбранный,
 не ведающий ни добра, ни зла.

(Миронов, 1993: 29)

Образ времени как круга включается и в серию исторически однокоренных слов, связанных между собою отношениями суффиксальной деривации, семантического словообразования и акцентологической омонимии:

Вслед повесткам живем и вслед
похоронкам.

Время смотрит на белый свет
вороненком.

Ждем привычно дурных вестей
поневоле.

Не собрать нам своих костей
в этом поле.

(Яснов, 1995: 21)

Снег ноздреватый водой назревает,
воздух набух и во рту застревает,
подозревает весну воронье –
как надрывается! Криком надорваны,
падают, падают, падают **вороны**
чёрной **воронкой** на микрорайон.

(Строчков, 1994: 87)

Это карта времени: вышки из-под руки,
и то віроны, то ворінки, то «воронкІ».

Я на этой карте дома не возвожу
и на будущее хозяйски не погляжу.

(Галкина, 1989: 42)

Рассмотрим последний пример. В этимологическом повторе представлены зловещие образы от универсального, вневременного символа кружащихся воронов – предвестников гибели – к кругообразному следу бомбы, снаряда (включается тема войны) и далее к автомобилю, везущему на гибель. Слова *ворінки* и *воронкІ* в этом контексте являются современными представителями слова *время*, воссоздавая образ времени-круга обозначением новых смертоносных реалий. *Ворінка* – это и водоворот, и предмет кухонной утвари, и технический термин. Подобно тому, как вещества всасываются в воронку, люди вса-

сываются в смертоносный автомобиль. А эта машина *кружит* по городу. В формировании художественного образа участвуют все смыслы.

Итак, тексты современных поэтов показывают глубокий осознанный интерес авторов не только к истокам слова, но и к тем его добавочным современным смыслам, которые возвращают к жизни этимологическое значение слова, переводя это забытое значение в актив современного языкового сознания.

IV. ЛЕКСИКА

Оттаяв, обладает даром речи
 прямой эфир,
 но, отзываясь нам,
 как удивленно привыкают вещи,
 как осторожно привыкают вещи
 к своим почти забытым именам...

(Вишневский, 1989: 44)

1. Лексические архаизмы

а) Стилистика лексических архаизмов

Для языка современной поэзии, как уже говорилось, характерно снятие оппозиции между высоким и низким. Многие слова высокого стиля и традиционные поэтизмы оказались скомпрометированными либо банальностью, либо лицемерием. Чаще всего они употребляются теперь иронически – и по отношению к миру, ценности которого не принимаются поэтом, и по отношению к самому себе – как к человеку, сознающему свою слабость, понимающему свою отдаленность от высоких ценностей и тщетность стремления к ним. Современный автор постоянно критически смотрит на себя со стороны недобрыми глазами. Пожалуй, самая главная и почти единственная ценность современного поэта – это речь, язык, и здесь он чаще серьезен. Христианские ценности были противопоставлены идеологии, официальной для советского времени, и многими ав-

торами устанавливались особые «интимные» отношения с Богом вплоть до богохульства.

Для поэзии последних лет особенно характерны стилистический контраст и нарочитая стилистическая дисгармония, доходящая до какофонии. В такой речевой стихии изменяется и языковой статус лексических архаизмов. За точку отсчета может быть принята следующая закономерность их нормативного функционирования: «Умозрительность таких слов, как *очи, уста, взор*, проявляется в том, что образы, ими называемые, реализуются в пространстве нашего воображения – не конкретном, доступном непосредственному восприятию, но именно "мысленном"» (Яковлева, 1998-а: 49).

Исследования динамики образной системы в поэзии показывают, что одной из ведущих тенденций XX в. является снижение высокого и поэтизация бытового (см.: Кожевникова, 1995: 43–47). Эта тенденция проявляется и при употреблении лексических архаизмов. Так, Т. Н. Кандаурова отмечает, что в поэзии Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Р. Казаковой, Е. Винокурова, Н. Рубцова, В. Федорова слова типа *десница, зеница, лик* и слова с неполногласием в корнях типа *брег, град, глас, хлад* употребляются «с достаточно четкой установкой на использование их в нетрафаретных и, даже шире, в вообще непривычных для них сочетаниях слов, в контекстах, связанных с пейзажными зарисовками, описанием явлений повседневной жизни, бытовыми подробностями» (Кандаурова, 1994: 72–73).

Приведем один пример, который включает в себя разнообразные архаизмы – и лексические, и фонетические, и синтаксические – в пародийном сюжете о разоблачении шпиона:

Одна из лучших, самых алых, зорь над лугом.
Вот **ветр** проносится с ему присущим звуком
над избытием зеленых, синих трав.
За горизонтом **стадный** топот **крав**.
Как метроном, попукивает кнут.

Как одуванчик, пролетает парашют.

Шпион из рядовых, под номером трехзначным,

себя поздравил с приземлением удачным.

<...>

Шпион внезапно слышит свист **цевницы**.

Приблизился, развел кустарник, **зрит**:
как лампочка, на почве **огнь** горит;
перед пламенем младенец прыгает, и видно,
что – Ванятка;
за поясом кнута желтеет костяная рукоятка;
глаза стеклянные; как мокрый мел, **власы**;
как медный бубенец, на шее прыгают часы –
в эмалевом кружке двенадцать **числ**,
но стрелок, стрелок нет!»

«И в этом некий смысл? » –
так размышлял шпион за решетом куста,
покуда пастушок прикладывал **уста**
к семи,- и сладко,- гласному предмету всех эклог.

Шпион придумывал общению предлог.

(Шельвах, 1992: 8–9)

Отметим соседство архаизмов с просторечной лексикой – *попукивает кнут*, неполногласие у слова *крав*, отсутствующее в нормативном языке, неполногласие у слова *власы* в изображении бытовой и неприглядной картины: *глаза стеклянные; как мокрый мел, власы*.

Пародийный текст прямо контаминирует архаизм с современным вульгаризмом, включая архаизм в брань:

Егери точильщику царапают бересту **купно**,
Видимо, передал им доезжачий Ильин ультиматум:
Мастер-ламастер, упырь и дурной и вздорный,
Зрели мы тебя в гробу⁷³ с твоими костылями,
Прыгал бы ты, одутловатый, к бобылке на хутор,
Ябедничать же станешь – изведаеть, почем фунт лиха.

(Соколов, 1990: 128–129)

б) Расширение словарного состава и сочетаемости лексических архаизмов

Т. Н. Кандаурова говорит о том, что у Б. Ахмадулиной, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Р. Казаковой, Е. Винокурова, Н. Рубцова, В. Федорова в поэтический оборот вовлечены всего 12–15 повторяющихся слов с некоторыми индивидуальными предпочтениями, «круг вызванных к новой жизни славянизмов значительно уже того, который был определен В. Г. Белинским как богатое сокровище для разумного употребления. Отсутствуют даже такие традиционные славянизмы-поэтизмы, как врата, глад, мраз, ланиты, перси и т. п.» (Кандаурова, 1994: 74). Вывод Т. Н. Кандауровой таков: «Употребление в наши дни в поэтических текстах маркированных славянизмов, расширяющих потенциальные выразительные возможности русской речи, – это не пережитки ушедшей в прошлое стилистической системы, в которой они в большинстве случаев были мотивированы содержанием стиха, а явление по своей функции качественно новое, не имеющее широкого распространения, составляющее специфику языка отдельных поэтов и связанное с еще одной редукцией стилистико-парадигматической противопоставленности у членов соответствующих корреляций» (указ. соч.: 75). При обращении к текстам поэтов маргинальной для советского времени культуры этот вывод подтверждается только в той части, которая констатирует функциональную новизну поэтического употребления архаизмов и совсем не подтверждается в той, где говорится об ограниченности их набора. Сейчас происходит активное расширение круга архаической лексики по сравнению с традиционными поэтизмами. Мы встречаем не только такие слова, как *очи*, *персты*, *уста*, *длань*, *десница*, *лик*, *зеница*, *зреть*, *несть* ('не есть', 'нет'), *рцем*, но и не относящиеся к поэтической традиции (или забытые ею) *выя*, *подружие*, *борзо*, *зело*, *купно*, *вскую*, *обаполы* и др. Заключительная часть вывода Т. Н. Кандауровой – о редукции стилистико-парадигматической противопоставленности у членов соответствующих корреляций – находит подтверждение и на новом материале, но не вследствие сокращения количества коррелятивных пар, как следует из наблюдений Кандауровой, а в результате

⁷³ Контаминация вульгарной поговорки *в гробу я его видел* (*видел я его в гробу в белых тапочках*) со словами из Покаянного стиха «Зрю ты, гробе...» – см.: Владышевская, Сергеев, 1981.

нейтрализации оппозиции между высоким и низким. Это хорошо видно на примере слова *очи*, судьба которого отражена современной поэзией.

Во многих текстах конца XX в. наблюдается любопытное явление: слово *очи* употребляется без стилистического снижения чаще всего тогда, когда говорится о глазах животных, насекомых, птиц – вопреки представлению о том, что «стилистически высокое соотносится с д у х о в н о й сферой, в которую "животному" вход закрыт» (Яковлева, 1998-б: 413).

Анализ употребления слова *очи* в поэзии последних лет показывает, что современное сознание оперирует теми смыслами высокого слова, которые сложились в поэтической традиции, и вместе с тем осваивает новый его смысл, который складывается в новых контекстах.

В синонимической паре *глаза – очи* исторически первичным является слово *очи*. Именно оно остается словом основного словарного фонда в большинстве славянских языков. Слово *глаз* означало ‘кругляш, шарик, блестящий камень’. В контекстах с употреблением обоих членов синонимической пары слово *очи* выступало обычно во множественном числе (после разрушения двойственного), а *глаз* – в единственном числе, обозначая глазное яблоко: *Очи серы, на правом глазе бельмо* (см.: Соколова, 1952: 10–12). С преобразованием метафорического значения слова *глаз* в прямое и, вследствие этого, с установлением единого объема понятия для обоих слов произошло повышение их стилистического статуса: лексема *глаза* стала употребляться как нейтральная, а лексема *очи* переместилась в высокий стиль, в сферу сакрального и поэтического.

Как показало исследование О. В. Шульской, традиционный поэтизм *очи* в XVIII в. становится, подобно многим другим архаизмам, версификационным дублетом, в XIX в. «преодолевается традиция формального использования славянизмов и проявляется тенденция к дифференциации смыслов нейтрального и высокого синонимов», например, у Лермонтова: *В глазах огонь угаснувших очей* (Шульская, 1986: 135–136). В XX в. вместе с расширением в рамках высокого стиля образных коннотаций слова *очи* наблюдается и резкое усиление стилистического контраста в контексте: *Сволочь очи подымает* (Вознесенский), и расширение сочетаемости, приводящее к намеренному снижению ореола стилистически окрашенного слова; ср. у А. Межирова: *Уставясь тяжело печаль-*

ными очами; у Д. Самойлова: *Чтоб очи продрать на рассвете* (указ. соч: 138; примеры О. В. Шульской).

Активность употребления архаизмов «в условиях намеренного соположения контрастно стилистически и эмоционально окрашенной лексики» приводит и к ослаблению их прежнего звучания, снятию выпренности, литературного ореола (Иванова, 1977: 77). Изменение стилистического статуса слов заложено в системе языка (см.: Шульская, 1988: 93). Т. М. Николаева показывает, что контрастное соположение высокой и сниженной лексики уже в XVII в. – в текстах протопопа Аввакума, – создавая стилистическое напряжение, приводило вместе с тем и к ослаблению стилистической маркированности слов. Подобное явление можно наблюдать и в сатире XVIII в. (Николаева, 1992: 65).

Приведем два противоположных по стилистической тональности фрагмента со словом *очи*, которое в первом контексте представлено как демонстративно не книжное – рядом с просторечной формой *родителей*, а во втором включено в ряд вульгаризмов:

Скобелев вылетает, белый конь, а с ним и солдаты,
И бегут, закрыв глаза, раскосые орды.
Скатерть-самобранка белой Сибири
Зацепилась за саблю и несется куда-то.
Много крови пролили **очи родителей** наших,
А мы уж не плачем – рождаемся сразу старше,
Белой пеной исходят наши **глаза**.

(Шварц, 1995: 19)

В кровавых лампах оплывших окон – фигуры девок!
тела на лапах в лохмотьях елок, – о жизни древо!

в **очках** все **очи**, сосцы – под лифчик, пупки под пряжки
под животами пониже – листик, а дальше ляжки,

зады мы любим, они – как солнца! – а возле возле
младые люди, и все в кальсонах, и все в волосьях.

(Соснора, 1987: 155)

Обратим внимание на то, что в первом примере сочетание высокой лексики с просторечной грамматикой не мешает установить оппозицию *очи родителей наших – наши глаза*.

Во втором примере снятие оппозиции между высоким и низким дублируется этимологическим сближением *в очках все очи*. Этимологическая производность показывает системную обусловленность стилистической нейтрализации слова.

Оппозиция *очи – глаза* встречается и у других авторов:

Наплывают очи на глаза.

Зной. Электросварка. Стрекоза.

(Казарин, 1996: 18)

о, глаз, разглазься до очей

лицо – вломись в себя до лика

(Климов, 1994: 13)

Если в классической поэзии слово *очи* устойчиво связывалось со стихией огня и света (см.: Шульская, 1986: 130), то для современных авторов типичны такие контексты, в которых глаза предстают тусклыми, погасшими:

Утром портвейн, губы вяжущий,

утварь в стекле помутилась.

Стулья и стол чуть бормочущие,

кошки мостами горбятся,

Студень очей несияющих⁷⁴

с хлебом черствым,

с богемной солью.

(Стратановский, 1993-б: 98)

– Стой!..–. Ку-уда: лечу вслепую;

ухвачу себя за плечи:

– Стой, одерживай невмочно!.. –

Вот и стали наконец-то.

⁷⁴ Ср.: Да тупо черная весна / Глядела в студень глаз (Анненский, 1990: 131).

Разлеплю сырые очи,
а кругом – пустое место.

(Строчков, 1994: 182)

ты будешь мне душу тягать,
следа из гнилого тумана,
оскалив домашний очаг
и пуча постыльную службу
разводами **в тухлых очах**
осенней бензиновой лужи.

(Строчков, 1994: 127)

Хочу письмо тебе.

Жить без тебя – не настояще.

Вот как без тебя: **топчусь по углам (это косяк), ищу очами:** ау, где я?

Не дышатся стихи. Кто-то взял за горло и душит.

(Иконников-Галицкий, 1995-б: 348)

Появлению таких контекстов есть свое объяснение. Стилистическое значение слова *очи* в таких случаях, конечно, имеет тенденцию к снижению, но все же процесс этот не однонаправлен. Маркированность слова высоким стилем может распространяться на все сочетание, на описание всей ситуации. В таком случае элемент высокого стиля поддерживает утверждение человеческого достоинства в унынии – своеобразное поэтическое сопротивление казенному оптимизму, которого официальная идеология требовала от автора.

Традиционная связь слова *очи* с горением, страстью (ср.: *очи жгучие, очи страстные*) тоже актуализируется современной поэзией, однако страсть при этом предстает как низменная. Яркий пример находим в следующем контексте с пародийным перефразированием знаменитых строк А. Блока *Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами*, строк I из песни А. И. Фатьянова и В. И. Соловьева-Седого *Где же вы теперь, друзья однополчане?*, переосмыслением слов А. С. Пушкина *Иных уж нет, а те далече:*

Ах, скифы мы, ах, азиаты мы

с опухшими и жадными очами...

Но где же вы, друзья однополчане?

Иных уж нет, а те – вдоль Колымы.

(Строчков, 1994: 9)

Сочетание *жадными очами* имеется уже у Блока, однако там оно романтизировано. Определением *опухшими* В. Строчков полностью деромантизирует образ. Слово *очами* сохраняет от своей стилистической маркированности только коннотацию интенсивного проявления признака.

Если приведенные примеры показывают отчетливую тенденцию к снижению стилистического статуса слова, то следующая группа контекстов, количественно гораздо более представительная, демонстрирует, что слово *очи (око)* употребляется без стилистического снижения в тех случаях, когда говорится о глазах животных, змей, насекомых, птиц, дракона:

пусть мычат эти **очи бычьи**,

это волчье веселье воеет

(Соснора, 1995: 645)

но комета токмо окоем

ем **око вола**

(Кедров, 1990: 43)

Или в санях, когда мело,

Слепя мне **очи волчьи**

(Соколов, 1990: 180)

Храм – хоронили: **ласточек – в око**, в лет

(Соснора, 1994-а: 46)

Время негромко стрекочет на кромке

вязких движений спиц,

сплющены тусклые **очи сверчков**

(Строчков, 1994: 289)

Гусениц печальны **очи**,

И просторнее пространство

(Шельвах, 1992: 12)

Страницы наобум раскрытой книги

Напоминают **очи стрекозы**

(Еремин, 1991: 89)

смотри, в чистом поле летают

зеленые **очи козявок,**

а ты, двуногий, растерзан

в красном углу.

(Крикунов, 1995: 64)

Но вкус к забавам холоднее

Горит в застенчивом зрачке

Не расщепясь **змеиным оком**

Не соблазнясь вороньим веком

(Волохонский, 1994: 8)

Эти **очи** ничейных **ласточек**

все пространство засеяли мглой.

Оставили только нетронутым

небо в глазах землекопа

(Джангиров, 1989: 44)

Видим – на льдине живой **воробей**

Оледенелый.

<...>

С синим огнем в ледяной голове,

Невидимым в **очах.**

(Шварц, 1995: 11)

Вылезай на свет из угла мешка каучуковый

кипяченный **дракон,**

вторят **очи** его двум земным шарам –

на одном стою я, а кто на другом?

(Парщиков, 1995: 56)

По-видимому, в системе ценностей современного поэта животные больше заслуживают пафоса, чем человек. Но не исключены и другие объяснения – как мировоззренческие, так и внутриязыковые (и в пределах синхронии, и в

диахронической проекции). К мировоззренческим причинам можно отнести сохранение в сознании современного человека следов языческого тотемизма, вошедшего в образно-метафорический строй культуры и языка, и представление о единстве всего сущего в поэтической философии⁷⁵. Внутряязыковые причины состоят в меняющихся взаимнообратимых отношениях между стилистикой и семантикой.

Возможно, что в современном языке слово *очи* приобрело и теперь регулярно эксплицирует новые компоненты значения ‘большие’, ‘выразительные’. Заметим, что у животных, змей, птиц и насекомых глаза почти всегда пропорционально больше по отношению к телу, чем у человека.

В строках из стихотворения А. Парщикова (последний из цитированных фрагментов) величина глаз представлена гиперболической метафорой *вторят очи его* (дракона-игрушки) *двум земным шарам* (географической карте полушарий). В тексте сближаются два значения слова *шары* – ‘планеты, космические тела’ и ‘глаза’ (вульгаризм).⁷⁶ Любопытно вспомнить, что традиционная литература выработала образ-штамп, сближающий глаза со звездами. У Парщикова же метафора *очи – земные шары* как будто является развитием этого образа. Получается, что в этом тексте *очи вторят шарам*, следуя и классической традиции, и лингвистической закономерности.

Слово *очи* получило стилистическое значение только при появлении и освоении русским языком синонимов – *глаза*, *зенки* и т.п. Пока оно было единственным, оно, естественно, было нейтрально и могло употребляться в любых контекстах (ср. поговорки *видит око, да зуб неймет; ни ухом ни рылом, ни оч-*

⁷⁵ Слово *очи* (*око*), называющее глаза животных, птиц встречается и в классической поэзии. Так, уже у А. С. Пушкина в поэме «Руслан и Людмила» есть строки: *Напрасно конь, зажмуря очи, / Склонив главу, натужа грудь, / Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи / Неверный продолжает путь* (Пушкин, 1969-IV: 78). Пушкин был подвергнут критике за соседство слова *очи* с простонародным *зжмуря* (Воейков, 1996: 66).

В поэзии XX в. названы *очи* сов, *око* чайки (В. Хлебников, 1986: 266, 187), *очи* волка, коровы, быка (Заболоцкий, 1995: 277, 284, 314). В поэзии Н. Заболоцкого «антропоморфные» сдвиги в сочетаемости слов при описании природы являются ведущей чертой поэтики (см.: Крайильникова, 1986: 176). Типичны для Заболоцкого и такие словоупотребления, как *лицо* коня, медведя, волка, змеи (Заболоцкий, 1995: 148, 260, 306, 171), *руки* коня, севрюги, коровы (указ. соч: 128, 154, 284), *уста* волка (указ. соч: 272), *чрево* коровы (указ. соч: 284).

⁷⁶ Значение извлечено из терминологического фразеологизма *земной шар*; дефразеологизация осуществляется употреблением множественного числа, космологически абсурдного. Сочетание *земным шарам*, возможно, восходит к В. Хлебникову: *Вперед, шары земные! / Я вьюгою очей... / Вперед, шары земные!..* (Хлебников В., 1986: 471). Обратим внимание на присутствии слова *очей* в этом контексте Хлебникова.

ми, ни речми – Даль, 1979-II: 664) и для обозначения глаз любых существ, как и в других современных славянских языках. Так, Словарь русского языка XI–XVII вв. фиксирует употребление: *Мерин игрен<ь> ... чалинка в вехри повыше очей* (XII: 327). Слово *очи* сочетается с прилагательными, образованными от названий животных, в народных обозначениях растений: *воловьи очи, козьи очи, курячьи очи* (Даль, 1979-II: 664).

В Библии («Откровение Иоанна Богослова») слово *очи* также употребляется применительно к животным:

и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем ни ночью не имеют покоя, взывая:

*свят, свят, свят,
Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет <...>*

И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных на всю землю (Откр., 4, 5–9; 5, 6).

Этот библейский образ лег в основу текста, широко известного по песне, которую исполнял Б. Гребенщиков с группой «Аквариум»:

Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И яркою стеной.

А в городе том сад –
Все травы да цветы.
Гуляют там животные
Невиданной красы.

Одно, как рыжий огнегривый лев,
 Другое – **вол, преисполненный очей.**
 С ними золотой орел небесный,
 Чей так светел взор незабываемый

(Хвостенко, Волохонский, 1995: 255)⁷⁷.

В образе *вол, исполненный очей* можно видеть и этимологическое развертывание слова *волоокий*. Кстати, если этимологическое значение первой части слова *волоокий* – ‘великий’ (варианты корней *вел-* / *вол-*), а животное *вол* тоже названо так по признаку величины, то переосмысление мотивации в слове *волоокий* (ср. образ волоокой Геры из античной мифологии) не выходит за пределы генетической общности всех этих слов.

Возможно, существенно и отсутствие в русском языке специального синонима к слову *глаза* для обозначения глаз животных, хотя имеются слова *морда, лапа, когти, пасть, шкура* и т.п., противопоставленные словам *лицо, нога, ногти, рот, кожа*, называющим части тела человека. Все «зоологические» слова при отнесении к человеку могут пониматься как грубые. *Глаза* – слово общее, здесь нет семантико-стилистической оппозиции, возможно, что ее отсутствие распространяется и на слово *очи*, которое тоже было и теперь снова способно стать общим. У слова *глаза* есть немало грубых синонимов – *зенки, гляделки, буркалы, шары*⁷⁸ и т. д., однако ни одно из них не употребляется, когда речь идет о животных, даже неприятных и опасных, даже при самом пренебрежительном отношении к ним.

Стоит также обратить внимание не только на существующую в языке системную противопоставленность в названии частей тела человека и животных, но и на активное, двусторонне направленное проникновение лексики из одной сферы в другую. В животных часто видят антропоморфных существ. Перемещение лексики из зоологической сферы в человеческую идет не только в направлении сниженности (*не лезь лапами в салат*), но и в направлении ласковой фамильярности – например, само слово *лапа* в обращении, добавление лас-

⁷⁷ Существуют разные редакции этого текста. В редакции Б. Гребенщикова некоторые слова изменены, в частности, вместо *Над небом голубым* поется *Под небом голубым*, вместо *яркою стеной* поется *яркою звездой*; вместо *преисполненный очей* звучит *исполненный очей*.

кательных суффиксов к грубому (если речь идет о человеке) слову: *мордочка*, *мордашка*. Ср. употребление слова *морда* при обращении к собаке с интонацией восхищения. И если мы встречаем в поэзии *очи* быка, гусеницы, стрекозы, птицы, то в этом можно видеть не только прямое одухотворение природы, но и проявление тенденции к перемещению лексики, предназначенной для обозначения частей тела животных, в сферу лексики с положительными коннотациями. Ср.:

Насекомых маленькие лица

спрятаны меж крыльев от меня,
век проходит, и работа длится
мух, червей и вечного огня.

(Кекова, 1995-а: 56)

Так! Даже если никого не злишь,
Не в силах на кого-нибудь не злиться.
Все дышит озверением, и лишь
У кошек человеческие лица.

(Эзрохи, 1995: 207)

Среди примеров употребления слова *очи* (*око*), называющего глаза животных, змей, насекомых, птиц, обращают на себя внимание такие контексты, где слово *очи* (*око*) относится одновременно к двум существам:

Все становилось тем, чем должно быть исконно:
маки в холмы цвета хаки врывались, как
телепомехи,
ослик с очами мушиными воображал Платона,
море казалось отъявленным, а не призрачным,
неким!

(Парщиков, 1995: 14)

«Не дрыгай ногою, пророка кляня,
не бойся, не будет укуса.
Пусть видит **змеиное око коня**,
что Русы не празднуют труса.

⁷⁸ Отметим в этом вульгаризме реставрацию первичного значения *глаза* – ‘шарики, кругляши’.

Пусть смотрит истории жалящий взгляд,
как Русы с Хазарами рядом сидят»

(Лосев, 1987: 12)

В обоих случаях у прилагательных *мушинными*, *змеиное* можно видеть двойной межразрядный сдвиг: притяжательное → относительное → качественное. Однако потенциальная многозначность качественного прилагательного, восходящего к относительному (основанием метафорического или метонимического переосмысления может служить любой из семантических компонентов производящей основы) вызывает полимотивацию образа. В первом тексте слово *мушинными*, понимаемое как ‘похожими на глаза мухи’, может означать и выпуклые, и маленькие, и в то же время вполне вероятно, что прилагательное означает ‘облепленные мухами’. Во втором примере излагается легенда о Вещем Олеге, и *змеиное око коня* – не просто глаз коня, формой или выражением похожий на глаз змеи (завораживающий, гипнотизирующий), но и глазница, из которой змея выползет и ужалит героя.

Вслед за животными, насекомыми, змеями, птицами, драконами *очи* в современной поэзии приобретают и растения – грибы, деревья:

А красные **грибы** –
с мрачными **очами** на ледяных небритых ликах –
внушали уважение

(Шельвах, 1990: 22)

В сумерках
приплелся уцелевший **масленок**.

Очи –
отчаянные соленые ноли!

<...>

Генерал Белых грибов,
услыхав слезы,
побледнел.

(Шельвах, 1990: 24 – 25)⁷⁹

⁷⁹ Стихотворение имеет фольклорный источник – песни о том, как грибы отказываются идти на войну – см.: (Шейн, 1898: 283).

Русак навстречу попался ушастый, в лесу

сыроежки тарасили сытые очи,

(Кучерявкин, 1994: 11)

горела **вишня**

черными **очами**

(Бирюков, 1995: 85)

Современные поэты на основе существующих в современном языке стилистических отношений устанавливают своеобразную категорию одухотворенности (в цитированных текстах вне грамматической одушевленности), распространяемую на всю органическую природу.

Подобно тому как в категорию одушевленности включались названия антропоморфных и зооморфных предметов типа *кукла*, *шахматный конь* – слово *очи* (*око*) употребляется и для обозначения деталей предметов, напоминающих животных, птиц или для обозначения изображений в развернутых метафорах:

Но людям клейма выжигал и тавра –

Китая северней! – **бумажный тигр**.

Он улыбался, гладючи усы

И глядючи **зеленоглазым оком**,

На царском троне с дыркой, но без окон

Он подводил кремлевские часы

Под монастырь.

(Лён, 1990: 26)

Тоскуя о родных местах,

во сне невинном и глубоком,

«**МИ-22**», российский **птах**,

пустыню измеряет **оком**

(Новиков, 1989: 295)

В первом примере сочетание *бумажный тигр* – калькированный на русский язык фразеологизм китайской пропаганды – предстает одновременно и как концепт (в данном случае идеологический конструкт, не предполагающий соот-

ветствия предметным реалиям) и как изображение на географической карте. Слово *оком* в таком контексте тоже концептуализируется и десемантизируется, что подтверждено плеоназмом *зеленоглазым оком*.

Вероятно, на реставрацию стилистической нейтральности слова *очи* оказывают влияние и его широкие словообразовательные связи: *очевидно, воочию, заочник, очная ставка, очки, очко* и пр.

Слово *очи (око)* – не единственное, испытывающее описанные стилистико-семантические сдвиги. Ср. аналогичные процессы со словами *длань, ланиты, чело*: *Он набросал, как в клетке лань / Лежит, поджав под брюхо длань* (Крепс, 1992: 15); *Моя гипнопотамиха, нежна, / Спокойно дремлет, выпятив ланиты* (Зельченко, 1991: 28); *Я видел: червь ходил нагой / <...> Он погружал лицо в плоды / <...> И он протягивал чело / Навстречу трепета и влаг* (Волохонский, 1994: 17).

Но именно слово *очи* с его новой для современного языкового сознания денотативной отнесенностью (на самом деле реставрированной исходной) представлено в поэзии последних лет массовым материалом. Примеры традиционного употребления этого слова тоже, конечно, имеются, но в данном случае нас интересует именно динамика развития, проявляющаяся в отклонениях от нормы. Рассмотренное употребление слова *очи*, возможно, указывает на некоторые тенденции семантико-стилистического развития традиционно поэтической лексики.

Обобщая наблюдения и анализ примеров, укажем на эти основные тенденции: на парадигматическом уровне – реставрация стилистической нейтральности слова через растущее количество стилистически контрастных контекстов; вследствие этого на синтагматическом уровне – сочетаемость, не ограниченная стилистически. Причина и следствие здесь, впрочем, взаимнообратимы. Уже сейчас слово *очи* в его собственно поэтической функции отнесено в большей степени к животным, чем к человеку. Стилистическая маркированность слова не может исчезнуть полностью, поскольку традиционный поэтизм всегда хранит память о тех литературных контекстах, из которых он извлечен. Однако на современном этапе словесного творчества стилистическое значение почти исчерпало возможности игры на контрастах (контрасты уже становятся банальными и больше не шокируют читателей современной поэзии). В таких условиях стили-

стическое значение стремится к новой сфере применения – в данном случае распространяется на зоонимы. Таким образом, оказывается, что в наше время, как это часто и бывает в развитии языка, одновременно идут два противоположных процесса: стилистическая нейтрализация маркированной лексики и активизация стилистического значения с завоеванием им новых (или возвращением ранее утраченных) языковых пространств.

Общее направление семантического развития слова *очи* (*око*) – развития, выраженного в стилистике и доступного наблюдению по литературным текстам, – представляется следующим:

1) *Древний период*: единственное, то есть нейтральное, название органа зрения во всех смыслах, которые впоследствии были или еще могут быть вычленены – синкретическое название;

2) *Средневековый период, христианская символика*: выражение сакрального смысла в символе (духовные *очи* противопоставлены телесным *глазам*);

3) *Классическая литература, романтизм, сентиментализм*: замена сакрального смысла эмоциональным или эстетическим (*очи страстные и прекрасные*), вычленение семы интенсивности, величины;

4) *Литература XX в. в ее наиболее выраженных «антитрадиционных»⁸⁰ направлениях*: актуализация семы интенсивности при десакрализации, деромантизации, деэстетизации образа и дефразеологизации слова;

5) *Постмодернизм*: изменение денотата (человек → животное); осознание литературного штампа как опустошенного концепта; последующее наполнение десемантизированного слова новым смыслом, реставрирующим древний синкретизм как обозначение сущности в ее цельности и в единстве множественных денотатов.

в) Переосмысление лексических архаизмов

⁸⁰ Антитрадиционность, впрочем, относительна: так, например, Ю. Тынянов отмечает, что переключка футуристов с поэтами XVIII в. – «борьба с отцами, в которой внук оказывается похожим на деда» (Тынянов, 1977: 182). Языковые деформации и авангарда, и постмодернизма имеют

Рассмотрим пример с модификацией древнеславянского слова *отженить*, – слова, которое имело значение 'отогнать' (в вариантах корня имелись чередования *г // ж* и *о // е*)⁸¹. В современном языке это слово оказывается переосмысленным, его словообразовательная мотивация связывается со словом *жена*:

«Русь моя, **жена** моя» –
страшен свальный грех.
Отбелись же наново,
отженись от пьяного
семени онанова,
кинь же в Благо Каннаго –
соболиный мех!

(Ярмуш, 1994: 10)

В таком контексте появляется возвратный постфикс, как у слова *жениться*, оно и мыслится производящей базой, в результате чего *отжениться* трактуется как 'развестись'.

Следующий пример позволяет предположить, что, слово *отженить* (без постфикса *–ся*) стало моделью, по которой – через имплицитный инфинитив [*отсыновить*] – образован окказионализм *отсыновлен* в значении 'отделён':

Но – чуть – и троеперстие разъято.
Меж двух – уже зияние (гиата):
отсыновлен от большего второй,
а среднему они опора оба.

(Бобышев, 1992-б: 8)

Некоторые слова сохранились в русском языке только в составе идиом. Они утратили все формы словоизменения, этимологические связи, собственное значение. Таково, например, выражение *ни зги не видно*. В других славянских

корни в еще более глубокой древности: в словесной магии ритуалов, в фольклоре, в балагурстве, карнавальном перевернутом поведении.

⁸¹ Ср.: *А вражий дух да отженется, / Моих порогов не коснется / Ничей недобротный шаг!* (Державин, 1985: 195).

языках существительное из этого сращения отсутствует (см.: Черных, 1994: 321; Варбот, 1983: 119). Оно так и остается загадочным, несмотря на попытки объяснить его как видоизмененное стьга ‘дорога’ (ср. *стёжки-дорожки, стезя*) – Ф. Миклошич, Н. В. Горяев, А. А. Потебня, А. И. Соболевский, А. А. Шахматов и др. (см.: Преображенский, 1959: 246; Фасмер, 1986-II: 89), как производное со значением ‘искра’ от *пазгать* – ‘гореть, драть’ (Зеленин, 1903: 5) или как восходящее к предполагаемому (не зафиксированному в письменных текстах или диалектах) слову съга– ‘кольцо у дуги, через которое продевают повод при запрягании коня’, производному от съгнути (Варбот, 1983; 1984)⁸². Б. Татар полагает возможным сосуществование двух вариантов фразеологизма, отразивших и значение ‘дорога’, и значение ‘кольцо’ (Татар, 1983: 95–96).

Словарь Даля зафиксировал слово *зга* в таких употреблениях, которые резко противоречат обеим гипотезам: *на дворе зга згою; Божьей зги не видать; ни зги хлеба нет; зги нет в закромах* (во всех этих случаях невозможны ни ‘дорога’, ни ‘часть упряжи’). В. И. Даль предполагает значения ‘тьма’, ‘потемки’, ‘темнота’; ‘кроха’, ‘капля’, ‘искра’, ‘малость чего’ и указывает – со знаками вопроса – предполагаемые этимологические связи *сгаснуть, сгинуть*. Фиксирует Даль и слова *згинка* (ряз.) – ‘ночка’, *згра* (дон.) – ‘искра’ (Даль, 1978-I: 685). Почти все исследователи, составители этимологических словарей, авторы учебников и популярных книг о языке отдают предпочтение гипотезе о первичности *стьга* – ‘дорога, тропа’⁸³.

Однако стоит обратить внимание на мнение Д. К. Зеленина, с которым не соглашается М. Фасмер (см.: Фасмер, 1986-II: 88–89). Исследование Зеленина привлекает, может быть, не столько гипотезой о связи слов *зга* и *пазгать*, сколько аргументами против значения ‘дорога’. Зеленин считает, что ‘не видно дороги’ – для фразеологизма слишком невыразительно, не гиперболично, не дает неожиданных сопоставлений и поэтому сомнительно⁸⁴. Предлагая значение

⁸² Основанием для такой этимологии стала цитата из диалектологических записей: *Продень повод через згу и привяжи к гужу* (Словарь русских народных говоров, 1976-XI: 226; Псковский областной словарь, 1996-XII: 297).

⁸³ См.: Бирих, Мокиенко, Степанова, 1994: 122.

⁸⁴ Д. К. Зеленин привел пример более экспрессивного фразеологизма, обозначающего плохую видимость: *свету божьего не видно*. На полях отдельного оттиска с дарственной надписью Ф. Коршу (Российская Национальная библиотека в Санкт-Петербурге) имеется приписка (вероятно,

‘искра, проблеск’, Зеленин пишет о том, что у слепых обычно бывает мелькание светящихся точек перед глазами, отсутствие которых – как гипербола – и могло послужить образом абсолютной невидимости (Зеленин, 1903: 6)⁸⁵. Это, кстати, единственное из объяснений, которое согласуется с пресуппозицией множественного числа в выражении *ни зги*. Кроме того, самые ранние известные нам тексты с выражением *ни зги* рассказывают о слепцах (Словарь русского языка XI – XVII вв. -VI: 359). Может быть, нелишне вспомнить, что слепцы и были распространителями народной словесной культуры, и вербализация актуального для них образа вполне могла привести к появлению фразеологизма.

Несомненно одно: давняя и полная деэтимологизация слова. Наиболее вероятно, что во всех примерах *Даля* представлены поздние значения – результат свободного и естественного диалектного развития. Если это так, то именно набор поздних значений и оказывается интересным для осмысления этого слова в современной поэзии.

Лексикологи говорят о том, что слова из выражений типа *ни зги*, *ни бель-меса*, *с панталыку* «отсвечивают для нас отраженным значением целого – именно как определенные формы слова» (Шмелев, 1970: 26) и представляют собой «лишь "тени" или "призраки" слов, будучи лишенными того, что является главным для слова, а именно отдельного лексического значения» (Ахманова, 1957: 7). То есть, если употребить постмодернистский термин, история языка из живого слова создала идеальный симулякр и донесла его до нашего времени. Мы имеем не сочиненную, а естественно развившуюся «глокую куздру», возбуждающую лингвистическое воображение.

Для поэтов важны смысловые потенции слова. Оно семантически опустошено, что готово принять любое содержание – важно только почувствовать его главную сему, которая может сформировать новое значение. Поскольку новые (окациональные) значения в результате получаются разными у разных авторов, слово предстает перед нами с набором семантических дифференциальных признаков, которые, видимо, и являются смысловым наполнением слова в современном языковом сознании.

Корша): *хоть глаз выколи*. Она показывает, что Корш вполне соглашался с критикой устойчивого уже к тому времени мнения.

⁸⁵ Обобщение и анализ гипотез см. в словаре: Бирих, Мокиенко, Степанова, 1998: 207–208.

Несколько примеров трансформации фразеологизма, указывающих на контекстуальное вторичное значение слова *зга* у писателей и поэтов XX в., приводит Е. Н. Дубинский: *не знаю, решена ль Загадка зги загробной* (Пастернак), *В хаосе распахнутой снежной зги* (Сурков), *Не вспомнят ни зги* (Маяковский), *Не разобравши в ней ни зги* (Бедный) (Дубинский 1973: 19).

Поиски значения слова *зга* в современной поэзии продолжают процесс, активно проходивший в течение всего XX века. Поэтому сначала обратим внимание на смысл этого слова у некоторых поэтов Серебряного века.

В поэзии обэриутов слово *зга* не вычленяется из фразеологизма, но выражением *не видно (не вижу) ни зги* описываются не подходящие для него ситуации, и оно включается в такие контексты, в которых выявляется алогизм словесного оборота.

У Д. Хармса в пьесе «Окнов и Козлов» слова *Не вижу ни зги / в твоих речах* показывают, что *ни зги* означает 'никакого смысла'. Замена подразумеваемого *не слышу* на фразеологический компонент *не вижу* кажется абсурдной, но имеет опору во вполне нормативном выражении *не вижу смысла*:

О к н о в

Всегда, всегда в глубине политик
наука умеет много гитик.

К о з л о в

Не прав ты, дорогой товарищ.
Довольно мы с тобой кувыркались
и Федьку за ноги таскали.

О к н о в

Погибнешь ты,
печаль, тоска ли
заполоснет тебе мозги.

Козлов

Не вижу ни зги
в твоих речах.

(Хармс, 1994: 301)

Обратим внимание на то, что бессмысленностью сочетания *ни зги* дублируется абсурд мнемонического текста *наука умеет много гитик* – ключа к карточному фокусу.

А. Введенский помещает сочетание *ни зги* в эротический контекст:

Н а т а ш а
(снимая рубашку)

Смотри-ка, вот я обнажилась до конца
и вот что получилось,
сплошное продолжение лица,
я вся как будто в бане.
Вот по бокам видны как свечи
мои коричневые плечи,
пониже сытных две груди,
соски на них сияют впереди,
под ними живот пустынный,
и вход в меня пушистый и недлинный,
и две значительных ноги,
меж них **не видно нам ни зги**.
Быть может темный от длины
ты хочешь посмотреть пейзаж спины.

(Введенский, 1994: 183)

В этом фрагменте абсурдность фразеологизма усиливается не только намеком на *згу*, которую герои ожидали бы увидеть в этой ситуации, но и местоимением *нам*, в описываемой сцене абсолютно нелепым. В тексте Введенского далее появляются тьма и смерть. Обратим внимание на то, что героиня направляет взгляд партнера сверху вниз, а появлению сочетания *ни зги* предшествуют образы света со словами *свечи, сияют*: *Вот по бокам видны как свечи / мои коричневые плечи, / пониже сытных две груди, / соски на них сияют впереди*. В таком случае сочетание *ни зги*, включенное в эротический контекст, оказывается связанным с образом преисподней.

В стихотворении Н. Заболоцкого «На лестницах» выражение *ни зги* наиболее отчетливо соотносится с гипотезой Д. К. Зеленина, связывающей *згу* с мельканием в глазах:

Кот поднимается, трепещет,
сомнения нету – замкнут мир,
и лишь одни помои плещут
туда, где мудрости кумир.
И кот встает на две ноги,
идет вперед, подъемля лапы,
пропала лестница. **Ни зги**
в глазах. Шарахаются бабы,
но поздно! Кот, на шею сев,
как дьявол бьется, озверев,
рвет тело, жилы отворяет,
когтями кости вырывает...
О, Боже, Боже, как нелеп!
Сбесился он или ослеп?

Шла ночь без горечи и страха
и любопытным виден был
семейный сад – котова плаха,
где месяц медленный всходил.

<...>

висел кота саженный труп.

(Заболоцкий, 1994: 351–352)⁸⁶.

При этом предложение *Ни зги / в глазах* можно понимать по-разному: ‘темно в глазах у наблюдателя’, ‘темно в глазах у кота’, ‘глаза кота стали черными’. Если *Ни зги / в глазах* у кота, то последняя строка фрагмента *Сбесился он или ослеп?* тоже обращает наше внимание на объяснение, предлагаемое Зелениным. Но и сама совокупность разных возможностей интерпретации дает дополнительный стимул к восприятию темноты как абсолютной. Далее в стихотворении появляются и ночь, и смерть.

В. Хлебников, М. Цветаева, Б. Пастернак выделяют из фразеологизма слово *зга*, превращая его в обозначение самостоятельной субстанции.

⁸⁶ В. М. Мокиенко включил этот и несколько других текстов, приведенных ниже (Заболоцкого, Лосева, Цветаевой, Буренина, Искренко), в свою статью (Мокиенко, 1999: 101–103). В этой статье дана информация о моем докладе на фразеологическом семинаре в Санкт-Петербургском университете 11 февраля 1997 г., но материалы опубликованы без разрешения. Выводы, прозвучавшие в докладе, приводятся в статье как наблюдения самого Мокиенко над этими текстами.

В стихотворении Хлебникова «Море» оно оказывается связанным с непогодой:

Эти пади, эти кручи
И зеленая крутель.
Темный волн кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга –
Эта дзыга синей хляби,
Кубари веселых волн
Море вертится юлой,
Море грезит и моргует
И могилами торгует.
Наше оханное судно
Полететь по морю будно.

(Хлебников В., 1986: 129)

Ближайший контекст *А на небе виснет зга* показывает, что *зга* здесь подобна либо туче, либо молнии и воспринимается как нечто динамическое. Можно предположить, что для Хлебникова существенно созвучие слов *зга* и *зигзаг*. Далее в этом стихотворении появляется и *молния* (черная): *Море плачет, море вакает, / Черным молния варакает*, а с небом связаны следующие явления: *Дырой диль сияет в небе <...> В небе черном серый кукиш, / Небо тучам кажет ишиш*. У Хлебникова слово *зга* уточняется как *эта дзыга синей хляби*. В южно-русских говорах *дзыга* – ‘волчок, юла’ (см., напр.: Словарь русских донских говоров, 1975: 130, а также: Григорьев, Парнис, 1976: 670)⁸⁷. В таком случае, текст Хлебникова показывает *згу* как нечто динамическое. Кроме того, у Хлебникова обнаруживается непосредственная связь *зги* и смерти: *Почернел суровый юг, / Занялась ночная темень. / Это нам пришел каюк, / Это нам приходит неман*.

⁸⁷ Далее в стихотворении есть строка *Буря носится волчком*. В словаре Даля слова *дзыга* нет, но с ним созвучны слова *дзык* – южн. ‘мошкара’ и *дзынга* – сиб., сев. ‘вид полуутки’ (Даль, 1978-I: 436). Первое из них вполне может быть соотнесено со *згой*, если *зга* – нечто мелкое и мелькающее.

У М. Цветаевой есть слово *зга* в поэме «Молодец» (трижды) и в стихотворении из цикла «Скифские». В поэме это слово сначала появляется при описании пляски, когда Молодец впервые видит Марусю:

То ль не **зга**,
 То ль не жгонь,
 То ль не мóлодец-огонь!

То ль не зарь,
 То ль не взлом,
 То ль не жар-костер – да в дом!

(Цветаева, 1994-III: 281)

Слово *зга* может относиться и к изображению Молодца (*молодец-огонь*, *жгонь*), и к изображению Маруси (ее образ сопряжен в поэме с образом огня) и к изображению огневой пляски. Скорее всего, этим словом обозначена огненная стихия вспыхнувшей любви. Здесь можно видеть то значение ‘искра’, которое ближе всего к гипотезе Зеленина.

Второй контекст слова в поэме таков:

А последний тебе сказ мой:
 Ни одной чтоб нитки красной,
 Ни клочка, **ни зги!**

Деревцо сожги ...

(Цветаева, 1994-III: 312)

Здесь тоже слово *зга* отчетливо соотнесено с огнем как метафорой героини – красной девицы (о значении красного цвета как главного сюжетного и языкового символа поэмы см.: Герасимова, 1995: 161–163; Зубова, 1996: 212–213).

Третий раз слово употреблено в сцене, изображающей исчезновение гостей-бесов с рассветом:

Ан:
Зга!
 Петушиный клич!

Чудь, дичь,
 Нежить – в берега!
 Ай –
 да!

(Цветаева, 1994-III: 327)

Этот фрагмент любопытен тем, что слово *зга*, которое можно вполне определенно истолковать как ‘рассвет’, оказывается не совмещенным со значением ‘тьма’, как во многих текстах других авторов, а резко ему противопоставленным. И вместе с тем оно четко соотносится с исчезновением⁸⁸.

В цикле «Скифские» Цветаевой *зга* предстает резким движением – в метафорическом подобии взмаху крыла и стреле. Этот образ сопоставим с хлебниковским значением ‘молния’:

Из недр и на ветвь – рысями!
 Из недр и на ветр – свистами!

Гусиным пером писаны?
 Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя зга – Скифия!

(Цветаева, 1994-II: 164)

В стихотворении Б. Пастернака «Давай ронять слова...» слово *зги* помещено в контекст, предельно концентрированно выражающий значения смерти и загадочности – как самой смерти, так и слова:

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
 Но жизнь, как тишина
 Осенняя, – подробна.

(Пастернак, 1965: 151)

⁸⁸ В эссе «Искусство при свете совести» М. Цветаева пишет: *Такова и правда поэтов, самая неодолимая, самая неуловимая, самая бездоказательная, правда, живущая в нас только какую-то первую згу восприятия (что это было?) и встающая в нас только как след света или утраты* (Цветаева, 1994-V: 364). Слово *згу* выделено Цветаевой (в издании курсив).

Обратим внимание на то, что слово *зги* в этом контексте можно понимать в комплексе разных смыслов. Помимо обозначения тьмы, возможно и значение ‘дорога, путь’, соответствующее этимологии «стьга, стезя» (метафора *смерть – слепота и смерть – путь* архетипичны в языке, ритуале, фольклоре; из обобщающих работ см., напр.: Чистяков, 1982; Седакова, 1983: 206; Невская, 1984; Еремина, 1991: 25, 36).

Интерпретациям слова *зга* в абсурдистской поэтике обэриутов, в аналитической поэтике Хлебникова, Цветаевой и в метафорической поэтике Пастернака предшествовало появление слова в шуточной пьесе В. П. Буренина «Венок и швабра, или сюрприз драматургу», впервые опубликованной еще в 1892 г. Она представляет собой пародию на рассказ А. П. Чехова «Калхас» о старом пьяном актере, которому являются видения⁸⁹. Одно из действий пьесы Буренина открывается ремаркой: *Сцена представляет петербургскую погоду. При открытии занавеси не видно ни зги, только хлещет дождь, смешанный с снегом; сперва хлещет справа налево; потом – слева направо; потом – прямо снизу вверх; потом прямо сверху вниз; наконец, ожесточенно принимается хлестать разом и так и сяк, и эдак. Со всех сторон слетаются и кружатся по сцене Зги* (Буренин, 1976: 516). Далее *Зги* танцуют и хором поют:

Мы, петербургские Зги,
Всюду летаем
И заползаем
Жителям здешним в мозги.

(м г н о в е н н о и с ч е з а ю т).

(Буренин, 1976: 516)

Комизм эпизода заключается прежде всего в том, что принципиально невидимое и нематериальное персонифицировано, но слово *зги* в этом тексте связано не столько с тьмой, сколько с непогодой, его денотат не статичен, а, напротив, гиперболично динамичен. Подчеркнута множественность того, что

⁸⁹ По существу, это пародия на пародию: Чехов смеется над персонификацией символов в драматургии символизма.

обозначено словом из идиомы. Глаголы *летаем* и *заползаем* представляют денотат как нечто подобное птицам (ср. выражение *что за птица?* – о ком-либо неизвестном, непонятном) и змеям (не исключена фонетическая ассоциация по начальному звуку [з]), но совмещение таких предикатов возможно тогда, когда речь идет о насекомых (ср. выделяемое Далем значение ‘малость чего-л.’). Обратим внимание также на то, что эти *зги* исчезают *мгновенно*. Подзаголовок пьесы указывает на связь *зги* и гибели: *Мело-трагедия с недоразумениями в четырех картинах, с фантастическим прологом, небывалым эпилогом, хором и танцами петербургской Зги⁹⁰ и разрушением театра*. Впрочем, в мифологической традиции и в искусстве ненастье обычно и предвещает гибель.

Слов *зга* или *зги* в рассказе Чехова нет, но есть контекст, порождающий эти образы пародийной пьесы (в цитате выделены фрагменты, сближающие *зги* Буренина с этимологической гипотезой Зеленина о мелькании светящихся точек перед глазами): *Сцена была темна и пуста. Из глубины ее, с боков и из зрительной залы дул легкий, но ощутимый ветер. Ветерки, как духи, свободно гуляли по сцене, толкались друг с другом, кружились и играли с пламенем свечки. Огонь трепетал, изгибался во все стороны и бросал слабый свет то на ряд дверей, ведущих в уборные, то на красную кулису, около которой стояло ведро, то на большую раму, валявшуюся среди сцены. <...> – Петрушка! – крикнул он. – Где вы, черти? Господи, что ж это я нечистого поминаю? <...> Вот где самое настоящее место духов вызывать! <...> Гуляющие ветерки и мельканье световых пятен возбуждали и подзадоривали воображение до крайней степени <...> Не дотянувшись до свечи, вдруг он вскочил и уставил неподвижный взгляд на потемки* (Чехов, 1961: 425–426).

В стихах наших современников продолжается поиск собственного значения слова *зга*. При этом обнаруживаются следующие закономерности.

Для всех окказиональных употреблений главная сема, по-видимому, – это неясность, неопределенность. Неопределенность присутствует, по крайней мере, на трех уровнях: общего значения идиомы – ‘ничего не видно’, на уровне отсутствия у существительного каких-либо системных связей и, наконец, на

⁹⁰ В подзаголовке *Зги* – форма единственного числа (род.п.), что противоречит содержанию эпизода и объясняется, возможно, крайней затрудненностью употребления этого слова в родительном падеже множественного числа.

уровне смысловой противоречивости слова, каким оно предстает в идиоме. Поскольку все парадигматические связи слова вытеснены синтагматическими, синтагматика и определяет направление смыслового сдвига. Слово *зга* в нашем сознании настолько крепко связано с *ни* и с *не видно*, что уже само по себе вполне способно нести смысл всего сочетания⁹¹. Именно максимальная связанность приводит к тому, что связи уже не нуждаются в словесной экспликации и, в конечном счете, сначала уходят в подтекст, а затем и вообще утрачиваются. Открывается простор переосмыслению. Оно уже подготовлено энантиосемией (совмещением противоположных значений слова, то есть внутрисловной антонимией): слово *зга* вобрало в себя значение фразеологизма ‘очень темно’, но само по себе должно означать то, что можно было бы увидеть, если бы так темно не было. Энантиосемично и совмещение сем ‘предметная неопределенность’ и ‘интенсивность проявления признака’ – можно соединить эти понятия в оксюморонном определении ‘интенсивная неопределенность’.

При анализе употребления этого слова в современной поэзии трудно и не всегда возможно выделить оттенки значения неопределенности (вспомним, что неопределенность как проявление противоречивости – одна из важнейших категорий постмодернистского сознания), но все же – в некотором приближении – можно попытаться назвать некоторые производные значения слова *зга*.

Приведем ряд примеров.

У Д. Бобышева *зга* предстает сумерками, тьмой – в соответствии с механизмом фразеологического эллипсиса. Перенесение значения всего фразеологизма *ни зги* на отдельное слово примечательно тем, что, поскольку фразеологизм включает в себя отрицание, производное значение слова *зга* антонимично исходному:

Не того ли же солнца припек,
и не те ли же **зги** вечерами?
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:
что Страну, – мы себя потеряли.

(Бобышев, 1992-б: 32)

⁹¹ О фразеологическом эллипсисе см.: Архангельский, 1969; Ренская, 1978.

Впрочем, не исключено, что в этом тексте *зги* – звезды.

Слово *зга* в значении ‘сумерки’ встречается и у М. Несмеяновой:

<...> штрихами – акварель по мокрому,

В расплывчатой и вялой гамме

осенней зги с усталым профилем.

(Несмеянова, рукопись)

При этом *зга* персонифицируется и предстает именно зрительным образом, как бы отрицая исходный компонент *не видно*, который, однако, имплицирован строкой *В расплывчатой и вялой гамме*.

В других контекстах употребление слова *зга* в значении ‘тьма’, сохраняет сему ‘интенсивность’, но оно соотносится с переносными значениями слов *тьма, темный*, что предполагает укорененность в языке значения *зга* ‘тьма’. Обратим внимание на синестезию – совмещение зрительного образа со слуховым, что демонстрирует расширение значения у слова *зга* (ср. синестезию выражения *темные речи*):

Ты в своем затененном мозгу

назначаешь себя истуканом

и себе отдаешь, как врагу,

на правез, высветляющий **згу**

в голошенье твоём бесталанном.

(Жданов, 1991: 83)

Т. Кибиров, говоря о *зге* в стихотворении из цикла «Памяти Державина», употребляет глагол с широким значением восприятия: *не разобрать* означает ‘не увидеть, не услышать, не понять, не узнать, не вспомнить’:

Я силюсь вспомнить. Так же вот когда-то

грядущее я силился узнать.

И так же, Боже мой, безрезультатно.

Я все забыл. **Ни зги** не разобрать.

(Кибиров, 1997: 24)

Многие авторы исходят не из вторичного эллиптического значения *зга* ‘тьма’, а из гипотетически первичного: *зга* – ‘то, что можно увидеть во тьме’.

Ю. Скородумова хочет понимать слово *зга* так, как требует логика: если в темноте *зги* не видно, значит, при благоприятном условии это нечто видимое:

Поезд тянет, хрустя позвонками, гусиную шею.
 Мир меняет состав, консистенцию видимой **зги**.
 Три стопарика, щедро внимая печатным свершеньям,
 льют горячие слезы на жадные наши мозги.

(Скородумова, 1993: 27)

Принципиально двузначный контекст с полисемией слова *состав* порождает и различную интерпретацию *видимой зги*: ‘изгиб поезда’, ‘дым’, ‘очертания’, ‘форма’, может быть, более широко – ‘то, что явлено’. В данном случае это может быть и ‘тьма, нарушенная появлением поезда – светящегося движущегося объекта’.

У Л. Лосева речь идет о жизненном пути, и переносное употребление слова *зга* оказывается близким слову *стезя*. Затем слово *зга* появляется в тексте еще раз – и уже в бесспорном, совершенно отчетливом значении ‘конец, смерть’:

И понял аз грешный, что право живет
 лишь тот, кто за други положит живот,
 <...>
 А жизнь это, братие, узкая **зга**,
 и се ты глядишь на улыбку врага,
 меж тем, как уж кровью червонишь снега,
 В снега оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это – **зга**.
 И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
 Алеет морозными розами шаль.
 И-эх, ничего-то не жаль.

(Лосев, 1985: 87)

Создается впечатление, что у Лосева в первом употреблении слово *зга* – из этимологических словарей или из учебной литературы, а во втором – из строки Пастернака *Загадка зги загробной*. Отметим, что слово *зга* анаграмматически задано сочетанием *аз грешный*.

У Вс. Некрасова слово *зга* проверяется на смысловую связь со словом *заря*:

ага

ага

заря

заря

зга

правда

зга

в глаза

заглянула

(Некрасов, 1989: 74)

Здесь обнаруживается контекстуальная фонетическая производность слова *зга*: оно складывается из конца слова *ага* и начала слова *заря* – с перестановкой частей. Получаются одновременно и анаграмма, и метатеза. Слово *зга* анаграмматически входит и в слова *глаза*, *заглянула*. То есть имеется несомненная сильная аллитерация. Можно ли сказать, что в данном случае звуковое сходство приводит к смысловому? Да, если *зга* – ‘свет’. Обратим внимание на то, что значение ‘свет’ не только возможно для слова *зга*, но и вполне реально существует. Это подтверждается как примером Даля *Божьей зги не видать*, так и употреблением в художественных текстах XIX в. – у И. А. Гончарова: *Зги божьей не видно, да и одна штора совсем опущена* (Фразеологический словарь: 208); у М. Е. Салтыкова-Щедрина: *Скоро такое столпотворение пойдет, что зги божьей за тучей проектов не видно будет* (Михельсон, 1994: 692). Очевидно, что это фразеологический вариант выражения – *света божьего не*

видно. Но если в стихотворении Вс. Некрасова *зга* – это ‘тьма’, тогда *зга в глаза заглянула* – оксюморон, актуализирующий противоречивость слова *зга* (между прочим, и слово *заря* энантиосемично: оно обозначает – и ‘рассвет’, и ‘закат’). Противоречие снимается, если привлечь фразеологические ассоциации. О чем можно было бы, не нарушая языковых стереотипов, сказать *в глаза заглянула?* О смерти. Такова языковая метафора. *Тьма* – тоже метафора смерти. Может ли возникать смысл ‘так темно, что смерти не видно’? Вероятно, может – как указание на невидимую опасность.

Связь света, тьмы и смерти прочитывается и в стихотворении Д. Голынько-Вольфсона (*семен* здесь – семя⁹², архетипический символ умирания и возрождения):

Не катаньем, так мытьем семен
в двухмерную пахоту ушел,
и в земле прослышал – бела-ртуть
в столбиках расстояний поет.

В полушарьях маличника до **зги**
седой мальчишник его поминал.
Глобусы снеди шли по рукам,
в параллелях кружек сбитень шипел.

(Голынько-Вольфсон, 1994-а: 32)

Что значит *до зги поминал*? Вряд ли ‘до наступления темноты’ – это было бы соблюдением правильного режима дня в экстремальной ситуации, а здесь рисуется явная картина тризны. Вероятнее, *до зги* – ‘до рассвета’. Когда говорят *до зари*, имея в виду ‘долго’, речь идет, конечно, о рассвете. Не исключено также, что *до зги* означает ‘до бесчувствия’.

В стихотворении А. Иконникова-Галицкого читаем:

Ой, Семен, куда ж ты, дура, завез –
зги не [sic!] **зги**, а в бездну по борозде,
растрясло мои-то косточки всласть,
да уж красные ши в бороде.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 44)

Выражение *ни зги* → *зги не зги* обнаруживает здесь связь с мотивом путешествия на лошадах (*куда ж ты, дура, завез; растрясло мои-то косточки всласть*). Он побуждает вспомнить гипотезу о значении ‘деталь упряжи’, но видеть такое значение в самом тексте невозможно. Как и во всех других текстах со словом *зга*, здесь присутствует тема смерти: *в бездну; красные щипы в бороде* – ‘кровь’. К тому же конструкция *зги не зги* моделирует двойственность плана выражения: *зги (не видно)* и *ни зги (не видно)* употребляются в языке как синонимы. Стоит обратить внимание на фонетику сочетания *зги не зги*: в его первой части звучит [зг’ин’и]. Если буква «е» в слове *не* не опечатка, тогда *зги не зги* может пониматься как конструкция с глаголами типа *думай не думай*⁹³.

Соотнесение словарного значения ‘ничего не видно’ со смертью через созвучие слов *сгинет* – *ни зги* можно видеть и в следующем примере:

Я не стану пастырем, ты – врачом;
Ярославна **сгинет**, дернув плечом,

нет – крылом, да так, что пойдут круги
по воде, над которой не видно **зги**...

(Поляков, 1995: 19)

У Н. Искренко слово *зга* включено в текст-глоссолалию⁹⁴ (оно помещено среди слов *стря, фряшечка, члястая, блістая, футы-литарная*; в той же глоссолалической строфе есть и архаизм *лепая*). При этом имеется образ тьмы (*Ночь моя ночь моя*) и света (созвучность слова *блістая* слову *блиста́я*), а также потенциальное значение смерти (*криминогенная, передозировка не допускается, чешется бритвою*):

Ночь моя ночь моя
криминогенная
стричь моя брить моя

⁹² Слово *семя*, представленное в его древнейшей праславянской огласовке с носовым согласным, омографически совмещено с именем собственным *Семён*.

⁹³ А. Иконников-Галицкий согласился с таким толкованием.

сделать приятное
 ватное бледное
 лунное рвотное
 передозировка не допускается
 кается мается
 чешется бритвою
 в рот наберёт
 и работает вдумчиво
 стульчик подставит
 и смотрит придирчиво стульчик подставит и смотрит и смотрит
 стря моя зга моя
 фряшечка лепая
 члястая блистая
 футы-литарная
 парная гарная

(Искренко, 1996: 23)

Возможно, здесь есть переключка со словами Б. Пастернака *Сестра моя – жизнь* (Пастернак, 1965: 112). На это указывают тема разбитой жизни, общая для Искренко и Пастернака, сходство образа фата-морганы у Пастернака и галлюцинаций у Искренко, а также отчетливая аллитерация пастернаковского стихотворения на [з]: *жизнь, в разливе, брюзгливы, змеи, резоны, в грóзу, глаза, газоны, резедой, горизонт, поездов, грандиозней, сызнава, закат, озарит, звоночек, извиненьем, не здесь, к звезде*. Если эта связь текстов действительно есть, тогда слово *зга* у Искренко означает жизнь в ее искаженном варианте, и эта жизнь представляет собой искру, что этимологизирует фамилию автора. Одновременное включение в слово *зга* значений ‘жизнь’ и ‘смерть’ в высшей степени показательны для обнаружения его смысловых потенциалов.

Связь со смертью присутствует и в текстах В. Сосноры. Выражение *ни зги* созвучно архаизму *зегзиц числа*:

В небе **ни зги** нет. Деревя
 тени
 порастеряли, или и их –
 в тюрьмы?

⁹⁴ Глоссолалия – намеренно непонятный текст, восходящий к ритуальной словесной магии.

В нашей тюрьме только зегзиц
 числа,
 «стой, кто идет?» – выстрел и вопль! –
 ты ли?

(Соснора, 1994-а: 22)

Мой Красный Сад! Где листья – гуси гуси
 ходили по песку на красных лапах

<...>

Как он стоял! Когда **ни зги в забвенье**,
 когда морозы – шли, когда от страха
 все – старость, или смерть... и веки Вя
 не повышались (ужас – умирал!),
 когда живое, раскрывая рот,
 не шевелило красными губами.

(Соснора, 1998: 81)

Обратим внимание на то, что в первом из контекстов Сосноры *ни зги* со-
 звучно архаизму *зегзиц* и входит в комплекс *зги нет*, звучащий как глагол *сги-
 нет*, а во втором включено в аллитерационный ряд со звуком [з]: *зги – забвение
 – морозы*. Во втором из этих примеров отчетлива связь выражения *ни зги* с
 красным цветом.

В поэме Ю. Кузнецова «Дом» строка *Горели три большие зги* описывает
 поминальные свечи. Отметим предметность, исчислимость денотата и его пре-
 дикат *горели*:

Семья сходилась за столом,
 И жечь отец велел
 Свечу на месте дорогом,
 Где старший сын сидел.

<...>

А в пустоту шагнул другой –
 И сгинул навсегда.
 Еще свечу!.. На две версты
 Сильнее свет пошел.
 Как от звезды и до звезды,
 Между свечами стол.

<...>

И этой муки не могла
 Родная перевозмочь.
 О, далеко она ушла!
 И наступант ночь.
 О чем, о чем он говорит,
 Один в ночном дому?
 Еще – одна свеча горит.
 О, как светло ему!

Горели три большие зги,
 И мудрость в том была.
 Казалось, новую зажги –
 И дом сгорит дотла.
 Старик умел считать до трех,
 И мудрость в том была.
 Не дай и вам до четырех,
 Четыре – это мгла.

(Кузнецов, 1990: 325–326)

В. Кривулин в стихотворении «Концерт памяти Сергея Курехина» соотносит згу с абсолютном, с невидимостью. В тексте можно увидеть и отголосок этимологической гипотезы о лошадиной упряжи (*он как привязанный блуждает за бренчаньем / невидимой но абсолютной зги*)⁹⁵. Впрочем, *бренчанье зги* скорее связано с музыкой театральных представлений, шелестом фольги и с выстрелами:

в осколках музыки и в зарослях фанеры
 в лесу из безнаказанной фольги
 девицы пляшут как милицанеры⁹⁶
 и чертят красные восьмерки и круги

театр живет закрытый за долги

⁹⁵ В. Кривулин сказал мне, что он представлял себе згу колокольчиком в лошадиной упряжке. Гипотеза о том, что зга – деталь лошадиной упряжи, преподавалась на филологическом факультете Ленинградского университет в 1960-х годах, когда там учился Кривулин. Примечательно, что в сознании поэта произошло преобразование этой гипотезы в образ дребезжащего и мелькающего предмета.

⁹⁶ *Милицанер* – слово из стихов Пригова.

подобьем жизни внутренней, без веры
 что там за стенами и крики и шаги
 и даже выстрелы и офицеры, офицеры...

театру все равно друзья или враги
 он как привязанный блуждает за брэнчаньем
невидимой но абсолютной зги

он что-то спрашивает – мы не отвечаем
 он з° плечи трясет но в пар его руки
 не слишком верится – так за вечерним чаем

включая новости сознание отключаем
 и в точку, в точку, в пол, под сапоги.

(Кривулин, 1998: 33)

В тексте А. Крестинского довольно странными оказываются отношения между производным значением всего сочетания *ни зги* – ‘ничего, нисколько’ (вспомним, что у Даля зафиксировано *хлеба ни зги*) и темой смерти:

Навалилась малая орда,
 Хлещет горлом алая беда,
 А глаза пусты, как у покойника,
 Жалости в глазах – **ни зги**.
 Выжрут жизнь, беспомощно-покорную,
 И оставят горсть лузги.

(Крестинский, 1993: 86)

Казалось бы, в этом случае связь выражения *ни зги* с темой смерти должна быть самой простой и понятной: речь идет о покойнике. Но если присмотреться к тексту с попыткой применить логику, то обнаружится: если бы в глазах была жалость и они были бы живыми, то в них была бы *зга*. В этом случае ближе всего переносные значения слов ‘искра’, ‘капля’, ‘самая малость’, предлагаемые Далем. Но даже и это значение не годится для следующего текста, в котором, может быть, актуализирована только сема ‘ничего’:

... Корруппированные круги

домогались твоей Ноги.

Да не вышло у них **ни зги**...

(Вишневский, 1992: 196)

В таком употреблении единственной функцией сочетания *ни зги* остается экспрессивное усиление высказывания. В той же функции употребляются выражения типа *ни черта, ни шиша, ни фига* и др. – с разной степенью приличности. Е. Н. Дубинский, обратив внимание на синонимию выражений *ни зги* и *ни черта, ни шиша*, говорит о том, что в таких сочетаниях не могут быть определены собственные значения слов *черт* и *шиш* (Дубинский 1973: 19). Но кажется весьма существенным, что подобные выражения актуализируют те компоненты значения, которые делают слово эмоциональным интенсификатором, восходящим к номинации нечистой силы. Эта способность к высвобождению экспрессивности замечена В. Строчковым:

– Я Апсара! Въезжаю в Сансару. **Ни зги!**

Ты, в натуре, опять мне шприцуешь мозги,

ты козёл по фактуре своей!

Медитируя здесь, по ту сторону зла

и добра, я тебя просекаю, козла,

и в сенсоре ты – фукс, муравей!

(Строчков, 1994: 364)

Здесь *ни зги* внесено в стихию жаргона с цитатами из культурного интертекстуального пространства (собственно, выражение *ни зги* в его нормативной сочетаемости и принадлежит книжному стилю). Таким образом, автор включает фразеологизм в текст, наиболее полно проявляющий свойство слова быть интенсификатором.

В контексте Строчкова *ни зги* может, вместе с тем, читаться и как ‘никого, ни души’. Значение ‘ни души’ присутствует здесь имплицитно, поскольку оно подсказывается языковой синонимией выражений *никого* и *ни души*. В песне М. Щербакова «Буря на море» аналогичная имплицитная связь порождает контекстуальное сближение слов *ни зги вокруг* и *души наши*:

Какой маяк? Какие шлюпки?

С ума сошли вы иль ослепли!
Ни зги вокруг, мы в центре бездны,
 и души наши очень скоро
 взовьются к небу, как голубки, –
 хотя скорей им место в пекле...
 Короче, будьте так любезны
 молчать и гибнуть без позора!
 (Щербаков, 1997: 177)

В этом тексте – с четко представленной темой смерти и преисподней – можно видеть сходство образов с образами стихотворения В. Хлебникова «Море» и в строке *С ума сошли вы иль ослепли!* почти цитату *Сбесился он или ослеп?* – из стихотворения Н. Заболоцкого «На лестницах».

Потенциальная синонимия выражений *ни души* и *ни зги* становится явленной у С. Стратановского:

А что у вас?
 Конечно, квас
 Грибки соленые, калина,
 В углу икона – Спас

А что у нас? Разор и боль
 Домашний сор и алкоголь
И ни души, ни зги
 И если скажешь «Помоги»
 В ответ: «Не помогу».⁹⁷
 (Стратановский, рукопись)

Однако в этом стихотворении на языковую неопределенность *зги* накладывается и смысловая двойственность слова *душа*: здесь оно имеет не только значение ‘кто-нибудь’, полученное в сочетании *ни души*, но и прямое значение, поскольку в предшествующей строфе говорится об иконе (Спасе). Тогда в отношениях между словами *ни души* и *ни зги* обнаруживается и потенциальная антонимия: общий смысл строки – и ‘ничего хорошего’, и ‘ни хорошего, ни плохого’.

го'. Впрочем, не исключено, что *ни зги* здесь носитель вполне материального значения – антитеза к ряду *квас, грибки, калина*: «у вас» есть эти признаки благополучия, уюта, душевного гостеприимства, а «у нас» нет (вспомним примеры *Даля ни зги в закромах, ни зги хлеба*). В любом случае, с чем бы ни была сопоставлена *зга* в тексте Стратановского, с душой или грибками, образ ее отсутствия – это интенсификатор безжизненности как лишения, и может быть, что принципиально важно, безжизненности и в духовном, и в материальном проявлении. Такой текст указывает на универсальность слова *зга*, в котором нейтрализуется оппозиция между абстрактным и конкретным, сакральным и профанным. И тогда то общеязыковое значение выражения *ни зги* – ‘очень темно’, которое, конечно же, в этом тексте есть, может пониматься и как вполне бытовое отсутствие света, и как христианский символ.

Это стихотворение примечательно еще и тем, что, при сохранении сочетанием *ни зги* лексической и грамматической нормативности, оно помещается в такую синтаксическую позицию, в которой предстает сомнительной его семантическая устойчивость: рядом с выражением *ни зги* появляются однородные члены предложения, предлагающие понимать *згу* как предмет или нечто вполне конкретное, хотя и непонятно, что именно. В современной поэзии встречаются и другие тексты, в которых слова *ни зги* становятся элементами неожиданных перечислительных рядов:

Ты смотришь назад – а там пелена дождя.
 Утерянный образ сечёт сетчатки твоей узор.
 Уже не видать **ни зги, ни статуй вождя**.
 Уже не собрать костей, не иметь сраму позор.

(Левчин, 1996: 17)

В комнате с салатным торшером
 двое занимались адюльтером,
 <...>
 И смотрел в окно на них прохожий,
 щуя глаз свой всё мрачней и строже,

⁹⁷ Здесь есть переключка со строками Ф. Сологуба: *В поле не видно ни зги. / Кто-то зовет: «Помоги!» / Что я могу? / Сам я и беден и мал, / Сам я смертельно устал, / Как помогу?* (Сологуб, 2000: 186).

и указывал на это детям,
добавляя метких междометий.

<...>

Но они, обиженные чем-то,
затушили огонёк торшера,
и не стало с этого момента
ни детей, **ни зги**, ни адюльтера.

(Воркунов, 1995: 30)

Очевидно, что когда погасла лампа, стало темно. Но выражение *ни зги* все же находится вне стандартной сочетаемости, следовательно, оно дефразеологизировано: употребление слов *не стало* предполагает утверждение, что *зга* была. И она предстает как нечто вполне материальное, входя в один ряд со словами *ни детей* <...> *ни адюльтера*. Вероятно, главная сема здесь, как и во многих других случаях, – прекращение бытия. Не исключено, впрочем, и такое понимание сочетания *ни зги*, которое побуждает вспомнить пример из пьесы Венденского «Куприянов и Наташа». Архетипически сексуальное поведение сопряжено и с выключенностью из жизни, и с максимальным проявлением жизни, и со смертью, и с рождением. Может быть, поэтому здесь и оказываются рядом выражения *ни детей, ни зги, ни адюльтера*.

В стихотворении Ю. Мориц находим форму множественного числа в строке, обнаруживающей анаграмматический повтор-отзвук с хиазматической (зеркальной) перестановкой элементов – *за эти мозги элитарные, тарные зги живоглотских династий*. И в этом тексте можно увидеть приближение слова *зги* к брани, во всяком случае, оно сопровождается бранью:

Дитя, торопись, а не то умереть опоздаешь за их процветанье, –
уже не хватает гробов, чтобы все улеглись, пострелявшись за их интересы,
за их клептоманию, блям, графоманию, премии, мумии, феню, конгрессы,
за эти **мозги элитарные, тарные зги** живоглотских династий, за яйца –
блям, Фаберже, за бутик, за антик, за раскрутку, блям, фракций и фрикций,
мальчик, пись-пись, торопись превратиться в обрубок, в огарок,

в придурка!..

(Мориц, 1996: 11)

Контекстуальная производность сочетания *тарные зги*, представляющего собой обрывок выражения *мозги элитарные*, является своеобразным дублированием другого (исходного) эллипсиса *ни зги не видно – ни зги*. Существительное *зги* и окказионализм *тарные* оказываются связанными со смертью и гробами. Возможно, в тексте, тема которого – цинизм в военной политике и в практике армейского призыва, *гробы* и предстают *тарой*. В таком случае слово *зги* – обозначение всасывающей бездны, прорвы – в том значении, в котором слово *прорва* выступает в фильме И. Дыховичного «Прорва» – с добавлением «циничной» метафоры. Кроме того, трансформация *мозги элитарные* → *тарные зги*, если читать эту последовательность не как перечисление, а как уточнение, может выражать смысл ‘утрата мозгов (интеллекта, разума)’. Возможна и совсем другая интерпретация сочетания *тарные зги*. Пример из Введенского, экспрессивно-бранное употребление слов *ни зги* разными авторами, помещение Юнной Мориц слова *зги* между словами *мозги* и *яйца* и, главное, мотив деторождения, проходящий через всё ее стихотворение, позволяют понимать *тарные зги живоглотских династий* как место, откуда эти династии рождаются.

Значения и тьмы, и смерти в следующем контексте актуализируются определением *кромешной*, а в качестве существительного выступает фразеологизм *ни зги* в эллиптическом употреблении:

Улыбок милость,
 Веселость встреч,
 Нацеленных автора убережь
 От факта: той, о которой речь,
 Как, впрочем, и всем другим,
 Привыкшим на рифах **кромешной**
ни-зги
 Зевоту рукой бороть,
 Я нужен – как рифма
 Стихам Айги,
 Как евреям – крайняя плоть.

(Гликин, 1995: 14)

Итак, в художественных текстах XX в. наблюдается активная дефразеологизация и семантизация слова. Многие тексты актуализируют динамические

потенции энантиосемии, вызванной противоречием общего значения фразеологизма и частного, утраченного языком, значения существительного. Его переосмысление основано на общем значении фразеологизма ‘ничего (не видно)’ и проявляет тенденцию к расширению значения – ‘ничего’. Чаще всего слово *зга* наполняется значением ‘смерть’ с признаками и мрака, и света, что соответствует как общекультурным символам, так и рассказам людей после реанимации. Значение ‘смерть’ активно поддерживается фонетическим созвучием с глаголом *сгинуть*. Языковая энтропия, выразившаяся в фонетической редукции, деэтимологизации и десемантизации слова, воспринимается поэтами как модель и метафора энтропии в широком смысле. Поэтому развитие у слова *зга* значения ‘смерть’ обусловлено не только архетипическими представлениями о связи тьмы, слепоты, смерти, но и самим ходом процессов в истории слова. Из тех значений, которые иллюстрируются примерами Даля, наиболее архаическим и наиболее устойчивым представляется ‘искра’. Оно не противоречит самому общему из новых значений – ‘смерть’, так как возможное ‘ни искры’ достаточно логично соотносится со зрительным проявлением сущности в момент ее исчезновения.

2. Семантические архаизмы

Слова, которые изменили свое значение в истории языка, в современной поэзии нередко употребляются в таких синтаксических условиях и в таком лексическом окружении, что реставрируется их прежний смысл. Можно сказать, что они являются одновременно и семантическими, и синтаксическими архаизмами. В главе об этимологии приводился пример со словом *перестать* при отсутствующем глагольном распространителе, который полагался бы по норме современного языка. Примеры других семантических архаизмов:

снисхождение дождя
по капельке на улыбку
за детство травы

(Прокофьев, 1993: 46)

Туда, где метеоритов брызги летают, где
 Земля – голубая чаша, полная тишины,
 Видна далеко, откуда души глядят на нас,
 Ангелы где **стремятся** – каждый своим путем.

(Охапкин, 1989: 69)

Сними с гвоздя свой колыбельный лук,
 На тетиве стрелу свою начни.

И верь – опять **воспрянет** тетива.
 Стрела **свершится**, рассекая страх.
 Коленопреклоненная трава
восстанет. А у роз на деревьях

распустятся, как девичьи, глаза.

(Соснора, 1994-а: 15)

Старое значение в таких случаях неизбежно взаимодействует с новым. Самодостаточность движения в строке *Ангелы где стремятся – каждый своим путем* явно противопоставлена обозначению житейской суеты современным словом *стремиться*, глаголы в сочетаниях *воспрянет тетива; стрела свершится; восстанет <...> трава* несут в себе и архаичность этимологического значения, и семантико-стилистический налет тех же глаголов в современном употреблении, которое, восходя к революционной романтике, стало пропагандистским клише.

Семантические архаизмы, не обусловленные синтаксически, можно видеть в таких контекстах:

о горе мое горе
 сказал один солдат
 махая деревянной
 косматою ногой
 солдатик оловянный
 почти уж не живой
 наполовину сокол
 наполовину гроб

скажи-ка друг мой Прокл
 когда ты станешь **лоб**
 когда ты станешь веткой
 когда твоя душа
 расправит над соседкой
 цветные кружева

(Миронов, Эрль, 1989: Оп.128)⁹⁸.

Прежнее значение слова *лоб* – ‘череп’.

«О камни Швеции, **пустыни** скандинавов!»

– чашу все чаще
 и понемногу, как привыкают к яду.

<...>

Ветки, поветья
 с листвой и без.

Я пью шипящу
 не чашу – чашу,
 и это третья

пустыня – лес.

(Кутик, 1993: 68–69)

Прежнее значение слова *пустыня* – ‘пустынное незаселенное место’; *пустытники* – ‘аскеты, живущие в диких лесах’, *пустынь* – ‘лес’; ср.: *пуца* – ‘лес’.

Авторы часто сопоставляют древнее и современное значение слова, рефлектируя по поводу изменения его смысла от высокого к низкому. Особенно это заметно на примере слова *живот*:

И понял аз грешный, что право живет
 лишь тот, кто за други положит **живот**,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
 чего же нам брюхо стеречь.

(Лосев, 1985: 87)

⁹⁸ Сборник стихов не имеет пагинации; нумерация текстов, обозначенных «Оп.», дана без линейной последовательности.

Когда дала Вам наша Родина **живот**,
 как яркий символ процветания страны,
 Вы завели зачем-то лысину – и вот
 её посредством тень наводите на ны.

(Строчков, 1994: 135)

Я – вор-воздушник,
 Всё, что кислородно,
 тащу в слова, которые **живот**,
ну, жизнь живая,
 коль читателю угодно.

(Залогина, 1997: 25)

Все-то сам реку сие, а пост не блюду
 столько уже жирного вложил во плиту
 что нет-нет да мною уж – не себя ль сам
 в другой
 местности посмертной, ужираю в огонь?

<...>

...мною себя глотая, Ся во мне унутри
 прах небес, земель ли перемель, перетри...
жизнь-живот-желудок за порог испражни...

Ежли не ланиты – хоть чело увлажни

(Хорват, 1997: 697)

Даже в прямом употреблении этого слова в значении ‘жизнь’ появляется усмешка – либо в стилистически сниженном контексте, либо явной отсылкой к стихии балагурства:

Живота своего-того,
 особо никто не кланчил,
 не нянчил.

(Залогина, 1994: 97)

Море, море...

Возведи от смерти **животе** мой, Спасе

Море, море...

Смеховая культура Древней Руси

Иже еси на небеси

(Кедров, 1991: 100)

У К. Кедрова отсылка к смеховой культуре древней Руси сопровождается аграмматическим употреблением звательной формы, если *живот* ‘жизнь’ мыслится как объект, или нарочитым смещением сочетания-обращения *животе мой, Спасе* ‘жизнь моя, Спас’ с объектным употреблением слова *животе* и обращением *Спасе*.

В современном языке выражение *животный страх* оказалось переосмысленным. Первоначально это означало ‘страх за свою жизнь’, теперь понимается как ‘страх, подобный страху животного’, ‘панический низменный страх’. Такой смысловой сдвиг обусловлен общей тенденцией к вытеснению относительных прилагательных предложно-падежными сочетаниями, в данном случае выражением *страх за жизнь*. Относительное прилагательное в устойчивом сочетании воспринимается как качественное. Это переосмысление воспроизводится в стихах, однако в следующем тексте *животный страх* преобразуется не в ‘страх за жизнь’, а в ‘страх в животе’. При этом происходит переоценка: такой страх понимается не как низменное чувство, а как чувство сильное и значимое в своей телесности:

От ЛЮБЛЮ рождается **страх в животе**⁹⁹.

Вот беру твое ушко, ушенько,

фарфоровую драгоценность;

вшептываю в него яд ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 50)

Формульное определение слова *жизнь* переносится на слово *живот* в его современном значении ‘часть тела’:

Смеркалось, и дивно луна

светила вполмесяца в бровь.

Светила вполсвета в живот.

⁹⁹ Ср. строки из «Поэмы Конца» М. Цветаевой о разрыве с любимым: *Я не более чем животное, / Кем-то раненное в живот* (Цветаева, 1994-III: 42).

Болел мой **печальный** живот.

(Воронежский, 1998: 116)

Семантические изменения, связанные с утратой словом *язык* древнего значения 'народ', становятся предметом рефлексии В. Сосноры:

Вы – объясните обо мне.

Последнем Всаднике глагола.

Я зван в язык, но не в народ.

Я собственной не стал на горло.¹⁰⁰

Не обращал: обрящет род!

Не звал к звездам... Я объясняю:

умрет язык – народ умрет.

(Соснора, 1998: 133)

В этом тексте современное значение слова *язык*, имеющее в виду язык не только как средство коммуникации, но и как хранилище культуры и духовного мира, противопоставлено архаическому значению 'народ' с утверждением более высокой ценности языка в его современном понимании.

Следующий пример демонстрирует совмещение архаического значения слова *позор* 'зрелище' с его современным значением 'стыд':

Прохожу вдалеке и вижу:

Это место – оно мое.

Никого с него не унижу,

Даже местность, **позор** ее.

(Охапкин, 1989: 128)

Ср. также:

Жило-было Чудище,

Юное Страшилище.

Росту – непомерного,

Непомерной силищи.

<...>

Бегало на гульбища,

Сходбища и сборища.

Обожало **зрелища**,

В частности – **позорища**.

(Заходер, 1997: 145)

Т. Кибиров создает такой контекст, в котором одновременно совмещены два значения слова *позорище* и два значения слова *восхищен*. В первом их этих слов суффикс *-ищ-* придает архаическому значению торжественное звучание, а современному – экспрессивное усиление осуждающего смысла:

Позорищем каким **восхищен** дух пиита?

Куда меня влечет звук лирных струны?

Се кров семейственный героя знаменита,

Почившего от бурь на лоне тишины.

(Кибиров, 1997: 76)

Такое словоупотребление точно характеризует «критический сентиментализм» Т. Кибирова (определение С. Гандлевского – Гандлевский, 1991: 230).

Иногда реставрируется не собственно прежнее значение, но прежнее отношение значений. Так, например, синонимия слов *долгий* и *длинный*, отражающая изоморфность представлений о времени и пространстве (ср.: сочетания *долгий день* и *длинный день*, *долгий путь* и *длинный путь*, слово *долгоносик*, а также *продолговатый* – ‘удлиненный’), освобождается от фразеологической зависимости:

В **долгом** саду, меж статуй и старинных деревьев,

Где по веткам, как птица, бежит воробей,

Я тоже ходил, меж деревьев старинных шатаюсь,

Сердце свое пронося над прекрасной травой.

(Кучерявкин, 1993: 27)

Кто написал через каждые тридцать шагов и семь –

¹⁰⁰ Явная полемика с Маяковским: *Но я / себя / смирял, / становясь / на горло / собственной*

МОЙ МИЛЫЙ!

Ран романтизма не перечислить. **Длинное дело!**

(Соснора, 1994-а: 12)

Даже маленький камень **во времени много длинней**,
чем большое дерево. Что ж говорить о нас,
то есть что говорить о тебе, обо мне, о ней,
если нам отпущен даже на глаз недолгий лаз.

(Строчков, 1994: 290)

Наречия *долго* и *долго* и существительные *долгота* и *длина* в отличие от однокоренных прилагательных не являются синонимами, но становятся ими в некоторых текстах, поскольку авторы больше ориентированы на логику системы, чем на стандартную сочетаемость слов, определяемую нормой:

Я о чем? Я о том:

Олимпийских голубок насест.

Афродита, Афина... Какая Афина? – Алена!

Осадили,

Огрузили,

Оседлали мой крест.

И так долго и сладко

гвоздят.

И целуют так

долго.

(Ширали, 1992-б: 110)

в теснине проспекта удобно видна

оставшихся дней небольшая **длина**

(Цветков, 1996: 94)

Синонимия слов *медленно* и *спокойно*, *медленный* и *спокойный* становится производящим фактором в таких контекстах:

Сэр Френч на стуле **медленно сидит**,

А дроби номера – шестой да пятый,

Но потому, что ствол – калибр двадцатый,

Калибр патронов тоже двадцать два.

(Соколов, 1990: 29)

Это, остановленная горем,
женщина под тенью трех смертей
медленно сидит, античным хором
вторит, вторит вторящее ей.

(Гандельсман, 1998-а: 51)

Куда тебе, гляделец лиц!.. Младое
навстречу смотрит: из, и сквозь, и чрез
сиреневых, как у Лилит, ладоней
и этих ярких, **медленных очес**.

(Бобышев, 1992-б: 92)

В первом из этих текстов имеется также рэтимологизация слова *френч*, напоминающая о его происхождении названия одежды из имени собственного, что приводит к олицетворению. В нормативном языке сочетание *медленно сидит* невозможно, так как наречие *медленно* сочетается с глаголами действия (чаще – движения), а не состояния. Но важно, что это наречие указывает на действие неинтенсивное. В цитированных строках значение неинтенсивности и развивается доведением до абсурда: ослабленная динамика предстает статикой.

В последнем примере сочетанием *медленных очес* передается не только спокойствие, но и медленное движение, при этом признак движения переносится на неподвижный предмет¹⁰¹. Такое перенесение эпитета приводит к синонимии слов *тяжелый* и *медленный*:

Летнею днёвною тучей скользя
Долго над белым ночным стадионом...
Парки закрыты дождем.
Храм ожидает, языческой тенью застыв
Медленных тяжких колонн на закате.

(Аристов, 1992: 37)

¹⁰¹ О перенесении эпитета (гипаллаге) см.: Гинзбург, 1989; Кожевникова, 1993-а: 176.

В данном случае признак медленности совсем отрывается от обозначения движения. Можно сказать, что в тексте В. Аристова, как и в предыдущем примере, понятие медленности – ослабленной динамики – доведено до предела в образе абсолютной статики.

На основе ослабления признака развивается и другое переносное значение слова медленный – ‘тусклый’:

Я проснулся – тусклый полдень
Светит **медленные светы**.
Телефон знакомой Светы
Я набрал: «Уж подан полдник, –
Говорит лениво Света... »

(Мякишев, 1998: 46)

Показательно употребление одного из семантических архаизмов, который часто встречается в текстах разных поэтов, – слова *глагол*. Тематическое и стилистическое разнообразие текстов позволяет наблюдать динамику семантических сдвигов.

Призыв Пушкина *Глаголом жги сердца людей* и такие его строки как *Но лишь божественный глагол / До слуха певчего коснется* хорошо услышаны и серьезно восприняты современной поэзией:

Бредя во тьму, нам остается бресть
Туда во тьму, где мужество – брести
На жуткий зов молчанья, в коем весть
Глагола жизни должно обрести.

(Охалкин, 1989: 161)

Только звуки у **Глагола**,
непомерного для горла,
пострадавшего за ны, –
страшны, влажны, солонь...

(Бобышев, 1992-а: 31)

Именно слово *глагол* в максимальной степени сохраняет принадлежность к высокому стилю, и речь понимается настолько очевидным смыслом

жизни поэта. Автор прямо отождествляет себя с Глаголом, а это сразу дает повод для иронии:

И странными глаголами в языцах
Заговорив, как бы инстинкт в девицах,
Точь-в-точь ручья захлебистая речь,
Глаголом становлюсь – мечом сиречь!

(Охупкин, 1989: 146)

А. Шельвах употребляет слово *глагол* в архаическом значении, пародируя цитату из Пушкина и иронизируя над собой. Он обращается с цитатой и с этим словом так, как возможно обращаться с очень понятным, естественным, своим, даже надоевшим:

...не догнал черепаху, не одолел дракона,
женился на, прости Господи, алеутке, –
за станком токарным стою покорно,
превозмогая боли в желудке –
это от злоупотребления алкоголем,
или от курения натошак полжизни,
или от **прожигания этой жизни глаголом**
по ночам в безмятежно спящей Отчизне.

(Шельвах, 1992: 39)

Конечно, у современных авторов архаическое значение слова *глагол* накладывается на современное значение лингвистического термина, что определило, например, название сборника М. Яснова «Неправильные глаголы», сборника В. Строчкова «Глаголы несовершенного времени».

Следующий контекст демонстрирует потенциал этого архаизма к расширению объема значения:

Вот иду себе гуляю –
тонет некто в синем море.
Хладным потом я облился.
На лице белеет горе.

<...>

За вихор тяну младенца –

невеликие труды!
Он, раскрыв уста младенца,
говорит глагол воды.

(Шельвах, 1992: 13)

Слово *глагол* здесь контекстуально производно от имплицитно присутствующего слова *глаголет* из пословицы *устами младенца глаголет истина*. В таком случае подразумевается, что *глагол* есть истина. Кроме того, в этой бытовой сцене слово *говорит* метафорически выражает значение 'извергает', а *глагол* означает содержание – то, чем человек наполнен. При этом возможно имплицитное паронимастическое и одновременно метафорическое сближение *река – речь*: оба эти слова не названы, но могли служить внутренним основанием семантических сдвигов в сочетании *говорит глагол воды* (ср. стандартные сочетания: *говорить речь* и *изрекать истину*). Вероятно, нелишне вспомнить и то, что *водой* называют избыточное многословие – это вполне подходит для иронизирования поэта над своим делом. Можно предположить, что для этого семантического преобразования существенно также, что в данном случае содержимое *вода* (в стихотворной строке *глагол*) губительно для человека: в глаголе, как в воде, можно утонуть.

Губительность слова для поэта – одна из главных тем поэзии, и слово *глагол* у Ю. Кублановского легко переходит в слово *глаголь* – 'виселица' (от прежнего названия буквы «Г» в кириллице):

И, роговицу наполнив, проклянется
 вдруг опреснённая соль.
 Разом и нищенка и толстосумица
 – жизнь перельётся в глаголь.

(Кублановский, 1993: 62)

Ведь и есть-то лишь лес один,
 Где спасается наш господин, –
 Его ищут и там и здесь,
 Во граде, по полю.
 Все оцеплены берега,
 И на всех площадях врага

Есть, где встать **глаголю**.¹⁰²

(Юрьев, 1992: 148)

Новый набег
 тютчевских рек
 сюда –
 в рощи дотоль.
 Только **глаголь**
 – мать моего стыда.

(Кублановский, 1993: 64)

3. Полисемия, омонимия

В современной лингвистике, особенно в лексикографической практике, принято различать полисемию (многозначные слова, смысловая связь между которыми очевидна для носителей языка) и омонимию (слова, совпадающие по звучанию, но различные по смыслу; совпадение может быть обусловлено разными причинами, в том числе и генетической общностью слов, которая, однако, перестала осознаваться). Учитывая тот факт, что поэты часто стремятся восстановить утраченные связи между различными значениями слов, а также установить новые смысловые связи между омонимами, здесь мы не проводим различия между полисемией и омонимией.

Для понимания важности этого явления в современной поэзии приведем точку зрения одного из теоретиков постмодернизма, Поля Рикёра: «строго говоря, полисемия является синхроническим понятием; в диахронии множественным смыслом называется изменение смысла, перенос смысла. Несомненно, чтобы не упускать из виду совокупность проблем полисемии на лексическом уровне, надо комбинировать эти два подхода, поскольку именно изменения смысла синхронно проецируются на явление полисемии; это значит, что прежнее и новое становятся современниками в одной и той же системе» (Рикёр, 1995: 104–

¹⁰² Ср. в эпиграмме Ломоносова на Тредиаковского («Бугристы берега... »): *Гневливые враги и гладкословный друг, / Толпыги, щеголи, когда вам есть досуг / От вас совета жду, я вам даю на волю: / Скажите, где быть га, а где стоять глаголю?* (Ломоносов, 1986: 262).

105). Многозначные слова трактуются этим автором как накопители смысла, как «обменный пункт между старым и новым» (указ. соч: 107).

Современная поэзия постоянно обращает внимание на присутствие в слове более, чем одного значения, а это значит, что внимание поэта привлечено к языковому конфликту – к динамической ситуации. При этом языковая игра, как это часто бывает в текстах постмодернизма, предстает этикой, психологией, идеологией, философией:

Переведём часы на час вперёд.

Нас много: двести пезьдесят мильонов.

Переведём часы в рубли и тонны

и подсчитаем валовый доход.

<...>

Какой глубокий сокровенный смысл

подспудно затаился в **переведе**

Шагаем мы наперекор природе.

Мы можем всё – и жар холодных числ.

Переведём мы стрелки поездов,

аванс в сберкассу, миновав карманы;

переведём поэтов иностранных –

и заодно оставшихся жидов;

переведём вниманье всех постов

на **переводы** почтою Шекспира,

посылкой – обрусевшего Шапиро

и бандеролью – нефтяных пластов;

переведём в министры подлецов,

минуя формализмы аттестаций,

переведём мы всё – и, может стать,ся,

переведёмся все в конце концов.

(Строчков, 1994: 28)

он понял всё: что дети за отцов

не отвечают – до тех пор, пока

не спросят; что врага уничтожают,

когда он не **сдаётся** – а когда

сдаётся, то его уничтожают
тем более: кому такой он **сдался!**

(Строчков, 1994: 316)

Вот водою окатило
обнаженную наяду
так, что вздрогнул черный пудель
у нее под животом.

Так и надо ей, **поганке!**
Так и надо ей, **лисичке!**
Так и надо мне, **масленку** –
отвернулся бы, дурак!

(Голь, 1995: 12)

Не в башню повидней,
И не в славянолюбы,
Что из сплошных **корней**,
Как порченые зубы.

(Знаменская, 1997: 32)

Следующий текст построен на омонимической игре слов, которая изображает намеренное нарушение коммуникации – сюжетобразующее непонимание, определяемое разными жизненными позициями участников диалога:

– Разрешите **обратиться**?! – я спросил у командира.
– Разрешаю, **обращайтесь** – мне ответил командир,
и тогда я **обратился** не в лягушку – в птицу мира,
и взлетел к нему на плечи, и склевал его мундир.

Прибежали три танкиста, а потом еще четыре
и немецкая овчарка с польской примесью кровей,
но кричать и лаять стало невозможно в этом мире –
на полковничьих погонах расплясался соловей!

Пусть, сверкая блеском стали, встанет армия из праха,
на устах слова устава не прикажут долго жить:
если гвардии полковник в галифе **кладет** от страха,
что он скажет генералу? – Разрешите **доложить**?

(Сливкин, 1995: 218)

Моделирование непонимания – своеобразный обман читателя или слушателя, смысловая ловушка – тоже нередкий прием в современной поэзии:

Разбегаемся! Поиграем в пятнашки и в прятки.
Тряхнем стариною, кто как может: хутор, болото,
я, перелесок... Кто на дороге остался? **Водит**
лошадь.

Водит лошадь замшелым глазом. Старый эстонец
на возу поправляет сено. На желтом поле
ходят черные птицы, а также четыре коровы.

(Яснов, 1986: 52)

На хорах певчие блюют,
И с криками «ура!»
Часы на Спасской башне **бьют**
Бухие любера.

(Иртенев, 1998: 144)

В современной поэзии есть направление, названное его создателем В. Строчковым полисемантикой. Выше приводилось немало примеров из его стихов. Сам Строчков так объясняет полисемантику как принцип поэтики: «...все объекты и явления нашей Вселенной проявляют себя принципиально многозначно <...> ПОЛИСЕМАНТИКА ЕСТЬ ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ (или, если угодно, ОДНА ИЗ ФОРМ АКТУАЛИЗАЦИИ, или, если не угодно, ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ) ПОСТМОДЕРНА КАК ОДНОЙ ИЗ БАЗОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ КУЛЬТУРЫ (искусства, литературы, поэзии), ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ (-АЯСЯ, –ЕЕСЯ) ИНТЕНСИВНЫМ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВА МНОГОЗНАЧНОСТИ ЗНАКОВЫХ СИСТЕМ (языковых средств)» (Строчков, 1994: 377, 385)¹⁰³.

¹⁰³ Фрагменты текста графически выделены В. Строчковым.

4. Энантиосемия

В лингвистической литературе явление энантиосемии рассматривалось в связи с этимологией и историей семантически синкретичных слов в сравнительно-историческом освещении (Шерцль, 1883; 1884; Булаховский, 1953; Балалыкина, 1989; 1994), исследовался диалектный материал (Прохорова, 1961; Лаврентьева, 1978), подробно изучалась история слов *лихой*, *благой*, *хлад* (Смирнова, 1966; 1976), устанавливалась семантическая типология энантиосемичных глаголов (Бацевич, 1986), определялась позиция энантиосемии в лексико-семантической системе – по отношению к полисемии, омонимии, антонимии (Новиков, 1973; Соколов, 1980; Жаркова, 1988; историю вопроса и обзор точек зрения см.: Евтеева, 1982). Внимание исследователей было привлечено к таким причинам поляризации значений, как сужение значения (Шерцль, 1883; 1884; Булаховский, 1953), ирония (Смоленская, Давыдов, 1972; Климова, 1975), метафоризация (Лаврентьева, 1978). Был поставлен вопрос о грамматической энантиосемии (Соколов, 1985; Жаркова, 1988).

В большинстве работ подчеркивается, что энантиосемичные слова немногочисленны и это явление непродуктивно в рамках одной системы – временной, территориальной, социальной, стилистической (Толстой, 1963: 44; Новиков, 1973: 191, 192; Балалыкина, 1994: 3 и др.)¹⁰⁴.

Тенденция к дополнительному распределению контрастивных значений естественна, так как язык, ориентированный на коммуникативную функцию, стремится избежать конфликтной ситуации, однако именно конфликтные, противоречивые участки системы всегда были и остаются зоной изменений в языке, а современная поэзия постоянно обращает внимание именно на языковой конфликт.

¹⁰⁴ Ср.: «Вообще же развитие омоантонимии на базе противоположных значений слова – явление достаточно редкое. Энантиосемия не представляет в современном языке явления продуктивного, развивающегося, а сами противоположные значения слова принадлежат обычно или к ограниченной сфере его употребления (например, к области профессионального использования), или к разным сферам или даже периодам их активного функционирования (например, к разным стилям, различным синхронным планам, к разным историческим стихиям литературного языка, различным диалектам и т.д.» (Новиков, 1973: 191). Однако высказывается и другая точка зрения: «... в современных языках энантиосемия не представляет особого раритета, обнаруживая даже определенную прогрессивную тенденцию» (Горелов, 1976: 87).

Энантисеми́я – это самое крайнее проявление, предел полисемии, это та пограничная черта, на которой лексическое значение переходит в свою противоположность, и этот процесс заметен в контекстах, обнажающих парадоксы самого языка. Постмодернизм, при всем разнообразии авторских стилей, пытается познать сущность явлений (в том числе языковых), исследуя не центр, а периферию, не типичное, а удивительное, он исследует границы явлений и условия трансформации, тем самым предоставляя материал историку языка¹⁰⁵.

В обиходной речи незамеченные энантисемические потенциалы слова могут стать ощутимой помехой коммуникации: *Каждый день, проведенный в школе, – это лишние знания* (Из выступления на родительском собрании – Нарочно не придумаешь, 1981-I: 11); *Доктор Городецкая! Не отмахивайтесь от больного, доведите его до конца* (Резолюция главврача на заявлении больного – Нарочно не придумаешь, 1981-II: 8); *шоколад «Финиш»*. А поскольку каждая ошибка, каждая неловкость речи может стать конструктивным принципом в художественном тексте (Тынянов, 1977: 63), наши поэты с удовольствием валяют дурака, вовлекая нас в свои игры и сбивая с толку.

Так, например, В. Строчков программирует читательскую ошибку и ее исправление:

Едем, едем, не скучаем,
 разговор ползёт, как гной,
 проводник **обносит** чаем,
 жизнь обходит стороной.
 (Строчков, 1994: 137)

В данном случае для понимания текста читателю приходится воспринять два значения слова *обносит* раздельно. После первого чтения он вынужден признать, что был обманут, и прочесть строчку еще раз – по-другому.

Но чаще, чем разделение, встречается объединение значений.

¹⁰⁵ Ср.: «...мы не поймем, каким образом конструируются границы между категориями или как дискретные категории накладываются на непрерывную действительность, до тех пор, пока мы не научимся исследовать эти границы с аналитических позиций. А это означает преимущественное внимание к пограничным случаям, которые не могут быть с уверенностью помещены по ту или иную сторону рассматриваемой границы» (Лабов, 1983: 134).

щий текст произносится героем с сарказмом осознанной ответственности за происходящее в стране:

И хоть в этой стране древесина в цене,
 Всюду весело пышет огонь:
 Жжем живьем, вместо дров, и сироток, и вдов –
 И тепло, и **приятная вонь!**

(Ким, 1990-б: 108)

Слово *вонь* употреблено в современном общепринятом значении ‘дурной запах’, но палачам и обывателям этот запах приятен. В оксюмороне сталкиваются противоположные эмоционально окрашенные представления о добре и зле. Однако слово *вонь* в историческом сюжете можно понимать и как семантический архаизм-гипероним ‘запах’, а тогда оксюморон устраняется, сочетание перестает быть алогичным.

У А. Миронова слова *блаженный, благодать, благие, блажить* включаются в контекст со строками *кто-то будет там, конечно, / антиномии решать*. В этом же контексте появляются энантиосемичные слова *славы, отойдут*. Речь идет о Страшном суде, когда *ум от тела отделится*. Называется стихотворение «Синтез»:

Но, видать, глаголют право:
 близок день вселенской **славы** –
 всё изменится, пройдет:
 словно нетел отелится,
 ум от тела отделится
 и в Омеге пропадет.

<...>

И тогда по всей вселенной
 воцарится сонм **блаженный**:
благодать – на благодать,
 но различный – не кромешный:
 кто-то будет там, конечно,
 антиномии решать.

А другие, как **благие**,
 все зайдутся в литургии

и вовек не **отойдут**.
 Очесам сие незримо,
 красото непостижимо,
 и слова на ум нейдут.

Тем и будем утешаться,
 особливо же стараться
 страхом Божьим дорожить,
 а Начальства, Власти, Силы
 приготовят нам могилы,
 чтобы все не **блажить**.

(Миронов, 1993: 7374)

Это стихотворение явно утверждает неразделимость противоположных понятий, невозможность однозначных оценок в земном мире. Обратим внимание на то, что в тексте сталкиваются церковно-славянские положительные значения слов с корнем *благ-* и отрицательные разговорно-диалектные. *Благой* в разных говорах означает ‘беспокойный’, ‘злой’, ‘сердитый’, ‘упрямый’, ‘неудобный’, ‘бешеный’, ‘болезненный’, ‘плаксивый’, ‘слабоумный’ (см. диалектные контексты и географические пометы в работе: Смирнова, 1966: 63). В говорах зафиксированы также бранные выражения, представляющие *благо* как нечистую силу: *Благо тебя побери* и *Благое тебя побери* (там же). В литературном языке слова *блажь*, *блажить*, фразеологизм *благим матом* совсем утратили положительные значения. Если синкретизм древнего слова являлся предпосылкой понятийного освоения семантики, то синтез значений в современном тексте можно считать итогом семантического развития: понятия уже были вычленены, поэтому современное сознание воспринимает их как комплекс уже познанных явлений. Но вместе с тем их познанность подвергается сомнению. Постмодернизму свойственны агностицизм и обостренное переживание человеческого несовершенства (что в большой степени отличает постмодернизм от модернизма). По мнению О. И. Смирновой, сферы употребления положительных и отрицательных значений слова *благой* различны: отрицательные функционируют только в диалектах, а положительные в литературном языке (указ соч.: 67). Поэтический текст устраняет эти различия, расширяя смысловой объем слова.

К поляризации значения в языке иногда приводит формульность словосочетания¹⁰⁸ – сильный энтропийный фактор. Так произошло со словом *мощи*. Генетически связанное с глаголом *мочь*, оно сначала называло телесную силу, но в выражении *святые мощи* этим словом стала обозначаться чудодейственная сила, свойственная мертвому телу. Существительное *мощи* приобрело противоположное значение, образовался новый фразеологизм-оксюморон *живые мощи*, обозначающий очень худого, болезненного, немощного человека. А. Ребров пытается реставрировать этимологическое значение, объединяя его с производным:

С ним¹⁰⁹ Россия в погостной роще,
В монастырской тиши лесов
Воскрешала литые **мощи**
Страстотерпцев-колоколов.

(Ребров, 1991: 86)

Некоторые тексты актуализируют динамические потенции энантиосемии, вызванной противоречием общего значения фразеологизма и частного, утраченного языком значения существительного (см. раздел о слове *зга*).

Энантиосемические отношения потенциально возможны для любых оценочных слов, поскольку многие явления могут оцениваться противоположным образом не только субъективно, но и вполне объективно – в разных их свойствах. Как показывает современная поэзия, энантиосемия легко возникает у слов с широкой неопределенной семантикой:

У сердечников **дурная память**,
что не надо, вспоминаешь.

(Сатуновский, 1994: 157)

Я тебя никогда не забуду.
У меня такая **плохая** память:
Я все помню.

(Галкина, 1989: 121)

¹⁰⁸ Насколько нам известно, в лингвистической литературе эта причина развития энантиосемии еще не была названа.

Возможность мотивации, снимающей алогизм сочетаний *дурная память*, *плохая память* – в значении ‘хорошая память’, базируется на логике семантических процессов в истории языка (ср.: *злопамятный*).

Возможно возникновение энантиосемии на основе парадоксов в объективной действительности, отраженных языком, в котором относительное прилагательное может приобретать качественно-оценочное значение:

Под боком книга **макулатурная** в ребро
 упирается,
 На лице газета шуршит.

(Галкина, 1989: 140)

В 70–80-х годах словосочетание *макулатурная книга* означало и особо ценную или престижную книгу, которая куплена на талон за сданную макулатуру, и книгу, которая годится только в макулатуру, то есть плохую, никому не нужную¹¹⁰.

Энантиосемия потенциально возможна там, где речь идет о двойственности восприятия, об относительности понятия:

Заползает страх внутрь с мылом.
 Он ползёт ужом, но **уже** тесно
 и **ещё** темно: ночь. Но чьи ночью
 щупальцы? Гортань спазм стиснул.
 Кожаный мешок износил ношу,
 истошил нишу, истончил кожу,
 ищет облегчения, а не смысла.
 Так висит капля на краю крана...
 А вода стекла, слилась. Стихло.
И ещё поздно. Но **уже** рано.

(Строчков, 1994: 271)

¹⁰⁹ Святым Георгием.

¹¹⁰ Многие исследователи считают, что энантиосемия развивается и по экстралингвистическим причинам. Казалось бы, что сочетание *макулатурная книга* – выразительное этому подтверждение. Но вряд ли имеет смысл вообще выделять экстралингвистические причины: их можно

В этом тексте представлено преобразование узуальных сочетаний *уже поздно* и *еще рано*. Их обмен компонентами, на первый взгляд, алогичен. Но отношения между словами *уже* и *еще* в языке очень сложны, слова предстают то антонимами, то синонимами (см., напр.: Богуславский, 1996: 227–302)¹¹¹.

Смыслы слов *уже* и *еще* сближаются общей семой ‘смещение времени события (состояния) по сравнению с ожидаемым временем’, различаясь точкой отсчета – предшествующей событию или последующей.

В ситуации, описываемой Строчковым, – мятущегося сознания при бессоннице – точка отсчета все время сдвигается. *Уже* в предложениях типа *он уже пришел* может означать ‘раньше, чем ожидалось’, то есть. ‘рано’, поэтому оксюморонное сочетание *уже рано* предстает тавтологичным. Наречия *поздно* и *рано* тоже выражают относительную локализацию во времени, зависимую от точки отсчета (ср. широко распространенную шутку: *вернусь домой рано*, то есть ‘утром’). И потенциальная энантиосемия всех компонентов в сочетаниях *уже поздно* и *еще рано* создает весьма причудливую картину относительности времени. При этом на значение слова *еще* ‘пока’ накладывается его аддитивное ‘кроме того’. Эти значения совмещены и в следующем тексте:

Еще ты и не называлась женой
Моей, а тем паче чужой,

Еще мы ни лучших, ни худших времен
Не знали, ни детских имен.

Еще, впрочем, это почти что
Уже
Был куплен пакетик цветного драже.

Разорван, рассыпан по Трубной
Размолвкой первой, не крупной

(Чернов, 2000: 28).

усмотреть в любом смысловом сдвиге, так как новое значение появляется всегда из потребности назвать какое-то явление действительности.

¹¹¹ Это одно из последних подробных исследований проблемы. Там же обсуждаются работы А. А. Апресяна, Т. М. Николаевой, А. Мустайоки и других лингвистов о словах *еще* и *уже*.

Здесь синонимия *еще* и *уже*, эксплицированная рассуждением, создает энантиосемию слова *еще*, что тоже обусловлено изменением точки отсчета: сначала автор находится на большой временной дистанции по отношению к событию, а затем его сознание перемещается в то время, о котором идет речь.

Любопытное проявление энантиосемии связано с широко употребительным в современной поэзии словом *имярек*. Генетически это сложение винительного падежа слова *имя* с глагольной формой *рекъ* – ‘сказал’ или ‘сказав’. Выражение *имя рек* значило – ‘тот, чье имя названо’. Употреблялось же оно как эквивалент современного прочерка в бланках или произвольного имени в образцах документов – «слово, стоящее в церковных книгах и приказных документах в тех местах, где должно быть указано чье-л. собственное имя» (Словарь русского языка XI–XVII вв.-VI: 233)¹¹². В результате значение ‘имя названо’ превратилось в значение ‘имя не названо’. Уже в XIX в. слово склоняется при ироническом употреблении: «*Шутл.* Служит заменой имени неизвестного лица в значении: н е к т о » (Словарь русского языка, 1981-I: 664). В современной поэзии слово *имярек* означает некую абстракцию, деперсонифицированного человека – того, у которого вообще нет имени. У Бродского в стихотворении «На смерть друга» словоформа *имяреку* совмещает значения ‘тот, чье имя я знаю, но не хочу называть’ и ‘тот, у кого теперь нет имени’:

Имяреку, тебе, – потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима

<...>

имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой.

(Бродский, 1992-II: 332)

Во множестве других текстов *имярек* – это стандартный человек без индивидуальных свойств, а потому и человек-фикция:

Простой советский **имярек**,

¹¹² Словарь приводит примеры XV–XVII вв. (в текстах этого времени словораздел уже обычно обозначался): *Смирение наше ради своего писмени благословляет честнРйшаго въ священноинокохъ (имярекъ) въ отца духовнаго» (XV–XVI); Се азъ Анкидинъ Яковлевъ, обРцаюся предъ симъ святымъ евангелиемъ... что мне им(я)р(е)къ великому государю царю... служить (1666).*

Каких в стране у нас немало.
 Увы, забвению обрек
 Мой мозг его инициалы
 (Иртеньев, 1998: 186)

– О всех анонимах радеть
 И сын **имярека**,
 Двадцатого Вия свидетель,
 Двадцатого века.
 (Галкина, 1990: 4)

Собственно, и само сращение является своеобразной моделью утраты имени, что усугубляется склоняемостью слова (кроме приведенных встречаются формы *имяреки*, *имяреком*, *имярекам*). Но изменение продолжается, и слово *имярек* становится производящей основой для псевдофамилии или для притяжательного прилагательного:

Спешите видеть: небывалый номер, зрелище,
 курьёзный феномен!
 Я, **Имяреков**, обыватель с виду, лирик,
 не противник перемен –
 имею способ, не вставая с кресла, молча и
 с такой же простотой, с какой дышу,
 в устройство мира привносить добро и разум,
 совершенство и покой. И привношу.
 (Щербаков, 1990-б: 47)

Что, мол, не только страсти живота,
 Не только страх в составе человечьем,
 Что, словно в капле, в вопле **имяречьем**
 Российская клубится маета.
 (Ким, 1990-б: 99)

Итак, в плюралистической культуре постмодернизма энантиосемическое прошлое слова и его актуальные энантиосемические потенции оказываются тем свойством, которое позволяет предельно лаконично выразить противоречие или

относительность как имманентные свойства предметов, явлений, категорий, чувств, оценок.

5. Изменение значения

Изменение значения в истории языка происходит по разным причинам, и действуют при этом разные механизмы: языковая метафора, метонимия, расширение и сужение значения. Все они сначала приводят к усилению образности языка, а затем, превращаясь в стандарт, штамп, – к ее ослаблению и – в конечном счете – к забвению как образных связей, так и исходного значения.

а) Десемантизация

Процесс и результат изменения значений в истории языка волнует поэтов и осмысливается как потеря, утрата исторической памяти. Поэты сопротивляются языковой энтропии, доводя явление до абсурда и перенося механизм изменения с одних слов на другие – те, которые еще не охвачены литературным языком:

Монгол стоял на холме и как ветряная мельница бежал на месте.
Глаза у него с грустинкой но не худ
а даже влажен животик потому что он был – ниоткуда.
Бежать-то бежал, а в **левой деснице** держал драгоценность –
курицыно яйцо.

<...>

В правой деснице держал он букварь с буквой «Б».
Значит все в норме сей человек – в борьбе.

(Соснора, 1998: 111)

Здесь можно видеть резкий алогизм сочетания *в левой деснице* и тавтологию сочетания *в правой деснице*. И то и другое на первый взгляд кажется нелепостью. Но В. Соснора – поэт, очень хорошо знающий древнерусский язык, один из лучших переводчиков «Слова о полку Игореве». В другом контексте то-

го же автора сочетание *в левой деснице* сопровождается возгласом *время! время!*, показывающим, что Соснора, внося в текст это сочетание, думает о разрушающем действии времени:

Фосфоресцируют волосы в воздухе. Чаша весов **в левой деснице** (время! время!). Не расплескать бы тост!

(Соснора, 1998: 124)

Рефлектируя над тем, что слово утрачивает свое исходное значение, автор предлагает читателю анализ семантических процессов, которые происходят в языке.

Утрата церковно-славянского прилагательного *десный*¹¹³ нарушила словообразовательную системность существительного, лишила его актуальной мотивированности. Кроме того, вытеснение из языка слова *шуйца* ‘левая рука’ практически вывело слово *десница* из бинарного противопоставления по признаку ‘правый – левый’. Заметим, что никакие другие парные части тела (ноги, глаза, уши) не различались по этому признаку. Поэтому десемантизация слова *десница* восстанавливает системное равновесие. Парадигматическая изоляция слова сопровождалась синтагматической аттракцией – сдвигом в значении, вызванным типичными контекстами слова (см. об этом термине: Тараненко, 1989: 154). Преимущественное метонимическое и метафорическое употребление слова в таких контекстах, где *десница* – символ власти, а именно рука Бога, героя, вождя, рука творящая, благословляющая или карающая, привело к тому, что понятийное значение ‘правая рука’ практически вытеснено коннотациями и стилистическим значением слова. Теперь это просто ‘рука’, но в высоком смысле, рука символическая. Превращение стилистических различий в семантические отражено в тексте Н. Галкиной:

Это фатума парадиз – живи и помни! –
сочетание тяжкой ризы и шали томной,

¹¹³ По мнению авторитетных славистов, восточные и западные славяне в дописьменную эпоху не знали слова *десный* ‘правый’. Н. И. Толстой сначала принимает эту точку зрения, затем не соглашается с ней (см. об этом: Толстой, 1997: 420–421, 433).

совпадение **легкой руки** и **тяжкой десницы**.

Это рай, отстроенный Роком:

НАША СТОЛИЦА!

(Галкина, 1999: 70)

Поэтому стало возможным употребление слова во множественном числе, даже когда речь идет о руках одного человека. Такое встречается уже в текстах письменности и в литературе XVII – XVIII в.: *Десницы стянуты оковы железными* (Житие митрополита Филиппа XVII в.)¹¹⁴; *Еже жил Валуа, и слабыя десницы* <фр. ориг. *mains*> *С трудом могли держать колеблющи границы* (Московский журнал XVIII в.)¹¹⁵.

В одном из ранних стихов Бродского читаем:

Сознание, как шестой урок,
выводит из казенных стен
ребенка на ночной порог.
Он тащится во тьму затем,
чтоб, тучам показав перстом
на тонущий в снегу погост,
себя здесь осенить крестом
у церкви в человеческий рост.
Скопление мертвецов и птиц.
Но жизни остается миг
в пространстве **между двух десниц**
и в стороны от них. От них.

(Бродский, 1992-II: 201)

Природа поэзии такова, что образная система текста настраивает читателя на восприятие логического определения как эпитета. В рассмотренных текстах Соснорыс сочетаниями *в левой деснице* и *в правой деснице*, видимо, и происходит этот процесс.

Обратим внимание на оппозицию драгоценностей в первом тексте Соснорыс: в левой руке у монгола – *курицыно яйцо*, а в правой – *букварь*. В этом

¹¹⁴ Приводя этот пример, составители словарной статьи определяют оттенок значения 'рука вообще' (Словарь русского языка XI–XVII вв.-IV: 231).

¹¹⁵ Словарь русского языка XVIII в.-VI: 111.

случае вполне можно видеть исходную оппозицию природы (или материального мира) и культуры. Отталкиваясь от первичного значения слова *десница* ‘правая рука’, слов° Сосноры можно понимать и таким образом: обе руки персонажа «правые» в смысле ‘праведные’, хотя одна из них связана с материальным миром, а другая – с культурой. Это в полной мере соответствует философии пост-модернизма с устранением оппозиций и ценностным уравниванием культуры с природой. Кроме того, мифологически яйцо – модель мироздания, то есть сущность несомненно высокой ценности и символ.

Существенна и относительность левого и правого при различной ориентации наблюдателя в пространстве. Этот факт имеет прямое отражение в языке. Так, обобщая исследования многих ученых о гидрониме *Десна*, Н. И. Толстой пишет: «Изложенный материал <...> демонстрирует также довольно последовательное наименование правых, по нашему современному представлению, рек левыми, а левых – правыми, что является результатом ориентировки против течения, а не по течению» (Толстой, 1997: 432). И при взгляде на человека, если мы стоим напротив него, мы видим его правую руку слева. Это тоже можно считать фактором, мотивирующим сочетание *в левой деснице*.

Вне новых оппозиций на базе исходного противопоставления правого левому, оппозиций, превращающих логические определения в эпитеты, значения, выражаемые прилагательными *правый* и *левый*, вообще не актуальны для слова *десница*. Для наглядности можно привести один из современных текстов, в которых отражена ситуация нерелевантности левого и правого в общепринятой картине мира и релевантность этих понятий для поэта:

о, **левая слеза**,
из левого ты глаза
течешь, как белый день
из правого окна.
я в этот правый день
не чувствую ни разу,
какая будет ночь
и будет ли она;

как **правая слеза**,
она сверкнет наверно,

наступит ранний миг
и долго будет тут,
покуда спин своих,
заплаканных чрезмерно,
оконные глаза
во тьме не разогнут.

(Казаков, 1995: 137)

Обратим внимание на то, что генетическая метафора *окно – око* воплощена Казаковым в метафоре *окно – глаз*, а понятия левого и правого окна могут быть релевантны исключительно ситуативно. Различение рук по признаку «правая – левая» тоже далеко не всегда актуально, что, вероятно, и привело к вытеснению слова *десница* из языка при отсутствии его однословного синонима.

И еще несколько слов о статусе слова *десница* в современном русском языке. В общепринятую классификацию устаревшей лексики можно было бы внести одно существенное уточнение, для которого нужен специальный термин. Лингвисты различают устаревшие слова по их отношению к реалиям. Выделяются архаизмы собственно лексические (*очи, перси, ланиты*), семантические (*прелесть, брань, вратарь*) и историзмы (*ямщик, кольчуга, алтын*). Слово *десница* не входит ни в одну из этих групп. Собственно лексическим архаизмом оно не является потому, что в своем исходном употреблении соответствовало иному членению действительности, имело иной смысловый объем по сравнению со словом *рука*. Семантическим архаизмом его нельзя считать, так как оно не стало обозначать другой предмет, историзмом оно быть не может потому, что соответствующая реалья не утрачена. Вероятно, это слово можно было бы назвать понятийным архаизмом.

Наглядная десемантизация проявляется и при употреблении имени собственного как нарицательного:

Великой назваться ли может страна
с наследьем больным и тревожным,
столица которой была сожжена
каким-то **слоеным пирожным?**

(Голь, 1995: 16)

так вы говорите что трансперсонален
 абсентеализм мультимедиа-арта?
 быть может хоть я и подумал что сталин
не станет пирожным как буонапарте
 (Бунимович, 1999: 179)

Смесь запахов, языческий разгул,
 лоснящийся, вареный запах куры,
 духовки синезубой жаркий гул

<...>

Наполеон на медленном огне
 доходит до известного позора,
 чуть подгорев, стать пищей. Клод Моне,

Рассыпчатость Руанского собора.

(Гандельсман, 1995-б: 13–14)

К десемантизации ведет полисемия, создающая языковую метафору:

Небо высинено, берлинская лазурь!!!

(это почему это – берлинская, когда – Крым?)

Море высверкано, полный ажур!!!

(это почему это – ажур, если ни одной дыры?)

Солнце надраено, как медный диск!!!

(это почему это – медный, и почему не шар?)

Душа от радости устраивает визг!!!

ну, визг, ну, допустим, но причём тут это –

д у ш а ?)¹¹⁶

(Строчков, 1994: 105)

Эмблематичность действия, особенно в идеологическом ритуале, приводит к тому, что слово, называющее это действие, может утрачивать свой смысл:

Сейчас я погибну, гранатою хлопнув, как дверью,

а я только раз **целовал**, да и то партбилет.
 Не хочется думать о смерти, орлуша, поверь мне,
 в семнадцать мальчишеских так же, как в семьдесят лет.

(Строчков, 1994: 217)

Значение слова, находящегося на пути к десемантизации из-за фразеологизированного употребления, например, в качестве постоянного эпитета, нуждается в повторе-подкреплении значения (вспомним сочетание *в правой деснице* из стихотворения В. Сосноры):

Незримый хранитель могучему дан.

Олег усмехается веще.

Он едет и едет, в руке чемодан¹¹⁷,

в нем череп и прочие вещи.

Идет вдохновенный кудесник за ним.

Незримый хранитель над ними незрим.

(Лосев, 1987: 13)

Был лес густой такой густой,

и был настой такой настой,

что там где истончалась тьма,

сбегала рощица с холма,

сбегала рыжая с холма

(Ровнер, 1992: 27)

Хочу любить-трубить на флейте

На деревянной тонкой флейте

На самой новой новой флейте

А на работу не хочу.

(Хвостенко, Волохонский, 1995: 264)

вдруг холод изменился и стал гораздо

неизменнее. я подумал: что это – Боль

шая ошибка или Ордынка?

в ответ прогрохотал ответ – то с крыш,

¹¹⁶ Слово *душа* графически выделено В. Строчковым.

то нет,
то с самых кровель

(Казаков, 1995: 169)

Ср. дублирование значения как при десемантизации русских слов, так и при заимствовании иноязычных: *девчоночка, вовнутрь, короткие шорты, передовой авангард, в анфас*.

Омонимическая игра возвращает сознание современного человека к тому, что слово значит на самом деле:

Все в капроновых **болоньях**
– поголовно! поголовно!
Я согласен быть голодным,
но в капроне, но **в болонье**,

я согласен быть голодным,
не иметь автомобиля,
но в болонье, но **в болонье!**

В крайнем случае – в Севилье!

(Сатуновский, 1994: 117)

В результате изменения значения может появиться оксюморон:

Женщина, мужайся, ничего,
Это жизнь, бывало ведь и хуже...
Мне вот, скажем, было какво –
Одному любить тебя, без мужа?..

(Вишневский, 1992: 90)

Мел сыпается с досок,
тряпок, весенний,
<...>
я берегами Стикса
Лену ищу в тоске,

¹¹⁷ А. Крученых заметил возможность сдвига в строке А. С. Пушкина *Незримый хранитель могущему дан* из «Песни о Вещем Олеге»: *Незримый хранитель могу чемодан* (см.: Крученых, 1924: 8).

мальчики ждут от икса
игрека на доске,

по небу снимки
легких летят легко,
розовые, как у немки
голубое трико

(Гандельсман, 1995-а: 37)

Гусеницы стрекотали копытами!

Вдруг
в зеленых овсяных рощах
замелькали кровавые шлемы!

И
кавалькада **стремительно**
затормозила...

(Шельвах, 1990: 23)

Сильным энтропийным фактором является клишированное употребление слов в устойчивых сочетаниях:

Я Аллу люблю Пугачеву,
Когда, словно тополь стройна¹¹⁸,
В неброском наряде парчовом
Выходит на сцену она.

(Иртеньев, 1998: 153)

Любовь. На вид простое слово,
А говорили, тайна в нем,
Но я проник в ее основу
Своим **мозолистым умом.**

(Иртеньев, 1998: 92)

большое сердце у моей любимой
большая печень у моей любимой

¹¹⁸ Стихотворение датировано 1984 годом, когда А. Пугачева еще не была стройна.

большие ноги у моей любимой
все совершенно у моей любимой

(Ровнер, 1992: 30)

б) Расширение значения

Расширение значения представлено в современной поэзии очень большим количеством примеров. Почти каждый из контекстов вносит новый нюанс в понимание этого процесса, поэтому покажем разнообразие механизмов, вызывающих изменение.

Расширение значения дефразеологизацией – выведением слова с фразеологически связанным значением из стандартной сочетаемости – может быть проиллюстрировано следующей группой примеров:

Девицы в **вороных колготках**
на пристани
Горки

(Парщиков, 1995: 73)

И вновь под белыми мехами,
Под ватным бредом за окном –
Неизлечимое дыханье
О винограде **вороном**.

(Ратушинская, 1986: 35)

Сдвиг: *вороной* – ‘черный (конь)’ → ‘черный (о чем-либо)’;

Купанье потных коней представляешь, армии Тамерлана
жадные, гибкие заросли видишь, самшитовые побеги...
Под масленичным знаменем служишь?.. Бежит,
горланя,
Азия, прыткие пятки в **русый** песок Онеги.

(Пурин, 1995: 76)

Сдвиг: *русые* – ‘светлые (волосы)’ → ‘светлые (о чем-либо)’.

В языке понятийное содержание слов типа *русый* ‘светлый’, *вороной* ‘черный’ практически вытеснено фразеологически связанными значениями этих слов, и поэты как будто пытаются это понятийное содержание восстановить. Существительное и прилагательное как бы перераспределяют объем значения в пределах сочетания, при этом существительное предстает метафорой (так как нормативно подобные признаковые слова информируют не только о признаке, но и о его носителе), а прилагательное метонимией (оно называет свойство более широкого класса предметов, чем в обычном языке).

Иногда можно наблюдать, как автор, расширяя значение слова, проводит его компонентный анализ, выдвигая на первый план то одну, то другую сему:

Будь человеком, не кори в татьбе
Седое время. Узнаю по морде
 Что всё-таки не нравится тебе
 В застольном нашем нечто натюрморте.
 (Лён, 1990: 34)

... А можно
 яростно молодиться:
 затягивать себя во все теннисное,
 жить подчеркнуто спортивно,
 сгибаемая руки в локтях,
 красить волосы в цвет парика
 и за темными очками прятать
седые глаза
 (Вишневский, 1992: 39)

В первом случае осуществляется сдвиг *седой* – ‘человек с седыми волосами’ → ‘старый человек’ → ‘старый’; во втором – ‘обесцвеченные (волосы)’ → ‘обесцвеченные (о чем-либо)’.

Расширение значения наблюдается и при таком метафорическом эпитете, когда в контексте сталкиваются относительные и качественные значения прилагательных:

А стихи почитай: **волчий улей**, Тимур,
 жмурки смысла, словесный сумбур.

(Пурин, 1995: 44)

Сдвиг: *улей* – ‘вместилище пчел’ → ‘вместилище кусачих существ’ → ‘концентрация злобности’.

Окно в капустных кочанах алмазных.

Бумага в очарованном дыму.

В стихотвореньях Фауста отважных

все буквы – некоему никому.

(Шельвах, 1992: 43)

В двух последних примерах представлены многоступенчатые компаративные метафоры: у А. Пурин – ‘стихи, жалящие как пчелы, а пчелы большие и злые как волки’, а у А. Шельвах – ‘морозный узор, похожий на кочан капусты и сверкающий как алмаз’. В первом контексте логика семантических отношений подобна синтаксическому последовательному подчинению придаточных предложений, а во втором – соподчинению. В таких метафорах обнаруживается и синтаксическая, и семантическая, и образная компрессия текста.

Расширяется и значение глагола: его общеязыковое экспрессивно-метафорическое употребление распространяется на другие объекты:

Что прошло, то и прошлое – пусть.

Стал я **будущее ворошить**.

... И все мучаюсь, и казнюсь,

Как неправильно буду я жить.

(Вишневский, 1992: 263)

Сдвиг: *ворошить* – ‘перен. болезненно думать (о прошлом)’ → ‘болезненно думать (о чем-л.)’.

кто, как безмолвный и каменный вид, себя

дает воде чугунной?

ссутилив очи, он молчит для отражений

семиструнных.

(Казаков, 1995: 61)

Сдвиг: *ссутулить* – ‘опустить (плечи)’ → ‘опустить (глаза)’.

Обращает на себя внимание обилие метафорических наречий:

Проснешься – а вокруг такая явь!..
 Хоть на подъем не заполняй анкету.
 Обрыдло **жить пешком, вручную, вплавь...**
 Возглавь меня, любимая, возглавь!..
 А то, неровен час, уйду в легенду.

(Вишневский, 1992: 112)

Скучая в поисках случая,
живя пешком без рюмки чая,
 печально головой качая,
 я долго думал как чего
 и стал загадочен и пылок,
 отпил из тысячи бутылок,
 чесал задумчиво затылок,
 но не придумал ничего!

(Левин, 1995: 167)

Сдвиги: *пешком* – ‘без помощи средств передвижения (идти, ходить)’ → ‘без помощи, надеясь только на себя (делать что-либо)’; *вручную* – ‘без помощи техники (делать что-либо руками)’ → ‘без помощи, надеясь только на себя (делать что-либо)’.

Явную тенденцию к расширению объема значения, проявляемую в свободной сочетаемости, обнаруживают наречия со значением интенсивности:

Ты пахнешь мной, как яблоками сад.
 Как яблоко, когда его развалишь,
 Как целое между грудьми положишь
 И сравниваешь,
 И **взахлеб** цветешь.

(Ширали, 1992-б: 102)

Сдвиг: *взахлеб* – ‘перен. увлеченно, быстро, торопясь (говорить, рассказывать что-л.)’ → ‘интенсивно, в полную силу’.

отрубленная голова

вскачь окаянная рыдает

отчества дремучий дым

упрямо локоны сплетает

над обиталищем пустым

(Волчек, 1992: 7)

единорог уже **трепещет вскачь**

прицелясь в заживающую рану

под гул гонцов и ярославны плач

зегзицею в нирвану

(Волчек, 1992: 104)

Сдвиг: *вскачь* – ‘передвигаясь скачками → ‘интенсивно проявляя какой-либо признак’. В обоих примерах *вскачь* изображает реальное действие, и в данном случае можно предполагать пропуск какого-либо глагола движения.

В пронзенное перекрестье,

В разверзнувшуюся рану,

Влетали светлые птицы,

А выпорхнули – мухи,

Сдирая на лету

Белейшие одежды,

В черном гнусном теле

Навзрыд они летели.

(Шварц, 1995: 75)

Сдвиг: *навзрыд* – ‘интенсивно, не прекращая (о плаче)’ → ‘интенсивно, не прекращая (о движении)’.

В последнем примере из стихотворения «Предвещание Люциферу», включенного в сборник Е. Шварц «Песня птицы на дне морском», вероятно, изображено совмещение полета с плачем.

Возможно, такое расширение семантического объема наречий связано с историей и тенденциями развития наречия: оно восходит к другим частям речи

и постепенно теряет не только их грамматические, но также и лексические значения, а сам процесс предстает именно метафорическим сдвигом, сначала художественным, а затем, возможно, и общеязыковым.

Если в языке произошла лексикализация суженного значения слова, то есть закрепление языковой нормой узкого значения и забвение широкого, то в современной поэзии нередко осуществляется реставрация широкого значения через художественную метафору. Такие примеры ярко выявляют деэтимологию как неизбежность в языковой динамике:

Бодает накрённый снег
упорный лыжный человек,
влезает на тугой бугор,
вдыхает через нос простор.
(Левин, 1995: 117)

Сдвиг: *бодать* – ‘пронзать, прокалывать рогами’ → ‘пронзать, прокалывать чем-либо’.

Во саду обстоятельства прежние,
Только астры цветут, а не мак,
И стрекочет кузнечик небрежнее,
И никем не **беремен** гамак.
(Соколов, 1990: 26)

Сдвиг: *беременная* – ‘носящая в себе зародыш человека’ → ‘что-либо, содержащее в себе человека’.

Достоверность образа определяется тем, что человек в гамаке принимает позу зародыша. Перемена грамматического женского рода на мужской, с логической точки зрения абсурдная, оказывается почти не заметной для языкового сознания именно потому, что первичное значение слова *беременная* – ‘несущая груз’; ср.: бремя – ‘тяжесть, груз’, диал. *беремя* – ‘вязанка дров’, ‘охапка сена’, а также диалектные значения слов *тяжелая*, *грузная* – ‘беременная’.

Следующий пример демонстрирует, что прилагательное *беременный* вполне может употребляться в значении ‘полный чего-л.’, причем это что-либо оказывается нематериальным:

В восьмой лунный день без луны
 на чахломе московском рассвете
 Когда горожане полны тишины
 и снами **беременны** нервные дети

(Искренко, 1998: 261)

Сдвиг: *беременная* – ‘носящая в себе зародыш человека’ → ‘что-либо, содержащее в себе что-либо’. Ср.: *А небо будущим беременно* (Мандельштам, 1995: 353).

Аналогичное метафорическое смещение значения возможно и у слова *брюхатая*:

В лодках гребцы, кафтаны
 желты, а на корме-то
 сам подбочась хозяин,
 ал камзол как на смерти.
 Бурей **брюхаты** брови,
 зенки, а в каждом – космос.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 23)

Сдвиг: *брюхатая* – ‘беременная’ → ‘о том, что предвещает новое событие’ – ср. языковую метафору с тем же образом *чреватый*.

В литературном языке уменьшился семантический объем слова *ладонь*. Когда-то это было слово *долонь*¹¹⁹ – с тем же корнем, что и *долина*. В одной из заонежских деревень говорили, что следы на земле оставил медведь, который *ступал своей долонью*. Метатеза (перестановка слогов) ускорила деэтимологию слова и спецификацию означаемого. Поэтическими метафорами разные авторы реставрируют исходное значение слова, не различавшее руки и ноги:

В мягком пушку домовой,
 Вплоть до **ладоней подошв**,
 И неказист, головой

¹¹⁹ Ср. такую декларацию этимологической общности этих слов: *Мой безутешный лоб лежит в моей ладони / (в долони, если длань, не правда ль, милый Даль? – Ахмадулина, 1995: 372).*

Квёлой попавши под дождь.

(Лён, 1990: 14)

Сдвиг: *ладонь* – ‘одна из сторон кисти руки’ → ‘одна из сторон руки или ноги; ладонь или стопа’.

Мне кошка говорит: «Умр-р-ру!»

и моет языком **ладошки**,

и в изумрудные окошки

впускает зайчиков игру.

(Строчков, 1994: 40)

Сдвиг: *ладошка* – ‘одна из сторон кисти руки’ → ‘одна из сторон руки или ноги человека или животного’.

Таким образом, и *бодать снег*, и *беременный гамак*, и *ладони подошв* оказываются семантическими архаизмами, которые мотивируются и художественными тропами, и органичными для языка переименованиями: домовой – мифический получеловек-полуживотное, и его руки можно считать ногами, а о кошке вообще часто говорят как о человеке.

Конечно, подобные окказиональные семантические сдвиги во многом связаны с философией современной эпохи, например, с представлением о принципиальном единстве всего сущего:

Когда ворона, пролетая надо мной,

Разинет толстый рот и что-то важно скажет

<...>

Мне видится прекрасный темный глаз

В том крике, в том молчании и взлете.

Глядит он, ласково **кивая** мне рукой,

И бровь величественно темную вздымает.

(Кучерявкин, 1993: 26)

Сдвиг: *кивая* – ‘приветствуя наклоном головы’ → ‘приветствуя’¹²⁰.

¹²⁰ У Л. Аронзоня есть текст, в котором фразеологическая связанность глагола *кивнуть* разрушается на метонимической основе: *и, не петляя между звезд, / чью душу ангел этот нес: /*

В данном случае тоже можно видеть семантический архаизм. Так, в одном из списков «Повести временных лет», находящемся в составе «Летописца Переяславля Суздальского», есть фрагмент: *Они же ради и рРша, покивающа руками...* (Повесть временных лет, 1996: 430). Словарь XI–XVII вв. приводит поговорку: *Кому перстомъ киваютъ, а намъ глазомъ мигаютъ* (Словарь XI–XVII вв.-VII: 119).

Обратим внимание на связь метафорического расширения значения с концептом письма, чрезвычайно важным в современной культуре, а для поэта и сакрализированным:

О, ангел мой, нет в днях моих вины!
Надкушенное яблоко Луны
дышало пустотой
но милая собака
вела по равелину **без помарок...**

(Чейгин, 1995-а: 32)

Сдвиг: *без помарок* – ‘без поправок на письме’ → ‘без ошибок, сразу правильно’.

В современной поэзии наблюдается любопытное явление: при изменении объема лексического значения поэтический язык иногда противостоит языку обиходному. Рассмотрим это на примере слова *мясо*. В практическом языке слово явно сужает семантический объем – от нормативного значения ‘плоть животного’ до просторечного ‘говядина’. В магазинах можно услышать: *Это мясо или баранина? Купим мясо или курицу?* В поэзии же значение этого слова часто расширяется, и мясом называют любую плоть, вещество, субстанцию¹²¹:

все острова похожи друг на друга,
когда так долго странствуешь, и мозг
уже сбивается, считая волны,

младенца, девы ли, отца? / Глазами я догнал гонца, / но чрез крыло кивнув мне ликом, / он скрылся в темном и великом (Аронзон, 1997: 540).

¹²¹ Ср.: *И отвечал мне оплакавший Тасса: / – Я к величаньям еще не привык; / Только стихов виноградное мясо / Мне освежило случайно язык...* (Мандельштам, 1995: 218) *День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса, / Ехала конная, пешая шла чернотерхая масса – / Расширеньем аор-*

глаз, засоренный горизонтом, плачет,
и **водяное мясо** застит слух.

(Бродский, 1992-II: 301)

Стебли бестий морских, **апельсиново мясо**,
сахар альпийских льдов на имперском блюде –
тут бы и Державин не удержался,
ну а гурманы мелкие – тоже люди.

(Чернов, рукопись)

Выпечки **снежное мясо** и булочных войлок,
жареный запах баранины на пикнике,
мыльный пузырь, раздражающий воздух
невольно
пылким хлопком, – вот и легкая смерть в языке.

(Лехциер, 1998: 58)

Широка страна родная,
есть в ней город Федосея,
в нём есть угол заповедный,
где дорожное железо
разветвлённое лежит.
Там идёт веселый дизель¹²²,
механический любовник,
он кричит предельным басом,
трандычит **железным мясом**,
он ужасен и прекрасен
и от мощности дрожит.

(Левин, 1995: 26)

Мотивация сдвига, выявляющая тенденции к расширению значения слова, может иметь прочное логическое основание в синестезии слухового, обонятельного, зрительного и эмоционального восприятия:

Книжный шкаф от мыслей пухнет,

ты могущества в белых ночах – нет, в ножах – / Глаз превращался в хвойное мясо (Мандельштам, 1995: 244).

¹²² Ср.: *Так идет веселый Дидель / С палкой, птицей и котомкой / Через Гарц, поросший лесом, / Вдоль по рейнским берегам* (Багрицкий, 1964: 50).

а кроссовки **громко пахнут**,
их хозяин тяжело дрыхнет,
ему надо отдохнуть.

(Левин, 1995: 190)

Сдвиг: *громко* – ‘интенсивно (о звучании)’ → ‘интенсивно (о запахе)’.

Генерал Белых грибов,
услыхав слезы,
побледнел.

(Шельвах, 1990: 25)

Сдвиг: *услыхав* – ‘почувствовав слухом’ → ‘почувствовав’. Ср. общеязыковую тенденцию к расширению значения слов *услыхать*, *услышать*, реализуемую в разговорном выражении *услышать запах*. Вместе с тем, такой контекст выявляет механизм языковой компрессии: *слезы* – сигнал плача.

В двух следующих контекстах расширяются в семантическом объеме и концептуализируются названия национальностей:

Монгол – китайцу **хохол**.
Корей – китайцу **еврей**.
А Китаю Вьетнам,
Как Китай нам.

(Коваль, 1999: 103)

Сдвиг: *хохол*, *еврей* → ‘люди тех национальностей, по отношению к которым представители других национальностей испытывают неприязнь’;

Не ходите с козырей,
Не ходите в баню,
Ты еврей и я еврей,
Оба мы – **цыгане**.

(Иртенъев, 1998: 67)

Сдвиг: *цыгане* – ‘люди цыганской национальности’ → ‘люди гонимой национальности’.

Расширение значения можно видеть и там, где слово выходит за пределы обычной сферы употребления. Так, слово *вышка* в значении 'смертная казнь как высшая мера наказания', типичном для уголовного жаргона, появляется в контексте, далеком от этой сферы:

меланхолическая мышка
тонким сереньким хвостком
задела тонкостенное яйцо
за это следовала **вышка**
хрустеть у кошки на зубах

(Бирюков, 1995: 129)

Лексическое значение расширяется и в тех случаях, когда современные авторы экспериментирует со связанным значением. Так, например, расширяется сочетаемость глагола *бряцать*, сохранившегося в традиционном поэтизме *бряцать на лире* и в сочетании *бряцать оружием*:

Гляньте, как сморщена фрачная пара,
как оперлась клюка
На локоть, впряженный в смычок.
Ибо музыка с музой коллеги.
Скрипач и старуха вяжут себя по рукам,
бряцая спицами в скрипучей своей телеге.

(Скородумова, 1993: 23)

слышишь, на пальцах **ключи бряцают**:
воздух жилья рассекать с отмашкой.
Так же вот звонко – кто понимает –
можно работать булатной шашкой.

(Санчук, 1997: 664)

Мы шли вереницей по голой голодной степи,
Графичные грифы над спинами головы гнули,
И камни, что на души наши легли, – проросли
Горбами. Мы руки сомкнули
И шли вереницей, **сердцами бряцая** в степи.

(Филатова, 1989: 404)

От глагола *бряцать* возникают приставочные образования совершенного вида, что делает корень слова более свободным не только семантически, но и грамматически:

Снится девушке вертолётчик,
снится.

Вдруг лошадка **пробряцает**
по асфальту мостовой.

И тлеют звёзды

(Сатуновский, 1994: 281)

О вражде наши песни, учебники, руны, былины.

Эй, зубрила и ябеда! Встань! **Побряцай** языком!¹²³

Пух лебяжий летит, тополиный летит над долиной,

По долинам и взгорьям. А память – ясак ясаком.

(Галкина, 1990: 33)

Весьма любопытна борьба поэтов с лексикализацией вариантов слова: авторы нередко игнорируют ограничения на оценочную, эмоциональную, стилистическую и даже на собственно предметную спецификацию бывших вариантов, например, причастий глагола *пасть*:

Меж **лесом павшим** и гнилым жнивьем,
в одной толпе с разиней и жульем
и, так сказать, с простым народом в давке
я остаюсь, товарищи, – живьем.
Самим собой.

Хотя бы на полставки...

(Каминский, 1990: 57)

пусть даже почва столь косноязычна,

¹²³ Этот пример соотносится с древним употреблением глагола в Толковой Палее 1406 г.: *Аще бо быхомъ боле разума имРли, то доброгласнымъ языкомъ быхомъ бряцали беспрестани хвалу его* (Словарь русского языка XI–XVII вв.-I: 343).

что **падшее на землю** не умрет –
 не оживет – и в зауми безличной
 не закоснеет, но из рода в род
 потянется бессмысленная нить –
 питательная трубка между плотью
 и нежитью словесной – мы живем! –
 сплошной язык, как сумасшедший дом
 одержит нас. И нет конца бесплодию.

(Миронов, 1993: 75)

Он **падлой женщиной** рождён
 в чертоге уксуса и брома.
 Имелась в тюфяке солома.
 Имелся семикратный слон.

(Левин, 1995: 75)

Такие причастия в ненормативных сочетаниях могут метафоризировать существительные: так, например, в первом контексте деревья видятся солдатами.

Во многих случаях расширения значения дефразеологизацией, то есть ненормативной для современного языка сочетаемостью, можно видеть попытку языка – через метафору – противостоять фразеологической обусловленности лексических значений и удержать то первоначально широкое значение слова, которое имело место в истории языка. Поэтому такие примеры на расширение значения можно считать примерами понятийных архаизмов.

в) Сужение значения

К языковой энтропии приводит не только расширение, но и сужение лексического значения. Кроме слов типа *варенье, мороженое, печенье, пиво*, демонстрирующих терминологизацию слова¹²⁴, вспомним и такие глаголы, как *пить, гулять, сидеть*, абсолютное значение которых ‘быть пьяницей’, ‘распутничать’, ‘находиться в заключении’, формируется на основе фразеологического эллипсиса, эвфемизма-умолчания. Наблюдения лингвистов над разговор-

ной речью показали, что очень многие глаголы, особенно переходные, способны к такому сужению значения (см.: Винокур, 1965; Апресян, 1967: 29; Чурилова, 1969, 1974). В следующем тексте сталкиваются узкое и широкое значения слова *хотеть*, создавая парадоксальное суждение при единстве значений, но совершенно логичное при учете расхождения в семантическом объеме слов *хотеть* и *хотеться*:

О главном я не умолчу –
 Мне и на это хватит смелости:
 Да, я **хочу** тебя, **хочу!**..
 Но, знаешь, **меньше, чем хотелось бы.**

(Вишневский, 1992: 24)

Следующий парадоксальный афоризм (а это полный текст однострочного стихотворения) показывает, как история слова, сужающего объем значения, связана с историей общества:

А за границей нет **иногородних!**..

(Вишневский, 1992: 192)

В русском языке слово *иногородний* приобрело отрицательные коннотации: ‘чужой, не имеющий определенных прав, которыми обладают жители данного города, но претендующий на эти права’. В применении к жизни демократических и экономически развитых стран эти смыслы не возникают. Поэтому для автора, видящего, как коннотации заслонили в языке первичное значение слова, исчезает и само слово, если оно не содержит этих коннотаций. Периферийная сема слова в данном случае вытесняет центральную по социальным причинам. В обиходном языке это почти незаметно, а у Вишневого суть языкового сдвига обнажена парадоксом. Заметим, что и сочетание *за границей* тоже обнаруживает социально обусловленное сужение значения.

Ситуативное уменьшение семантического объема слова (при конкретизации денотата) характерно для тех слов, которые имеют самую широкую семан-

¹²⁴ Ср. актуальное для современного языка сосуществование широкого и узкого значений у слова. *напиток* – ‘любое питье’ и ‘разбавленный водой сок’.

тику, то есть в разных ситуациях могут обозначать что угодно. Эта закономерность выразительно обозначена строками:

Муж лежал на солнцепёке,
 кушал жареные **штуки**,
 испечённые женой
 в позапрошлый выходной.
Штуки синие дымились,
 пахли запахом, бурчали
 и приятно щекотали
 мужу у него внутри.

А жена его в кастрюле
 мужу делала пикули,
 ненадолго вылезая
 полимонить-посолить.
 Эта добрая жена,
 как родная старшина,
 мужу **штуков** и люляков
 испекала до хрена.

(Левин, 1995: 152)

Конкретизация абстрактного существительного, приводящая к сужению значения, обнаруживается и в том случае, когда слово обозначает некое количественное понятие, предполагающее разное содержание в зависимости от ситуации. Это особенно ярко проявляется при тавтологическом контакте широкого и узкого значения слова:

Месяц назад был *ю-билей*: эннолетье художника ЭН.

В возрасте возраста он гениален у него нежные губы и

чуть-чуть лысоват, –

наполовину;

носит крестик.

(Соснора, 1998: 87)

– Ты боишься **высоты**?

– Нет, нисколечко. А ты,

– Не боюсь, коль **высота**

Мне не выше живота.

(О. Григорьев, 1997: 25)

В конкретизации абстрактного существительного видится источник об-
разности:

Мы с тобой родились на лугу,
Нам с тобой сказали: «Ни гу-гу».

Ты не думай, брат, что я седой –
Я родился с белой головой.

Голову мою сапог найдет –
На лугу две сотни **горечей** взойдет.

Ты не думай, брат, что я жесток –
В моих венах одуванчиковый сок...

(Николаев, 1994: 70)

Называя одуванчик *горечью*, поэт изображает концентрированное свой-
ство как предмет. Характерно, что в истории языка прилагательные станови-
лись самостоятельной частью речи, когда название признака отделялось от на-
звания предмета. Абстрактные же существительные производны от прилага-
тельных. В сужении значения, которое представлено цитированным контек-
стом, мы видим обратное движение: результат такого развития значений слова,
которое вновь представляет абстрагированный признак предметом.

Итак, анализ семантических сдвигов, актуализированных в поэзии наше-
го времени, показывает, что изменение значения, которое видится поэту как
живой процесс, во многом повторяет ход семантического развития в истории
языка. Окаzionaliальные сдвиги часто демонстрируют причины, условия и меха-
низм узуальных изменений. Во многих поэтических метафорах можно видеть
семантические архаизмы.

V. ГРАММАТИЧЕСКИЕ АРХАИЗМЫ

Грамматика есть бог ума.
 Решает все за нас сама:
 что проорем, а что прошепчем.
 И времена пошли писать,
 и будущее лезет вспять
 и долго возится в прошедшем.
 (Лосев, 1985: 96)

Принято считать, что «исчезнувшие из языка грамматические формы, подобно "ископаемым" животным, к жизни не возвращаются» (Шмелев, 1960: 8; см. также: Серебренников, 1970: 42; Попов, 1976: 45, 46). Однако язык современной поэзии окказионально реставрирует и грамматические явления.

Грамматический архаизм оказывается наиболее способным к выражению и пафоса, и иронии, он интертекстуален по своей сущности, он часто является сам по себе готовой цитатой: форма *еси* в нашем сознании – цитата из молитвы, форма *бьяшетъ* – из «Слова о полку Игореве».

В историческом языкознании отмечено явление грамматического символизма, свойственное средневековой русской литературе: такие старые формы, как *человеци*, *сынове*, *огневи*, при появлении новых форм *людие* (*люди*), *сыны* (*сыновья*), *огню* становятся средством «расширения области сакрального в языковой деятельности» (Жолобов, 1989: 108).

В современной языковой деятельности область сакрального не только значима, но и особенно подвижна: причина этого, видимо, – нейтрализация оппозиции между высоким и низким, экспансия иронии в литературе, тотальная

цитатность, при которой, как в Средние века, собственное слово автора уходит в тень.

Повышенная активность именно грамматических архаизмов, видимо, не случайна: их смысловое наполнение не ограничивается стилеобразующим элементом в отличие от у лексических синонимов нейтральных слов – *уста, лобзать, зело* и подобных. У застывших форм типа *со товарищи, можахом, бяше, иже с ним* маркированность высоким стилем быстрее ослабляется из-за фразеологической связанности, профанируется употреблением слова *всуге* (см., напр.: Гусейнов, 1989: 74–75). Только в цитате, если она не искажена, не скомпрометирована, и не пародируется, сохраняется их принадлежность грамматических архаизмов к высокому стилю. Вне цитаты они гораздо активнее, чем лексические, становятся средством выражения иронии. С другой стороны, многие древние формы, как, например, звательная, двойственное число, краткое прилагательное в функции определения, аорист, перфект, несут в себе память не только о сакральном значении слова в древних книгах, но и об иных грамматических категориях, о других языковых отношениях, которые существовали и в живом разговорном языке древнейшей (в частности, и дописьменной) поры и которые, как оказывается, могут быть вызваны их прошлого лингвистической интуицией поэта¹²⁵.

1. Относительность принадлежности архаической формы к исходной системе

В ряде случаев в современных текстах появляются псевдоархаизмы – искусственные формы, не встречающиеся в памятниках письменности, но созданные по подобию древних. Далекое не всегда такие формы ошибочны. Становление многих грамматических форм проходило несколько этапов, и нередко псевдоархаизм может отражать какой-либо из них.

¹²⁵ Ср. высказывание О. Седаковой: «Меня особенно привлекают области нашего языка, ушедшие в тень: язык фольклора, язык старой книжности. И это не вопрос стилистики: я не люблю стилистического натурализма, не люблю вынимать из древних рундуков редкие, архаичные, облатные речения. Дело вкуса. Но главное для меня, что там можно услышать другой – в сравнении с современным бытовым языком – способ отношения слова с миром» (Седакова, 1994: 13).

Приведем пример двух текстов с разными формами одной и той же грамматической принадлежности (для современного восприятия) *о мнозем* и *о многу*:

Пришла издалека
Твоя дорога, Спасе.
Вписал в нее Лука
Две женских ипостаси.

И старшая сестра
Об ужине радела,
А младшая сестра
В ногах твоих сидела.

<...>

Позор-де и кошмар!
И – с сердцем чашку оземь...
Да кто ж осудит марф,
Пекущихся **о мнозем**?

(Кудимова, 1989: 4–5)

Не склеп – часовня. Нет, и не часовня – скит,

поскольку Божия не сякнет здесь работа!
«Святая Ксения, избави от аборта», –

наскрябана мольба. И дата – наши дни.
«Сдать на механика позволь». «Оборони» –

<...>

И – «Благодарствую». И – «Слава в вышних Богу».
Христовлаженную, хлопочущу **о многу**,

о теплой мелочи и о слезе людской,
ее бы помянуть саму за упокой

(Бобышев, 1992-б: 4)

Стихотворение М. Кудимовой написано по мотивам евангельской притчи о Марфе и Марии, в тексте Д. Бобышева речь идет о Ксении Блаженной, к которой люди обращаются с житейскими просьбами. Вполне возможно, что, не-

смотря на разных персонажей – субъектов заботы, – выражение *хлопочущу о многу* из стихотворения Бобышева восходит тоже к притче о Марфе и Марии. Текст-источник таков:

Бысть же ходѣщымъ имъ, и самъ вниде въ весь нрѣккю: жена же нрѣкаѣ именемъ Марѣа прѣйтѣ его въ домъ своѣ.

И сестра еѣ брѣ, нарицаемаѣ Марѣа, рече и срдши при ногѣ Еи(су)снвк, слышавъше слово егн.

Марѣа же молвѣше н мнозр слкжбр, ставши же рече: Г(о)с(по)ди, не брѣжеш ли, рко сестра моѣ единк мтнстави слкжити; рцы оубо еи, да ми поможетъ.

мврщавъ же Еи(су)съ рече ей: Марѣа, Марѣа, печешист, и молвиши н мнозр: едино же есть на потрѣбк. Марѣа же благкю часть избра, рже не ниметст н неѣ (Лк., X, 38–42).

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой. У нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее (Лк., 10, 38–42)

Сам факт употребления в стихах несовременных форм маркирует отсылку к сакральному тексту. В обоих случаях формы из стихов – *о мнозем* и *о многу* не заимствованы из притчи, а приблизительно реконструированы. Однако приблизительность не означает ошибки: обе формы могли существовать в склонении слов среднего рода: *о мнозем* – как полное прилагательное местного падежа склонения на *-о (в Евангелии – краткое), *о многу* – как существительное, испытавшее влияние склонения на *-ѣ. Обе реконструированные формы отражают реальные колебания, имевшие место в истории именного склонения.

2. Осознанность или интуитивность употребления

Говоря о степени осознания исторической формы слова, самого процесса или причин изменения, можно указать на два полюса: с одной стороны, размышление поэта о грамматических вариантах, образный анализ языкового преобразования, с другой стороны, явно случайное совпадение деформированного слова или звукового комплекса с древней формой. Первая ситуация может быть проиллюстрирована стихотворением Д. Бобышева, в котором он рассуждает о грамматическом роде слова *путь* (см. сс. 000).

Вторую ситуацию – совпадение деформированного слова с древней формой – можно видеть в текстах Г. Сапгира, где недописанные слова, моделирующие и убывание речи, и «понимание с полуслова» (характерная черта индивидуального стиля этого поэта), воссоздают формы аориста (одного из четырех прошедших времен древней глагольной системы) *завяза, взлете, вста, побеле*:

в эту про
меня бро
(а глаза
завяза)
и крича
от отча
в пустоте
я взлете
стрекоза
стрекоза!
(Сапгир, 1993: 169 – 171)

не помню сколько зим и ле
облез и **побеле**
<...>
сейчас я вспомню все собы
какие?.. все **забы**

(Сапгир, 1993: 174–175)

В этих примерах обрывки глаголов воспроизвели аорист 3-го лица единственного числа не только по форме (ср. реликты *прильпе язык к гортани, он помре*), но и по значению именно этой грамматической категории: они называют действие или состояние, завершившееся в прошлом и помещенное рассказчиком в последовательность событий.

Есть случаи, когда текст позволяет видеть рефлексии и совпадение одновременно:

Се возвращается блудливый сукин сын
туда, туда, в страну родных осин,
где племена к востоку от Ильменя
все делят шкуру неубитого пельменя.

*

Он возвращается, стопы его болят,
вся речь его чужой пропахла речью,
он возвращается, встают ему навстречу
тьма – лес – топь блат.

(Лосев, 1987: 9)

Здесь, в стихах профессионального филолога, наиболее вероятно художественное представление слова *лес* одновременно в именительном падеже единственного и архаическом родительном множественного с нулевым окончанием¹²⁶. Однако совмещенная грамматическая омонимия замаскирована двойной синтаксической отнесенностью, допускающей и синкретическое, и альтернативное прочтение: слово *лес* как именительный падеж читается в ряду номинативов *тьма – лес – топь*, а как родительный – в параллелизме с генитивной конструкцией *топь блат* (перифраза строки Пушкина *Из тьмы лесов, из топи блат* из поэмы «Медный всадник»). Грамматическая двойственность иконически моделирует не только непроходимость лесов и болот, но и затрудненность, с которой *блудный сын* может воспринять родной язык через чужую речь. Слово *блат* в таком тексте может быть воспринято и как слово в значении ‘привиле-

¹²⁶ Современным формам родительного падежа множественного числа типа *без плодов, от городов, из лесов* соответствовали старославянские и древнерусские формы в сочетаниях типа *без плод, от город, из лес*. Нулевое окончание в этой форме сохранилось у некоторых слов: *полк солдат, без сапог*. Конкуренция старых и новых окончаний приводит к вариантности: *килограмм*

гия знакомому'. Выражение *в страну родных осин* уже заранее настраивает на тему языка и заимствований (*вся речь его чужой пропахла речью*), отсылая к строкам Бродского (*на языке родных осин* в «Разговоре с небожителем») и Тургенева (*на язык родных осин* в эпиграмме переводчику Шекспира Н. Х. Кетчеру)¹²⁷.

Любопытную грамматическую двусмысленность можно видеть и в таком фрагменте:

Я похмельем за виски оттаскан.
 Не поднять тяжелой головы.
 В грязноватом поезде татарском
 подъезжаю к городу **Москвы**.
 (Лосев, 1985: 39)

Форма *Москвы* в дательном падеже имитирует безграмотную речь *в грязноватом поезде* (в диалектах формы дательного и родительного падежей часто зеркально противоположны литературным: *к сестры поехал, у сестре был*). Нарушение нормы, требующей здесь двух дательных падежей (*к городу Москве*), в данном случае восстанавливает первичное значение слова *город* – ‘ограда’. Но текст допускает и прочтение формы *Москвы* не топонимом, а, как в древнерусском языке, собирательным этнонимом (*Москва* как *чудь, меря* и т.д.; возможно, как *татарва*).

В 1999 г. Л. Лосев объяснил появление строчки *подъезжаю к городу Москвы* особенностью русской речи татар: «В голове крутилось из моего старого стихотворения: "В грязноватом поезде татарском подъезжаю к городу Москвы". Возвращаясь из Ульяновска, я по совету Ковенчука прислушался к хрипу вагонного репродуктора, и правда, оттуда трещало: "Граждане пассажиры, поезд прибывает в столицу нашей родины, город Москвы". Ы как падежное окончание норовит заменить собой другие с ордынских времен. "Из гласных, идущих горлом, выбери "ы", придуманное монголом." и т. д. <...> Трубецкой писал, что звук "ы" попал в восточнославянские языки – из тюркских. Москва как татар-

помидоров и килограмм помидор, а также к противоречивости нормативных установок: *без носков, но без чулок*.

¹²⁷ См. подробнее: Крепс, 1984: 91.

ский город – общее место в русской поэзии» (Лосев, 1999: 58). В заголовке этого текста «Москвы от Лосеффа» прочитывается и просторечно-диалектный дательный падеж формы *Москвы* и, в то же время, именительный падеж, свойственный конструкции типа *Евангелие от Матфея*.

Явления, отражающие в условиях стихотворного текста реальное или потенциальное воспроизведение архаической формы с ее специфическим смыслом, разнообразны. Здесь можно выделить две основные группы:

1) собственно архаические формы склонения и спряжения (*во языцех; волче, ея, есь, провидех* и мн. др.);

2) языковые отношения и свойства (например, нефиксированность грамматического рода существительных, функция определения у краткого прилагательного и причастия, артиклевая функция местоимений, изофункциональность причастия, деепричастия и личной формы глагола).

3. Архаические формы

Явления первого ряда – собственно формы – интересны уже самим набором фактов: речь может идти о фразеологизированных языковых реликтах, об изменениях в степени связанности элементов, о расширении круга лексики, способной принимать древнюю форму.

а) Состав грамматических архаизмов в склонении и спряжении

Архаические формы представлены в исследованных текстах весьма разнообразно. Приведем примеры встреченных форм, принадлежащих основным частям речи¹²⁸.

¹²⁸ Список примеров не претендует на перечисление всех встреченных грамматических архаизмов; его назначение – показать типы архаических форм. Поэты далеко не всегда употребляют эти формы в исходных значениях. Грамматическая классификация в списке ориентирована на исходное значение формы. Анализ аграмматического употребления архаизмов дается в специальном разделе книги.

В список не включены: а) фонетические архаизмы типа *гуляти, услыши, крылиев*; б) лексические архаизмы типа *аз, рцем*, в) лексико-фонетические архаизмы типа *отверзи, возьмлю*.

Существительные:

Именительный падеж ед. числа: *мати, любы, телятя**; множ. числа: *воздуси, воздуси́, воздуся**, *други, снеги, дерева, плеча, вины (от вино), дома, сердцаы, братие, жидове+, татаре.*

Родительный падеж множ. числа: *гад, дерев, дров, крыл, лес, очес, из чре-вес, времян, имян, воздусей**.

Дательный падеж ед. числа: *Господеви, дневи+, небеси+, слесареви~*, множ. числа: *по воздусям**, *очесам.*

Винительный падеж множ. числа: *за други, в желёзы, на плеча.*

Творительный падеж ед. числа: *монасем* руцею**; множ. числа: *денми, желудьми, страстьми, цифирьми~*, *под облаци+, словесы+, крылами, очесами.*

Местный падеж ед. числа: *в бозе, в руце, в (на) небеси, в крове (от кровь), в постеле, на осляти*; множ. числа: *в мудех, в языцех, во лузях, на деревьях; в двух крылах, на воздусях*, в очесах.*

Звательная форма: *агнче, ангеле, бабче+, боже+, братие+, брате, Быдгоце, владыко+, владычице, Володимире, волче, Господине*, Госпоже, Даждьбоже, дево, друже+, душе (от душа), душе (от дух), жено, сестро, Заступнице, Звездо, Земле, Иерусалиме, Илие, клете духовна, княже, мати, Надеждо, Невесто, одиноче, отче+, пастуше, Перуне, пророче, радости*, Свароже, свете+, светелко, свято, Спасе, старче, сыне, Хранителю, человеце, Яволоде, Ярославе.*

Прилагательные и причастия:

В список включены: а) формы со 2-й палатализацией типа *в руце, о мнозем*. Основанием для их включения принят тот факт, что чередования в подобных формах являются историческими, а не живыми фонетическими; б) некоторые традиционные для поэзии формы типа *дома, сердцаы, в постеле* – предшествующие формам современной нормативной грамматики, но не являющиеся исконными в старославянской и древнерусской системе.

Условные обозначения:

+ – аграмматическое употребление (форма употреблена хотя бы один раз в ином значении чем исходное);

* – псевдоархаизм (форма, отсутствовавшая в древнерусском языке);

~ – анахроническое употребление (архаическое окончание в слове, которого не было в древних славянских языках).

Именительный падеж ед. числа: *живый, грядый, лаййй*; множ. числа мужск. рода: *не ради, белыя+*; множ. числа женск. рода: *у вдовыя, девыя, длинныя; златыя+, каменныя+, упорныя+*.

Родительный падеж ед. числа мужск. рода: *живаго, инаго, мирскаго, живая, протчая*; женск. рода: *вечныя, инфернальныя, конфетныя~, кратныя, мерцающия, нескромныя, райския*; множ. числа: *божиих, священныих*;

Местный падеж множ. числа: *о многу, о мнозем*.

Местоимения:

вы (вин. п.), *всяя, ея+*, *ино, коее, в кую, мя, ны* (вин. п.), *на ню, на он, овамо, оне+*, *се, семо, сие, съя, тамо, ти, той* (им. п. мужск. р.), *тя, тую, ю,*

Числительные:

одне.

Глаголы:

Настоящее время: *есмь+*, *исповем, повем, еси, веси, весть, победиши+*, *суть*;

Прошедшие времена: *бех, бых, бе+*, *бысть+*, *бляшите**, *быши*+*, *воззвах, вставахом+*, *жевах, писах+*, *приях, провидех+*, *воссия, воскресе+*, *зряше, растекашеся+*, *идоша, шаташа**, *прильпе, умре, умресе**, *суть пошли*;

Императив: *даждь, созижди*.

Список свидетельствует о том, что поэзия ищет выход за рамки традиционного круга реликтовых форм и, может быть, складывается тенденция к реставрации утраченной категории. Так происходит, по-видимому, со звательной формой¹²⁹.

Активнее всего в современные тексты включаются архаические формы склонения существительных.

В современных стихах встречается много случаев грамматически «неправильного» формообразования и много псевдоархаизмов.

¹²⁹ Анализ контекстов со звательной формой см. на сс. 000–000.

б) Смыслообразующая роль и стилистические функции архаизма

Устойчивая, традиционная реликтовая форма всегда содержит подтекст, является своеобразным знаком. В этом случае возможны по крайней мере два уровня восприятия: отсылка к притче, символу, системе образов, порождаемой фразеологическими связями и указание на расхожую банальность, фразу, позу. В современной поэзии эти два уровня часто бывают не противопоставлены, а совмещены: даже при самом серьезном отношении к предмету изображения высокий стиль нередко сопровождается иронией, чаще всего направленной на самого автора или его мир. Поэт как бы смотрит на себя и свои ценности со стороны, осознает себя в удаленности от этих ценностей: он предстает как человек, принадлежащий одновременно и сакральному и профанному миру:

Еже писах – писах! – творение живет
И гложет свой рукав и рубит сук вчерашний
И, разведя огонь, в огне шукает брод
И учит языки и строит телебашни.

(Знаменская, 1990: 115)

Энтропии злые бесы¹³⁰
убегают наутек!
Он воистину **вокресе!**
Поцелуемся, дружок!
<...>

Мы комочки злого праха,
но душа – теплым-тепла!
Пасха, Лев Семеныч, Пасха!
Лева, расправляй **крыла!**

(Кибиров, 1994: 181–182)

Особенно активно современной поэзией оказываются востребованы архаические формы глагола *быть*, что объясняется повышенным вниманием ли-

¹³⁰ Здесь рифма подсказывает архаическую форму множественного числа *беси*.

тературы XX века к экзистенциальным вопросам. Поэту оказываются нужны не только нейтральные, но и стилистически маркированные формы, а их источник – прошлое или возможное будущее состояние языка.

Форма *есмь* обычно соответствует ее исходному значению – 1-му лицу единственного числа, часто она встречается в сочетании со старославянским местоимением *аз*. Подчеркнутую экзистенциальность этой формы демонстрирует следующий текст:

Надо в связи с этим вязанку писем,
Или же пуще того – телеграмм
Связку отправить. Два слова: **аз есмь**.
Без промедленья. По всем адресам.

Надо отправить, пока не вечер,
Пока телеграфные зришь провода:
Аз есмь, пока не затеплились свечи,
Пока не заперли врат города.

Надо отправить. Но где чернила?
Сумерки, что ли, впитали их?
Аз есмь! А если китайцам, в Манилу:
Есмь аз? – прося консультаций, – Bin Ich?

(Соколов, 1990: 35)

Столкновение архаизма с современным употреблением глагола обозначает принадлежность поэта одновременно двум мирам:

Из мира теней, тенет
дому и граду привет,
где месяц и ангел вместе
вплывают в закатный свет.
Латник в часовне спит,
в лавре от свеч тепло.
Мир тебе, гром-гранит,
сонной реки стекло!
И отзовется: «Нет,
нет твоей тени здесь».

– **Есть, – отвечаю, – есмь.**

Здесь судьбы замес,
полость истлевших лет.

(Игнатова, 1992: 55)

В этом контексте, психологически мотивированном сбивчивостью речи в кризисный момент выявления истины, переход от современного неразличения форм 1-го и 3-го лица глагола *быть* к их различению связан еще и с метафорой тождества *тень – я*.

Экзистенциальный смысл формы *есмь* в современном языке выявляется более отчетливо, чем в древних славянских языках, так как связочная функция настоящего времени глагола *быть* утратила актуальность. Даже если формально *есмь* употребляется в связочной функции, на первый план чаще все же выходит именно экзистенциальность:

Я думаю иль кто-то мыслит мной?
Рука с плечом мой? Или рычаг случайный?
Я **есмь** лишь часть себя иль гость необычайный?
Начало вечности или конец срамной?

(Петров С., 1994: 187)

Экзистенциальное значение формы *есмь* имеет отчетливую тенденцию к субстантивному выражению, и происходит ее лексикализация. Наиболее ярко это проявляется в индивидуальной поэтической системе Г. Айги¹³¹:

где **есмь** как золотую пыль –

как обрамленье красное приснившееся книги
 <...>
о так сжигают **есмь**:

и жизнь – как некою его: умершею! –

(Айги, 1992: 49)

¹³¹ Ср: «если бы мы поставили задачей найти то сверхслово, которое наиболее верно определяет сам дух поэта, то это слово было бы – "Есмь"» (Бирюков, 1989: 43).

Освоение субстантивированной формы представлено способностью слова склоняться:

– ... и с тем – забудь! – вхожденье – вмиг – потеряно
в ту – чем-то-**есмыю**-пустоту!... –

(Айги, 1992: 289)

Возможно, что на субстантивацию формы *есмы* повлияло наличие в русском языке существительного *суть*, производного от глагольной формы 3-го лица множественного числа *суть*.

Дальнейшее развитие приводит к превращению слова в префиксоид и постфиксоид:

секунда-зала
камера-секунда... –

(и там – подобно **Есмь-Мгновению**

я-зренье-голова) –

<...>

и зренье-ум – **само-я-есмы**

пока свободен – как сама природа? –

(Айги, 1992: 127)

(а данность снега

снего-есмы

как дело отчужденно-личностное:

как будто похороны сна)

(Айги, 1992: 117)

Аграмматическое употребление формы *есмы* сопровождается ее фонетическим искажением в ироническом тексте на фоне аграмматизма местоимений и прилагательных:

Великия люди **езмы**

И живут сии на земле.

И многия они труды пишут

И думают думу гавами [sic! – Л. З] умными и от сего **езьмь** полезныя
 А **езьмь** люди – композиторы зовутся и пишут музыки сии
 И люди поют и играют сия мелодия **езьмь** от сего.

<...>

И промолвишь –
 «**Езьмь** на земле мелодика душевныя и **езьмь** оная в сём».

(Рябинов, 1994: 251)

А один – очень правильный малый
 Не женится он – хоть тресни
 Потому как жена – проститутка,
 А сам он помрет онанистом,
 Но не женится он на бабе,
 Коя гулящая **езмя!**

(Рябинов, 1994: 249)

Вероятно, замена звука [с] звуком [з] вызвана фонетическим влиянием [з] из сочетания *аз есмь*, а появление формы *езмя* – еще и грамматическим согласованием со словом в женском роде. Исторически *есмя* – один из вариантов формы 1-го лица множественного числа.

Характерной приметой языка современной поэзии становится переосмысление фразеологизмов с архаическими формами – приписывание устойчивому сочетанию иного смысла, чем в языке Библии, летописи.

В следующем примере выражение *гой еси* при абсолютно правильной грамматике пародийно переосмыслено:

Должна быть бы
 суть да потенция
 тенденциозно
 знобит меня

Биоритмы мы все
 всегда бы так!

Кто бы то ни было
 хочет
 чет нечет чем бы
 дитя ни умылось...
 хоть кровью моей

ей бы ей

эге – гей

Гей Гой Гельмгольц

гой еси!

(Скворцов, 1993: 52–53)

Гой – бывший императив глагола *гойти* – ‘жить, здравствовать’ представлен здесь омонимом *гой* – ‘нееврей’¹³², но исходное значение русской повелительной формы *гой* передано созвучным междометием *гей* (совпадающим с существительным *гей* – ‘гомосексуалист’ из современного сленга).

Развернутую картину с героями *гоем* и *гойкой* рисует такой текст (форма *еси* здесь переведена в бытовой план) :

Еще некрещеному небу Стожар

от брани и похоти жарко.

То **гойку** на койку завалит хазар,

то взвояет под **гоем** хазарка:

«Ой, батюшки-светы, ой, **гой ты еси!**»

И так заплетаются судьбы Руси.

(Лосев, 1987: 12)

Перенесение грамматического архаизма в новый контекст ведет не только к переосмыслению одного из элементов устойчивого сочетания (дефразеологизации), но и к семантическому сдвигу всего фразеологизма – вплоть до лексикализации, когда сочетание превращается в сращение. Лексикализация выражения *гой еси* проявляется в таких контекстах, где оно принимает разные значения: значение ‘молодец, богатырь’ и ‘чур’ (заклинание):

Погляжу я на себя

в парикмахерской:

ой, да ты не **гой еси**,

не добрый молодец;

лысина на голове,

плюгавый род;

жесткую сединку

бритва не берет.

(Сатуновский, 1994: 24)

В начале жизни что я помню? ...ю
 пятью пять ...ю двадцать пять... Равнялось
 и это выражение нулю,
 под кой стричь подростков полагалось.
 С Петровских пор не любят на Руси
 волосяных приборов: коли лыс ты,
 уж тем одним как будто – **гой еси!** –
 оборонен от всякой темной мысли.

(Хлебников О., 1989: 73)

в) Дефразеологизация реликтовой формы

Рассмотрим несколько примеров, связанных с различными условиями, проявлениями и результатами внесения грамматического архаизма в современный текст.

Будучи употребленной вне собственного фразеологического окружения, дошедшего в полном или фрагментарном виде до наших дней, архаическая форма сама становится носителем смысла всего сочетания, образа, эпизода – со всей их культурной символикой. В стихах реликтовая форма не только становится сигналом подтекста, но и порождает соответствующие образы:

Перед Мазепой двойники
 Стоят, одеждою легки,
 Стоят, подобны наготой –
 Что есть у этой, есть у той.
 Как на пилотках две звезды,
 Как **в небеси** две борозды,
 Что реактивный самолет
 Оставил, совершив полет,
 Как два талона на трамвай,
 два ангела у входа в Рай.

¹³² Слово, которым в семитских языках обозначают неиудея, понимается и как обидное прозвище.

(Крепс, 1992: 22)

Зубцами обнесло себя от козней
и – лайяй...¹³³ Как заметил де-Кюстин:
Горыныча хоромы – Кремль московский.

Ему за меткость многое скостим.

(Бобышев, 1992-б: 65)

Дыханье сперто – и в Д/к Пищевиков
новорожденный Хармс въезжает **на осляти**¹³⁴.
Вокруг не Ленинград – Ерусалим,
хлопочущий над воссозданием Храма
и з н е д о у н и ч т о ж е н н ы х руин,
где торжествующая Яма
то бездною прикинется без дна,
то рукотворным эверестом...

(Кривулин, 1990-б: 101)

В стихах В. Кривулина Д/к Пищевиков¹³⁵ соотнесен с яслями, в которых родился Христос (кормушкой для скота), а само имя *Хармс* обнаруживает фонетическое сходство с именем *Христос*. Подобие еще более актуализируется, если обратить внимание на то, что имя Христа при его написании под титулом совпадет с аналогичным написанием имени Хармса.

В следующем примере автор пытается полностью освободить архаическую форму от ее фразеологической связанности. При этом современное телесное значение слова *язык* оказывается профанным по отношению к историческому значению *язык* – ‘народ’ :

¹³³ Форма *лайяй* хорошо известна современному носителю русского языка по эпиграфу к «Путешествию из Петербурга в Москву» Н. А. Радищева – произведению, входящему в школьную программу по литературе. Эпиграф взят Радищевым из «Тилемахиды» В. К. Тредиаковского.

¹³⁴ Форма *осляти* отсылает не только к Евангельскому сюжету, но и к стихотворению Мандельштама «Ариост»: *Во всей Италии приятнейший, умнейший, / Любезный Ариост немножечко охрип <...> В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна, как руки брадобрея. / А он вельможится всё лучше, всё хитрее / И улыбается в крылатое окно – // Ягненку на горе, монаху на осляти, / Солдатам герцога, юридическим слезка / От винопития, чумы и чеснока, / И в сетке синих мух уснувшему дитяти* (Мандельштам 1995: 222–223).

Мы писали, мы устали.
 Чепуха о вещих птицах.
 Только буквы, как занозы,
 как занозы **во языцах**.

(Шельвах, 1992: 11)

Однако *буквы* все же соотносятся с *притчей*, и акт писания (школьного упражнения в младших классах) становится образом творения. В случаях резкого стилистического контраста обычно происходит сдвиг в интерпретации всех элементов оппозиции: сакральное профанируется, а профанное сакрализуется.

В современных текстах заметно стремление преодолеть не только фразеологическую, но и лексическую ограниченность грамматических реликтов. Поэзия стремится расширить круг лексики, способной к воспроизведению древних грамматических форм:

Цезарь едет на войну
 целует бледную жену
 она играет марш на прятке
 и к ней луна плывет русалкой.
 Вокруг полки и много **шкаф**.
 Летает время как удав.

(Эрль, 1995: 41)

Они **идоша** они **шаташа**
 Они доводят до одурения
 Я знаю Катю Олю Наташу
 Но это лишь часть Твоего Творения

Зачахнут девок литые станы
 Подснежник рвет на груди рубаху
 Пришли: **устали устала усталы**¹³⁶
 Лесные птицы в небе **кричаху**

¹³⁵ Дом культуры работников пищевой промышленности в Ленинграде-Петербурге, где в 60–80 годы проходили литературные чтения новых поэтов и вечера авторской песни.

¹³⁶ В тексте явно представлена парадигма бывшего перфективного причастия с изменением по родам во множественном числе. Современный глагол прошедшего времени сохранил изменяемость по родам только в единственном числе. Вероятно, эта парадигма в контексте – след занятий исторической грамматикой.

(Кочетков, рукопись)

Употребление формы древнего аориста *быхъ* Д. Воденниковым в следующем тексте показывает, что языковые реликты далеко не всегда связаны со стилизацией: поэты примеряют их к новой действительности, современный язык ищет им место – если и не в практической речи, то в таких художественных текстах, которые ориентируются на живую речь и современные реалии. Грамматический архаизм появляется вне типичного для него стилистического контекста – патетического, имитационного, иронического или цитатного:

А меня не убили – спрятался я на славу,
зря крыжовника куст бил меня острым бивнем,
зря изодрал, истерзал и сорвал джинсы,
зря кровоточил и зря, как с холерой, бился.
Да и то сказать: не ошибся, серый:
быхъ наводкой я и **быхъ** холерой.

(Воденников, 1996: 16)

Расширяется и репертуар архаических форм: в современных текстах можно найти немало реликтов, восходящих к грамматическим категориям, не прошедшим через фразеологию или литературную традицию. Это можно наблюдать на примерах отражения двойственного числа:

И вывели слона. В столбах и в силе.
Из пасти бас из хобота из кобра!
И **бивня была два** – как двойня смерти...
в окружности на двадцать пять в шагах

(Соснора 1987: 65)

там Тамар твоя
третий сон не спит,
глазама пьет
уж Господень спирт.

(Иконников-Галицкий 1995-а: 43)

Первый из этих примеров интересен тем, что воспроизведение двойственного числа осуществляется инверсией и отражением аканья (ср. прямой порядок

слов: было два бивня). Если формы *бивня* и *была* мыслятся как двойственное число (исторически точное), то инверсия современной синтаксической конструкции предстает прямым порядком следования сказуемого за подлежащим. При таком порядке слов с реставрацией двойственного числа логическое подлежащее приводится в соответствие с синтаксическим¹³⁷.

Второй пример воспроизводит двойственное число на основе диалектно-просторечного смешения творительного и дательного падежей, наследующего омонимию этих падежей в двойственном числе.

Поскольку в таких случаях речь идет о языковом выражении утраченного понятия, о воссоздании утраченного фрагмента в картине мира, можно было бы назвать двойственное число в современных текстах грамматическим историзмом – по аналогии с лексическими историзмами типа *бричка*, *аршин*. И вообще стоило бы подумать о выделении в лингвистической классификации понятийных историзмов – для тех случаев, когда само явление не исчезает из действительности, но перестает из нее вычлениваться и, соответственно, обозначаться¹³⁸.

4. Аграмматизм архаизма

Другим заслуживающим внимания аспектом исследования собственно формы представляется нарушение согласования по отношению к норме как исходной, так и современной системы (*он есмь*, *он суть* вместо *он есть*) .

Нарушение грамматического согласования может быть вызвано и незнанием исходного смысла формы (что объективно отражает потерю формой традиционного значения при сохранении ее внешней оболочки), и языковой игрой, и приемом совмещения смыслов. В любом случае интересно рассмотреть такой материал с позиции историка языка.

¹³⁷ В книге Сосноры «Верховный час» напечатано *И бивня было два* (Соснора, 1998: 182). Вероятно, это результат редакторской или корректорской модернизации формы, так как склонность Сосноры к языковым реликтам очевидна.

¹³⁸ Это касается не только грамматических категорий, но и собственно лексики – ушедшей из языка (например, *стрый* – 'дядя со стороны отца') или изменившей место в системе (например, местоимения *сей* и *оный*, наречия типа *вечор*, *летось*, метрологическая лексика типа *аршин*, *пуд*).

В историческом языкознании динамика изменений изучается по ошибкам писцов в древних текстах – ошибкам, отразившим смешение категорий. Постепенно ошибки превращаются в новые правила, а на разных этапах изменения смысла возникает вариантность как основа для последующей стилистической и семантической дифференциации (ср.: *двигает* и *движет*, *образы* и *образа*).

Подобные процессы происходят на наших глазах в языке поэзии, занимающей особую позицию по отношению к норме. Художественный язык раньше общеупотребительного стремится использовать дублиеты как дополнительные стилистические и семантические ресурсы.

Деграмматизация архаизмов отражена в поэзии множеством разнообразных примеров и охватывает все основные части речи.

Прежде всего обратим внимание на те формы, грамматическое переосмысление которых представлено в современной поэзии как массовое явление – формы настоящего времени глагола *быть* – *еси*, *суть* и формы бывшего аориста того же глагола – *бех*, *бе*, *бысть*.

Аграмматизм формы *еси* проявляется в нарушении грамматического числа (2-е лицо обычно сохраняется, поскольку форма используется, как правило, в обращении):

Кричат скоморохи: – Ой **вы гой еси!**

Откуда и кто вы? Куда по Руси?

(Полишкарров, 1991: 61)

Расшумелся не ангельский хор,

Не восьмая соната:

Ветер гнет человеческий бор,

Валит брата на брата...

Ой вы гой, извините, еси...

С нами крестная сила!

Вообще-то у нас, на Руси,

И не так еще было!

(Крутой, 1989: 464)

В следующем примере глагол *еси* может быть отнесен к субъекту *мы*, ближайшему по месту в контексте, – со сдвигом и в лице, и в числе, – и к фразеологически обусловленному и традиционному для этой формы субъекту *Господи*:

О Господи, пошли мне иглу
ныне уплывающую за горизонт звука земли
плывущего над горами
трапециевидный звук распростерт над нами
им несомые
и мы невесомые
будем продолжены
иже еси Дебюсси – Равель на ухабах Баха

(Кедров, 1990: 127)

Довольно тонкое грамматическое смещение находим в стихах Бродского. Оставаясь формой, которой обозначено бытие Бога, *еси* в конструкции обращения сочетается с местоименным оборотом *тот, кто*, требующим постановки глагола в 3-м лице:

Вой, трепещи, тряси
вволю плечом худым.
Тот, кто вверху еси,
да глотает твой дым!

(Бродский, 1992-III: 30)

Лексикализованность формы 2-го лица проявляется в составе фразеологизмов молитвенного происхождения – в комплексе с бывшими союзами *яко* и *иже*:

От картофельного поля,
от твердеющей ботвы
чернобелые дальтоники
обращают к небу лик,
яко еси насытил нас
земных благ...

(Сатуновский, 1994: 277)

Крени меня, падло, в падучей тряси!
 Не парусник я, чтобы дна
 Бояться. Живой я. **Не иже еси**,
 Но жизнь во мне только одна.

(Охапкин, 1989: 97)

В первом примере выражение *яко еси* употреблено как имя Бога Животворящего. Во втором цитата из молитвы звучит пародийно, и экзистенциальное значение формы *еси* устранено.

Более всего пародийность свойственна формам-цитатам *иже еси* и *гой еси*. Выше приводились примеры грамматически правильного пародийного употребления *гой еси* в значении ‘богатырь’ и ‘чур’. Имеется немало примеров и с аграмматическим употреблением, усиливающим пародийность. Форма *еси* по существу превратилась в концепт¹³⁹, и поэты часто показывают ее опустошенность, например, включая в аллитерированную глоссолалию, когда на первое место выходит звучание, а смысл формы десакрализуется сочетаемостью:

Господь Саами!
 Вознеси мои лютни летние в Речки Фабрик Сестрамосиницами
 Вон сядем в лодки осиновые, **гой еси** мои подосиновики
 леса мои весёлые
 и в белой карелииелей мальчик маленький пляшет и поёт баранками:
 сварю юрюг рюг, мой сладкий юрюг рюг!

(Проворов, 1993:24)

и остригаютают платки рябые Архангельска
 лишь где юхаха лишь где юохо лишь где юехе!
 Может потроха черепаши в овраги чавкают шпалами или
 вновь мои железки **иснеси** в соски свинцовые Елизаветы
 роняются свистами

(Проворов, 1993:26)

¹³⁹ Анализируя культурно-философские основания концептуализма, М. Эпштейн пишет, что питательной средой для этого направления «является окостенение языка, порождающего некие идеологические химеры» (Эпштейн, 1988: 153).

Заметным явлением современной поэзии становится массовая активизация формы 3-го лица *суть*, но при субъекте не множественного, как было в древней грамматической системе, а единственного числа. Впрочем, аграмматизм этой формы обычен для русского языка с давних времен: Так, Л. А. Булаховский отмечает:

«Форма 3 л. мн. ч. *суть* может считаться живою только в древнейших памятниках русского языка, напр., в "Русской правде" <...>

Позже *суть* в его точном грамматическом значении не всем понятно:

Тыже, буй сыи, а утроба буюго яко изгнувшій сосуд; ничто же удержано им *суть* (Посл. царя Иоанна Вас. князю Андр. Курбскому). ... а то *суть* обыкновение курсаров турецких <...> (Путеш. П. Толст.) <...> а служба его *суть* такая (там же) <...> Но суетны *суть* вы (Держ., Умиление)» (Булаховский, 1958: 216).

Особое функционально-смысловое наполнение (субъект может быть обозначен существительным любого рода, конкретным и абстрактным, местоимением) сейчас уже ясно указывает на переосмысление этой формы под влиянием научного стиля, где глагол обозначает формульный характер высказывания, и под влиянием современного существительного *суть*. Важно также, что форма *суть* сохраняет связь с однокоренными словами *сущность*, *существо*, *существовать*, *Суций* ('Бог').

Виртуозное употребление формы с отсылкой к ее исходному грамматическому значению множественного числа при сочетаемости с субъектом единственного имеется у М. Еремина:

Тропа *суть* множественное число от «трóлос».
Уходит роща: sella stercoraria березовых да ивовых,
И губы листьев, что подобны нежным клювам,
и копуляция гамет, и языками да желудками ставшие листья,

трóлос – поворот, троп.

sella stercoraria – из церемонии выборов папы римского в 13–16 веках¹⁴⁰.

(Еремин, 1991: 76)

¹⁴⁰ Примечания М. Еремина.

Переосмысление слова *трона* во множественное число от *трон* ‘фигура речи, литературный прием’ – по модели *торта́* привносит резко просторечный оттенок, контрастный форме *суть*.

Особенно активен глагол *суть* в поэзии Бродского, где он является яркой приметой стиля:

Постоянство **суть** эволюция принципа помещенья
в сторону мысли. Продолженье квадрата или
параллелепипеда средствами, как сказал бы
тот же Клаузевиц, голоса или извилин.

(Бродский, 1991: 238)

Стекло зацветает сложным узором: рама
суть хрустальные джунгли хвоща, укропа
и всего, что взрастило
одинокчество.

(Бродский, 1992-III: 14–15)

В стихотворении А. Кондратова представлена оппозиция предикатов *есть* – *суть* при одном и том же субъекте:

Пал,
встал...
Всё –
муть!
Есть
фалл?
Фалл –
суть!

(Кондратов, 1995: 15)

Эпатажность грамматического субъекта, контрастирующая с сакральностью глагола, подчеркивает эту сакральность; контраст же здесь внешний, поскольку субъект сакрализован в мировой культуре. Тире позволяет видеть в форме *суть* не только глагол, но и существительное.

В других текстах слово *суть* тоже может быть интерпретировано и как глагол, и как существительное в зависимости от наличия или места знаков препинания:

Всякая зоркость **суть**
 знак сиротства вещей,
 не получивших грудь.

(Бродский, 1992-III: 75)

Ритмическое членение строк диктует, вопреки пунктуации, прочтение слова *суть* как существительного. Поскольку при синтаксическом прочтении это все-таки глагол, можно сказать, что в двойной сегментации текста, в конфликте ритма и синтаксиса слово стремится возвратиться к своему исходному грамматическому синкретизму, свойственному архаическому состоянию языка (здесь это нерасчлененность глагольного и субстантивного значений).

В следующем примере синкретизм глагола и существительного *суть* дублируется аналогичным свойством слова *весть*:

Бог победит (в тебе!) –
 глаголет Гавриил –
 (или – тебя?). Он сам: пред – это слово.
 Он весь – и **весть, и суть**. И узел сил
 узилища телесного, земного.

(Бобышев, 1992-б: 26)

Сейчас слова из сочетания *и весть, и суть* читаются как однородные существительные, однако в древности была и форма 3-го лица настоящего времени глагола *весть* – от вРдРти ‘знать’ (ср.: *бог весть*). Прочтение формы как грамматического архаизма вполне естественно в реплике Гавриила о Боге.

Нефиксированность грамматической принадлежности слова *суть* наблюдается и в таком контексте, который, помимо синкретизма глагола и существительного, интересен сближением слова *суть* с неэмплицированным исходным глаголом *быть* через производные однокоренные:

Быль в былине как блин в сметане:

суть с приправой. Глотай скорей.
 Не найдется такой управы,
 не найдется такой отравы,
 Чтоб Любовь оказалась ничьей.

(Залогина, 1994: 35)

В этом примере форма *суть*, прочитанная как глагол, обнаруживает способность превращаться и в союз, синонимичный союзу *то есть*. В следующем тексте видна еще более отчетливая трансформация слова *суть* в союз – поскольку субъектом в тема-рематической конструкции является не номинатив, а обстоятельство времени, хотя и здесь на прочтение влияют знаки препинания:

В будущем, **суть** в амальгаме, **суть**
 в отраженном вчера,
 в столбике будет падать ртуть,
 летом – жужжать пчела.

(Бродский, 1992-II: 452–453)

Стоит обратить внимание на парадокс исторического развития формы *суть*. С одной стороны, глагол, став десемантизированной связкой, и в этом качестве утраченный практическим языком, утвердился как существительное, которое стало философским обозначением самого главного. С другой стороны, слово *суть* имеет тенденцию трансформироваться в союз – сугубо служебную часть речи.

Из форм прошедшего времени в современной поэзии часто именно аграмматически употребляются фразеологизированные имперфект и аорист. Они зафиксированы в формах бывшего 1-го и 3-го лица – *бех, бе, бысть*.

И жизнь положивши за други своя,
 наш князь воротился на круги своя,
 и се продолжает, как **бе** и досель,
 крутиться его карусель.

<...>

Князь длинные крылья скрещает оплечь.
 Внемлите же княжеску речь.

Аз бех на земли и на небе я бе,
 где ангел трубу прижимает к губе,
 и все о твоей там известно судьбе,
 что неинтересно тебе.

<...>

Алеет морозными розами шаль.
 И-эх, ничего-то не жаль.

(Лосев, 1985: 87)

Строки *и се продолжает, как бе и досель, крутится его карусель* и *И-эх, ничего-то не жаль* в ироническом тоне говорят об утрате опыта, о потере героики, пафоса, языка. Форма *бе* здесь стоит дважды – в исторически правильном 3-м лице (в безличной конструкции): *как бе и досель* и в аграмматическом 1-м: *и на небе я бе* (обратим внимание на бубнящий повтор слогов *бе бе*, на потенциальную связь с поговоркой *ни бе ни ме*, на созвучие *небе – не бе*), а при местоимении *аз* употреблена форма исторически правильного 1-го лица *бех* и неправильного 3-го: *бе*.

Интересно, что строка *Аз бех на земли и на небе я бе* распадается на две части – два предложения. Грамматическая организация первого из них – *Аз бех на земли* – строго соответствует исходной норме не только в употреблении глагола, но и в употреблении архаической формы существительного местного (предложного) падежа. Во втором предложении – *и на небе я бе* – исторически правильной формой существительного была бы форма *на небесе*. Местоимение *аз* – старославянское, *я* – современное русское (известное, впрочем, и в древнейших памятниках русской письменности), развившееся из архаического русского *язь*¹⁴¹. Ирония, анахронизм как поэтический прием в изображении ситуации делают этот орнамент из архаизмов в точном и неточном грамматическом значении сильным поэтическим средством.

Если же ирония исключена, дополнительные смыслы при нарушении согласования не возникают, аграмматизм предстает ошибкой. Следующий пример показывает, что ошибка в употреблении формы *бых* во множественном числе – далеко не единственная в пределах приводимого ниже стихотворения А. Ребро-

ва – там же звательная форма смешивается с именительным падежом, дательный падеж *небеси* стоит на месте родительного:

Запечатлело свой образ небо
 На водяной убрूस.
 Тем, кто прозрел, травяные хлебы
 Стали сладки на вкус.

<...>

Тихо молились и тихо служили.
«Едины от нищих бых».
 И от пустынных трудов кормили
 Блудных сынов своих.

Сыне ж, юродуя босые ступни,
 Шли со всея Руси,
 Веруя, бысть покаянным заступник –
 Ангел земной,
Человек небеси.

(Ребров, 1991: 85)

Бывший аорист *бысть* включен А. Левиным в текст, целиком построенный по типу «глокой куздры», в котором почти все существительные и глаголы находятся вне словаря, однако словообразовательные и грамматические элементы реально существуют в языке:

Задохали Мурылика банданы.
 Он чахался, курычился, но слип
 и, жмыканный, запарханный и бляный,
 он в дрюку поколатую захлип.

Всю бысть ему ферзило, как из пешки,
 он был у всех понтыров законтак,
 и блябуды ему табали клешки,
 и жучники валанили кутак.

(Левин, 1995: 200)

¹⁴¹ Отметим, что переход от старославянского *яз* к позднему русскому *я* здесь копирует структуру древних текстов. Ср., например, употребление этих местоимений в Грамоте Великого князя Мстислава и его сына Всеволода 1130 г. (см.: Обнорский, Бархударов, 1952: 33).

В этом тексте *бысть* – существительное, соотносимое со словами *жизнь* (просторечное *жисть*), *быть* (ср. устойчивую связь в сочетаниях *жил-был* и *жить-быть*). *Всю бысть ему ферзило как из пешки с наибольшей вероятностью означает ‘всю жизнь ему везло, как пешке, которая становится ферзем’.*

Встречаются тексты, в которых форма *бысть* интерпретируется то как инфинитив, то как деепричастие:

Проблемы вечной – **бысть или не бысть** –
 Решенья мы не знаем и не скажем,
 Зато ни жажда славы, ни корысть
 Уже не овладеют экипажем.

(Щербаков, 1990-б: 29)

Благодарю Тебя! Я не оставлен.
 И весь я не умру, Тобой прославлен
 Уже и тем, что, **бысть** усыновлен,
 Тобой в веках пребуду без времен.

(Охапкин, 1989: 172)

В последнем примере форма *бысть* выполняет функцию деепричастия, но исторически адекватное аористное прочтение тоже возможно, тем более что в древнерусском языке причастие и личная форма глагола могли легко заменять друг друга. По существу, в стихотворном тексте и происходит реставрация их функционального единства. В других текстах Охапкина форма *бысть* сохраняет значение аориста, помещенного, однако, среди вульгаризмов (стихотворение называется «Речь паломникам в Киев»):

И не то, чтобы хамы наш храм засрали,
 Очевидно вполне, расчистка фресок
 В эпилоге чистки рядов классов –
 То же самое лицемерье. Мерзок
 Такой оборот, ибо храм Спасов
 Не нуждается в большей славе,
 Чем та, которою нас в державе
 Крестили во имя Отца и Сына
 И Духа Святого. Итак, малина

Разворована **бысть**. Бог в помощь!
 Но Левиафана страшна немощь.
 (Охапкин, 1989: 79)

Форма бывшего аориста 3-го лица множественного числа *бышѣ* представлена как субстантивированная в составе образования *шиши-быши*, указывающего на потерю архаизмом смысла:

Безголовые боги схватились в бесполом бою,
 потекли, потекли озверевшие за зиму воды,
 и, измучены солью, океаны впитали беду
 их, взыскавших свободы.

А во льдах вековечных встают **шиши-быши** стеной
 и дышать никому не дают. Занимайся на курсах
 языков иностранных. И встретят тебя за чертой
 Чаадаев и Курбский.

(Лаптев, 1994: 51)

Образование *шиши-быши* (от *быша* – аорист 3 лица множественного числа, переосмысленного в именительный падеж) прямо указывает на переход архаизма в глоссолалию. Деформированное *быши* не совпадает ни с какой исторической формой глагола, однако в таком сдвиге оказывается выраженным именно множественное число.

Бывший русский имперфект глагола *быть* – *бьшеть*, соответствующий по значению современному несовершенному виду, воспринят современным сознанием как форма из зачина «Слова о полку Игореве» (Слово о полку Игореве, 1985: 3, 22). В следующем примере эта несколько измененная цитата и является контекстом слова-псевдоархаизма *бьшете*. Псевдо- – потому что во 2-м лице множественного числа древнерусского имперфекта существовала форма *бьшете*. Судя по смыслу глагольной формы в строфе и по написанию буквы «и» в окончании, глаголу явно придается значение настоящего времени¹⁴²:

¹⁴² Древнерусская форма 3-го лица *бьшеть* грамматически отличается от старославянской *бѣше*, помимо стяжения гласных, именно тем, что в древнерусском языке произошла контаминация имперфекта с настоящим временем (имперфект, имея процессуальное значение, семантически сближался с настоящим временем).

Выше! Павлово третье небо –
 растекается древом креста:
 «Лепо, братие, **бяшите**, лепо» –
 сельный крин зоревого холста.

(Ярмуш, 1994: 13)

При семантико-стилистической интерпретации архаизма в современном художественном тексте необходимо иметь в виду и функционирование форм глагола *быть* в языке древнеславянских памятников и в современных диалектах. Обобщая исследования историков языка и диалектологов, М. Н. Шевелева приводит большой материал, показывающий аномальное употребление вспомогательного глагола *быти* в памятниках письменности XIV–XVI вв., даже церковнославянских (псковско-новгородской традиции) – при аористе, имперфекте, перфекте со связкой, презенсе, императиве. Грамматическое значение уже в то время активно вытеснялось модально-экзистенциальным. Эти факты рассматриваются М. Н. Шевелевой не только как гиперкоррекция при воспроизведении книжных форм, но и как отражение диалектных структур, в которых формы глагола *быть* приближаются к частице (Шевелева, 1993: 135–155).

Поэтому можно сказать, что в аграмматическом употреблении форм глагола *быть* современная поэзия следует и книжной, и разговорной линии развития языка.

Архаические формы знаменательных глаголов в современной поэзии употребляются значительно реже, чем формы глагола *быть*. Чаще других встречаются – бывшие формы 1-го и 3-го лица единственного числа аориста: *писах, провидех, жевах; воскресе, прильпе*. 1-е лицо образуется относительно свободно – потенциально от любого глагола, а 3-е обнаруживает высокую степень лексикализованности. Рассмотрим несколько примеров.

Отдельный страх, помноженный на сто.
 Ревут турбины. Нежно пахнет рвота.
 Бог знает что... Уж Он-то знает, чті
 набито ночью в бочку самолета.

Места заполнены, как карточки лото,

и каждый пассажир похож на что-то.
вернее, ни на что – без коверкота
все как начинка собственных пальто.

Яко пророк **провидех и писах**,
явились зна́мения в небесах.
Пока мы баиньки в вонючем полумраке,

летают боинги, как мусорные баки,
и облака грызутся, как собаки
на свалке, где кругом страх, страх, страх, страх.

(Лосев, 1996: 8)

В русский язык вошла форма *писах* – ‘я написал’ из Евангелия:

Написа же и тѣгла пѣлатъ и положи на кр(е)стѣ. БР же написано:
йи(су)сь назНрТнинъ, ц(а)рь йКдейскѣй <...>

ГлаголахК оубо пѣлатК архйерее йКдейстѣй: не пиши: ц(а)рь йКдейскѣй:
но РкН самъ рече: ц(а)рь есмь йКдейскѣй. МвРща пѣлатъ: еже писахъ, писахъ
(Ю., 19, 19, 21–22)¹⁴³.

В приведенном стихотворении аграмматизм употребления этой формы – смыслообразующее явление: текст принципиально анахроничен: небо представлено пространством небесных знамений и авиаполета, образы в стихотворении подчеркнута деромантизированы. Общая тема – десакрализация символа, которым стало чувство полета, скептицизм в изображении технического прогресса, деперсонализация ощущения, скептическая ревизия понятия *страх божий*. Все это делает формы 1-го лица в значении третьего естественно ироничными.

В цитированном ранее стихотворении Л. Лосева *И жизнь положивши за други своя...* помимо строки *Аз бех на земли и на небе я бе* имеется еще и строка *Он мученическу кончину **приях***. Если при субъекте *аз* употреблена форма 3-го лица, отчуждающая субъект от экзистенциального предиката, то 1-е лицо при

¹⁴³ *Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» <...> Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: «Царь Иудейский», но что Он говорил: «Я Царь Иудейский». Пилат отвечал: что я написал, то написал (Ю., 19, 19, 21–22).*

субъекте *он* (князь) дает представление о слитности рассказчика с персонажем, то есть о внутреннем переживании лирическим героем того события, которое произошло с героем сюжетным.

В следующем тексте аграмматизм глагола тоже может быть воспринят как прием:

...Ну и не надо никому ничего понимать.
Мы не деревья, чтобы в нас врубались.
Со всеми, кто хочет огня, конечно, мы будем спать.
Смыслов столь густо, **аж иже жевах** – обознались.

(Залогина, 1994: 109)

Здесь мы видим намеренное искажение слова *аз* с резким изменением и грамматического, и стилистического значения *аз* → *аж*, смешение [*живать*] (от *жить*) с *жевать*, фонетический повтор /*жи-же-же*/, в котором можно услышать слово *жиже*, частицу *же*. Сжатие смысла до невнятицы эксплицировано первой и последней строками строфы. Архаизм в его искаженном виде предстает сигналом отчуждения автора от читателя.

Не исключено, что значение 1-го лица формы *написахъ* является подтекстом у М. Соковнина:

и, возможно, что это люди
бродят звездами в небесах.
Карта буден и Карта судеб. –
Ты их, Господи, **написах!**..

(Соковнин, 1995: 109)

Максимальная степень лексикализации аориста 1-го лица, представлена субстантивацией формы:

Служите Господу со страхом –
и с кресел бархатных **вставахом**
почтите Сына
Сукины сыны!

(Сапгир, 1993: 64)

Здесь форма *вставахом*, принимая грамматическое значение творительного падежа предполагаемого существительного [*вставах*], образованного субстантивацией 1-го лица единственного числа аориста *вставах*, по звуковому составу совпадает и с исторической формой аориста 1-го лица множественного числа *вставахом*. Текст Г. Сапгира восходит к Псалтыри, однако в соответствующем фрагменте источника нет ни формы *вставахом*, ни другой формы этого глагола:

Работајте г(і)с(по)деви со страхомъ, и радКјтесТ емК со трепетомъ.

пріймите наказание, да не когда прогнРваецТ г(і)с(по)дь, и погибнете
М пКти пр(а)в(е)днагН, егда возгоритсТ вскорР Ррость ЕгН (Пс., 2, 11–12)¹⁴⁴.

В тех стихах, где ирония составляет важнейшее свойство поэтики, деграмматизация часто становится основой языковой игры. Иногда такая игра усиливается и аграмматизмом современных форм:

Ну, что с того, что пил?

Зато как пел «Блаженства»!

Из плоти **искресах** конечны совершенства

и кроткия жены изрядно **поучах...**

Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени

восхитила его любви блаженной Ксеньи.

<...>

И молится (язык **да не прильпе** к гортани):

– Благословивая брак в Галилейской Кане!

– Простри же, Чюдная, на этот брак – Покров...

Полковник баба – я, **я – певчая Петров!**

(Бобышев, 1992-б: 3)

¹⁴⁴ Лексика стихотворения показывает, что цитированные строки восходят не к церковно-славянскому источнику, а к переводу на современный язык: *Служите Господу со страхом, и ра-*

В данном случае формы *искресах, поучах* – исторические формы 1-го лица, а не 3-го или 2-го, как, возможно, предполагает прочтение текста – дружеского обращения; *прильпе* – по происхождению аорист (из поговорки *язык прильпе к гортани*, восходящей к тексту Псалтыри:

ИзсНше РкН скКдель крРпость моТ, и Тзыкъ мој прильпе гортани моемК, и въ персть смерти свель мТ еси (Пс., 21, 16)¹⁴⁵.

Форма прошедшего времени находится в резком противоречии с побудительной конструкцией (и в древнерусском, и в современном языках эта конструкция требует настоящего или будущего времени; ср.: *да здравствует, да будет*). Однако текст Д. Бобышева контаминирует форму бывшего аориста, встречающуюся в текстах XVIII в. и в более поздних текстах классической литературы, со смыслом выражения-клятвы, который имеется в другой цитате из Псалтыри:

Аще забКдК тебе, йер(у)с(а)лиме, забвена бКди десница моТ.

Прильпни Тзыкъ мой гортани моемК, аще не помТнК тебе, аще не предложК йер(у)с(а)лима РкН въ началР веселйТ моегоН¹⁴⁶ (Пс., 137, 5–6).

Но при этом у Бобышева клятва превращается в заклинание, так как появляется отрицание: *прильпе* → *не прильпе*. Неразличение форм лица при употреблении бывшего аориста с окончанием *-х* в формах *искресах, поучах* объясняется, вероятно, интерференцией современной неизменяемости глаголов прошедшего времени по лицам: бывшее окончание *-хъ* воспринимается как современный суффикс *-л*.

Когда употребление архаизма направлено на выражение патетики, нарушенное согласование воспринимается как неграмотность, если в современном

дуйтесь (перед Ним) с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре (Пс., 2, 11–12).

¹⁴⁵ *Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной* (Пс., 22, /21/, 16).

¹⁴⁶ *Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего* (Пс., 137 /136/, 6).

языковом сознании сохраняется хотя бы минимальная память о контексте, из которого архаизм извлечен¹⁴⁷. Так, в поэме А. Вознесенского «Россия воскресе (Безразмерный молитвенный сонет)» форма *воскресе* понимается автором поэмы не как прошедшее время совершенного вида (исторически – аорист, в современном языке – реликтовый элемент, сохранившийся в ритуале пасхального приветствия *Христос воскресе* – ‘Христос воскрес’), а как никогда не существовавший в таком виде императив [*воскрэси*], в котором конечная буква «и» исправлена на «е» (в авторском устном исполнении поэмы по радио явно слышалось [и]):

Воскресе, враг. Гирей противовеса
нас взвей в поднебесье!

Воскресе стихи на страницах «Известий».

И в каждой из женщин Мария **воскресе**.

(Вознесенский, 1993: 129)

Кроме того, это слово употребляется Вознесенским как будущее время, которое даже фонетически не совпадает ни с какой естественной грамматической формой:

Тебе обещаю: «Россия **воскресе**»,
хоть сам я не верю в чудеси-нездеси.

(Вознесенский, 1993: 124)

Видимо, чувствуя резкий языковой диссонанс, автор продолжает сочинять слова-рифмы: *Вернулся Вольф Мессе; Урезали пенси, / Все взбеси депресси; прости раба божья Андрея Вознесе; Скелеты умресе – искусство воскресе!; Читатель, умаялись? Извинесе*, а также появляются такие новообразования, как *Кесареву – кесарево – Воскресшему воскресово* (что подразумевает промежуточную окказиональную субстантивацию формы *воскрес*). Подобная языко-

¹⁴⁷ Аграмматическое употребление этой формы с установкой на пафос исключает языковую игру или добавочный грамматический смысл: *Доподлинно известно, что день начинается после ночи, весна после зимы, а вот что и с чего начинается в жизни человеческой – тайна сия велика есмь...* (Виноградов И., 1981: 49).

вая игра тем не менее не делает текст ироничным, поскольку общая его тональность – всё же патетика.

Имперфект знаменательных глаголов тоже лексикализован в языке. Форма *растекашется* известна из зачина «Слова о полку Игореве»: *Боянь бо вРций, аще кому хотяше пРснь творити, то растРкашется мыслию* (вариант чтения: *мысию* – ‘белкой’) *по древу, сРрымь волкомь по земли, шизымь орломь подь облакы* (Слово о полку Игореве, 1985: 3). В. Соснора, хороший знаток и переводчик этого произведения, несомненно, понимающий, что *растекашется* – прошедшее время 3-го лица, в своем стихотворении употребляет форму несколько измененную, но тоже существовавшую в более древнем состоянии языка – *растекашеса*. Но дает ее как причастие ‘растекающаяся’.

Деревья без прикрас. Лицом к лицу
со мной.

Ни суеты у них, им нет суда.
Деревьями вот эти существа
лишь мы зовем. И наш глагол весом
лишь нам... А как они зовут себя? –
Венцом

творенья? Человек для них – лишь мысь,
по древу **растекашеса** в траву.
И что для них, что с «мысь» рифмуем «мы»,
и что тебе, как я тебя зову?

(Соснора, 1982: 167)

Нелексикализованную форму бывшего имперфекта – *зряше* – можно видеть в стихотворении Н. Галкиной «Отзвуки театра»:

Зрячему зрителю – **зряше** ли? зря ли пляшу? –
И надзирателю – с оптикой в призрачном оке –
Этот театр на ладони я преподношу, –
Чем не вместилище действия, игры и мороки?

(Галкина, 1989: 51)

В переводе с древнерусского *зряше* значит ‘видел’. Это значение здесь, безусловно, есть, и в таком случае об аграмматизме говорить не приходится. Но буквальным смыслом употребление правильной архаической формы не ограничивается. Слово включается в этимологический повтор *зрячему – зрителю – зряше – зря – надзирателю – в призрачном*, где форма *зряше* становится переходной от слова *зрячему* (по происхождению причастию) к деэтимологизированному наречию *зря* – ‘напрасно, безрезультатно’ (по происхождению тоже причастию и с тем же грамматическим значением, что и *зрячий*). Поэтому в стихотворении слово *зряше* помимо архаического смысла включает в себя и смысл современного слова *зря*, тем более что фонетически оно оказывается очень близким к современному прилагательному *зряшый*. Возможно, в современном языковом сознании существует модель толкования бывшего имперфекта на *-аше, -яше* как деепричастия: выражение *ничтоже сумняшеся* сейчас употребляется в деепричастном обороте.

Переосмысление формы настоящего-будущего времени *победиши* из фразеологизма *сим победиши*, представление ее формой прошедшего времени находим у К. Кедрова:

Тонет Эхнатон
 в Лете теней-тенет
 ТОТ стал ЭТОТ
 смерть мертва
 атома немота
Сим победиши
Хам победиши
 Сим-Хам

(Кедров, 1990: 39)

Форма употреблена как древний аорист в значении ‘победил’, поскольку переосмыслена первая часть фразеологизма: местоимение *сим* превратилось в библейское имя *Сим*, фразеологически индуцирующее имя *Хам*. О 2-м лице глагола, следовательно, уже не может быть речи. Но получившееся прошедшее время – псевдоаорист, так как исторически правильным аористом было бы в единственном числе *победи*, а во множественном – *победиша*. Деграмматизация

глагола не воспринимается как ошибка, так как одновременно идет процесс десе­ман­тиза­ции и грам­ма­ти­че­ско­го переосмыс­ле­ния соседнего слова – библией­ско­го имени *Сим* в творительный падеж местоимения *сей*.

Аграмматизм существительного проявляется наиболее активно в исполь­зо­ва­нии целой грам­ма­ти­че­ской категории – звательной формы – и некоторых архаических падежных форм от слов *воздух, небо, реже* – от слов *рука, день*, а также в употреблении форм склонения типа *теля, поросля*.

Звательная форма смешивалась с именительным падежом уже в первых русских памятниках письменности, например, в Остромировом Евангелии XI в: даи емоу **г(оспод)ь б(ог)ь** бл(агослове)ние с(вя)тыхъ еванг(е)листь (см.: Об­норский, Бархударов, 1952: 15). Смещение сказывалось не только в замене зва­тель­ной формы на именительный падеж, что соответствовало тенденции к утра­те категории, но и в обратной замене. Подлежащее могло быть выражено зва­тель­ной формой уже в ранних текстах, начиная с XI в.: *Отроковице Мари* *дн(е)сь родис* (Новг. минея 1095 г.), *Анно* *уже не пребывает неплоды* (там же), *Охъ тотъ мТ враже* *оулови* (Лавр. лет.) – примеры Л. А. Глинкиной (см.: Глинкина, 1978: 7–8). Возможная причина употребления звательной формы на месте именительного падежа – кроме раннего смешения именительного и зва­тель­ного – «желание или невольное стремление соединить с подлежащим выра­жение известного чувства, которое говорящий питал к данному лицу» (Овся­нико-Куликовский, 1912: 182). Правда, это предположение объясняет далеко не все факты употребления звательной формы в роли подлежащего, ср., например, слово *враже* в одной из приведенных цитат. Л. А. Глинкина отмечает, что зва­тель­ный на месте именительного широко употреблялся в белорусской и украин­ской народной поэзии (Глинкина, 1978: 9).

В истории языка звательная форма оказалась вытесненной именитель­ным падежом, а ее реликты *Боже* и *Господи* превратились в обиходном языке в междометия. Соответствующие обращения сохранились как элементы молитв. Вместе с тем потребность в этой грам­ма­ти­че­ской категории осталась, и в разго­ворном языке возникла новая звательная форма для существительных склоне­ния на *-а*, не вошедшая в систему, но по употреблению достаточно активная: *мам, пап, Тань*. Язык современной поэзии пытается реставрировать эту грам­ма­ти­че­скую категорию, выходя за рамки традиционного круга реликтовых форм.

В исследованных текстах зафиксированы формы не только лексикализованные *боже, господи*, не только церковные *отче, сыне, спасе, жено, свете, ангеле, Хранителю, агне, пророче, Илие*, не только традиционно-литературные *старче, человеце, друже*, но и расширяющие круг подобной лексики, что в перспективе ведет к практически свободному, нефразеологизированному, нецитатному и даже стилистически не ограниченному употреблению звательной формы: *настуше, волче*.

Встретился и такой контекст, в котором звательная форма образуется от субстантивированного прилагательного, реставрирующего древнюю синкретическую нерасчлененность прилагательного и существительного:

Как будто бы всё...
 Не всё, **Одиноче!** –
 Любовь – неестественное чувство,
 одиночество – ныне и присно
 веки веков
 здесь оставаться нельзя...

(Матиевский, 1995: 149)

Грамматическая неустойчивость этой формы сказывается в частом ее смешении с именительным падежом: но если в прошлом звательная форма вытеснялась именительным падежом, то теперь сдвиг идет в противоположном направлении: именительный падеж заменяется звательной формой. В большинстве случаев она стоит в таких конструкциях, которые не требуют согласования в роде, что еще как-то, хоть и слабо, поддерживает ее синтаксическую изолированность:

Была бы возможность
 Лишь выбора жизни и смерти.
 Вот было б легко,
 Как монету подкидывать вверх.
 Но **Боже**
 Подставит ладонь –
 И ребром
 По булыжнику
 Сердце

(Ширали, 1992-а: 27)

О природе бровей
догадайся – не выложит **Боже**.
Смерть – любое число,
а его календарь не найдет.

(Чейгин, 1995-б: 586)

И реки вернутся в свои берега,
И станет вдруг ясно тебе,
Что ныне страшнее меча для врага
Трепещущий **свете** в избе.

(Ребров, 1991: 27)

Возвращаясь с русского плена,
Говорил я сходящему свету:
«Зря же всё... всё чернее измена...»

<...>

«Все скончались?» – **свете** дивится. –
«Аж оставивши вживе живого?»
«Ну а чьи ж это костные лица
«За тобой засияли лилово?»

(Юрьев, 1991: 154–155)

Однако звательная форма, почти ставшая вариантом именительного падежа, пытается утвердиться в этой роли. И всерьез (не замечая противоречия), и в шутку авторы употребляют форму то как слово мужского, то как слово среднего рода:

За девятым часом Литургию
Совершали тихо и светло
И купал **владыко** панагию
В седине склонившихся голов.

(Ребров, 1991: 90)

ушло. настало дней других.
с небес сумняшеса ничтоже
на крыши сырых чад своих

пустой водой **мочилось боже**.

(Сапего, 1995: 54)

Иногда создаются условия для интерпретации бывшей звательной формы как собирательного существительного. В истории русского языка форма множественного числа *братья* возникла именно из собирательного существительного, которое употреблялось в женском роде *братия* и в среднем роде *братие*, а форма именительного падежа среднего рода совпадала со звательной формой женского рода. У К. Кедрова слово *братие* – элемент цитаты из «Слова о полку Игореве» – *братіе и дружино! луцежь бы потяту быти, неже полонену быти* (Слово о полку Игореве, 1985: 3), где это слово выступает как звательная форма :

И не невестится Восток

и не невестится Запад

Братие и дружина лобзают отроковицу

(Кедров, 1990: 82)

В стихах Д. Голынка-Вольфсона с большим количеством украинизмов и полонизмов звательная форма используется в контексте, далеком от библейской или традиционно-поэтической стилистики:

Ночник¹⁴⁸ звёздыньки бачит

Гатчину да Баден-Баден,

над баком колдует **бабче** –

отвадить пытается ката.

(Голынка-Вольфсон, 1994-а: 26)

Высокую степень лексикализованности бывшей звательной формы показывает нередкое ее употребление на месте винительного и дательного падежа:

Перунов огонь и тихий **свете**,

Псалом и окающу речь

Смогла ты, Родина, приветить,

¹⁴⁸ *Ночник* – зд. ‘дозорный’.

Соединить и уберечь.

(Ребров, 1991: 87)

Где осенних кистей сухожилия
держит ветер ещё на плаву,
преподобному **отче** Корнилию
отрубил самодержец главу

(Кублановский, 1993: 109)

В последнем примере обнаруживается омонимия дательного падежа *Корнилию* с бывшей звательной формой того же имени.

Слово *воздух* в старославянском и древнерусском склонении имело чередование *x // с*. Звук [с] появлялся в этом слове только перед гласными *и* и *Р* в результате 2-й палатализации – в соответствии с тенденцией праславянской фонетики к слоговому сингармонизму. Праславянское фонетическое чередование превратилось в застывшее историческое еще до появления письменности, а затем – после XII в. – устранилось вовсе. Но церковные и летописные тексты донесли до нашего времени формы *воздуси* (им. мн.), на *воздусР* (предл. ед.), и на *воздусРхъ* (предл. мн.). Под влиянием морфологической модели *на столах*, *на конях* форма *на воздусРхъ* приняла вид *на воздушях*. В литературе XIX–XX вв. архаизм выступает уже в его искаженном и фразеологизированном виде: *Ты молоток держи легонько, на воздушях*. Ликстан.; *Выдрать его на воздушях*, – сказал Лобов. Помял.; *Жилось у меня ему как коту, хоть и частенько порол я его на воздушях*. Чех. (Словарь современного русского языка, 1991-I: 384).

Исторически правильную форму встречаем в ироническом контексте, который, однако, указывает на источник цитаты: молитву «О благораствореньи воздушхов, о изобилии плодов земных и временах мирных»:

Мольбу возносят «темные» бабуси
о благораствореньи воздушхов,
и – благорастворяются **воздуси**.

(Бобышев, 1992-б: 68)

Фразеологизированное выражение *на воздушях* сочетается с современным термином, создавая стилистический контраст и не столько снижая стиль архаизма, сколько реабилитируя его – выводя из иронического контекста:

Как взыскуемый град, возвращенный тебе сполна,
и как слава миров, под тобою разверстых, **на
воздушях** левитации реет кремнистый пар –
от стерильной пустыни тебе припасенный дар.

(Жданов, 1991: 93)

Вариант корня *воздус-* освобождается от морфологической связанности, форма *на воздушях* становится исходной для новых преобразований, распространяясь на другие падежи:

Особенно шатры и шпицеры проспекта
в сошествии огня среди рыхлых **воздусей** –
естественный урон нетронутого лета,
свивание завес из зданий и снастей

(Чернов, 1991: 8)

Пока струились вертикали
живыми призраками дня,
и **воздуся** перетекали
между копытами коня,
картонный и, конечно, волглый
проспект, прочерченный углем,
хотя внизу вонял карболкой –
оканчивался кораблем.

(Чернов, рукопись)

наши ижицы – красны заставками,
не хождением **по воздушям**.
...Лишь украдкой махни камилавкою
под Покров уходящим гусям.

(Кублановский, 1993: 110)

Форма *небеси* в современном русском языке существует как цитата из утренней молитвы (Молитва начинательная): *Отче наш, иже еси на небесех, да*

святится имя Твое <...> да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. В молитве это форма предложного падежа (местного в древнерусской грамматической системе), заменившая собой исконную форму *на небесе*. У современных поэтов форма *на небеси* обычно является носителем иронии:

Гой! Ликуй, Илья-пророче!
 Август, август **в небеси!**
 Время ловчих полномочий:
 Гуси, лоси, караси...
 (Охапкин, 1989: 47)

В стихотворении В. Кривулина, в поэтике балансирования между иронией и пафосом, форма стремится к стилистической реабилитации:

когда писателя в Руси
 судьба – пищать под половицей!
 Судьба – пищать под половицей,
 воспеть народец остролицый,
 с багровым отблеском. Спаси
 нас, праведник! С багровым ликом,
 в подполье сидя безъязыком
 как бы совсем **на небеси!**
 (Кривулин, 1989: 25)

Вместе с тем эта форма вытесняет созвучную историческую форму родительного падежа *небесе*:

Ты у стен Ерусалима
 К нам упала **с небеси**¹⁴⁹
 И как бороды хранима
 Мужиками на Руси
 (Стратановский, 1993-а: 61)

¹⁴⁹ Здесь можно видеть переключку с двумя текстами Мандельштама – стихотворением «Эта ночь непоправима...» и строками одного из вариантов стихотворения «Дайте Тютчеву стрекóзу...» *Эта ночь непоправима, / А у вас еще светло! / У ворот Ерусалима / Солнце черное взошло* (Мандельштам, 1995: 136) *А еще богохранима / На гвозде торчит всегда / У ворот Ерусалима / Хомякова борода* (Мандельштам, 1991: 182).

Лексикализацию грамматического реликта с включением его в регулярную падежную парадигму можно видеть и на примере окказиональной формы *небесей*:

С **небесей**, ахти-ахти,
 падал снег на наши хти.
 Падал снег, а за прокатом,
 где пушистый носорог,
 извивался депутатом
 и не мог связать двух строк
 синий Петя. Отчего же
 Петя синий с **небесей**?

Потому что он не может
 на глазах у Маши всей
 взять две строчки,
 взять три цифры
 и связать в большой пучок.
 Тайны жизни, жизни шифры
 не дают связать двух строк.

(Воронежский, 1998: 112)

И совсем экзотически выглядит превращение этой формы в именительный падеж:

Словно души многи,
 Со всея Руси,
 Предрешая сроки,
 Птичат **небеси**.

(Ребров, 1991: 6)

Аграмматическое употребление формы *дневи* в значении родительного падежа вместо дательного объясняется, вероятно, влиянием пословицы библейского происхождения *довлеет дневи злоба его* (Мф., 6, 34). *Довлети* означало 'быть достаточным, хватать'.

Когда изъята ось,
 какая верть и твердь – не дрябла?

Обручено безлюбо, безобрядно,
пространство с временем в **три дневи** разошлось.

(Бобышев, 1992-б: 29)

Проанализируем логику появления псевдоархаизма в этом контексте. Не исключено, что на грамматическое переосмысление существительного повлияло изменение лексического значения глагола *довлеть* по звуковому сходству со словом *давление*. Существительное *дневи* теряет исходное значение дательного падежа, поскольку меняет значение слово *довлеть*. Новое значение оказывается несоместимым с дательным падежом существительного. Возможно, семантический сдвиг в глаголе *довлеть*, о котором писал Д. Н. Шмелев, может быть, является одним из звеньев в цепочке семантических сдвигов и обусловлен другим, чем в Библии, пониманием слова *злоба*. В современном смысле *злоба* – вовсе не ‘потребность’ и не ‘забота’, это ‘агрессивное состояние’, для которого естественно «давить» и «господствовать».

Легкость грамматического переосмысления слова *дневи*, вероятно, связана и с тем, что существительное *день* в истории языка принимало окончания всех склонений, возможных для слов мужского рода, что зафиксировано памятниками письменности.

Явно производно от формы бывшего дательного падежа *дневи* существительное *днєвью*:

Август! Август! Увяданье,
Убыванье в прошлый год,
С **днєвью** будущей свиданье,
Месяц – вечер, месяц – плод!

(Охапкин, 1989: 47)

Предполагаемая форма [*днєвь*] могла бы тоже иметь дательный падеж *дневи*. Форма в контексте явно иронична: будущее предстает тем, чего не будет или будет, пройдя через ночь-смерть.

Существительные типа *теля*, *порося* (бывшего склонения на согласный) испытали в истории языка значительные колебания в образовании падежных форм и в конечном счете почти все – кроме слова *дитя* – утратили формы един-

ственного числа с элементом основы –*ят*: *теляте, теляти*. Но и слово *дитя* в разговорном языке стремится выйти из категории среднего рода и выравнивает парадигму, приобретая формы *дитёй, дитём, (этому) дитю* – дат. п; (*этого, эту*) *дитю* – вин. п. Язык художественной литературы активно отражает все этапы и направления изменения. Вспомним хорошо известные цитаты *дитёй возили на поклон* (Грибоедов), *чтобы не плакало дитё* (Достоевский)¹⁵⁰. В современной поэзии находим:

К **дите** твоей издалека
 По ходу дел зверя
 В крови вся тянется рука
 Марксиста и еврея
 (Пригов, 1998: 124)

И разнятся обличья тоски и счастья,
 Как Ворона Петровна – и просто птица.
 Обретенье любви страшней покупки
Порося, как ни странно, к земным заботам
 Много ближе: склоняет над штопкой юбки,
 А не к светскому трепу с нагим уродом.
 (Знаменская, 1989: 138)

котам песок, объедки **поросю**
 (Бобышев, 1992-б: 58)

А девы все стоят, с лица
 Как два куриные яйца,
 Как новостроек этажи
 (Решай, искусство или жизнь?)
 Как поросенок **с поросём**
 Стоят, подобные во всём
 От педикюра до кудрей
 (Искусство или жизнь, скорей!)
 (Крепс 1992: 23)

¹⁵⁰ Слово *дитё* у Достоевского сопровождается стилистическим комментарием и падежными формами: – *Дитё*, – *отвечает ему ямщик*, – *дитё плачет*. – *И поражает Митю то, что он ска- зал по-своему, по-мужицки: «дитё», а не дитя. И ему нравится, что мужик сказал «дитё»:*

Все эти формы существуют в современном разговорном языке, просторечии, диалектах.

В современной поэзии отражена и противоположно направленная тенденция – к несклоняемости слов типа *дитя*:

На велике летя,
Седлом мни, Ньюша,
Свой голливуд с дитя,
Там потонувшим.
(Кононов, 1988: 61)

Местоимение *оне* и числительное *одне* еще в XIX в. употреблялись в сочетаниях с существительными женского рода. В современном языке это стилистически маркированные формы, полностью перешедшие из высокого стиля классической литературы в иронический. Во многих текстах субъект, к которому относятся слова *оне*, *одне*, исключает высокий стиль:

Люблю свиной, сестрица!
Ах, кабы не **оне**,
В монахи бы пострица
Давно пришлось бы мне.
(Ким, 1990-а: 37)

Бывают дни, такие дни,
когда и смерть, и жизнь
близнятами к тебе придут, –
смотри, не ошибись.
Выглядят они простó –
На них иссиние пальто
торжковского пошива,
и обе дамочки **оне**
торгового пошиба.
(Шварц, 1989: 46)

Я не могу сказать о чем я, я не знаю...
 Так просто, ерунда. Все глупости **одне**...
 Какая красота, и тишина какая...
 Не страшно ли, скажи? не стыдно ли тебе?
 (Кибиров, 1994: 253)

Из жареной курятины когда-то
 любил я ножки, ножки лишь **одне!**
 И что ж? Промчались годы без возврата,
 и ножки эти безразличны мне.
 (Кибиров, 1997: 23)

Будут за всё то вас, верю,
 более любить, чем ноне
 вашего творца. Все двери
 настезь будут вам всегда. Но не
 грустно эдак мне слыть **нищу**:
 я войду в **одне**, вы – в тыщу.
 (Бродский, 1992-II: 39)

Утрата местоимением *одне* связи с категорией женского рода¹⁵¹ подчеркивается и в контексте с двумя субъектами разной родовой принадлежности:

...Успех и слава – что одне?
 Тут не до жиру – быть бы живу.
 А вот возможно ли намучиться вполне
 И столь же полно быть счастливу?
 (Ким, 1990-б: 52)

Местоимение в форме бывшего женского рода *ея* также в большинстве случаев изменило грамматическое значение на стилистическое. Примеров иронического употребления правильной формы женского рода – множество, оста-

не плакала больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити (указ. соч: 628).

¹⁵¹ Эта утрата отразилась уже в поэзии XIX в.: *Увы, твой страх, твои моления – / К чему одне? / Ты знаешь, мира и забвенья / Не надо мне!* (Лермонтов, 1989-II: 69) *Полуночные образы стонут, / Как больной в утомительном сне, / И всплывают, и стонут, и тонут, – / Но о чем это стонут одне?* (Фет, 1959: 171). По тому же пути в современном языке следует числительное *оба*, теряющее формы рода, что, конечно, обыгрывается поэзией: *Ой, где был я вчера – не найду, хоть убей! / Только помню, что стены – с обоями... / Помню, Клавка была и подруга при ней, / Целовался на кухне с обоими* (Высоцкий, 1997: 212).

новимся на таком тексте, в котором архаическая форма контактирует с современной:

И – весь прохладный лад: льняные дали
ее, ея, которую я зрю, –
 на выморг ока только, навсегда ли, –
 такую не зазорно, как зарю

вос-созерцать! Но пристальные зерна
 несносны **ей... Ей-ей**, наперерез
 рванется, передернется озерно,
 и севером обдаст мой интерес.

(Бобышев, 1992-б: 93)

В этом тексте грамматическая вариантность дополняется омонимией удвоенного местоимения *ей* с разговорной модальной частицей *ей-ей*. Все это мотивировано, во-первых, потребностью повтора, осмысления, вслушивания в звучание, попытки отчуждения того слова, которым заменяется имя любимой, во-вторых, сбивчивостью речи лирического субъекта.

Аграмматическое употребление относительного местоимения *кой* и неопределенного *некий* интересно тем, что в современных стихах обнаруживается удвоение окончания:

Вселедяная даль левреток нежных
 ньюнаступанток на ню света
и некоюся
 лю-лю-кларнетка или
 ни-коль-судьбинушка

Группа прощающихся **товарищей**
 выросла на причале
 (Кедров, 1990: 64–65)

Лишь Ленина дети парят над Кремлём
 Безглавым, с крылами в шерсти, но орлом

И славься Отечество, **коее есть**¹⁵²

А троцким-зиновьевым впасти в бесчесть!

(Кузьминский, 1995-б: б/п)

Деформация местоимений *некою* → *некоюея*, *кое* → *коее*, а в первом примере и существительного *товарищей* → *товарищицей* речевой неуклюжестью подчеркивает ироническое употребление архаизма (во втором примере сталкиваются три буквы «е» – фонетически – [je je je]). В данном случае местоимение и существительное растягиваются, как прилагательные на одном из ранних этапов развития полных прилагательных из кратких, например, в родительном падеже: *синя* + *его* → *синяего* → *синяаго* → *синяго* → *синяго*; или в дательном: *синю* + *ему* → *синюему* → *синюуму* → *синюму* → *синему*. При этом оказывается, что форма *некоюея* из стихотворения Кедрова получила удвоение местоимения-окончания (*ю* + *ея*), подобно тому как в истории языка происходило накопление уменьшительных суффиксов: *сыночек*, *девчущечка*. Конечно, *ю* и *ея* – это местоимения разных падежей: *ю* – в древнеславянской системе – винительный, *ея* – родительный. Но в современном языке генетическая связь окончаний с местоимениями забыта, и текст-глоссолалия вполне органично смешивает грамматические формы, оставляя ощущение их исторической трансформации, смутно воспринимаемой современным сознанием.

Подобно словоформам *оне*, *одне*, *ея* прилагательные родительного падежа с окончаниями *-ья*, *-ия*, церковно-славянские по происхождению в русском литературном языке и определявшие в грамматике до реформы 1917 г.¹⁵³ только существительные женского и среднего рода, меняют грамматическое значение на стилистическое, употребляясь иронически:

Глянь – набрякшие, как вата из **нескромных** ложбины,
размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.

Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.

(Бродский 1994-III: 116)

¹⁵² Переключка со строками *Отечество / славлю, / которое есть* из поэмы В. Маяковского «Хорошо!» (Маяковский, 1958-VIII: 313).

¹⁵³ «писавшееся для родительного падежа [женского рода – Л. З.] до реформы 1917 г. **ея** было чисто искусственной формой – русской передачей старославянского **ǫnъ**» (Булаховский, 1958: 177). Местоимения графически выделены Л. А. Булаховским.

Носки от беготни **крысинья** промокли.¹⁵⁴

К лопаткам приросла бесцветная мишень.

И к ней, как чешуя, прикованы бинокли
не видящих меня смотря каких женьшень.

(Бродский, 1994-III: 155)

Припомни полутьму, а также блеск и трепет

Конфетная фольга, пока на сцене крепнет,

Ища себе путей, томительный мажор,

И – крышку с варева подымет дирижёр.

(Зельченко, 1994: 23)

Аналогичный процесс происходит с существительными именительного падежа множественного числа, которые в старославянском языке имели окончания -ыѣ, -иѣ только в женском и среднем, но не мужском роде:

Пожелтели и пожухли

листья книги записной.

Гой вы, **каменная** джунгли,

где тут выход запасной?

(Бобрецов, 1994: 61)

... Архангел Гавриил, власы твои **златя**

уже обречены нашествию Батя,

но ты еще не ведаешь того!

(Нерлер, 1989: 261)

как **брля** офицеры

в обвртшалахъ мундирахъ –

упорная яти и Рры

берлинскихъ изданій

(Кривулин, 1993-а: 16)

В последнем примере очевидна попытка удержать форму в рамках высокого стиля.

¹⁵⁴ Ср.: *Жизни мышья беготня* (Пушкин, 1969-III: 173).

Рассматривая формы на *-ья, -ия* в контексте их исторического развития – варьирования и переосмысления, приведем комментарий Л. А. Булаховского:

«Ломоносов (§ 156)¹⁵⁵ во множественном числе приводит как параллельные формы (без различения рода) *истинные и истинныя, прежніе и прежнія*. Востоков (§ 40)¹⁵⁶ считает уже обязательной дифференциацию, которую Ломоносов только намечал очень осторожно: "Сие различие букв *е* и *я* в родах имен прилагательных никакова разделения чувствительно не производит: следовательно обоих букв *е* и *я*, во всех родах, употребление позволяется; хотя мне и кажется, что *е* приличнее в мужеских, а *я* в женских и средних" (§ 112).

Очень распространено в XVIII в. и заходит в XIX в. (Жуковский, Крылов и др.) употребление, главным образом в поэзии, формы родительного пад. ед. ч. женского рода на *-ья, -ия*, представляющей русифицированную в фонетическом отношении церковнославянскую форму. Ср.: ... Веселясь бы не встречала Полуночныя звезды (Дмитр.). Досталось мне пасти иное стадо На пажитях кровавыя войны (Жуковск.) <...>

Характерны и гиперизмы, встречающиеся в былинах, – замена формами на *-ья* и под. не только дательного и предложного падежей ед. ч. женского рода: Уезжал Сухмантий ко синю морю, *Ко тоя ко тихия ко заводи*. Как приехал *ко первыя тихия* заводи, – не плавают ни гуси, ни лебеди... (Сухман). ... Да ложилась спати *во ложне теплыя* (Смерть Чурила). *На мягкой перине на пуховыя* (там же), но даже именительного (звательного) ед. ч. муж. рода: Говорил ему *родитель да рожденыя* (Исцеление Ильи), Тутко о путь *камень* есть *неподвижныя*» (Булаховский, 1958: 188).

Говоря о стилистическом значении таких форм как *оне, одне, ея*, прилагательных на *-ья* в родительном падеже единственного и в именительном множественного числа следует иметь в виду, что уже в XVIII в. у них помимо грамматического было и собственно стилистическое значение. Так, В. П. Светов в «Опыте нового российского правописания» (1773) указывает, что в формах родительного падежа женского рода прилагательные «в важном слоге, а наипаче высокие слова пристойнее, кажется, кончить на *-ья, -ия*. Напротив того, не го-

¹⁵⁵ Л. А. Булаховский дает ссылки на «Российскую грамматику» М. В. Ломоносова, цитируя ее по изданию 1775 г. Современное издание: Ломоносов, 1952.

¹⁵⁶ Востоков, 1874. Первое издание – 1831 г.

ворится и не пишется *цена черепаховая табакерки, человек подлыя природы*» (цит. по: Виноградов, 1982: 122). Современная поэзия, отражающая вытеснение грамматического значения в пользу стилистического, стремится поставить такие слова в контекст, резко противоположный возвышенной стилистике (это видно по многим примерам, приведенным выше, особенно из Бродского). Но прецедент предпочтения стилистики грамматике все же был создан достаточно давно.

Общий взгляд на употребление архаических форм в современной поэзии позволяет увидеть, что такие формы не являются только рудиментами языка. В языке постоянно действуют две противоположно направленные тенденции: с одной стороны, лексикализация реликтовой формы, с другой – дефразеологизация и делексикализация.

Нередко условием современного естественного функционирования формы оказывается иронический контекст. Особенно это касается тех случаев, когда формы употреблены с отклонением от их первоначального грамматического значения.

Вместе с тем обнаруживается тенденция и к выведению архаизма из иронического контекста, его стилистической реабилитации. Это имеет глубокую связь с идеологией, позицией авторов, остро воспринимающих девальвацию ценностей и пытающихся ей противостоять. При этом идеологические установки могут быть совершенно различными. Сакральные тексты могут восприниматься и как ограничивающие проявление личности, регламентирующие жизнь, как семантически опустошенные трюизмы и как те ценности, которые можно было противопоставить официальной идеологии формирования нового сознания. В обществе идет постоянная борьба за слово-символ, которое хотят считать своим носители противоположных идеологических установок.

Языковая компетентность и языковая интуиция авторов, конечно, совершенно различна, как и языковое сознание читателей. Но независимо от того, является ли аграмматизм языковой игрой или речевой неловкостью, независимо от того, возникают или нет дополнительные смыслы, входили они в задачу автора или не входили, общая картина употребления форм, не соответствующих их первичному значению, отражает потенции современного состояния языка и тенденции изменения. Собственно, аграмматизм всегда был проявлением язы-

ковой динамики – подобную картину мы наблюдаем и в текстах сакральных, и в деловых, и в литературе начиная с самых первых памятников письменности. Так, уже старославянская глагольная форма *бысть* является результатом смешения двух форм глагола *быти*: аориста *бы* и настоящего времени *есть* (см.: Фасмер, 1986-I: 259). Аналогичные процессы постоянно идут и в устном языке, особенно в разговорном и в диалектах. В языке поэзии эти процессы заметнее, так как он, совмещая синхронию и диахронию, высвечивает переходные явления, активизирует семантический потенциал языковой неоднозначности, демонстрирует нелинейный характер развития языка в большей степени, чем это наблюдается в практическом языке.

Многие из рассмотренных примеров показывают, что языку свойственно фразеологизировать, концептуализировать и субстантивировать элементы грамматических парадигм. Поэтому образования типа [*боза*], [*днєвь*] хоть и ненормативны, но естественны в языковой динамике. Вероятно, архаические формы, дошедшие до нашего времени как реликты, и уцелели в языке именно потому, что концептуализировались. Грамматическое значение в таких случаях сливалось с лексическим, а это, в свою очередь, нарушало структурное равновесие в системе и приводило к изоляции формы. Характерно, что при разрушении старых парадигм жизнеспособными оказались те формы, которые могли выполнять не свойственные им функции, то есть становиться словом.

Можно проследить несколько этапов функционирования формы вне породившей ее системы:

1). При распадении исходной системы форма сохраняется в языке, если получает стилистическую функцию /*дневи* в тексте Библии/. В этом случае грамматическая парадигматика, примиряясь с внесистемным фактом, делает некую уступку стилистике.

2). Внесистемность формы приводит к ее фразеологизации: парадигматические связи заменяются синтагматическими (*довлеет дневи злоба его, но к этому дню*). Побеждает синтагматика.

3). Язык стремится избавиться от внесистемных фактов, и стилистически маркированные реликты под давлением регулярной грамматики проявляют тенденцию к созданию собственной парадигмы (*дневи, днєвью* как *крови, кровью*). Побеждает парадигматика.

4). Грамматический статус реликтов меняется на словообразовательный, т.е. происходит лексикализация формы *дневи* ← [*днєвь*]. На этом этапе побеждает синтагматическое соединение аффикса с корнем, но часть флексии мыслится как суффикс.

5). Становясь новым словом, бывшая форма освобождается от фразеологической связанности (*с днєвью будущею свиданье*). Синтагматические отношения вытесняются парадигматическими.

6). Фразеологическое прошлое слова (стилистическая связь с текстом, сохранившим реликт) и его ненормативно свободное употребление вне исходного текста создают новый языковой конфликт, ведущий к семантическому сдвигу (слово [*днєвь*] приобретает значение 'действительность'). Причину таких преобразований можно видеть в концептуализации архаической словоформы.

Таким образом, в языке попеременно действуют противоположные тенденции: при разрушении старой системы доминирует синтагматическая обусловленность реликтов, а завершение этой тенденции включает механизм парадигматического давления. Максимальная фразеологизация древних форм ведет к их дефразеологизации (аналог – падение редуцированных в результате завершения тенденции к открытому слогу). При изменении направленности создается напряженность между парадигматикой и синтагматикой, между грамматикой и словообразованием.

Поэты, обостряя языковой конфликт нарушением современной им нормы, показывают, что сейчас синтагматическая доминанта функционирования грамматических реликтов меняется на парадигматическую.

5. Воспроизведение языковых свойств и отношений

Воспроизведение свойств грамматической формы и контекстуально обусловленное восстановление утраченных языковых отношений представляется наиболее интересным и многообещающим объектом исследования, поскольку такое воспроизведение не только выявляет и активизирует потенциал языка, но и неизбежно вызывает взаимодействие старого с новым, а следовательно, открывает новые возможности выразительности.

Грамматические свойства и отношения, потенциально сохраняющиеся в языке, часто остаются неузнанными в разговорной речи, но могут обнаруживаться в двойной сегментации стихотворного текста – при различиях в ритмическом и синтаксическом членении, в особой интонации стиха.

Обращаясь к поэзии 60-х – 90-х гг., сосредоточим внимание не на единичных фактах, которые, конечно же, сами по себе интересны и ценны как уникальные, а на самых массовых, то есть таких, которые наиболее четко отражают тенденцию к воплощению потенциальных свойств языка. Это восстановление грамматического синкретизма существительного, прилагательного и наречия, воспроизведение современным деепричастием свойств атрибутивного причастия, окказиональная реставрация деепричастием самостоятельной предикативности, воспроизведение грамматической атрибутивно-предикативной двойственности форм прошедшего времени, восходящих к перфекту, артиклевой функции местоимения *он*.

а) Синкретизм частей речи

В исследованных текстах встретилось немало примеров такого словоупотребления, при котором контекст устраняет различие между существительным, прилагательным и наречием:

Да какое уж тут **тихо!**
Злобная шумиха!
Все вокруг сплошное Лихо
и неразбериха...

(Кибиров, 1994: 110)

Право, Дамон, зря ты сравнил. Вышло печально.
Друг, убежден: ты возомнил сходство **случайно**.

(Бродский, 1992-II: 8)

словно в собранье архонтов судилище
над книгочеем:
шелест на свитках значков с потаенным

значеньем
 стрекот **письмен насекомых** и кашель и
 шарканье ног

(Кривулин, 1990-а: 21)

Совмещенное значение частей речи, которое было свойственно древнерусскому языку, отражало особенности мифологического мышления, не отделяющего признак от носителя этого признака. В первом примере из стихотворения Т. Кибирова – *Да какое уж тут тихо!* – разговорная конструкция допускает и другие части речи: ср.: *да какое уж тут отдохнуть!* Слово *тихо* в нормативном современном языке выступает то как наречие – *он говорит тихо*, то как категория состояния – *здесь тихо*, то – реже – как прилагательное – *ее пение слишком тихо*. Фразеологически деграмматизированное местоимение *какое* актуализирует значение среднего рода рядом со словом *тихо*, которое, в свою очередь, благодаря среднему роду местоимения, легко возвращается к статусу существительного. Этот сдвиг прочно подкреплен рифмой со словом *лихо*, сохранившим грамматическую омонимию существительного и наречия.

Прилагательное и существительное легко превращаются друг в друга, когда прилагательное краткое: именно краткая форма исторически первична, однако и полное прилагательное или причастие в современном языке склонно к субстантивации (*столовая, любимый*). В стихотворении В. Кривулина слова *шелест письмен насекомых* читаются двояко, ясно обозначая двоякий грамматический статус слова: *шелест письмен* [кого?] *насекомых* – существительное, генетически восходящее к причастию и *шелест письмен* [каких?] *насекомых* – причастие. Если слово читается как существительное, создается картина природного происхождения письма, текста. В случае прочтения слова причастием воссоздается этимологическое значение ‘насеченных’ или ‘насекаемых’. За языковой нерасчлененностью форм встает и образ архаического способа создания текста насечением знаков¹⁵⁷, и метафора, рисующая форму букв и их движение, а также переносящая на буквы все те многочисленные – положительные и отрицательные – коннотации, которые могут быть связаны с насекомыми, а также мифологическая символика. В условиях пунктуационной нерасчлененности этого

текста слово *насекомых* может быть понято и как приложение, которое оформляется обычно дефисом, и как уточнение, которое отделяется знаком тире. В этих случаях метафора предстает тождеством, что подкрепляется и созвучием слов *буква* и *букашка*, синонимичных словам *письмен* и *насекомых*. Грамматическое основание смысловой множественности метафоры определяется еще и тем, что в развитии русского языка постоянно конкурируют синтетический и аналитический способ построения фразы (согласование и управление): исторически древнее синтетическое построение, при котором *насекомых* читается как причастие или прилагательное, а современный язык предпочитает аналитическое, при котором это слово – существительное родительного падежа. Конкуренция синтаксических тенденций, языковая динамика, таким образом, тоже становятся предметом изображения в структуре стиха. Ср. безусловно атрибутивное употребление этого же слова, когда десубстантивация воссоздает прилагательное, изменяющееся по родам и способное быть полным или кратким:

Что же ты, головопузый
 Все скучаешь и молчишь
 Разве только с пьяной Музой
 В серой щели переспишь

Ты ее как муху ловишь
 Паутинясь целый век
 Темнотельщ, темнолобыш
Насекомый человек

(Стратановский, 1993-а: 8)

В блокноте, начатом едва
 роятся юркие слова,
 что муравьи голодным комом
 у толстой гусеницы. Знать,
 ей мотыльком уже не стать,
 погибшей деве **насекомой**.

(Кенжеев, 1992: 8)

¹⁵⁷ Ср. название *черты и резы*, обозначающие древнейшие надписи славян (см., напр.: В. А. Истрин, 1988: 26, 153).

Во имя **насекомое** свое,
 грозя войною до скончания видов,
 в мир явится апостол муравьев,
 мессия пчел, пророк термитов.

(Бобрецов, 1995: 460)

Я без ошибки узнаю
 Все, что мало и **насекомо**.
 Наружный мир как аксиома
 Проник во внутренность мою.

(Цветков, 1981: 90)

б) Атрибутивное и предикативное деепричастие

Деепричастия произошли из причастий, которые изменялись по родам, числам, падежам, могли выполнять и функции определения – подобно прилагательным, и функции сказуемого – подобно личным формам глагола.

В современном русском языке возможны синтаксически двусмысленные контексты, в которых деепричастие может читаться как определение к существительному-субъекту. То есть современный язык сохраняет возможность древнерусского грамматического смысла исходной для деепричастия формы – причастия:

Ведь всякие писатели,
Идя за вас в тюрьму, –
 Настырные мешатели
 Народу своему.

(Камянов, 1992: 65)

Нас – не было. А были чужь да меря,
 да, так сказать, насельники полей,
 себя еще никем не **разумея**.

(Бобышев, 1992-б: 58)

солончатый привкус во мне оживал спустя
 полстолетия, школьником, наш Брокгауз

обрывался на букве П, на Первой Войне
 дальше – свалка, пустырь, битым стеклом **блестя...**
 бляенье у доски, состоящее больше из пауз
 и насколько хватало зрения – мусор мусор в окне
 (Кривулин, 1993-а: 6)

Комплекс примеров показывает условие репрезентации деепричастием его потенциального атрибутивного значения, и это условие, по-видимому, обязательное: всё это предложения экзистенциальные, без полнозначного глагола, так как при глаголе действия деепричастие становится максимально подобным глаголу и читается как второстепенное сказуемое. Следующий пример показывает усиление у деепричастия не атрибутивного, а, напротив, предикативного признака (активизация глагольности), что также является характерной приметой древнерусской и старославянской грамматики. В современном языке деепричастие принимает на себя функцию сказуемого в конструкциях, где нет личного глагола:

И голый юноша **склоняясь и шепча**
 Подруге робкой и губами
 Касаясь тихого плеча
 И небосвод горит звездами
 Когда уснет свеча
 (Стратановский, 1993-а: 30)

О, мощь империи,
 политика барокко:
 На иноверие **косясь** косматым оком,
 Мятежникам **крича:**
 назад, назад, не смей
 И воинов **крестя**
 в безумие и смерть
 (Стратановский, 1993-а: 43)

В некоторых текстах создаются условия для актуализации одновременно атрибутивных и предикативных функций деепричастия: следующий пример показывает, что деепричастия могут читаться и как определения, и как сказуемые:

новным различительным признаком перфекта являлось качество субъекта, возникшее в прошлом действии или состоянии и актуальное для настоящего: *онъ есть забыль (забылый)* означало 'теперь он является забывшим'. Для семантики перфекта существенна его субъективность, предполагающая аффективное участие говорящего, потребность специально обратить внимание на результат (см., напр.: Кузнецов, 1959: 195; Бехерт, 1982: 426, 428; Кашкин, 1980: 69).

Причастие совмещает в себе признаки прилагательного и глагола, и при распадении древней системы времен краткое причастие стало в русском языке носителем глагольной функции, а полное – адъективной. Это привело к появлению коррелятивных пар типа *горел – горелый, устал – усталый*.

Однако это соотношение в современном языке далеко от регулярности, а нерегулярность указывает на разную степень адъективации форм на *-лый*.

Во-первых, есть такие прилагательные, которые в современном языке уже не имеют производящих глаголов: *заядлый, квёлый, унылый* (в результате фонетических изменений и морфологического опрощения они отдалены от современных глаголов *есть, цвести, ныть* пропущенными звеньями словообразования). Глагольность таких прилагательных можно считать утраченной.

Во-вторых, многие прилагательные лексикализуются в переносном значении, утрачивая прямое: *отсталый, пошлый, беглый, оседлый*. Иногда это приводит к фразеологической связанности: *впалый* (только о частях тела), *снулый* (только о рыбе), *постоялый* (только двор). Чем больше сужается значение прилагательного, тем меньше глагольности в нем остается.

В третьих, помимо употребительных прилагательных типа *усталый, горелый, вялый, заплесневелый, облезлый, пухлый, бывалый, умелый, престарелый, прошлый* есть немало совсем редких – зафиксированных словарями, но не входящих в активный словарный запас современного носителя языка: *жевалый, зимовалый, опоздалый, побежалый, упалый, сиделый, стоялый, обветрелый, вспотелый, опростелый, вымоклый* и мн. др.¹⁵⁹ Сравнение употребительных и редких слов такого типа показывает, что именно освоенность прилагательного языком способствует ослаблению глагольности.

¹⁵⁹ Примеры из Обратного словаря русского языка.

Некоторые прилагательные легко присоединяют разнообразные префиксы, что способствует сохранению глагольности: *горелый* – *загорелый*, *обгорелый*, *подгорелый*, *перегорелый*, *пригорелый*, *погорелый*, *угорелый*, некоторые же совсем не подвержены префиксации и поэтому быстро теряют связь с глаголами (хотя однокоренные глаголы и есть в современном языке) и деэтимологизируются: *дохлый*, *дряхлый*, *дряблый*, *рыхлый*, *смелый*, *чахлый*, *щуплый*.

Тенденцию к деэтимологизации проявляют все прилагательные перфектного происхождения, и эта тенденция имеет вполне ясные психологические основания: «Когда мы говорим *мерзлая говядина*, мы думаем не столько о том, что она замерзла, сколько о том, к а к а я она: холодная, твердая, невкусная и т.д. При словах *заржавелый ключ* нам прежде всего представляется ц в е т ключа, а не то, что он когда-то был чист, а потом заржавел» (Пешковский, 1938: 100).

В. В. Виноградов установил связь употребительности прилагательных на *-лый* с продуктивностью глагольных классов (прилагательные, произведенные от непродуктивных классов, «составляют окаменевшую группу слов, относящуюся, по крайней мере наполовину, не к грамматике, а к словарю»), переходностью и возвратностью глаголов («все прилагательные этого типа образуются только от непереходных невозвратных глаголов» – Виноградов, 1972: 180). Краткие же формы прилагательных «употребляются лишь в тех случаях, когда они не омонимичны с формами прошедшего времени глагола или когда эта омонимия не создает неудобств для понимания, не ведет к двусмыслице» (там же).

Очевидно, что чем устойчивее следы глагольности в современном прилагательном, тем больше оно сохраняет в себе значение прошедшего времени, вида и способа глагольного действия. Именно эти грамматические значения, системно не свойственные категориям прилагательного¹⁶⁰, но в разной степени унаследованные от перфективного причастия, и могут стать основой окказиональной реставрации перфективного причастия.

¹⁶⁰ Впрочем, в русском языке есть немало отглагольных прилагательных не только перфективного происхождения. Все они сохраняют связь со значением действия или состояния: *молчаливый*, *терпеливый*, *забывчивый*, *ломкий*, *липкий* и т.п. (см.: Виноградов, 1972: 174). Генетическая связь с глаголом имеется и у таких прилагательных, как *старый* (← *стати* 'стать'), *хитрый* (← *хытити* 'похищать'); ср. вполне живую связь: *хворый* – *хворать*.

Поскольку «две стороны значения перфекта [настоящего и прошедшего времени. – Л. З.] трудно удержать в состоянии устойчивого равновесия» (Есперсен, 1958: 315), современные русские рефлекс перфекта – прилагательное и глагол постоянно влияют друг на друга, создавая обширную пограничную область грамматической неопределенности.

Современная поэзия проявляет повышенное внимание к неопределенности, а также к заполнению пустых клеток системы и к восстановлению утраченных звеньев в слово- и формообразовании. Авторы не избегают омонимии глагола и прилагательного в конструкциях типа *Как он смел!*, а, напротив, создают для нее благоприятные условия.

Многочисленные примеры из текстов показывают, что у глагола прошедшего времени потенциально присутствуют и могут вновь проявиться атрибутивные признаки, а у прилагательного – потенциальные предикативные. Иногда это прямо декларируется. Так, у В. Кальпиди грамматическая двойственность слова *выпукла* отмечается автокомментарием:

Обида за любовь и за
отсутствие любви –
росы незрелая слеза,
что **выпукла** в пыли.

(Кальпиди, 1995: 96)

«В данном случае я подставил образ-штамп "слеза=роса", слегка подретушировав его кратким прилагательным *выпукла*, у которого двойная функция: определения и сказуемого» (Кальпиди, 1995: 101).

Контекстов, в которых глагол предстает кратким прилагательным (сохраняя при этом и глагольность), очень много, особенно со словом *устал*. В современном русском языке соотносительность глагола *устал* и прилагательного *усталый* вполне системна и хорошо ощутима:

Юля, Юленька, Юля Петровна спешит,
что-то там про себя напевая.
А в груди – коммунаское пламя горит!
Ах, училка ты, свинка морская!

Ах, устала она, но довольна она –
торт «Славянка» для мамы достала.
И спешит и скользит... А вчера допоздна
сочиненья она проверяла.

(Кибиров, 1994: 105)

В этом тексте адъективность слова *устала* поддерживается как синтаксически однородным *довольна*, так и фразеологической ассоциацией – штампом школьных сочинений *усталые, но довольные*. В следующих примерах однородное краткое прилагательное тоже адъективирует глагол, однако глагольность сохраняется благодаря возможности конструкций типа *я стар и хочу покоя*, в которых союз *и* может быть не только соединительным, но и причинным:

Нет, ни за что не поеду
и рассказням вашим не верю
Что за младенец грядущий?

Стар я уже и устал

Трудно без помощи слуг
нынче мне сесть на верблюда

(Стратановский, 1993-а: 123)

С некрасивых колоколен
Наковальный звон упал;
Мир пустынен и околен,
И в другую жизнь влюблен,
И своим добром завален,
И от этого устал,
И о чем-то знает он:
Лучше быть ему бродягой,
Попрошайкой, бедолагой,
Неказистым воробьем...

(Мартынова, 1991: 208)

Средний род актуализирует окказиональность формы и усиливает ее грамматическую неопределенность:

Как ныне прощается с телом душа.
Проститься, знать, время настало.

Она – еще, право, куда хороша.

Оно – пожило и устало.

(Лосев, 1985: 95)

Тогда – навыверт знания и зренья,

иссеклась мысль – во: в небо бьющий Нил.

Но мутнышко **заядло** в ней **созрело**, –

пузырь безуминки, и чуть: чернил.

(Бобышев, 1992-а: 115)

Во втором из этих примеров слово *заядло* имеет признаки и прилагательного, и наречия, поскольку окказиональная форма может входить в сочетания *мутнышко заядло* и *заядло созрело*.

Окказиональный глагольный (или адъективный краткий) коррелят к узуральному полному прилагательному приводит к делексикализации этого прилагательного:

Содержится ль – как «что-то» – в прахе?

мы – среди останков: «как-то» там

не просто... не одни останки... –

(быть может – и движений нет...)

<...>

я – **заскорузл** – из древней глубины нов

забытой мною прямою:

я – сплю – давно духовным сном

а снег

работает в полях – в ложбинах – как крестьянин

(Айги, 1995: 13)

Как всё превращается в гниль и смердь!

Треугольный траурный ноготок

Обвисшего клена – трухляв и **жухл**,

И раскрошена дорогая ткань.

(Юрьев, 1992: 149)

Соответствующие формы глагола прошедшего времени мужского рода в современном языке образуются не так, как в приведенных текстах: без суффикса *-л* или, возможно, с суффиксом *-ну*: *заскоруз*, *заскорузнул* и *жух*, *жухнул*. При этом, вероятно, существенно, что все они являются редкими, следовательно, в практике нормативной, стилистически нейтральной речи место этих глаголов фактически не занято.

Возможно прочтение глагола как причастия-определения и вне подкрепления однородным атрибутом, поскольку присвязочный предикатив в составном именном сказуемом может быть выражен и прилагательным, и причастием:

Словодырь – я подозреваю себя.

Умнолей – я обхожу себя.

Вот я – навсегда я.

Я – навсегда **устал**.

Мне – т и х о .

(Аронзон, 1992: 203)

И опять напрягается ухо –
плещет ветер, визжит колесо, –
и **постыла** простая наука
не заглядывать правде в лицо.

(Кенжеев, 1993: 61)

– Что ты, мумия золотая,
вся иссохла на дне фараона,
отпали твои саркофаги,
ты,
как куколка,
зрела,
осталось тело –
живого тела
бабочка улетела.

(Кедров, 1990: 26)

«...Не видел ты алтарь там, как ходил
искать траву?» – «Да что там можно видеть?
Там мрак такой, что я от страха **стыл**.
Один песок». – «Ну ладно, хочешь выпить?»

(Бродский, 1992-I: 274)

Характерно, что такие формы с реставрированным синкретизмом глаголов-прилагательных, то есть восстановленные из глаголов и прилагательных причастия, обозначают не активное действие, а состояние, связанное именно с утратой активности. При этом логический пассив приходит в противоречие с грамматическим активом.

Пониманию формы как краткого прилагательного способствует окончание женского рода множественного числа *–ы*, не совпадающее с окончанием глагола прошедшего времени *–и*:

Свялявшаяся пряжа – чаша праха
 (но может быть, конечно, и ландо),
 горшок, куда летят как стрелы иглы,
 на что они, когда мишени **гиблы**?
 Колчан уж полн, узор плешив и редок

(Щербина, 1989: 457)

Заметим, что в древнерусском языке и у перфективных причастий на *–л* женского рода, ставших впоследствии глаголами прошедшего времени, было окончание *–ы*: *мужи суть гиблы, но жены суть гиблы*.

Возможна также омонимия глагола прошедшего времени с существительным, исторически восходящая к синкретизму имени существительного, прилагательного и причастия. В современных текстах этот синкретизм часто воспроизводится. Такой эффект наблюдается, например, при смещенном порядке слов, когда сказуемое, оторванное от подлежащего, попадает к тому же в позицию стихотворного переноса и в результате оказывается более тесно связанным с предшествующим определением :

где сиреневая **мрела**
 перевернутой дугою
 тень от Синего моста –
 там совсем уже другое
 состояние – и стоя
 вижу новые места

(Кривулин, 1990-а: 37)

Логический порядок слов предполагает чисто глагольную интерпретацию слова *мрела*¹⁶¹: [*сиреневая тень от Синего моста мрела перевернутой дугою*].

Воспроизведение перфекта в единстве обозначения субъекта, его действия и качества ярко представлено у Бродского. Перфектная результативность глагола совмещена с сильной субстантивацией формы *сказал* и вовлечением этого глагола вместе с его фразеологизированным окружением в падежную парадигму существительного:

«И он ему **сказал**»

<...>

«Один **сказал** другой **сказал** струит»

<...>

«И он **сказал**». «Но раз **сказал** – предмет, то так же относиться должно к он'у».

<...>

«Где? В он-ему-сказал'е или в он'е».

<...>

«Лишь в промежутках он-ему-сказал'а».

<...>

сказал'ом, наподобие инцеста».

<...>

И Он Сказал носился между туч

<...>

«О как из существительных глаголет!»¹⁶²

(Бродский, 1992-II: 112–127)

¹⁶¹ Ср. глагол в стихотворении О. Мандельштама «На высоком перевале...»: *И бесстыдно розовеют / Обнаженные дома, / А над ними неба мреет / Темно-синяя чума* (Мандельштам, 1995: 211). Интертекстуальная перекличка стихотворения Кривулина со стихотворением Мандельштама несомненна, что следует из тематической и ритмической общности текстов. Ср. также: *Там мрело море. Берега / Гремели, осыпался гравий* (Пастернак, 1965: 166); *Наша улица снегами залегла, / По снегам бежит сиреневая мгла* (Анненский, 1990: 85).

¹⁶² Анализируя эту поэму Бродского, К. Проффер обращает внимание на то, что вся поэма – это диалог, не содержащий сопроводительных слов *он сказал*, эти слова как бы вынуты из поэмы и все сосредоточены в приведенном фрагменте, где они сами становятся героями поэмы (Проффер, 1986: 138).

Аналогичная окказиональная субстантивация глаголов встречается и у других авторов. Всё это говорит о том, что категория бытийности приобретает особое, принципиально важное значение. Действие или состояние стремятся выразить себя через существительное, причем кратчайшим способом – не суффиксальным словообразованием, а частеречной трансформацией:

Есть племя *покинул* и племя *вернул*:
покинулы скорбно толпятся у ямы,
вернулы в парадный встают караул,
 не зная друг друга, но слыша тамтамы.

Я осень *покинул* оставил в цвету
 кустарщины пестрой туземных ремесел,
 кладбищенский парк под дождем, на ветру
 стонал и качался – и вот, я их бросил.

Я зиму *вернул* оглянул в белизне
 лавин горностаевых, виснувших с неба,
 в отсчете секунд на стерляжьей блесне,
 на струнах дрожащих гриппозного снега.

И ты между ними бродила, *верна*
 тому, кто *вернул*, и тому чуженину,
 кого ты вернула, – так вот он я, на
 меня! Если только *покину* покину.

Но как это сделать! *Покинул* мне жаль
 сменял их, «Прощанье славянки» по слуху,
 мне спевших, глядевших кто в землю, кто вдаль, –
 на стойких *вернул*, победивших разлуку.

Безумье мечтать, что верну я *верну*.
 Пусть так – но хотя бы никто чтоб не сгинул,
 я вытвердил, как чужеземец в плену,
 за именем имя *вернул* и *покинул*.

(Найман, 1995: 95)

В этом тексте большинство окказиональных существительных типа *покинул, вернул* стоит в родительном падеже множественного числа женского рода или общего рода (от **покинула, *вернула*). В пользу общего рода говорит большое количество узувальных существительных той же структуры в языке: *воображала, зазывала, запеваля, зубрила, надоедала, обдирала, обжирала, обирала, подпевала, приставала, прихлебала, страшила* и др. Вместе с тем, контекст позволяет трактовать слова типа *покинул, вернул* и как аналитически употребленные формы именительного падежа единственного числа мужского рода: курсив функционально аналогичен кавычкам, обычно оформляющим такие конструкции.

В стихах А. Левина превращение глагола в существительное включено в тексты, темами которых, собственно, и является субстантивация: любой референт способен быть представлен субстанцией:

Когда **Упал**, ударившийся оземь,
восстал опять, как древний **Победил**,
за ним возникло маленькое **Тише**,
шепча своё опасное **сказать**.

Когда **Упал** в сиянии косматом
повёл **Никто** в загробное **Ура**,
за ним росло клубящееся **Тише**,
твердя своё отравленное **но**.

Когда **Упал** взлетел и, озарённый,
ушел один к небесному **темну**,
за ним стояло выросшее **Тише**
и лысых звёзд касалось головой.

(Левин, 1995: 191)

За окном моим летали
две весёлые **свистели**.
Удалые **щебетали**
куст сирени тормошили.
А по крыше магазина
важно **каркали гуляли**
и большущие **вопили**

волочили взад-вперёд.

Две **чирикали** лихие
 грызли корочки сухие,
 отнимая их у толстых
 косилапых воркутов.
 А к окошечку подсели
 две **кричали-и-галдели**
 и стучали в батарею,
 не снимая башмаков.

(Левин, 1995: 24)

Проанализируем последний пример. Почти все преобразованные формы (кроме *летали* из заглавия «Разные летали» и *гуляли*) – глаголы звучания: *свистели*, *щебетали*, *каркали*, *вопили*, *чирикали*, *кричали*, *галдели* (ср. узуальное, но редко употребляемое слово *свиристели*, во множественном числе омонимичное глаголу)¹⁶³. Предикат превращается в субъект, и звуки становятся именами (ср. название птицы *свиристель*). Изменение устраняет специфически глагольные значения времени и вида, но при этом сохраняет значение динамики, заложенное в глагольных основах: динамика освобождается от частных признаков. Возникают значения конкретности и одушевленности. Появляется потенциальная промежуточная форма [*гуляль*] или [*гуляля*] (с немаркированным грамматическим родом).

На восприятие форм влияют словообразовательные ассоциации с существительными на *-аль*¹⁶⁴. Это могут быть слова мужского рода со значениями лица и деятеля – *враль*, *коваль*, *строгаль*, женского рода – *удаль*, *печаль*, *невидаль*, *падаль*, *капель*, (все они генетически тоже отглагольны, хотя в современном языке их глагольное происхождение почти не ощутимо); слова на *-аля* – существительные женского рода, обозначающие животных, птиц: *цапля*, *гуля (!)*, *косуля*, *козюля* со значениями лица: *краля*, *пискля*, *мямля*, *рохля*, *роднуля*, *капризуля*, *чистюля*, *грязнуля* (преимущественно экспрессивные оценочные, неко-

¹⁶³ Ср. также: *И я свирел в свою свирель, / И мир хотел в свою хотель* (Хлебников, 1986: 626).

¹⁶⁴ Из словообразовательных ассоциаций наиболее очевидны однокоренные слова, и далее они не рассматриваются.

торые из них образованы от глаголов – *пискля, мямля*, некоторые от прилагательных – *роднуля, чистюля, грязнуля*).

В результате окказиональное включение слов *свистели, щебетали, каркали, вопили, чирикали, кричали, галдели* в класс существительных актуализирует эти многочисленные парадигматические связи и коннотации слов, входящих в перечисленные ряды. Значение признака легко включается в окказиональные слова, потому что форма прошедшего времени когда-то его уже имела, поскольку была кратким причастием.

Противоположно направленный процесс – активизация глагольных признаков у прилагательного – также представлен в современной поэзии многочисленными примерами: *Под ногами теплый плот* (Шварц, 1995: 7); *Промерзлый домовой нас поцелует в лоб* (Шварц, 1995: 70); *Видим – на льдине живой воробей / Оледенелый* (Шварц, 1995: 11); *в оледенелой стране оленей* (Лосев, 1996: 62); *Возвышаясь на сиденье / Обомлелого коня* (Пригов, 1997-а: 131); *судьбина улетелого зверька* (Левин, 1995: 22); *Онуфрий квас жует протухлый* (Эрль, 1989: оп. 114; б/п.); *в сохлой шкурке двойной арахис* (Кублановский, 1993: 200); *В саде камневом, охладелом* (Юрьев, 1991: 151); *меж деревьев гиблых вьется сизый дым* (Миронов, 1993: 75); *роща вздохнет онемелая* (Кенжеев, 1992: 78); *Ослеплый грешок – канва, а расплата – каемка* (Голынка, 1995: 569); *Усмотрит днесь воскреслый фараон* (Волохонский, 1994: 36); *Это дикий камень-тень, / Камушек отшелый* (Булатовский, 1995: 20); *Тропою в деревню, где слыл пропалым мужиком* (Соколов, 1990: 177); *Приятель мой, мутант неотверделый* (Щербина, 1991: 11); *по колдобинам набухлым / затрясёт меня в рыдване* (Строчков, 1994: 182); *И лицо у него самодельное / Из бумаги и мерзлой воды* (Летов, 1994: 38); *нога это нож заблестелого лезвия* (Суриков, 1996: 3).

Сохранению и усилению глагольности в этих и подобных случаях способствует приставка, несущая видовое значение. Наличие глагола с той же основой указывает на общность прилагательного с этой частью речи:

Он сказал: Земля **простыла**

<...>

И снова по земле горячей

Простылой тенью уходил.

(Мартынова, 1991: 204–205)

В данном случае форма *простыла* способствует олицетворению, поскольку глагол *простыть* получил в языке устойчивое переносное значение ‘простудиться’.

Возможным условием окказиональной реставрации глагольных свойств у прилагательного на –л является его синонимия с современным причастием, обычным при нормативном употреблении:

Туда, в голодный нуль,
в заглот, за житом бывше-человечьим –
нас, **гиблых**, ради – Он Себя вомкнул,
а нам утраты и оплакать нечем [ср.: *погибших*]
(Бобышев, 1992-б: 29)

Природа обновляет вид:
Сад распуститься норовит,
И сыроежка в хвое **палой** [ср. *опавшей*]
Раскрыла зонтик небывалый.
(Крепс 1992: 32–33)

В обеих цитатах глагольность усиливается еще и благодаря дефразеологизации прилагательных – ослаблению синтагматической зависимости, которую они имеют в нормативных сочетаниях *гиблое дело*, *гиблое место*, *палые листья*. Расшатывание синтагматики приводит к расширению значения и к оживлению этимологических связей прилагательного с глаголом. Этимологизация, усиливающая глагольность форм, осуществляется и другими способами, например, сближением родственных слов в контексте и перемещением ударения:

Это довольно **пошло**,
но дело мое **пошло**:
вначале в кровать дамаста-
прокруста вписался точно,
похрустывая аллитерацией...
(Кальпиди, 1991: 186)

Нет, ничего не запомнил, но **гн!люю** воду под серыми
железно-закатными теми вратами запомнил
и выкатил обод, так тихо прошедший
по краю рифленого камня.

(Аристов, 1992: 48)

П. М. Бицилли привел обширный материал возобновленного причастного употребления краткой формы на *-л* в текстах XVI – первой половины XIX вв. (Бицилли, 1996: 341–352). Он объяснил это влиянием языка русской канцелярии, который отразил в своей структуре элементы просторечия, а также трудностями освоения иноязычных грамматик при переводах (указ. соч.: 343, 350). По мнению Бицилли, «эта форма в более ранний период истории русской литературы не употреблялась в причастном значении, и поэтому невероятно, чтобы случаи ее употребления в таком значении в конце Московского периода и в XVIII в. были результатом некоего переживания ею ее истинной, первоначальной функции» (указ. соч.: 349); «После того как сознание образованных русских людей достигло своей зрелости, форма на *-л* как причастие окончательно исчезла из языка» (указ. соч.: 350). Ущербность краткой формы причастия на *-л* Бицилли видел именно в ее грамматической неопределенности, которую предстояло, но было нелегко преодолеть.

Картина, которая складывается в современной поэзии, побуждает сделать вывод именно о переживании формой ее первоначальной функции. Вслед за, казалось бы, окончательным разграничением глагола и прилагательного начинает осваиваться тот семантический потенциал, который был свойствен причастию, объединяющему свойства этих частей речи. Видимо, современное сознание настоятельно требует активизации тех грамматических средств, которые могут выразить значение неопределенности.

г) Указательное местоимение-артиклъ

В древнейших русских и старославянских текстах отражено то состояние славянских языков, при котором местоимение *он* было не личным, а указательным. В трехчленной системе указания на ориентацию в пространстве и во вре-

мени оно обозначало максимальную степень удаленности от говорящего (ср. выражение *во время оно*). Можно увидеть актуализацию именно этого значения в стихах В. Некрасова:

ну и как
вороны времена
оны ли времена
или так
не очень **оны**

(Некрасов, 1989: 26)

Указательными были также местоимения *сь* → *сей*, *ть* → *тот* и *и*. В языковой эволюции слово *он* вытеснило номинативную форму *и* из склонения *и* – *его* – *ему* – *имь*. Для местоимения *и* наиболее актуальной оказалась функция постпозитивного определенного артикля, которая способствовала образованию полных прилагательных (*добръ + и* → *добрый*). Другие указательные местоимения тоже могли выполнять артиклевую функцию, и эта возможность широко осуществилась для местоимения *ть* – как в некоторых славянских языках, особенно в болгарском, так и в русских диалектах. Диалектная постпозитивная частица, согласующаяся в роде с существительным, восходит именно к местоимению-артиклю: *дом-от*, *река-та*, *село-то*. Современный язык сохраняет потенциальное значение артикля, который, как показывает язык поэзии, может быть восстановлен из местоимения *он*.

Артиклевая функция этого местоимения проявляется и в препозиции, и в постпозиции:

Вот бежит **он** таракан
Прячется за баночку
Словно шустрый мальчуган
Или может девочка.

(Пригов, 1997-б: 114)

они идола явились
когда спать уж мы легли

непонятно матерились
дети слушать не могли

(Уфлянд, 1993: 45)

В подобных случаях достаточно добавить запятую или тире, чтобы получилась обыкновенная конструкция с обособлением. Устранение знаков препинания, а также и заглавных букв очень часто встречается в современной поэзии и прозе. Создание нерасчлененного речевого потока способствует (и здесь авторы действуют вполне сознательно и намеренно) неоднозначному членению текста читателем. Не отделенное знаком препинания от существительного, местоимение *он* лишается ударения, то есть становится проклитикой, как и свойственно артиклю во многих европейских языках. Добавим, что отказ от графического членения текста воспроизводит нерасчлененность текста в древнейших памятниках письменности.

В стихах всегда очень существенной для грамматического смысла оказывается позиция слова на переносе при несовпадении ритмического членения текста с синтаксическим. В ритмическом единстве строки усиливается связь местоимения с предшествующим существительным, а с глаголом из другой строки связь ослабевает:

Кто крыс пожалеет?
Кто крыс пожалеет?
Ведь крыса – **она**
И не жнет и не сеет
И не красива собой.

(Шварц, 1990: 65)

Артиклевое употребление местоимения *он* имеет аналог в спонтанной разговорной речи: именной темы в конструкциях типа последнего предложения из приведенного контекста Е. Шварц. Однако именно стихотворный перенос дает ощутить разницу между словом в стихе и вне стиха: при ритмическом чтении перенос перегруппировывает фрагменты речевой последовательности, проявляя потенциальную артиклевость местоимения.

В тексте без пунктуации возникает возможность двойного отнесения местоимения – к предшествующему или последующему существительному:

немногие из голосов
я слышу – выпростан из хора
туманный стебель **он** осколок¹⁶⁵
весною взорванных лесов

(Кривулин, 1990-а: 53)

Общий взгляд на материал позволяет увидеть, что реставрация древних грамматических отношений охватывает разные части речи, проявляет себя в конструкциях экспрессивного синтаксиса и является настолько органичной для современного языка, что новизна объединяется с архаикой; такая ситуация показывает нелинейность развития языка. Характерно, что одним из философских оснований постмодернизма является отношение к истории как к нелинейному процессу.

¹⁶⁵ Ср.: *Предрассудок! он обломок / Давней правды. Храм упал* (Баратынский, 1983: 277).

VI. КАТЕГОРИЯ РОДА

Такой бывает вечер беспричинный
 Особо в нашей средней полосе
 Когда вдруг исчезают все
 Все эти женщины-мужчины
 Все эти знаки различенья
 И над землею на весу
 Гуляют ангелы внизу
 Исполненные среднего значенья
 Средней полосы нашей

(Пригов, 1997-а: 220)

То, что постмодернизм стремится выразить переходные состояния действительности и сознания, а поэтика постмодернизма становится поэтикой пограничных явлений языка и языкового конфликта, сказывается на самых разных языковых категориях, и, может быть, особенно выразительно на категории рода – именно потому, что категория рода является облигаторной, а не интенциональной в русском языке¹⁶⁶. Авторы заявляют о своем праве на выбор формы в тех случаях, когда грамматические правила такого выбора не только не предусматривают, но и прямо запрещают его.

В некоторых случаях авторская воля выражается в отказе от употребления тех форм, которые неизбежно содержат в себе значение грамматического

¹⁶⁶ «Отсутствием или слабой степенью интенциональности характеризуются те семантические элементы, которые передаются не потому, что этого хочет говорящий, а потому, что в силу облигаторности определенной категории или определенного грамматического правила он не может не употребить данную форму, не может не выразить заключенное в ней значение» (Бондарко, 1996: 73).

рода. Об этом говорится в одном из «Крошечных эссе» Е. Шварц, названном «Сладостное *ла*»: «Женское глагольное окончание, воспетое Вячеславом Ивановым¹⁶⁷, долго смущало меня. Мужское гораздо нейтральнее, оттого что привычнее. О другой можно спокойно писать, но о себе – пришла, увидела, победила – в этом есть что-то неуловимо комическое. С трудом победила я это. Раньше, возможно, чтобы избежать этого *ла*, я писала обо всем, кроме себя, а потом – ни о чем, кроме себя» (Шварц, 1997-б: 58).

Совершенно очевидно, что таким отказом определяются многие свойства текста: и субъект речи, и объект описания, и время, в котором ведется повествование (если, например, прошедшее заменяется настоящим, это абстрагирует высказывание). От этого может зависеть даже жанр текста. Но собственно языковой импульс обычно скрыт от читателя, да и далеко не всякий автор его осознает и тем более так четко формулирует.

Чаще язык предрасполагает к тому, чтобы грамматическое значение рода было актуализировано в высказывании. Рефлексия над родом в большой степени обусловлена объективными свойствами грамматики.

Главное противоречие категории рода состоит в том, что она не является ни полностью лексической, ни полностью грамматической. Лексика и грамматика нередко вступают в конфликт. С одной стороны, когда речь идет о людях, здесь представлена природная бинарная оппозиция мужского и женского пола (но в грамматике есть отступления даже от этой четкой закономерности: *кто вышел замуж? врач пришла*). С другой стороны, язык приписывает нереальный признак пола предметам. Если же говорится о животных, птицах и других существах, ведущим признаком номинации оказывается не пол, а отношения общего и частного, при этом и они отражены категорией рода непоследовательно: немаркировано то слово мужского рода (*волк*), то женского (*лиса*). Кроме того, оппозиция, изначально основанная на различии двух полов, не бинарна в языке: есть слова среднего рода, которые могут называть и живых существ (*дитя, животное, насекомое*).

¹⁶⁷ Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова «Славянская женственность»: *Как речь славянская лелеет / Усладу жен! Какая мгла / Благоухает, лунность млеет / В медлительном глагольном ла! // Воздушной лаской покрывала, / Крылатым обаяньем сна / Звучит о женщине она / Поет о ней: очаровала.* (Иванов, 1995: 297). Слова графически выделены Вяч. Ивановым. В издании – курсив).

В результате сама эта лексико-грамматическая категория оказывается частично мотивированной, частично абсурдной. И, как будто имея в виду не только поэтические аллегории классиков, но и предвидя активность будущих (современных нам) авторских экспериментов над языком, А. А. Потебня писал: «О том, имеет ли род смысл, можно судить лишь по тем случаям, где мысли дана возможность на нем сосредоточиться, т.е. по произведениям поэтическим» (Потебня, 1968: 483).

Как показывают специальные исследования о поэтике грамматического рода (Гин, 1992, 1996), эта категория регулярно подвергается эстетическому преобразованию и переосмыслению. Я. И. Гин проанализировал глубокую связь грамматического рода с художественными тропами, прежде всего с олицетворением и метафорой. Действительно, приписывание рода предметам, стихиям, свойствам, действиям – всем реалиям, способным к обозначению существительными, – даже и вне художественного текста представляет собой готовую метафору¹⁶⁸.

На условность грамматического рода накладывается нерегулярность проявления всех свойств, присущих этой категории, что особенно заметно обнаруживается в поэзии постмодернизма.

Рассмотрим некоторые факты отступлений от нормы при обозначении рода в стихах последних лет. Языковой эксперимент чаще всего осуществляется в остро иронических¹⁶⁹ текстах. Посмотрим, как в их произведениях представлены логика, парадоксы и возможности языка.

Многие современные поэты проявляют особое внимание к различным языковым аномалиям и пытаются их осмыслить. Рефлексию над грамматическим родом, которая становится темой стихотворения, можно видеть в таком, например, тексте:

«Поезд прибывает на вторую путь»

Из громкоговорителя

1.

¹⁶⁸ Эта метафора основана на важнейших биологических свойствах живых существ – свойствах, связанных с продолжением жизни и являющихся сильнейшим стимулом психической деятельности.

Еще проверите, я верно говорю,
 Пусть город наш чугунную зарю
 стыдится окунать в пластмассовые лужи!
 Когда-нибудь, когда не будет хуже,
 мы слово исцелим словесностью от стужи
 и **ту же путь** не пустим к букварю.

2.

Любую грамоту читающий с листа
 Набоков, он же Сирин, неспроста
 сказал про нашу речь – подросток захолюстя.
 Обидно, да, но есть у нас холуйство,
 и кости в языке спрямляются до хруста
 едва свобода освежит уста.

3.

Но я хочу ему напротив подчеркнуть,
 что у письма есть храмовая суть,
 и не в стилистико-медовых ароматах, –
 скорей – в полумычаниях громадных,
 где исказился честный лик грамматик,
 и вся скривилась **правильная путь**.

4.

Хрусталик ока замутненный и хрусталь
 родного говора врачует Даль.
 В черновики времен! За ним – до Вавилона...
 В семантику, до семенного лона
 и далее, откуда стоном Время Оно
 заносится в новейший календарь.

5.

И что же? Все **путем!** Не мальчики – мужи
 впряглись уже в словарные гужи.
 Распашем же, распишем лист **ЕДИНЫМ СЛОВОМ**.
 Сперва – с заглавной, корень всем основам,
 а после – с прописной, – и мир перебелован...
 А наша речь отменна, не скажи!

(Бобышев, 1992-а: 35)

¹⁶⁹ «Шутливая речь – ворота, сквозь которые прорываются новые языковые факты» (Панов, 1990: 25).

В исходной системе склонения имелась общая модель изменения для таких слов мужского рода, как *путь*, *гость*, и слов женского рода типа *нить*, *весть*. В современном 3-м склонении остались существительные женского рода и единственное из слов мужского – *путь*. Некоторые слова, например *печатать*, изменили мужской род на женский. Подобное изменение свойственно и слову *путь* в диалектах, просторечии (см.: Обнорский, 1927: 4). Оно часто употребляется как слово женского рода и в профессиональном языке железнодорожников, что было услышано Д. Бобышевым: ясно, что автору хочется оценить удививший его языковой факт¹⁷⁰, но оценка остается неясной. С одной стороны, *искажился честный лик грамматик / и вся скривилась правильная путь; и ту же путь не пустим к букварю*, а с другой стороны, *храмовая суть* видится автору именно *в полумычаниях громадных, / где искажился честный лик грамматик*. Рефлексия над словом ведет *В черновики времен*, то есть в историю языка и побуждает познавать механизмы его развития.

В разных текстах встречается немало примеров перемены грамматического рода, о которых речь пойдет ниже, здесь же обратим внимание на подчеркивание поэтом немотивированности грамматического рода при назывании живых существ:

И в сплошном оцепененье
окружающий народ
слышит скрежет и сопенье
из соседнего двора
и детишек держат бабы
на испуганных руках
и бормочет репродуктор
как **петушка и кукух**

(Левин, 1995: 31)

Перераспределение аффиксов демонстрирует возможную независимость рода существительных от их значений, выраженных производящей основой (а слово *петух* обозначает пол птицы лексически). Мотивация сдвигов в словах *кукушка* и *петух* находится за пределами родо-половых соответствий. В источ-

¹⁷⁰ Мужской род слова *путь* – единственного слова мужского рода в 3-м склонении – загадочен

нике цитаты – басне Крылова – Кукушка и Петух хвалят друг друга – у каждого из персонажей одна и та же функция. Войдя в язык, само словосочетание *кукушка и петух* стало указывать на одинаковую роль и взаимозависимость поведения двух участников ситуации. В тексте А. Левина их неразличимость мотивирована и фразеологической объединенностью слов, и плохой слышимостью звуков из репродуктора. Общий смысл контекста – недифференцированность элементов сообщения и, следовательно, грамматических, в частности родовых значений существительных.

Для дальнейшего анализа экспериментов с грамматическим родом, наблюдаемых в современной поэзии, разделим материал на две группы: согласовательные аномалии и словообразовательные аномалии. Формой согласуемых слов (прилагательными, местоимениями, причастиями, глаголами в прошедшем времени) обусловлена принадлежность существительных к синтагматическим родовым классам, а словообразованием (деривационной функцией флексий, определяющих тип склонения существительных) – к парадигматическим родовым классам. Синтагматический род не всегда совпадает с парадигматическим (Копелиович, 1971: 17–19; 1989: 4). «Истории славянского рода в одинаковой мере принадлежат как процесс сближения (генезис рода), так и процесс расхождения (развитие рода) синтагматики и парадигматики» (Копелиович, 1989: 4).

Согласовательные и словообразовательные аномалии, связанные с родом существительных в художественных текстах, выявляют противоречия системы, несовершенство нормы. Они тоже приводят либо к окказиональному сближению, либо к окказиональному расхождению синтагматики с парадигматикой, а это указывает, во-первых, на возможность различных оснований для мотивации рода, во-вторых, на возможность различных направлений в развитии этой категории. При этом во многих текстах образуются сложные комплексы новых смыслов, которые и попытаемся показать.

1. Согласовательные аномалии

Когда возникает конфликт между системой, нормой и внеязыковой действительностью, говорящий или пишущий часто вынужден жертвовать либо правильностью формы, либо точностью смысла. Скажем сразу, что аграмматизм в сочетаниях существительных с родоизменяемыми частями речи обычно основан на приоритете смысла, то есть многие авторы предпочитают семантическое согласование грамматическому. Проанализируем несколько таких ситуаций.

а) Противоречие между грамматическим родом референта и полом денотата

В современной поэзии можно видеть выявление и обострение конфликта, вызванного несовпадением грамматического рода и пола.

В русском языке есть немало одушевленных существительных, у которых грамматический род выражен, а семантический не маркирован: *человек*, *птица* и т.п. Такие слова часто оказываются объектом грамматической рефлексии и языковой игры в современной поэзии. Рассмотрим контексты со словами *человек*, *люди*, *hoto*. Существительное *человек* лингвисты обычно приводят как выразительный пример неполного соответствия рода и пола: «в категории мужского рода ярче выражена идея лица, чем идея пола (ср. *человек* и отсутствие формы *человечица*)» (Виноградов, 1972: 59).

В стихах слово *человек* уточняется прилагательными *мужской*, *женский*:

Лежу я в одиночестве
 На **человеке** голом,
Ни мужском, ни женском –
 Каком-то среднеполом.

(Григорьев О., 1997: 153)

Я вылепил ей из хлеба
Человечка мужского,
 Она к нему прилепила
 Человечка другого.

(Григорьев О., 1997: 208)

Огромный **женский человек**
 В молодого юношу влюбился
 Преследует его весь век
 И вот его почти добился
 Взаимности, раскрыл объятия
 – И все же не могу понять я –
 Говорит юноша –
 Каким способом с тобой взаимоотношиться
 (Пригов, 1998: 66)

Встречается и реакция на неразличение рода во множественном числе с компенсацией грамматической недостаточности. Потребность в компенсации возникает потому, что «различие между родами как согласовательными классами во множественном числе исчезает, но семантическое различие между словами, входящими в разряды со значением отношения к полу, сохраняется» (Бондарко, 1976: 195):

Ах вы, груди, ах вы, груди,
 носят **женские** вас **люди**, –
 ведьмы носят, дурочки
 и комиссар в тужурочке.
 (Горбовский, 1995: 139)

Приведенный контекст актуализирует и расхождение грамматического рода слова *комиссар* с полом женщины-комиссара.

Потребность родовой корреляции у слова *человек* побуждает слышать слово женского рода в потоке речи, если для этого появляются фонетические основания. Так, например, А. Левиным переосмысливается двухкорневое прилагательное *человекообразное* → *человека образная* и полученное слово *человека*¹⁷¹ закрепляется включением в парадигму слов женского рода:

Кругом тишина непролазная,
 природа угрюмая спит.

¹⁷¹ А. Левин пишет не только стихи, но и песни. В данном случае существенно, что этот текст поется: на стыке слов *человека образная* долгое [а] произносится еще более протяжно, чем при чтении.

А тут **человека образная**
улыбкой во тьме шелестит.

<...>

Ты избрана стать **человекою**,
праматерью всяких людей,
и всем, что летает и бегаёт,
отныне и присно владей.

(Левин, 1995: 54)

У того же автора есть стихи с многоуровневой игрой слов, основным объектом которой стал термин *Homo sapiens*:

Хомо-сцапиенс зелёный
под кустом сидит зелёным
и **какого-либо хому**
ожидает на обед.

<...>

Хомы ходят по полянкам,
в лес заходят неохотно,
по тропинке к водопою
в одиночку не хотят.
Но известно всем, что **хома** –
зверь стеснительный и скромный,
что пописать и покакать
ходит в лес по одному.

<...>

Наконец приходит **хома**,
хома женская, большая,
и как раз под нужный кустик
приседает, молодец.
О, охотничья удача!
Хомо-сцапиенс зелёный
вылетает, как зелёный,
из зелёного куста,

хому толстую хватает,
сабли зубые вонзает,
в нору тёмную волочит
и съедает целиком.

(Левин, 1995: 4–5)

Преобразование грамматического рода от невыраженного до общего здесь начинается с языковой игры: вторая часть термина интерпретируется как образование от глагола *сцанать*, а первая – как часть двухкорневого слова типа *волкодав, зверолов, китобой. Хомо-сцапиенс* – фантастическое существо¹⁷², охотящееся на «хому».

Латинский термин *Ното*, адаптируясь к русской фонетике и грамматике, получает окончание *–а* и становится сначала словом мужского рода: *и какого-либо хому*. Затем слово употреблено во множественном числе, не различающем пол, затем как гипероним мужского рода, обозначающий живое существо независимо от пола (*Но известно всем, что хома – / зверь стеснительный и скромный*). После этого, вместе с прилагательным женского рода, появляется семантический показатель пола: *хома женская, большая*, а далее грамматическое согласование освобождается от семантической поддержки: *хому толстую хватает*.

Пример указывает на затрудненность интерпретации иноязычного (хотя и хорошо известного) слова с конечным *–о* как существительного мужского или общего рода, на нежелательность обозначения живого существа словом среднего рода, на возможность чисто синтаксической корреляции слов по роду, на потребность языка в словах общего рода и, наконец, на механизм развития семантических и грамматических показателей рода.

Любопытно, что дополнительное указание на пол – популярный прием языковой игры в художественных текстах. К приведенным ранее примерам можно добавить два нарочито парадоксальных употребления семантического уточнителя:

Иван Федорович – отец нескольких **дочерей женского пола**, художник, уважаемый в Ричмонд Хилле за вежливость и опрятность.

(Черновик, 1994: 77¹⁷³)

¹⁷² Это не «ноты»: он зеленый, в горошек, саблезубый, с трехметровым языком (текст приведен не полностью).

Три женщины, три дара, три поэта,
 три **женских брата**, Ваши имена
 так музыкальны – слышу: Альфа, Бетта,
 а в третьем море, пролитое в март.

(Антонова, 1991: 102)

Первый пример, пародируя канцелярский стиль, демонстрирует абсурдную избыточность выражения резкой семантической тавтологией, второй, напротив, подчеркивает смысловое противоречие между членами словосочетания неожиданным оксюмороном. В современной русской культуре принято называть женщин, пишущих стихи, словом *поэт*. Коррелят женского рода *поэтесса* считается стилистически маркированным, оценочным и обидным (см. об отношении А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, о которых идет речь в стихотворении Антоновой, к слову *поэтесса*: Ионова, 1988: 58–59). Логика грамматического рода приводит к тому, что метафорические *сестры* превращаются в еще более метафорических *братьев*. Очевидно, предполагается, что понятие «брат» тоже более достойно, чем понятие «сестра».

Появление семантических уточнителей-определений *мужской*, *женский* побуждает задуматься и над тем, что в некоторых случаях коннотации, присутствующие родовым коррелятам, ослабляют саму коррелятивность. Покажем это на таком примере:

Килограмм салата рыбного
 В кулинарьи приобрел
 В этом ничего обидного –
 Приобрел и приобрел
 Сам немножечко поел
 Сына единоутробного
 Этим делом накормил
 И уселись у окошка
 У прозрачного стекла
 Словно две **мужские кошки**
 Чтобы жизнь внизу текла

(Пригов, 1997-г: 7)

¹⁷³ В данном случае приводится анонимная вводная ремарка к публикации текстов; ссылка дана

В данном случае, видимо, важно, что сравнение *словно два кота* имело бы неподходящие для текста намеки на блудливость, соперничество. Сравнение персонажей с кошками, а не с котами, акцентирует внимание на том, что отец и сын сыты, довольны и пребывают в созерцательном спокойствии. Любопытно, что, устраняя один маркер пола (*кот*), автор тут же вносит другой, гораздо более заметный (*мужские*), хотя само сравнение этого, казалось бы, не требует: нормативным было бы *как две кошки*. Возможно, дело в том, что у слова *кошки* тоже есть лишние для текста коннотации: грациозность, мягкость, ласковость. Оксюморон *мужские кошки* может быть связан и с переживанием того, что мужчина выполняет женскую работу, поэтому он и оправдывается: *В этом ничего обидного*, поэтому и называет сына *единоутробным*. Так как *единоутробными* называются братья и сестры, рожденные одной матерью от разных отцов, в тексте можно видеть смысл ‘сын как брат’. Но, кроме того, у Пригова акцентируется деэтимологизация слова: *единоутробный* здесь ‘тот, кто съел то же самое’. Кроме того, Пригову, поэтика которого строится преимущественно на объединении примитива и абсурда (см. о поэтике концептуализма: Эпштейн, 1988: 150–151), здесь понадобился и алогизм сочетания *мужские кошки* (ср. строчки: *Сына единоутробного; Чтобы жизнь внизу текла*).

Конфликт между грамматическим родом и полом достигает значительного напряжения при необходимости согласовать слова, обозначающие профессии женщин, с прилагательными и глаголами. Ситуации типа *врач вошла, врач сказала, молодая врач* неизбежно должны быть выражены либо аграмматически, либо асемантически. В обиходной нормативной речи мы пытаемся уклониться от решения проблемы, модифицируя способы выражения (*врач Петрова сказала; вошла женщина-врач* – см. об этом: Пешковский, 1938: 193), а иногда и жертвуя стилем (*врачиха*).

Ситуация непростого выбора грамматического рода для обозначения женщины по ее профессии отражена В. Соснорой. Начиная с мужского рода глагола-сказуемого, Соснора, подчеркнув, что речь идет о женщине, переходит на женский род согласуемых слов:

Стало светать.

Проснулся дворник. Дворник – женщина.

У **нее** было бледное татарское лицо
и квадратные очки в медной оправе.

Она закурила трубку.

Искры вылетали из гортани трубки,
подобно молниям.

Дворник приготовила метлу

в положении «к бою готовсь».

(Соснора, 1998: 13)

Чтобы привлечь внимание к затрудненности грамматического или смыслового предпочтения, достаточно создать нестандартный контекст: мы уже привыкли аграмматически употреблять глагол женского рода при словах, называющих профессии, и в следующем тексте глагол настоящего времени, для которого род существительного безразличен, дан в форме согласуемого причастия:

Бурильщики, пропахшие смолой и мазутом,

пять операторов кинохроники,

молодой специалист, едущая к мужу

на буровую,

помбуры и помбурши,

неизвестные, целующиеся на крыльце,

старший геолог товарищ Галёркина,

восклицающая каждое утро:

«Я люблю себя в работе!..»

<...>

молодой специалист, ждущая летнюю погоду

на крыльце, где целуются неизвестные,

смотрит на небо и тяжело вздыхает.

(Яснов, 1986: 100)

Обратим внимание на то, что нормативно причастие, как и прилагательное, должно было бы стоять в мужском роде (ср. здесь же другие прилагательные – *молодой, старший*). Причастия сами по себе – пограничное и противоре-

чивое в языке явление: они имеют глагольную основу, выражающую смысловой предикат, и адъективную флексию, соответствующую атрибутивной синтаксической функции. В данном случае автор поступает с причастием так, как можно было бы поступить скорее с глаголом, чем с прилагательным. Конфликт обостряется еще и потому, что более приемлемое с точки зрения нормы сочетание *едущий к мужу* было бы совсем нелепым по смыслу. Смысл предпочтен форме, и автор как будто стремится сохранить категорию рода как категорию отражательного типа (см.: Бондарко, 1976: 47) – именно в ситуации, когда это свойство игнорируется нормой¹⁷⁴.

В том случае, когда в повествовании о женщине вопреки нормативным установкам предпочтен женский род причастия, можно говорить о том, что вся эта картина, изображенная в тексте, вскрывает ненормальный (с позиций традиционного представления о социальной роли женщины) порядок вещей, неправильное мироустройство: языковой конфликт отражает социальную аномалию. Вместе с тем глубина социального конфликта манифестирована и словами товарища Галеркиной «*Я люблю себя в работе!..*», и окказионализмом *помбурыши* в сочетании *помбуры и помбурыши*.

Недостаточность языковых средств для различения пола проявляется и в том, что грамматическая норма требует сочетания местоимений *кто, каждый* с глаголами прошедшего времени только в форме мужского рода. Обычно это не создает речевой неловкости, так как местоимение *кто* соответствует обобщенному, а часто и неизвестному денотату: *Кто вошел? Бабушка. Кто съел цветы? Корова*. Но иногда значение глагола исключает субъекты мужского пола из совокупности мыслимых денотатов, и тогда неизбежны абсурдные сочетания: *кто вышел замуж? кто родил двойню? что сказать о тех, кто родился девочкой?* Это положение не остается без внимания в поэзии. Приведем три примера того, как поэты обостряют грамматическую проблему:

Который бабочка – пускай летит на свет,
 пусть шелуха с крыла, головки, лапки
 скрипит, упав, ну, скажем, на конверт,
 лежащий ненаписанным под лампой.

¹⁷⁴ Ср. у А. Вознесенского: *та, физик давняя; моя академик* (примеры приведены в книге: Гин,

Пускай он бывший гусеница, он
не может кушать воду и нектары,
зажатый между крыльев с двух сторон,
он исчезает в молодости старым.

(Кальпиди, 1998: 21)

С подобным выраженьем **каждый**
Смотрел на мир тогда, когда
Бывал он матерью однажды
Или хотя бы иногда.

(Иртеньев, 1998: 163)

А потом за тушенкой и луком бежит на кухню.
Сейф раскрыв, разливает поспешно. Захлебы. Всхлипы.
Как бы кто не вошла!.. – «Ну, Арнольдич, давай-ка,
ухни!» –

И смешно полагать, что иначе служить могли бы.

(Пурин, 1995: 56)

У Кальпиди и у И. Иртеньева соблюдена норма согласования в ущерб смыслу, а у Пурина, напротив, отдано предпочтение смыслу в ущерб норме.

В контексте Пурина слово *вошла* является единственным, а следовательно, и необходимым показателем рода, адекватно описывающим ситуацию: ее участники опасаются не всякого человека, а именно женщины, которая помешала бы выпить. Неуклюжесть фразы соответствует осознаваемой ими неловкости собственного поведения и неловкости опасений, а также тому дискомфорту, который женщина может внести в их компанию. Кроме того, женщина вообще чужда армейскому быту, и привыкшие к нему персонажи как будто разучились говорить о ее появлении грамматически правильно, но при этом их внимание именно на женщине сосредоточено. Все это и приводит к тому, что форма глагола женского рода вытесняет нормативную форму мужского.

б) Конфликт между средним родом и одушевленностью

Языковые игры поэтов с существительными среднего рода основаны преимущественно на том, что для среднего рода практически исключено значение лица (кроме слова *дитя* или слов типа *чудище* в олицетворениях)¹⁷⁵ и ограничено значение одушевленности. А. М. Пешковский обратил внимание на то, что у Гоголя название персонажа *значительное лицо* всегда сочетается с глаголами в мужском роде: *сказал, не заметил, чуть не умер*, но с прилагательными в среднем: *одно, бедное* (Пешковский, 1938: 193). Такие слова, как *трепло, барахло, бревно, солнышко* при метафорическом именовании лица, обычно не бывают подлежащими и поэтому не могут координироваться со сказуемым в среднем роде, хотя определения с ними согласуются именно в форме среднего рода: *он (она) известное тепло*.

Слова *животное, насекомое, земноводное, млекопитающее* и подобные диктуют форму среднего рода прилагательным и глаголам, но обычно такие существительные являются терминами-гиперонимами, а это по стилистическим причинам значительно ограничивает их речевую сочетаемость с глаголами прошедшего времени. Из анафорических средств замены одушевленных существительных среднего рода категорически исключено местоимение 1-го лица.¹⁷⁶ Но это ограничение смысловое, а не грамматическое, так как само местоимение *я* рода не обозначает и сочетается как с мужским, так и с женским родом прилагательных и глаголов. Запрет на сочетание глаголов среднего рода с местоимением *я* преодолевается в поэзии, например, в стихотворении А. Левина «Ответ насекомому В. Строчкову»:

Беззащитное, бездомное,
страшно заломив рога,
я лежу, как **рассекомое**:
где рука, а где нога?

¹⁷⁵ Ср. актуализацию абсурда К. Вагиновым: *На диване очаровательное создание пело и играло на гитаре <...> «О нет, – засмеялось оно, – я юноша» <...> Оно все же было девушкой* (Пример приведен в работе: Бондарко, 1996: 71).

¹⁷⁶ Исследование Я. И. Гина показало, что если имена среднего рода и встречаются в фольклорном олицетворении (напр., *Чудище, Горе*), то происходит переключение рода с грамматического среднего на метафорический мужской: *Горе сказал* (Гин, 1992: 87).

Ведь вчера ещё **я прыгало**
 в ослепительных садах,
 а теперь такое выпало
 мне страдание и страх.

Было я на сласти падкое,
вдаль глядело сквозь очков,
 а теперь ужасной пяткою
 раздавил меня Строчков.
 Силы бедные кончаются,
 молвлю слово, но, увы,
 как-то мысли растекаются
 из пробитой головы.

Как-то холодно в конечностях,
 как-то скучно без очков.
 Уж теперь о человечности
 не тебе писать, Строчков.
 Не тебе, убийца пленников,
 истребитель юных сил!
 Был бы жив поэт Олейников,
 он за нас бы отомстил!

Что ты дерзко ухмыляешься,
 будто подвиг совершил?
 Ты мной даже не питаешься –
 так, от злобы задавил!
 Что ты радуешься, гадина?
 Буду в снах тебя терзать!
 Не тобою жизнь дадена,
 не тебе и забирать!

(Левин, 1995: 62–63)

Пожалуй, именно эта грамматическая аномалия, вполне исчерпывающе мотивированная говорением от имени обиженного насекомого (изображенного в стихах В. Строчкова), больше всего побуждает читателя сочувствовать персонажу. В нашем сознании «с средним родом сочетается самое отвлеченное представление о категории не-лица (ср.: *существо, божество*) <...> Средний род

выступает как отвлеченная форма обезличенной предметности» (Виноградов, 1972: 75). При обычном олицетворении насекомое было бы названо гипонимом: *кузнечик, таракан, гусеница* и т.д. Следовательно, эксперимент с родом в этом тексте Левина – это и эксперимент с категориями лица, одушевленности, абстрактного и конкретного, субъекта и объекта. Поясним последнюю оппозицию: именно потому, что персонаж говорит о себе в среднем роде, он как бы осознает себя неиндивидуализированным объектом, то есть видит себя глазами обидчика. Местоимение *я* этому противоречит, и весь монолог насекомого – это требование признать в объекте субъект. По существу, вся основная коллизия текста сосредоточена в сочетании местоимения *я* с глагольными формами среднего рода.

Характерно, что само слово *насекомое* уже этимологически содержит в себе значение объекта: по происхождению это калька с латинского *insectum*, при образовании которой использовано страдательное причастие от глагола *насекать*. Левин его предельно усугубляет: *я лежу, как рассекомое*¹⁷⁷.

Когда другой автор, М. Сапего, пишет о себе то в 3-м, то в 1-м лице (стихотворение «Просебятина»), играет своей фамилией, представляя ее существительным среднего рода, он изучает и оценивает себя, осознавая себя в языке. В его тексте, как и у Левина, субъект чувствует себя объектом:

ветром гнимое дугою
 вперехлест дождя и снега
 волоча больной ногою
шло ужасное сапего
 <...>
шло сапего материлось
поминало всуе бога
шло курило и рыгало
 из горла **вино цедило**
 <...>
 только всё неправда это

¹⁷⁷ В современной поэзии это этимологическое значение очень часто актуализируется и подвергается десубстантивации с восстановлением родовой соотносительности причастия-прилагательного: *Не капкан, не доспех и не просто скелет насекомый* (Жданов, 1991: 80); *Но шмель здоров и жаворонок светит, / и насекомая волна водой блестит* (Чейгин, 1995: 26). См. также примеры на с. 000.

это всё мене приснилось
 (про себя наплесть такое
 не дает родное эго)
я сапего неплохое
я хорошее сапего!

(Сапего, 1995: 21)

Обратим внимание на первую строку *ветром гнимое дугою*. Аномальное страдательное причастие *гнимое* имеет два значения: ‘гонимое (ветром)’ и ‘сгибаемое (дугою)’. Окказиональность пассива, имитирующая грамматическую ошибку, двойное лексическое значение причастия, которого как бы вообще нет в языке, с самого начала дают громкий сигнал к тому, как будет разворачиваться текст. Субъект увидит себя объектом, ему предстоит преодолеть сознание своей обезличенности, пройдя через ироническое самоуничижение и клоунаду. Заметим, что слово *эго* получило в русском языке грамматическое значение среднего рода. Смещение субъекта с объектом – одна из главных тем экзистенциальной философии, отраженной искусством XX в.

Тексты, в которых языковой конфликт между средним родом и категорией одушевленности (а тем более категорией лица) решается в пользу формального, а не смыслового согласования, напоминают об изменениях в языке. В древности было продуктивным суффиксальное образование экспрессивов и деминутивов среднего рода со значением лица (независимо от пола): *бабище, дедко, мужичонко, купчишко, дочеришко, объедало* и т.п. Они требовали и соответствующего согласования, что зафиксировано в фольклоре и памятниках письменности: *сильнѣе могучѣе Иванишко, коровишио дворовое* (Обнорский, 1927: 29); *купчишко пришло, свое дочеришко* (Марков, 1974: 14). Словами среднего рода были и названия детенышей: не только *дхтя*, но и *котя, жеребя, порося* и мн. др. Следовательно, средний род еще не был отделен от категорий одушевленности и лица. Таким образом, тексты А. Левина и М. Сапего в некоторой степени воспроизводят прошлое языковое состояние, и ненормативный средний род глагола в их стихах можно понимать как архаизм.

в) Противоречие между грамматическим родом и основным словообразовательным типом склонения. Слова общего рода

Склонение слов типа *жена* системно не упорядочено. В него входит немало слов не только женского, но и мужского рода. У некоторых из них род имеет и лексическое выражение (*папа, дедушка, дядя*). В этом случае семантика и грамматика (согласование с родоизменяемыми частями речи) не соответствуют основному словообразовательному типу склонения. Другие существительные (типа *обезьяна, собака*), будучи словами женского рода, употребляются безотносительно к полу денотата. Кроме того, в склонении на *-а* имеются слова общего рода: *непоседа, почемучка, пьяница*.

Неупорядоченность родовой принадлежности существительных склонения на *-а* способствует тому, что некоторые из них могут быть грамматически переосмыслены и перемещены из одной группы в другую. В художественных текстах наблюдается некоторая тенденция к расширению подгрупп мужского и общего рода в пределах склонения на *-а*.

Слова общего рода приспособлены к охвату всех одушевленных существительных на *-а* согласовательной родовой корреляцией, но, тем не менее, представлены в языке ограниченным количеством примеров – вероятно, потому, что они асистемны: род существительного – классификационная категория, а слова типа *непоседа* не могут быть дифференцированы по роду вне контекста. Кроме того, они обозначают людей, и неопределенность пола при номинации может приводить к некоторым информационным потерям. Поэты испытывают возможности слов общего рода, расширяя словарный состав этой группы:

Фамилия Мартышкин

Собаки моего

Родилась понаслышке

От кошки одного

По имени не слишком,

Чтоб Кисинджер,

того!

(Лён, 1990: 38)

Мелкий рыбка Боря Булька –
 это очень **мелкий рыбка**,
 круглоротый, головатый,
 полосатый, волосатый.

Мелкий рыбка Боря Булька
 каждый вечер произносит
 изумительный пузырик,
 полосатый, волосатый.

<...>

И, не в силах удержаться,
каждый рыбка произносит
 тоже маленький пузырик,
 даже пусть не волосатый,
 но пузырьки взлетают,
 как сверкающая песня,
 как торжественное солнце
 мелких рыбок водоёма.

(Левин, 1995: 46)

Слова *собака*, *кошка*, *рыбка* показывают, что к общему роду могли бы принадлежать не только названия людей, но и любых других живых существ. Допустим, нормативными средствами языка невозможно обозначить биологический пол *рыбки*, затруднительно употребить слово *кобель* без стилистических коннотаций, но слову *кот* ничто, казалось бы, не препятствовало появиться в тексте. Следовательно, автор усложняет свою задачу, демонстративно игнорируя очевидную корреляцию *кот* – *кошка*. Но и эффект от такого языкового сдвига значительнее. Дополнительную мотивацию перемены грамматического рода у слов *собака* и *кошка* (при сохранении окончания, указывающего на тип склонения) можно видеть в особой свободе языковой игры при общении с домашними животными и в интимизации рассказов о них.

Но согласование слов *собака*, *кошка*, *рыбка* с местоимениями и прилагательными в мужском роде может быть вызвано не только желанием авторов указать пол конкретных животных (тогда это существительные общего рода), но и общеязыковой немаркированностью пола у этих слов (тогда они отнесены

к грамматическому мужскому роду)¹⁷⁸. Логика перемены рода может быть тако-
ва: если слова *собака*, *кошка*, *рыбка* не обозначают реального пола, значит,
язык позволяет употреблять их и в мужском роде, а поскольку норма ограничи-
вает проявление языковых возможностей, ею можно пренебречь.

В тексте А. Левина видно, что слово *рыбка* сначала употреблено скорее
как слово общего рода, а затем – скорее как обобщенного мужского. В первой
строке перемена рода мотивирована каламбуром, производящим мужское имя:
барабулька → *Боря Булька*. Но далее следует новый шаг: в сочетании *каждый*
рыбка грамматический род освобождается от каламбурной интерпретации и со-
относится не только с мужскими особями рыбок.

Существительными мужского рода на *-а* могут быть названы народы¹⁷⁹,
и этот факт становится основанием для возможной метафоры: *собака*, *кошка*,
рыбка – как *инка*, *чукча*. То есть *собака*, *кошка*, *рыбка* представлены как некий
«народец», названием которого может быть обозначена и отдельная особь¹⁸⁰. В
текстах В. Лёна и А. Левина представлено несколько ступеней антропоморфи-
зации: вслед за присвоением имен собственных (*Боря Булька*, *Мартышкин*)¹⁸¹,
которые трактуют персонажей как людей, сами слова *собака* и *кошка* получают
возможность быть понятыми как название «народца». Обратим внимание на то,
что, как настаивает автор, *Мартышкин* – не кличка и даже не имя собаки и
кошки, а *фамилия*.

Тексты с этими словами все же оставляют нерешенной и, вероятно, не-
решаемой проблему: обозначен ли нарушенным согласованием мужской пол
существ или, напротив, обострена немаркированность пола. Таким образом,
неупорядоченность системы становится фактом авторской, а, следовательно, и

¹⁷⁸ Тоже парадокс (видимо, парадокс терминов, отражающий конфликт между грамматикой и семантикой): если в тексте есть указание на пол, слово относится к общему роду, а если пол для этого текста безразличен, слово трактуется как существительное мужского рода.

¹⁷⁹ Заметим, что раньше этнонимы на *-а* были представлены в языке гораздо шире: *меря*, *корела*, *литва*, *москва*. В истории языка некоторые из этих слов утратили возможность называть отдельного человека, усилили собирательное значение (*татарва*), а, затем, утратив и его, закрепились как названия страны (*Литва*), города (*Москва*).

¹⁸⁰ Не исключено, что именно сами слова *инка*, *чукча* повлияли на метафоризацию: у А. Левина есть стихи про инков, а слово *чукча* оказалось в сфере внимания в результате широкого распространения анекдотов о чукчах – не как о реальном национальном типе, а как о некоем почти сказочном народе.

¹⁸¹ Напомним, что давать имена собакам и кошкам – обычай многих культур. В стихотворении В. Лёна как раз и обсуждается норма при выборе собачьих и кошачьих имен.

читательской рефлексии над особенностями грамматического рода в русском языке.

г) Отсутствие показателей рода у существительных на –ь

Слова с основой на мягкий согласный и нулевой флексией занимают особое положение в русском языке: они не имеют признаков различия по грамматическому роду в именительном и винительном падежах вне контекста или парадигмы (*медведь* и *лошадь*, *день* и *тень*). В таких случаях открывается простор для перемены рода существительных без изменения фонетического облика слов. Когда говорится о людях или других живых существах, слова нормативно мужского рода на –ь могут употребляться с указанием на женский пол – как слова общего рода:

Царевича стрела летит из арбалета
Туда, где **баловень** болотного балета
На корточках сидит, надеждой **не согрета**.

<...>

Список редких слов

<...>

Баловень ж.р. – та, кому везет.

Ср.: баловень судьбы

(Крепс, 1996: 206)

Теленок с двумя головами:

Меня **медведь** **вскормила** грудью

В **ее** груди текли моря

Но в них не будет, нет не будет

Удить ни сеть ни венгеря

(Волохонский, 1994: 22)

Оба примера показывают, как по воле авторов побеждает «естественная тенденция установить соответствие между родом и полом» (Есперсен, 1958: 268).

М. Крепс травестирует сказку «Царевна-лягушка». Лягушка и названа словом *баловень* в женском роде – с авторским комментарием. Для понимания языкового сдвига следует иметь в виду, что слова *баловень* и *баловница* не представляют собой соотносительной пары, члены которой различались бы родом. *Баловень* – ‘тот, кого балуют, любимец’, *баловница* – ‘та, которая балуется, шалунья’. У слова *баловень* нет адекватного синонима женского рода, поэтому назвать баловнем женский персонаж сказки было бы вполне возможно без грубого нарушения нормы, но только в мужском роде. Вместе с тем стоит вспомнить, что само слово *лягушка* в языке не обозначает пола, и это, помимо системных особенностей слов с мягким согласным на конце, исторически неустойчивых в отношении рода, облегчает грамматический сдвиг. И здесь, как во многих ранее рассмотренных контекстах, грамматическая норма приносится в жертву семантике. Контекстуальное изменение мужского рода слова *баловень* на женский приводит к ярко выраженному значению женственности, что для текста важно, потому что Царевна-лягушка – невеста, что и является основой сюжета.

А. Волохонский, разрешая конфликт между формой и смыслом в пользу смысла, проигнорировал легко доступное слово *медведица*, что вполне резонно: во-первых, слово *медведь* как существительное с немаркированным полом дает бóльшую степень абстракции, понимаемой и как обобщение, и как сигнал отчуждения; во-вторых, слово *медведица* имеет лишние для этого текста коннотации. Оно связано с деревенским бытом, охотой или с уютным миром детских сказок, поэтому ситуация текста могла бы предстать слишком конкретной, а она все же рисуется как апокалиптическая. Слово *медведь*, понятое как слово женского рода тяготеет к традиционному поэтизму женского рода *лебедь*, следовательно, к высокому стилю. Вместе с тем конструкцию *медведь вскормила* можно было бы признать архаизмом: в древнерусском языке слова такого типа относились к тому же склонению на *–*i*, что и многие слова женского рода, и при бывшем безразличии к роду всех падежей этого склонения, кроме творительного (*медведь, от медведи, к медведи, о медведи*), родовое варьирование слова

при его согласовании было вполне естественно (ср. грамматическую судьбу слова *лебедь*).

В некоторых случаях оказывается возможной перемена рода существительными, оканчивающимися на мягкий согласный, даже вне согласования – на основе орфографического правила, предусматривающего мягкий знак после шипящих только для существительных женского рода. Рассмотрим стихотворение, в котором четко представлена оппозиция окказионального женского рода нормативному мужскому:

Куриный суп, бывает, варишь
 А в супе курица лежит
 И сердце у тебя дрожит
 И ты ей говоришь: **Товарищ!** –
 Тамбовский волк тебе **товарищ!** –
 И губы у нее дрожат
 Мне имя есть Анавелах
 И жаркий аравийский прах –
 Мне **товарищ**

(Пригов, 1997-а: 60)

Мягкий знак в этом тексте предстает знаком «смягченного» обращения: термин-метафора превращается в метафору-троп. Демонстративно абсурдное обращение *Товарищ!* к курице в супе – очень вежливое, оно выглядит как заискивающее извинение перед ней, как признание ее права на жизнь и даже как признание в курице личности. Ответ курицы груб не только упоминанием тамбовского волка, но и отсутствием мягкого знака в слове. Наличие и отсутствие мягкого знака в данном случае указывает на разные сущности персонажей. Оппозиция «женское – мужское» означает здесь отношение жертвы и агрессора. Текст допускает и такое прочтение грамматического сюжета: ‘слово *товарищ*, обращенное к женщине, обезличивает и обижает ее, потому что говорящий игнорирует ее пол. Но, произнося это слово, можно подразумевать, что оно жен-

ского рода. Правда, говорящий рискует быть не понятым. Он этого заслуживает, потому что лицемерит¹⁸².

Изменение рода у существительных с основой на мягкий согласный и с нулевым окончанием почти во всех случаях направлено от мужского рода к женскому. Возможно, это объясняется значительным преобладанием слов женского рода на *-ь*. По подсчетам И. П. Мучника, из 660 существительных русского языка на *-ь*, 400 принадлежат к женскому роду и 260 к мужскому (Мучник, 1963: 48).

Такая трансформация обнаруживает связь с категорией собирательности, захватывающей значительную часть лексики именно 3-го (женского) склонения:

И мы идем, довольны крайне,
И мы идем домой на Лайне,
Где в холодильнике **пельмень**,
Какую страстно поедаем
И, засыпая, уповаем,
Что завтра будет ясный день.

(Ким, 1990-б: 61)

Изменение в роде нередко бывает основано на рифменных или паронимических ассоциациях слова (в следующих контекстах *капель* → *апрель* и *мотор* → *морковь*), фразеологизированных системных отношениях (зд. антонимических: *ночь* → *день*), цитатном подтексте (*ночь* → *день* и *мотор* → *морковь*):

Капающая из крана вода
может оказаться стремительней
первой весенней **апрели**.

(Волошин, 1995: 66)

Выхожу с людьми на дорогу.
Сквозь бутан кремлистый путь звездит.
День тиха лежит и внемлет Гогу

¹⁸² В сборнике «Подобранный Пригов» (Пригов, 1997-г) текст напечатан по правилам орфогра-

И Магог
с народом
говорит!
(Левин, 1995: 166)

я юноша им вис как фрукт на ветке
и тощенькой одной в эсэсовских сапожищах
из многотиражки полярный авиатор
а вместо сердца пламенный морковь¹⁸³
(Цветков, 1985: 68)

Сдвиги в сторону мужского рода можно признать исключениями, подтверждающими правило, поскольку они на уровне содержания мотивируются искажением языка. Это видно на последнем примере. А. Цветков пародирует цитату-клише, обесмысливающую речь: вместо привычной абсурдной метафоры автор предлагает другую бессмысленность – в контексте общего косноязычия, соотнесенного с языком многотиражки. Замена женского рода на мужской в следующем тексте мотивирована передразниванием персонажа, который плохо говорит по-русски:

Ну, может, не поймет меня Проханов,
ну, Розенбаум, ну, Бабрак Кармаль,
ну... младший Боровик!
Но из душманов
любой Фарид отдаст мне **свой медаль**.
(Еременко, 1991: 129)

д) Несовпадение в роде гиперонима и гипонима

Гиперонимы и гипонимы – это слова, называющие предмет общим и частным (родовым и видовым) наименованием, например, в паре *животное* и

фии, что делает невозможным предложенное прочтение.

¹⁸³ Намек не только на строку из песни *И вместо сердца – пламенный мотор*, но и на строки Маяковского из поэмы «Хорошо!» *Не домой, / не на суп, / А к любимой / в гости, / две / морковинки / несу / за зеленый хвостик* (Маяковский, 1958-VIII: 294).

собака первое слово – гипероним, второе гипоним, а в паре *собака* и *пудель* гиперонимом становится слово *собака*.

В большинстве случаев аномалии согласования основаны на определенной логике мировосприятия и логике построения текста. Так, например, в следующих строках ощутимо влияние гиперонима:

Его по-детски развлекало,
 Как **леопард** питье **лакала**
 (Крепс, 1992: 15)

Потребность придать слову *леопард* значение женского рода здесь нельзя объяснить противоречием между полом и грамматическим родом, поскольку пол зверя в изображаемой ситуации неважен. Логика преобразования, вероятно, состоит в том, что, если смотреть на леопарда *по-детски*, то естественно видеть в нем прежде всего большую кошку. Впрочем, и по научной классификации леопард относится к кошачьим. Известно, что гиперонимы часто решающим образом влияют на род аббревиатур, заимствованных слов, имен собственных.

Стимулом к преобразованию может быть и гипоним:

У трав – цветы и запах хлеба... А у врат
 стоит дите, сморкаясь. Сеятель-отец
 идет с похмелья сеять лук, поет. **Дите**
пустил струю, – она как радуга! Стыл суп
 внизу, и пах он лилией и псом.

<...>

Дите

взял пальчик, вынул лилию и пса, потом **съел** суп, – и пусть!

<...>

Дите сморкался в нос себе.

(Соснора, 1994: 26)

У В. Сосноры аграмматическое употребление слова *дите* вызвано, вероятнее всего, словом *мальчик*; не исключена и аналогия слова *сын*, но оно содержит лишней в этом контексте семантический компонент родства, еще менее вероятно аналогическое воздействие слова *ребенок*, поскольку оно может называть и девочку, а содержание текста этого не допускает.

В этом тексте можно видеть и отказ называть человека словом среднего рода, и актуализацию пола: достаточно было бы употребить слово *ребенок*, чтобы пол оказался безразличным для восприятия: мы настолько автоматически употребляем формы глаголов прошедшего времени, что их родовая отнесенность практически неощутима – тем более что от глагола в целом и нет таких ожиданий: в других грамматических временах пол вообще не может быть обозначен.

е) Противоречие между грамматическим родом прямого и переносного значения существительного.

Тропеическое употребление слов часто приводит к тому, что субъект и объект сравнения, метафоры или олицетворения выражены существительными, не совпадающим по роду. Когда конфликт между грамматическими значениями слов в их прямом и переносном употреблении оказывается заметным, то рассогласование членов синтагмы обнажает не дефектность системы, а возможные помехи ее функционированию. Проанализируем следующий фрагмент из стихотворения метаметафориста¹⁸⁴ А. Еременко «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге... »:

...Блиндаж освещался трофейной свечой,
и мы обнялись спросонок.

Пространство качалось и пахло мочой –
не знавшее люльки ребенок.¹⁸⁵

(Еременко, 1991: 114)

Грамматическая аномалия *не знавшее люльки ребенок* объясняется несколькими факторами: а) логикой возможной синонимической замены: синонимия *дитя* – *ребенок* приводит к тому, что слово *ребенок* согласуется как слово среднего рода; б) историей слова *ребенок* ← робѣ. Как и слово *дитя* ← дѣтѣ,

¹⁸⁴ Поэтика метаметафористов отличается усложненной многоуровневой метафорой, что в данном случае существенно влияет на аномалию согласования в роде.

¹⁸⁵ Эта метафора восходит к 1-му и 10-му из «Восьмистиший» О. Мандельштама: *И дугами парусных гонок / Зеленые формы чертя, / Играет пространство спросонок – / Не знавшее люльки*

оно было существительным среднего рода. Поэтому в родовой форме прилагательного *не знавшее* можно видеть след от бывшей родовой принадлежности слова *робѣ*; в) метафорическим контекстом, в котором субъект метафоры – слово среднего рода *пространство*.

Возвращаясь к примеру с противоположно направленным сдвигом в согласовании *дите пустил <...> взял <...> вынул <...> съел <...> сморкался*, можно заметить, что и у Сосноры, и у Еременко слова *дитя (дите)* и *ребенок* становятся менее синонимичными, чем в языке. Для ситуации, изображенной Соснорой, существенна невинность, детскость, которая в слове среднего рода *дитё* представлена гораздо выразительнее, чем в словах *мальчик* или *ребенок*. У Еременко же суть метафоры состоит в том, что философский и поэтический концепт «пространство» предстает плотской субстанцией. В этом контексте слово *дитя* оказалось бы ненужным поэтизмом. Но след от него сохраняется в аномальном согласовании существительного *ребенок* с причастием среднего рода. Приведем еще три примера:

Да чибис тянется, распутывая шали
тумана у подножия державы,
да спит котенок – **солнечный юла**.

(Чейгин, 1995-а: 31)

Настенька-Настенька
стенаю ночами
и почернел аж от горя
как **обугленный пещь**
нету мне счастья нету

(Кедров, 1991: 46)

Прыть жить прыгает мячиком,
вокруг камешки острые щерятся.
Время, еще будучи мальчиком,
смотрел, как сука-земля щенится.

(Залогина, 1994: 69)

Несогласованность существительного с прилагательным и глаголом во всех случаях легко объяснить: определение *солнечный* характеризует котенка, *обугленный* – лирического субъекта-автора (которому в изображаемой ситуации очень важно подчеркнуть, что он мужчина), предикат *смотрел* обусловлен метафорой-олицетворением *еще будучи мальчиком* (время было олицетворено еще в античной мифологии, но Хронос всегда изображался стариком).

Во всех этих ситуациях были бы вполне возможны и нормативные согласования *солнечная юла, обугленная пещь* (тем более что сохранена буква «ь»), *время смотрело*. Но нарушение нормы в подобных случаях делает троп более выразительным, и не только потому, что авторы заставляют обратить на него внимание, подумать о причинах неправильности и зафиксировать в сознании свою догадку. Дело еще и в том, что формы прилагательного и глагола в этих фрагментах тяготеют к тем существительным, которым они подходят по форме. А это значит, что спаянность элементов сравнения дополнительно к семантическому основанию (постулируемому сходству) приобретает и основание грамматическое. Оно состоит в двойной отнесенности атрибутов и предиката (с одним членом сравнения они связаны по сходству, с другим – по согласованию).

ж) Влияние цитатного подтекста на изменение в роде

Логика аграмматизма в современных текстах часто связана с травестированием самых известных цитат. Выше уже были приведены примеры со строками *а вместо сердца пламенный морковь* (слово *морковь* становится словом мужского рода как субститут слова *мотор* из знаменитой песни) и *День тиха лежит и внемлет Гогу* (ср.: *Ночь тиха, пустыня внемлет Богу* – из стихотворения Лермонтова, ставшего романсом). Они рассматривались в связи с тезисом об особых свойствах существительных на –ь. Но перемена рода, основанная на литературных аллюзиях, травестированных цитатах (а они занимают важнейшую позицию в философии постмодернизма, что связано с нейтрализацией оппозиций *новаторство – традиция, свое – чужое*), конечно, не ограничивается

определенным словообразовательным типом или склонением существительных. Проанализируем еще два примера, сосредоточив внимание на интертекстуальном аспекте:

а потом Дантес в кольчуге
 Из Парижа своего
 как пульнет под пенье вьюги
 в тело нашего всего!
Наше всё со смертью бился,
 но терял с пространством связь,
 и к друзьям он обратился,
 к стеллажам оборотясь.

(Голь, 1994: 9)

Как ныне прощается с телом душа.
 Проститься, знать, время настало.
 Она – еще, право, куда хороша.
 Оно – пожило и устало.
 «Прощай, мой товарищ, **мой верный нога,**
 проститься настало нам время.
 И ты, ненадежный, но добрый слуга,
 что сеял зазря свое семя.
 И ты, мой язык, неразумный хазар,
 умолкни навеки, окончен базар»

(Лосев, 1985: 95)

В стихотворении Н. Голя строка *Наше всё со смертью бился* производна от фразы Аполлона Григорьева «Пушкин – наше всё», ставшей знаменитой после речи Ф. М. Достоевского, в которой эта фраза была процитирована. Текст говорит о том, как эмоциональная метафора, растиражированная цитированием, становится ярлыком и вытесняет представление о живом человеке. О ходе дуэли рассказано развязными вульгаризмами (*Из Парижа своего; пульнет*), перемешанными с банальными красотами (*под пенье вьюги; со смертью бился*) и казенным оборотом (*но терял с пространством связь*). Аграмматизм строки *Наше всё со смертью бился* предварен асемантическим словосочетанием *в тело нашего всего*. По воспоминаниям В. А. Жуковского, Пушкин, умирая, обратился

к книжным шкафам со словами «Прощайте, друзья» (Жуковский, 1986: 370). В строках Н. Голя эта метафора прочитывается буквально: друзья Пушкина находятся на стеллажах. Таким образом, грамматическая аномалия вместе с разностилевыми штампами и обесмысливанием слова предназначена отразить ситуацию языковой энтропии, вызванной энтропией сознания. Не исключено, что в этом тексте совмещены два значения слова *всё*: ‘исчерпывающая совокупность’ и ‘конец’. Примечательно, что эти значения относятся к разным стилям.

В стихотворении Л. Лосева «Цитатник» тоже ярко выражена тема энтропии. Текст травестирует «Песнь о Вещем Олеге» Пушкина, и отношение души с телом представлено как отношение Олега с конем. Конь, которого Олег в стихотворении Пушкина называет *мой верный слуга*, – это метафорическая «нога» князя-всадника. У персонажа из текста Лосева и другие органы тела становятся «слугами»: один слуга – *нога*, другой – орган, *что сеял зазря свое семя*, третий – *язык*. Строка *И ты, мой язык, неразумный хазар* соотносится не только с летописным и пушкинским источником (ср.: *отмстить неразумным хазарам*)¹⁸⁶, но и с поговоркой *язык мой – враг мой*. Строки о языке ясно показывают, что речь идет уже не о князе Олеге, а о поэте. Совмещенная омонимия слова *язык* здесь очевидна. Утрата языка и представлена аграмматизмом, связанным с родом, но при этом грамматическая аномалия имеет множественную мотивацию во фразеологии и метафорическом строе текста. Добавим, что здесь, конечно, очень важно рифменное созвучие *слуга – нога*. Но слово *слуга* при обозначении лиц мужского пола может быть либо асемантическим, как в древнерусском языке (*слуга моя верная*), либо аграмматичным, как в современном (в склонении на –а слова мужского рода хоть и приняты нормой, но все же в некоторой степени представляют собой системную аномалию). В истории языка слово *слуга* меняло род с грамматического женского на мужской. Л. Лосев переносит именно этот механизм грамматического изменения на рифму-метафору и в то же время на слово *нога* в его прямом значении.

¹⁸⁶ В данном случае очень возможна языковая игра, основанная на совпадении древнерусского дательного падежа множественного числа *хозаромъ* с современным творительным падежом единственного числа *хозаром*. Тогда пушкинская строка *отмстить неразумным хозарам* интерпретируется в тексте Лосева как ‘отомстить языком’, то есть ‘осуществить бытие в текстах’.

2. Словообразовательные аномалии

В современном языке образование существительных разного рода от одной и той же основы при тождестве значений (типа *зал – зала – зало*) считается словообразованием, а не формообразованием, так как категория рода не является словоизменяющей для этой части речи. Флексия же, указывающая на род, – это одновременно и формообразовательное, и словообразовательное средство.

Поскольку категория рода – классификационная для существительного, идеальным состоянием системы было бы соответствие каждой субстантивной основы только одному родовому значению слова. Поэтому наличие вариантов представляет собой аномалию в системе. В древнерусском языке вариантность была развита гораздо шире, чем в современном (см., напр.: Обнорский, 1927; Глинкина, 1974), что можно объяснить грамматической недифференцированностью и синтаксической общностью древних субстантивов и атрибутивов (Потебня, 1968: 62). Нестабильность грамматического рода свойственна и современным говорам (Блинова, 1965).

Наличие вариантов в языке побуждает поэтов не только воспроизводить их, нагружая новыми смыслами, но и создавать новые варианты, распространяя данную системную аномалию на все более широкий круг лексики. В результате язык поэзии демонстрирует нам окказиональную родоизменяемость существительных, в какой-то степени приближая современное состояние языка к прошлому.

а) Родовые варианты существительных

Поэты часто напоминают нам об утраченных возможностях языка. Покажем здесь употребление архаических форм среднего рода (в лингвистике установлено, что эта категория подвержена постепенному исчезновению – см., напр.: Высотский, 1948):

К тому же в древности народы назывались «языками», и это тоже значимо для метафоры «язык – хазар». Такое понимание строки Лосева поддерживается и поговоркой «Язык мой – враг мой».

Увела меня веревка вера
или надя – имени ей не дал.
Чернь башка, мой камень вдохновенный
падаешь в развернутое **нерво**.
Как я шел: как прохлока под током
бешеным, как лопались сосуды
прорастали очи – я не трогал
тел случайность – прожигал до сути
(Иконников-Галицкий, 1995-а: 35)

Вот здесь и лечь – нет сладостнее почвы –

и натянуть на голову **дерно**.
(Бобьшев, 1992-б: 80)

Мы ль... Но забудь эту присказку мыльную.
Ты ль позабудешь про сторону тыльную
дерева, где вороньё?
Нам умирать на Васильевской линии!
– отогревая тряпицами в инее
певчее **зев** своё.
(Кублановский, 1993: 242)

Эти три примера с ненормативным средним родом объединены не только общностью грамматического сдвига, но и содержательно – изображением будущей смерти. Средний род слов *дерно*, *нерво*, *зев* – грамматический архаизм (а *зев* – одновременно и лексический – ср. устаревшее *зев* – ‘горло’). Архаизация языка прямым образом связана с темой смерти – и потому, что сознание представляет ее себе как вечный покой, и потому, что смерть архетипически интерпретируется как возвращение к предкам, а значит, и к их языку, и потому, что представление о потустороннем мире в современной русской культуре связано с библейскими образами и символами, а следовательно, и с языком Библии.

Вероятно, средний род важен здесь не только как элемент языковой архаики, но и как актуализатор отвлеченности, отстраненности предмета, что способствует символизации этого предмета.

б) Изменение морфологического облика существительных

Тот факт, что в языке есть родовые варианты существительных, порождает у поэтов потребность испытать существительные на возможность их изменения по родам¹⁸⁷ для передачи новых смыслов. При этом язык предоставляет немалое пространство для таких экспериментов – это, как и при аномалиях согласования, слабые участки системы – места, где нормативным языком не отрегулирован (а иногда и не может быть отрегулирован) механизм устранения противоречий. Так, например, в стихотворении В. Сосноры «Баллада Эдгара По» ворон назван словом *птиц*:

Вот ворвется с тростью Зверя

Гость!

<...>

Я открыл окно из тучи: рассекретить тайность трости.

И взошел, бесцеремонен, ворон племени ворон.

<...>

Ты не трус, физиономья, Гость из Книг. Труба финаля...

Как, ответь, твоя фамилья,

птиц?

«Никогда!» – **ответил птиц** мне... Дикция-то! – радьо-песне!

Мужа речь. Два льда в две чаши? Или – в залп и не до льда?

Я, с лицом не социальным, с серпами волос и с сердцем,

осчастливлен созерцаьем врана класса «Никогда».

<...>

Существо сие в бинокле сидит на скульптуре-бюсте,

перо в перстнях и наперстках, с пряжкой в башмаке – нога.

<...>

Что ж ты **подразумевала, птиц мой**, вран мой после зала,

где мой Рим рукоплескала публика оваций-сцен?

<...>

¹⁸⁷ В данном случае речь идет не о гипотезе А. В. Миртова, который предложил считать родоизменяемыми существительные, способные обозначать качество: *он красавец, она красавица* (Миртов, 1946).

Будь ты **проклят, птиц-заика**, Nevermore есть слово знака
из латыни льдинка звука, – испаряется вода.
Ты, владелец птичьего тельца, ты, оратор, ты, тупица,
так в моем санскрите текста этот знак уже – вражда.
В этом доме на соломе, в этом томе на слаломе
мифов, грифов, – веселее
нам, висельщикам «всегда».

(Соснора, 1988: 166–168)

Механизм транспозиции в этом случае связывается прежде всего с влиянием гипонима – слова *вóрон* – и с метафорой «ворон – alter ego поэта», а такая метафора очевидна и в тексте-источнике Эдгара По, и у Сосноры. У слова *вóрон* в языке особые отношения со словом *ворóна* – отношения псевдородовой корреляции. В приведенном фрагменте это эксплицировано: *ворон племени ворон*. Может быть, слово *птиц* из текста В. Сосноры относится к слову *птица* из общеупотребительного языка¹⁸⁸ как название *вóрон* к названию *ворóна* (разница не для орнитолога, а для обычного носителя языка состоит, видимо, в символике, коннотациях, фразеологических связях: ворон представляется гораздо более зловещей птицей (см., напр. : Гура, 1997: 541–542).

В стихотворении Сосноры можно видеть и дополнительные мотивации к изменению рода. При первом вхождении в текст *птиц* – обращение, а в современном разговорном языке широко распространены усеченные существительные, трактуемые как новая звательная форма: *мам, пап, Маиш, Серёж* и т.д. Далее слово *птиц* интерпретируется как существительное мужского рода: *ответил птиц мне*. Затем Соснора пробует освоить ситуацию, называя своего странного гостя обобщенно в среднем роде *Существо сие в бинокле* (а это можно трактовать как возможность восприятия существа и как мужской, и как женской персоны). При дальнейшем изложении событий слово *птиц* в пределах одной фразы согласовано со сказуемым в женском роде, а с определением в мужском: *Что ж ты подразумевала, птиц мой, вран мой*. То есть сказуемое ориентировано на нормативный род слова *птица*, а определение – на измененный. По-

¹⁸⁸ Слово мужского рода *птиць* (*птичь, птиць*) существовало в русском языке (см.: Словарь XI–XVII вв.–XIX: 39)

сколькo речь идет о неясности подразумеваемого сообщения, аграмматизм фразы получает функцию обозначения этой неясности.

Следующая строка тоже демонстрирует косноязычие. Она примечательна отсутствием запятых в строке *где мой Рим рукоплескала публика оваций-сцен?* Еще до прочтения вразумительного сочетания *рукоплескала публика* возникает аграмматическая последовательность *где мой Рим рукоплескала* – вероятно, с намеком на женский род латинского и итальянского названия города – *Roma*¹⁸⁹. Ср. далее: *из латыни льдинка звука, – испаряется вода.*

Заметим, что фразеологическая связь слова *Рим* с поговоркой *Рим – вечный город* вносит антитезу ключевому слову текста-источника и стихотворения Сосноры – *Nevermore, никогда.*

Для понимания всего текста важно, что автор объясняет свое косноязычие попыткой существования в разных языковых пространствах – ср. также: *так в моем санскрите текста.* Вместе с тем он говорит с вороном на «птичьем языке» – вспомним, что это выражение обозначает язык непонятный и часто звучит в упрек поэтам, чьи стихи непросты для восприятия. Поэтому, возможно, что *птиц* (в последней из процитированных строф – *птиц-заика*) – это и есть слово «птичьего языка». Ко всему сказанному можно добавить, что слово, теряющее звук, можно интерпретировать как своеобразное передразнивание английского произношения *Nevermore* (вспомним строку «*Никогда!*» – *ответил птиц мне... Дикция-то! – радьо-песне!*). А в русском языке звук из слова *ворон* исчезает, когда образуется традиционно-поэтическое слово *вран* с неполногласием, что тоже может быть значимо для толкования формы *птиц*.

А. Левин создает в своих стихах много любопытных персонажей, среди них есть *Мехий лисиц* и *Мехая лисиц*. В одном из этих текстов появляется и *пегий куриц*:

Мехий лисиц раздавался
в перепутанных кустах,
то ворочался, весь бедный,

¹⁸⁹ Приведем еще один пример влияния грамматического рода в языке-источнике (в данном случае французском) на перемену рода в русском тексте: *Ты снова со мной, криворотый Марсель / Без тебя мне так больно и трудно / Слушай, этот французская город такая чума / Тут приехал*

то о чём-нибудь вздыхал.
 Жижих мухалиц летало
 много более одной,
 серых мышлей раз за разом
 вылезало из норы
 и мерзайцев нехороших
 пробегало кто куда, –
мехий лисиц даже ухом,
 даже носом не водил!
 То ворочался всё время,
 то о чём-нибудь вздыхал,
 то лежал, такой несчастный,
 в облетающих кустах.

(Левин, 1995: 56)

На пеньке **сидела лисиц**,
 толстовата-маловата,
 напряжённо размышляя
 над проблемой похудеть.

«Вот, к примеру, – размышляла, –
 пролетает **пегий куриц**.
 Но куда он пролетает,
 если – как его поймать?!
 А захочешь, – размышляла, –
 съесть приятного мерзайца,
 так за ним бежать придётся!..
 Нет, худеть, худеть, худеть...»

(Левин, 1995: 57)

В данном случае грамматическая транспозиция *лисица* → *лисиц* совмещена с фразеологической трансформацией сочетания *лисий мех*. Перемена женского рода на мужской в первом из этих стихотворений кажется искусственной, так как в основе сохранен суффикс женского рода¹⁹⁰. Кроме того, в языке име-

какой-то с картинками что ли с текстами (Шостаковская, 1999; б/п). Марсель назван криворотым, очевидно, с намеком на артиста-мима Марселя Марсо.

¹⁹⁰ Ср.: «Дериваты на *-ица* от наименований животных жен. рода в древнерусский и старорусский периоды являются дублетами производящих слов; это, видимо, первичные деминутивы: *бъчелица* <...>, *кобылица*. <...> Ряд названий животных на *-ица* уже в древнерусском языке пред-

ется родовая корреляция *лиса* – *лис*. Но ведь слово *лиса* не маркировано по роду, хотя оно имеет грамматический женский род¹⁹¹. А раз оно не маркировано, значит, может быть взята и другая основа – с суффиксом. Получается, что автор усугубляет уже имеющийся в языке конфликт. Но все же в пределах первого текста такое словообразование кажется обозначением пола. Потом станет ясно, что это обманчивое впечатление: автор создает соотносительную пару *Мехий лісиц* и *Мехая лісиц*. Получается, что окказионализм *лісиц* наследует от общеупотребительного слова *лиса* (а также и *лисица*) недифференцированность рода. Почти не заметный конфликт языковой системы обостряется в этих текстах до предела.

Введением нового персонажа, который называется *пегий куриц*, Левин продолжает развитие грамматического сюжета, образно говоря, своеобразного детектива о роде. Для стихотворного текста может быть существенно, что первый слог слова *пегий* совпадает с начальным слогом слова *петух*, супплетивно соотносительного со словом *курица* по обозначению пола. Вспомним, что слово *кур* раньше обозначало именно петуха. Левин как будто напоминает, что род существительного должен определяться не основой, а окончанием.

Учитывая многоаспектную языковую игру во многих стихах Левина и его типичную для современной поэзии склонность к фразеологическому и цитатному подтексту, не слишком фантастичным было бы предположение, что скрытым источником родовых транспозиций является басня И. А. Крылова «Ворона и Лисица», название которой соотнесено с языковой парой *ворона* и *ворон*. Логика перемены рода такова: слово *лисица* вызывает устойчивую фразеологическую ассоциацию с *вороной*, а если в языке есть слова *ворона* и *ворон*, значит, могут быть *лисица* и *лісиц*. Не исключено, что ударение перемещается со второго слога на первый в результате именно этой аналогии. Обратим вни-

ставлен некоррелятивными образованиями, в основном это опрошенные слова: *галица* <...>, *гърлица* <...>, *зегзица* <...>, *куница* <...>, *ластовица* <...>, *синица* <...> и др.» (Азарх, 1984: 118) «Данный словообразовательный подтип в современном русском литературном языке является непродуктивным, и отбрасывание флексии –а осознается как способ словообразования лишь окказионально, например: "Птица – она, птиц – он, тут и думать не над чем" (В. Осеева, Динка)» (Копелиович, 1977: 10). Но слова мужского и общего рода на –ца в языке есть: *возница*, *пьяница*, *убийца*.

¹⁹¹ Важно, что именно грамматический род этого слова определил художественный образ лисы как фольклорного персонажа: в славянских сказках «*Лиса* – только кума, хозяйка, сестрица вол-

мание на то, что *Мехий лісиц* и *Мехая лісиц*, как и *Лисица* Крылова, озабочены добычей пропитания.

В другом стихотворении А. Левин образовал форму мужского рода на основе падежной омонимии – при каламбурном переосмыслении пословицы *горбатого могила исправит*:

Ходит **горбатый Могил**,
лепит чернуху из грязи,
сунет морковку ей в нос,
долго чернуха стоит.

<...>

Страшный немного **Могил** –
зато исправляет горбатых,
только его самого
не распрямить никому.

(Левин, 1995: 199)

При транспозиции *могила* → *Могил* омонимическая игра формами именительного падежа женского рода и винительного падежа мужского рода сопровождается перверсией в оппозициях «субъект – объект», «живое – неживое», «динамика – статика».

Одним из противоречий категории рода является современное расхождение между грамматическим и семантическим родом у слов с экспрессивными суффиксами *-шик-*, *-иц-*. Приведем такой пример:

а Гражданин **Майориц** говорит,
что на дворе эпоха развитого
социализма, и Система Си
является системой строгих мер
и носит чёткий классовый характер.

(Строчков, 1994: 47)

Слово *Майориц* окказионально и в грамматическом отношении (в языке суффикс *-иц-* несовместим с нулевым окончанием именительного падежа слов

ка. Дети у нее есть, но самец *лисовинь* совершенно игнорируется» (Потебня, 1968: 482). Слова выделены А. А. Потебней.

мужского рода), и в словообразовательном (узуально слово *майорище* не употребляется). Появление такой формы мужского рода в тексте может быть вызвано несколькими причинами: диктатом смысла, подавляющего форму (мужской пол персонажа), синтагматическим влиянием слова *гражданин*, парадигматическим влиянием слова *товарищ*, редукцией конечного гласного. Художественный эффект преобразования можно видеть а) в создании своеобразного прозвища – достаточно уважительного, что обеспечивается увеличительным суффиксом, и вместе с тем иронического; б) в подчеркнутой маскулинности персонажа – принято считать, что армия делает человека настоящим мужчиной¹⁹² (впрочем, образ среднего рода содержится в подтексте – он определен нормой образования существительных на *-ище*); в) в намеке на простейшую логику однозначных соответствий, свойственную армейскому идеалу, – здесь устанавливается соответствие рода и пола вопреки более сложной реальности языка; г) возможно, в скрытом намеке на косноязычие майора. Как считал К. С. Аксаков, в увеличительном суффиксе *-ище* «высказывается неопределенная странность, что-то чудное, необыкновенное, причем предмет принимает какой-то неестественный образ. Эта неопределенность вызывает окончание среднего рода» (Аксаков, 1880: 54). Возможно, что соображения о странности (а майор – человек из чужого для поэта социума) здесь тоже имеют значение, причем В. Строчков, устраняя средний род и сохраняя суффикс, не снимает, а, напротив, усиливает эту странность словообразовательно-грамматической аномалией.

Эксперименты с родом достигают особой остроты, когда авторы превращают в слова среднего рода термины родства (или других отношений, определяемых полом):

стул – бродячее дерево,
 которому приделали ноги,
 двоюродный брат пиджака, который висит на нём,
 как родной (кто на ком?)
Кресло – двоюродное сестро стула,
 но не родственник пиджаку

¹⁹² Обратим внимание на заглавную букву: это еще и «человек с большой буквы» – что тоже воспринимается почтительно-иронически.

Пиджак.

(Левин, 1995: 96–97)

У ворот

(вот-вот!)

о овца, как офицер

(пьяница, одеколон!)

с мордой

смотрит:

во дворе лежит бревно, – как попало, голышом...

ЧЬЕ ОНО ЛЮБОВНИЦО?

(Соснора, 1988: 123)

Оба автора создают резкое противоречие между грамматической принадлежностью окказионализмов среднего рода и значением исходных слов *сестра* и *любовница*. Но в обоих контекстах грамматический сдвиг осуществлен при метафорическом употреблении слов, причем субъектом антропоморфной метафоры оказались деревянные предметы (*кресло*, *бревно*). Грамматическая и лексическая метафоры противоположны по своим направлениям: лексическая метафора одушевляет и антропоморфифицирует предметы, а грамматическая обозначает лицо (причем входящее в сферу самых личных отношений) как предмет.

Нарушая все логические связи между грамматическими и лексическими свойствами исходных слов, А. Левин и В. Соснора устанавливают другую логику – логику контекста, основанную на возможных системных связях и на сочетаемости этих слов.

Во-первых, в самом слове *сестро* нет ничего невероятного: именно такой и была звательная форма, до сих пор существующая в языке церкви. Во-вторых, субъект метафоры – *кресло* – слово среднего рода. *Сестро стула* – предикативное определение кресла, а определения должны принимать форму опре-

деляемого. В-третьих, раньше существовала форма *стуло*¹⁹³ (слова *кресло* и *стуло* принадлежали к одному грамматическому роду, но оказались разделены дальнейшей судьбой). К тому же *стул*, согласно логике контекста, – *бродячее дерево*, а слово *дерево* тоже среднего рода. Последовательность слов *но не родственник пиджаку* находится в двусмысленной синтаксической позиции: сначала эта синтагма кажется предикатом к субъекту *кресло*, аграмматичным в отношении рода, а затем (после паузы строфического переноса) оказывается все же отнесенной к субъекту *пиджак*, то есть грамматически правильной. Зато отрицается очевидное лексическое тождество: *но не родственник пиджаку // пиджак*. Таким образом, текст и на уровне синтаксиса воспроизводит структуру противоречий.

У Сосноры первостепенное значение имеет, вероятно, фразеологическая производность и слова *любовнице*¹⁹⁴, и фразы *во дворе лежит бревно*, – как *попало*, *голышом* от поговорки *лежит как бревно* (о таком поведении женщины в постели, которое делает ее как бы бесполой). Фразеологией (поговоркой *смотрит как баран на новые ворота*) определено содержание этого фрагмента – заключительного в стихотворении «У ворот (Лубок)». Собственно, смотрит овца. Ее взгляд похож на мутный взгляд пьяницы-офицера (отметим созвучия в словах *овца* и *офицер* [аф] – [аф]). Вопрос *чье оно любовнице?* – похож на перевод вопроса *кому оно принадлежит?* с языка овцы на язык офицера, сексуально озабоченного и неспособного нормально связывать слова.

Между тем полный контекст показывает, что эта лубочная картинка на самом деле гораздо страшнее, чем представляется ее персонажам. Эти ворота – на тот свет, овца – должно быть, жертва, идущая на заклятие, а бревно – труп, возможно, чьей-то любовницы. Приведем предыдущую строфу:

У ворот еще и ель
ветви – в щеточках зубных
(прилетает на хвою)

¹⁹³ См.: Обнорский, 1927: 33. О двух противоположных тенденциях – к утрате среднего рода и к образованию абстрактных и собирательных слов среднего рода см., напр.: Обнорский, указ. соч.,: 65–66; Высотский 1948; Самойлова 1987; Пильгун 1993.

¹⁹⁴ Заметим, что форма [*любовнице*], в отличие от формы *сестро*, никогда не существовала в литературном языке: безударное [о] не является системно возможным после [ц]. Но в окаяющих говорах произношение типа *маслицо* все же встречается.

птица Хлоя в «ноль» часов
 чистит зубы – все целы!
 Хлоя – людоед)
 Щеточки – в крови
 (Соснора, 1988: 123)

И тогда средний род слова *любовницо* оказывается связанным не только с неполноценной жизнью, но и со смертью.

Таким образом, почти одинаковое окказиональное изменение женского рода на средний в этих двух текстах оказалось способным выразить противоположные смыслы. У Левина текст жизнеутверждающий (в алогизме антропоморфной метафоры Левин идет дальше обэриутов, оживляя самое неживое), а у Сосноры – крайне пессимистичный (обозначая средним родом живое, автор перемещает его в сферу небытия).

в) Родовая гиперкорреляция

Современные поэты стремятся представить категорию рода как имеющую более строгую регулярность в корреляции мужского рода с женским, чем предлагает узуальная лексика. Это становится возможным, например, на основе вариантности, не имеющей отношения к полу:

Сказала **микробу микроба**,
 Сказала супругу супруга,
 Сказала она: «До гроба
 Мы будем любить друг друга!»
 (Эзрохи, 1995-а: 26)

В цитированном тексте дана и модель родовой соотносительности: *Сказала супругу супруга*.

В сферу родовой корреляции вовлекаются и части речи, которые в современном языке находятся вне категории рода:

Взять покров из глаза рыбы,

там, где лает вдовья сфера,
там, где кучами зарыты
господа да офицеры.

И **четырь** идет к **четыре**:
голоса скупой равнины –
декабристы из Сибири,
эмигранты из Берлина.

Все в единый ком сваялось –
крики игровых рамен,
ответ фары, и усталость,
и черкеска с газырями.

(Лаптев, 1994: 11)

В этом тексте, основанном на символике чисел, словами *четырь* и *четыре* (дат. п. от [*четыра*]) персонифицирована смерть, чему способствует именно категория рода, поскольку родо-половая корреляция свойственна только одушевленным существительным. Существенно, что числительное *четыре* – по происхождению форма мужского и среднего рода, а женский и средний род были выражены формой *четыри* (аналогично различались родом формы *трие* и *три*). Средствами современного русского языка воспроизведены, хотя и со сдвигом, отношения, которые существовали в прошлом: значение ‘четыре’ (мужск. р.) передано окказионализмом мужского рода *четырь*.

Довольно часто у разных авторов находим окказиональные словообразовательные корреляты женского рода таким словам, которые в норме не выражают половых различий¹⁹⁵:

Уменьшая учица,
над столом склонённая,
щурится, **очкарица**,
вредница-ехидница.

(Левин, 1995: 178)

Пока в груди болот скрывает ряска ранку,

¹⁹⁵ См. подобные примеры также в книге: Ионова, 1988: 55–61.

Иван сквозит зрачком стоячих вод **посланку**.

(о лягушке – Крепс, 1996: 206)

О Муза бойкая **пришлица**

меняющая живо лица.

(Ровнер, 1992: 22)

паутиной подернута влажной

махаонша таинственной речи.

(Кальпиди, 1995: 105)

Засим имелся сеновал,

овен с **овницею**, говяды.

(Левин, 1995: 75)

Целый день была домашней кошкой,

день еще побыв цепной собакой,

ночь болталась **лебедицей** в клетке.

(Щербина, 1991: 59)

Кувьркаются зеленопятые какаду и **какадушки**.

(Кропивницкий Л., 1990: 87)

Иногда оказывается возможной перемаркировка коррелятов окказиональной вторичной суффиксацией:

метаморфоз **козлицы** без хвоста

в сатира фавна и подобие скота.

(Кузьминский, 1995-а: 49)

Такая перемаркировка вызвана ослаблением соотносительности родовых коррелятов в результате развития у каждого из них собственных коннотаций: с образом Сатира связан козел, а не коза.

В такой активности авторского словообразования можно видеть указание поэтов на то, что в системе языка есть вполне четкие деривационные модели, но родовая соотносительность выражена нерегулярно и открыт широкий простор для заполнения пустых клеток системы. Многие родовые корреляты

относятся к разряду потенциальных слов. Можно было бы сказать, что такие слова, как *очкарица, посланка, пришилица, лебедица*, являются фактами языка, не представленными в нормативной речи. Экспериментальная поэзия обнаруживает настойчивое стремление к переносу системно упорядоченных элементов языка в речь.

3. Омонимия, полисемия и грамматический род.

Во многих стихах встречается каламбурная псевдокорреляция – столкновение слов с омонимичными основами и различными окончаниями грамматического рода: как *прочий полк поэтов (ныне – полка <...>)* (Гандельсман, 1995-б: 9); *Но это может быть недоказуемым, / Как Подлежащая, обьятая Сказуемым* (Головин, 1994: 73). Рассмотрим один из текстов, в котором омонимия, наложенная на перемену грамматического рода, – не просто игровой прием, а такой элемент поэтики, который придает тексту трагическое звучание:

Тридцать первого числа
в небе лампа расцвела,
тыща жёлтиков стояла,
а кругом трава росла.

Гроздья белые с каштанов грузно свешивались вверх.
Мы носили нашу сумку в продуктовый магазин,
мы меняли наши деньги на картошку и батон,
мы смотрели, что бывает тридцать первого числа.

Тридцать первого числа
лета красная пришла.
Пудель белая бежала,
мелким хвостиком трясла.

Серый ворон хрипло кричал шерстяною головой.
С червяком скакал довольный предпоследний воробей.
Кот мяукал Христа ради, разевая нервный рот,
с ним задумчиво ходила кошка, полная котят.

Тридцать первого числа
жизнь весёлая была,
даже музыка играла
тридцать первого числа.

В третьем-пятом магазине мы купили молока.
Нам играли трали-вали в полыселой голове.
Мы смотрели мульти-пульти в минусовые очки,
и тягучим чёрным мёдом солнце плавилось во рту.

Тридцать первого числа
наша очередь пришла,
чья-то ласточка летела,
Лета красная текла.

А за нею, ближе к ночи, нам отведать довелось
асфоделевого мёда на цветущем берегу,
где стоим мы, прижимая к нашей призрачной груди
две картонные коробки с порошковым молоком.

(Левин, 1995: 104)

Первое употребление словосочетания *лета красная* – традиционный поэтизм фольклорного происхождения *лето красное* со сдвигом в роде. Замена среднего рода женским имеет прочную опору в народном языке: это диалектная утрата среднего рода словами с непроизводной основой в результате редукции заударного слога¹⁹⁶. В той же строфе и слово *пудель* меняет свой род, напоминая историю слова *лебедь*, у которого есть то же определение, но в качестве постоянного эпитета: *лебедь белая*.

Картина счастливого беззаботного лета постепенно наполняется едва уловимыми тревожащими деталями, они накапливаются, и становится ясно, что это признаки конца света. Появляется *чья-то ласточка* – вероятно, мандельштамовская – ср. строки:

¹⁹⁶ Дополнительной причиной изменения могла быть и аналогия слов из той же лексико-семантической группы: *зима, весна, осень*. Ср. с франц. *été* 'лето', изменившим женский род на мужской под влиянием других названий сезонов (Пауль, 1960: 318; Есперсен, 1958: 266).

Когда Психея-жизнь спускается к теням
 В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной, –
 Слепая ласточка бросается к ногам
 С стигийской нежностью и веткою зеленой.

(Мандельштам, 1995: 152)

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
 Слепая ласточка в чертог теней вернется

(Мандельштам, 1995: 152)

Ласточка – ‘душа’. Знаменитые строки Мандельштама про ласточку ведут за собой тему забвения¹⁹⁷, и непосредственно за «ласточкой» у Левина следует строка *Лета красная текла* (теперь *Лета* с заглавной буквы).

Перемена рода повлекла за собой омонимичное существительное, оно придало другой смысл слову *красная* (теперь ‘кровавая’). Вслед за тем и глаголы *пришла*, *текла* обнаруживают свою полисемию. То есть оказывается, что слово *пришла* уже при первом появлении относилось не только к наступлению лета, но и к смерти (возможно, что женский род слова *смерть* и дал первый импульс сдвигу *лето* → *лета* → *Лета*). А слово *текла* подходит не только для того, чтобы говорить о реке, но и для того, чтобы сказать о времени. Совсем стертая языковая метафора *течение времени* находит опору в одинаковом звучании слов *лето* (‘одно из времен года’) и *Лета* (‘река забвения’ или ‘река времен’). Это стихотворение Левина оказывается связанным и с предсмертными стихами Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...».

Для текста Левина принципиально важно, что полисемия слов обнаруживается не сразу. Ведь и на сюжетном уровне речь идет о сигналах, которые не сразу воспринимаются. В частности, и то, что обиходное выражение *тридцать первого числа* означает ‘конец света’. Грамматико-семантический сюжет текста – волна смысловых сдвигов, порожденная неустойчивой принадлежностью слова к определенному грамматическому роду, – полностью соответствует

¹⁹⁷ Мандельштамовский подтекст можно видеть и в сочетании *асфоделевого мёда*: стихи Мандельштама «Еще далёко асфоделей Прозрачно-серая весна...» – тоже о неузнаваемом приближении смерти. «*Асфодели* (сем. лилий) – в Греции цветы траура: на асфоделевых лугах в Аиде, по греч. мифам, находят приют души умерших» (Мец, 1995: 548).

сюжету повествования: смерть неизбежна и неузнаваема, хотя во всем видны ее приметы.

Рассмотренный текст показателен и в том отношении, что проявляет одну из самых важных особенностей современной поэзии: давно известные и даже банальные приемы языковой игры (зд. – совмещенная омонимия) выводятся из игровой сферы. Это становится возможным благодаря максимальной функциональной нагруженности слова и формы.

Итак, категория рода – предмет постоянной языковой рефлексии, языковой игры – прежде всего потому, что она непоследовательно мотивирована в языке и нечетко структурирована на разных участках системы.

Перемена рода в современной поэзии, которая может показаться на первый взгляд произволом авторов и насилием над языком, вызвана многими факторами. У талантливых авторов она всегда мотивирована. Часто именно грамматические аномалии сигнализируют о том, что род существительного по своей природе – категория знаменательная. Если в общеупотребительном языке мотивация ослаблена или утрачена, то поэты грамматическими сдвигами пытаются восстановить равновесие между формой и смыслом, при этом, как правило, вопреки норме доминируют семантическое согласование и словообразовательные модификации, диктуемые значением слова. Отказ от нормативного смыслового согласования, который тоже встречается в поэзии, сигнализирует о том, что смысловые основания для установления грамматического рода могут быть иными, чем те, которые определены нормой.

При расхождении синтагматического и парадигматического рода, которое объективно существует в языке, авторы художественных текстов нередко предпринимают попытки привести синтагматику в соответствие с парадигматикой.

В лингвистических экспериментах поэтов большое влияние на род существительного оказывают системные отношения (синонимия, антонимия, омонимия), фразеологические и текстовые связи слова. Для поэтов рифма и паронимия – тоже элементы языковой системы, способные влиять на грамматическое значение.

Современной поэзией активно осваивается семантический потенциал среднего рода – и в конструкциях ненормативного согласования, и в морфоло-

го-словообразовательных аномалиях. Можно сказать, что поэты сопротивляются утрате среднего рода, свойственной общеупотребительному языку.

Изменение грамматического рода в художественных текстах нередко определено такими тропами, как сравнение, метафора, олицетворение. Если олицетворение вызывает перемену рода уже в фольклоре и классической литературе, то обусловленность ненормативного рода сравнением и метафорой более свойственны именно поэзии последних лет. В некоторых текстах обнаруживается сложное взаимодействие лексической метафоры с грамматической. Особое значение в поэзии постмодернизма приобрела травестированная цитата, которая тоже оказалась связанной с изменением рода существительных.

Окказиональные изменения часто указывают на возможную перемену приоритетов, определяющих род, что бывает связано с динамикой языка, и в частности, с его прошлыми состояниями.

VII. СИНТАКСИС И СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ

Я хочу написать стихи корявые-прекорявые,
 Кирзовые, скрежещущие, бессмысленно хихикающие,
 Чтобы хрюкало, вякало, ревело коровою,
 И торчало, как волосья плохо подстригши,
 Чтоб кидало и в сон, и в смех, и в задумчивость,
 То мелко семена, то грубо раскорячась,
 И чтоб постепенно, теряя дымчатость
 И приобретая прозрачность,
 Из них вырастал
 Кристалл.

(Ким, 1990-б: 32)

Поэтическая речь принципиально не может быть синтаксически адекватна практической, даже при полном совпадении слов и порядка слов в высказываниях, поскольку «особая ритмико-интонационная структура как основное организующее начало поэтической речи» непосредственным образом влияет на ее синтаксическую структуру и воздействует на семантику и функции синтаксических средств языка в поэтических текстах (Ковтунова, 1986: 14).

Анализ аномальных синтаксических явлений в современных текстах с учетом динамических процессов языка неизбежно требует взгляда и в прошлое, и в будущее, так как поскольку многие отклонения от нормы могут быть рассмотрены и как архаизмы, и как инновации. Справедливо утверждение З. К. Тарланова, высказанное в поисках критерия для выделения архаических конструкций: «Синтаксические формы, восходящие к древнейшим эпохам, спо-

собны порвать свои прежние связи и вступать в новые отношения с иными элементами языка. Переориентация функционально-типологических связей синтаксических форм, не отделимая от разрушения традиционных, включая и генетические, отношений их, – это один из путей изменения синтаксического строя языка в целом» (Тарланов, 1981: 136). Но все же предлагаемый критерий – противопоставленность древних конструкций действующей синтаксической системе (там же) не вполне надежен, так как инновации тоже всегда ненормативны, а иногда и внесистемны. В условиях намеренного смешения старого с новым, создания принципиально двусмысленных (многозначных) текстов переосмысление связей между словами и более крупными фрагментами высказывания становится важным конструктивным элементом. Поэтому далее, показывая различные примеры синтаксических аномалий, постараемся увидеть в каждом из них проявление и архаики, и тенденций развития синтаксических отношений.

При этом обратим внимание не только на устную разновидность языка в его истории, но и на письменную, поскольку современная культура и современный язык (и особенно язык литературы) обнаруживают значительную зависимость от письменности.

1. Границы предложения, словосочетания, слова

а) Нерасчлененный текст

Древнеславянский текст до XVI в. не имел обозначенных словоразделов: «слова писались слитно от точки до точки, а в беспунктуационных памятниках – от начала до конца строки» (Осипов, 1992: 206). Во многих случаях не только границы предложения и словосочетания, но также и границы словосочетания и слова не были фиксированы. Служебные слова, не имеющие собственного ударения в потоке речи, объединялись со знаменательным словом, образуя новые слова, особенно часто союзы, частицы, наречия, например, *даже, понеже, наверх, поделом*. На границах слов происходили ассимилятивные процессы, стяжения: слова, сливаясь друг с другом, могли утрачивать некоторые звуки, слоги

(из чрева → ищрева, прийти → прити, не есть → несть → нет, есть ли → если). При чтении древнеславянских текстов нередко возникают проблемы членения.

Современные авторы активно используют ритмообразующий и смысловой потенциал сплошного письма и проблемного членения (ср. приведенные выше примеры с местоимением *он*). Это соответствует общей тенденции поэзии не ограничиваться нормативными синтаксическими структурами практического языка: «Строгая категориальная (в данном случае – синтаксическая) организация препятствует тотальной связи семантических единиц друг с другом. И действительно, можно говорить об определенной асинтаксичности семантической организации поэтической речи. Дело заключается не столько в многочисленных синтаксических отклонениях, но в самой возможности семантических единиц вступать в связи, не совпадающие с синтаксическими зависимостями» (Золян, 1986: 66).

Устранение знаков препинания, приводящее к смысловой многозначности вплоть до взаимного отрицания смыслов (как во фразе *казнить нельзя помиловать*), создание текста, не расчлененного междусловными пробелами (в современной литературе это свойственно не только поэзии, но и прозе), графическая пересегментация (перераспределение границ слова в речевом потоке) выполняют много разнообразных функций. Рассмотрим несколько примеров слияния слов в поэзии¹⁹⁸. В следующих текстах можно видеть и передачу убыстренной аффективной речи, и фразеологизацию речевого фрагмента:

И то, мне кажется, знаком я с каждым:

– С какой начинкой эта карамель?

Мы любим с ягодной! – они мне скажут.

А этот плащ – «**намневеликоват**»?

«**Ацветклицу?**» «**Выпробоваливкусно?**»

«**Выходитектокрайний?**..» Невпопад

Скажу я им: – С начинкой?.. Да. С капустной...

(Хлебников О., 1989: 82)

¹⁹⁸ О слиянии слов как способе словообразования см.: Габинская, 1969; Изотов, 1994, 1995, 1996, 1998. В работах В. П. Изотова для таких случаев используются термины «голофразис», «слово-текст» и «текстословие» и приводится много примеров из современной литературы.

Я
 придет однажды босиком
 придет
 квамквам
 придет
 как говорится
«прекраснымутром»
«водинпрекрасныйдень»
«однаждыутром»
«разутром»
 разутым
 босиком
 вот босиком войдет Я войдет Я
 кулачком **квамквам** детским
 стучится
 (Мнацаканова, 1994: 23–24)

На реальное слияние слов в речи лингвисты уже давно обратили внимание: «Говорение в связи с определенными шаблонами быта влечет образование целых шаблонных фраз, как бы прикрепленных к данным бытовым положениям и шаблонным темам разговора <...> Эти фразы в силу их постоянного употребления в одной и той же обстановке становятся как бы окаменелыми, превращаются в своего рода синтаксические шаблоны; членение фразы в значительной мере стирается, и говорящий почти не разлагает ее на элементы» (Якубинский, 1986: 49).

«Склеивание» слов может выполнять изобразительную функцию:

и бысролётен, как суперцемент
 и **клеймомент**, мгновенно **вместевзятый**,
 а мимо лился воздух полосатый,
 и шли скитайцы из Уфы в Дербент.
 (Левин, 1995: 23)

Косыми щитами дождей
 заставлены лица людей,
 больница и зданье райкома,
 где снизу деревьев оскома,

а сверху – портреты вождей.

**заставлены плотным щитом
как винный отдел гастронома
и как предисловье к тому
«Всемирной истории том».**

(Еременко, 1991: 34)

Сцепления слов и словосочетаний выполняют словообразующую функцию, осуществляя тенденцию к лексико-синтаксическому способу словообразования в разных стилях и сферах языка (ср. слова, возникшие из словосочетаний и хорошо укоренившиеся в разнообразных сферах общенародного языка: *сегодня, сумасшедший, впередсмотрящий, вышеуказанный, имярек, сорвиголовы, Кабысдох, Мойдодыр*). Номинативная функция сращений видна в таких, например, стихах:

Узрев жете и па, что пляшет молодая,
Свекровь от ревности с собой не совладая,
Над ухом мужниным звенит как **Дарвалдая**.

(Крепс, 1996: 207)

Дорогой наш **Всемуголова!**
Уменьшаются в росте слова
Из числа **специально найденных**.
Против вас я – один из едва
разувидимых и наблюденных.

(Тюрин, 1989: 378–379)

Когда великий **Вдверкулез**
из дверки вылез, наконец,
над ним хрустела твердь небес
и грохотал Зевес.
Но встал на ноги **Дверкавлес**
и, голову задрал,
ужасным криком закричал
в отверстия небес

(Левин, 1995: 188)

Сращение, выполняющее номинативную функцию, и, как его следствие, переразложение элементов сочетания становятся центральным лингвистическим сюжетом стихотворения А. Левина «Шествие, или перечисление мальчиков, идущих на урок начальной военной подготовки, в порядке возрастания и прохождения»:

Много мальчиков сегодня
в школу весело шагают
по дорожке друг за дружки,
каждый чем-то молодец.

Вот шагает мальчик **с** папкой,
видно, дудущий художник, [sic!]
но ходить умеет только
папку за руку держа.

А за с папкой – мальчик с кубком,
футболист, надежда школы,
бьёт двумя он ногами,
обе правые ногI.

А за с кубком – мальчик в шапке,
потому что этот мальчик
головг чесал всё время
и досрочно облысел.

А за в шапке – мальчик с ручкой,
он умеет этой штучкой
и немножко глуповатый,
видно, дудущий поэт.

А за с ручкой – мальчик с ранцем,
он в окошки любит прыгать,
а с четвёртого эт^ожа
даже может затыжным.

А за с ранцем – мальчик с рыбкой,
в голове буль-буль карасик,
из ушей вода сочится,
затрудняя понимать.

А **за с рыбкой** – мальчик с птичкой,
только птичка улетела,
и теперь он птичку ищет
ночью, днём и в выходной.

И последним, **за без птички**,
в школу весело шагает
их товарищ подполковник,
тоже чем-то молодец.

Он учитель подготовки,
раньше был такой же школьник,
а потом от подготовки
стал советский офицер.

(Левин, 1995: 126–127)

Стихотворение показывает тот механизм, в соответствии с которым предложно-падежное сочетание оказывается способным застывать, превращаясь в слово. Косвенные падежи существительных (творительный, предложный и родительный), соединяясь с предлогами, образуют понятия и выполняют в тексте номинативную функцию. Поэтому оказывается возможным присоединение предлога (*за*) – уже к каждому из сочетаний как к цельным словам. Сочетания *с папкой*, *с ручкой*, *с кубком*, *в шапке*, *с ранцем*, *с рыбкой*, *без птички* становятся метонимическими обозначениями лица. В стихотворении это мотивировано на уровне сюжета фрагментарностью восприятия: из зримого события вычленяются четко фиксированные, одинаково организованные детали. Речь идет о военной подготовке. В употреблении таких сочетаний проявляется и механизм синтаксической элиминации (регулярно пропускается наименование носителя признака). Существенно также, что описываемые персонажи – мальчики. Автор стихотворения как будто показывает нам то, о чем писали психологи и лингвисты: в процессе овладения языком ребенок запоминает уже готовые грамматические формы (см.: Леонтьев 1965: 98–99). Кроме того, омонимическая игра порождает не вполне приличные сочетания (*за с ранцем*), что типично для подросткового озорства.

У современных поэтов есть немало и других примеров, в которых можно наблюдать столкновение двух предлогов:

Я спросил: Который час –

у у автомата.

(Йодов, Вещагин, 1994: 67)

Свить гриву колтуном,

Сбить рысь **на в три ноги.**

(Лён, 1990: 14)

крыльями членораздельно

чертит **в на небе** она¹⁹⁹

(Гандельсман, 1995-а: 49)

сучьев, умноженных **на в ночи**

скрипы их...

(Кутик, 1993:11)

В без творога ватрушке ложной

(Волохонский, 1994: 12)

в с атласом перламутровые встречи

(Бобышев, 1992-б: 9)

Два последних примера показывают, что контакт предлогов может быть вызван инверсией: в начало фразы выносятся словоформа-определитель, что типично для разговорной речи.

Оказывается, последовательность из двух предлогов – еще не предел, и появляются комбинации трех смежных предлогов:

То может быть степь. Там цветет недотрога

и суслики прячут за щеку слова:

о для по низинам бродившего Бога

шумевшейся песне забыла трава.

¹⁹⁹ Птица.

Не надо, ребята, о песне. Дриада
 стрекочет, и ладно. Забудь. **«На из в высь**
 безбогую вечно глядящего сада
 плетущейся нищенке – небо». Уймись.

(Сид, 1994: 5)

Если в тексте Левина про шествующих мальчиков механизм накопления смежных предлогов был тесно связан с метонимией и сокращением фразы, то у И. Сиды это явление вызвано прежде всего порядком слов – замысловатой инверсией. Если выстроить линейную смысловую последовательность для строк *о для по низинам бродившего Бога / шумевшейся песне забыла трава*, то получится или такое предложение: *трава забыла о песне, шумевшейся по низинам для бродившего Бога* или такое: *Трава забыла о песне, шумевшейся для Бога, бродившего по низинам*. Возможность двойной синтаксической интерпретации создает метафорическое уравнивание: *Трава шумела по низинам = Бог бродил по низинам*.

Соединение существительного с предлогом, стремящееся к субстантивации, нередко получает возможность склоняться, сохраняя в производящей основе тот звуковой комплекс, который был свойствен какому-либо из косвенных падежей:

о страшная музыка мрака
 тебя ль устранился Хирам
 не ты ли скользнула **измраком**
 зеркальной змеей зодиака
 и иглами эннеограм [sic! – Л. З].

(Ровнер 1992: 23)

В **ту пятницу**, а может, в ту субботу
 (**тупятница**, пора тебя в работу)

<...>

Тупятница моя, твоя работа.
 Притертые, мы заперты в пенале
 как, сам не знаю, – палочки для счета.

(Айзенберг, 1993: 29–30)

Обратим внимание на то, что нормативным языком вполне освоены слова, возникшие именно таким образом: *подмышка, подкорка, заграница*.

б) Пересегментированный текст

Поэтика пересегментации аналогична словесным шуткам типа *Что делал слон, когда пришел Наполеон?* (= *на поле он*); *я иду по ковру* = *я иду, пока вру*. В теоретической поэтике это называется сдвигом и расценивается как невнимательность автора, который не заметил двусмысленности: *Слыхали ль вы [львы] за рощей глас ночной* (Пушкин). Но уже А. Крученых, перечисляя случайные сдвиги у классиков и своих современников, не только смеялся над подобными обмолвками, но и писал о том, что сдвиг может стать приемом (Крученых, 1992: 33–79).

Наиболее традиционный способ обратить внимание на двусмысленность возможного восприятия речевого потока – каламбурное столкновение двух потенциальных членений:

глупо стесняться,

если

глупости снятся

(Сатуновский, 1994: 108)

Ясно вижу. Я сноввижу

череду таких событий,

что качаются деревья,

что река бежит по следу

(Залогина, 1994: 66)

Не бомжи вы небом живы²⁰⁰

(Авалиани, 1995: 4)

Это как во французском, где ото всех **ilya**²⁰¹

я все время вздрагиваю: **не я ли?**

Но оказывается – не я,

и не только – не я, но вообще – не звали.

²⁰⁰ Текст расположен в виде окружности.

²⁰¹ Один из самых употребительных оборотов французской речи *Il y a* ('есть, имеется, находится'). Автора этого текста зовут Илья.

(Кутик, 1993: 71)

Чаще авторы предлагают читателю самому увидеть разные возможности вычленения слов из потока речи. В следующих примерах многократный повтор одних и тех же слов превращает их в другие слова:

там и мать
мать мать
матьматьматьматьматьмать
Родина
сыра земля

(Некрасов, 1989: 89)

– Как же! Ответил волк за овечек!
Я за им **гналаси**
а он восвояси
Ответим на происки Хайли Селаси!

<...>

слепо...
гналаси...
слепослепослепослепослепослепослепослеПОСЛЕ²⁰²
гналасигналасигналаСИГНАЛА

(Вознесенский, 1990: 16–17)

я ел оранжевый **омлет**
и плюшки следом
мне было ровно двадцать лет
однажды
ЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМЛЕТОМ...

но корм как видно не в коня –
ворчала бабка
кабаньим глазом на меня
косила
БАНКАБАНКАБАНКАБАНКАБАНКАБАНКАБАНКАБАН...

крамольных мыслей в голове

желтела цедра
и я валялся на **траве**
под пенье
ВЕТРАВЕТРАВЕТРАВЕТРАВЕТРАВЕТРАВЕТРАВЕ..

но чья-то правая **рука**
с копьем на пару
мне предвещала свысока
земную
КАРУКАРУКАРУКАРУКАРУКАРУКАРУКА...

(Гецевич, 1995: 6)

Наиболее развернутый пример пересегментации текста с превращением одного слова или словосочетания в другое имеется у Д. Авалиани. В его тексте из 47 строк оказывается существенным не написание, а звучание слова. Вот начало этого текста:

Вот лето.....атлетов
летопись-то.....пистолетов
то хиппи.....петухи
делится.....лицедей
надвое.....война да война
на семь.....семена
сей, раз день.....разденься
настрой.....стройная
на лад.....ладно

(Авалиани, рукопись)

Нередко исходный текст является цитатой, а ее преобразование-пересмысление осуществляется иным членением речевого потока:

Нас тьмы

и тьмы и тьмы

и тьмы и тьмыитьмыть

²⁰² Обратим внимание на то, что внутри строки стоит сигма – математический знак суммы.

мыть и мыть²⁰³

(Некрасов, 1989: 55)

За писк и сумма с шедшего²⁰⁴

(Строчков, 1994: 292)

Шумелка-мышь²⁰⁵ вскоробкалась на ящик

(Левин, 1995: 21)

Там на Неве дом...²⁰⁶

(Гандельсман, 1995-б – название сборника)

Подобное остранение текста сравнимо с многочисленными воспоминаниями каждого человека о детских ошибках в восприятии новых фраз. Собственно, и эта ситуация отражена в поэзии:

Мой отец,

Железом завалив полкоридора,

Мне чинит двухколесный в том углу,

Где **тримушки рассеянного Тёра**²⁰⁷

Шуршали всю ангину. На полу –

Ключи, колеса, гайки. Это было

(Гандлевский, 1995: 71)

Ритм стихотворной речи во многих случаях создает несинтаксические паузы, и это приводит к перераспределению границ между синтагмами. Это отчетливо проявляется, когда одно из слов оказывается в пределах составной (каламбурной) рифмы и превращается в энклитику (в безударное слово, примыкающее в потоке речи к предыдущему)²⁰⁸:

²⁰³ *Нас тьмы и тьмы и тьмы* – А. Блок, «Скифы».

²⁰⁴ *Записки сумасшедшего* – Н. В. Гоголь.

²⁰⁵ *Шумел камыш* – песня.

²⁰⁶ *Там на неведомых дорожках* – А. С. Пушкин. Интертекстуальность заглавия книги Гандельсмана отмечена единственным критиком – Л. Панн (Панн, 1998: 44).

²⁰⁷ *Три мушкетера* – А. Дюма.

²⁰⁸ Этот прием, восходящий к средневековому балагурству, давно освоен поэзией. Он активно использовался в сатирической и в игровой поэзии еще в XIX в., например, в стихах Д. Минаева. Каламбурные рифмы – яркая примета стиля Я. Козловского. В. Маяковский выводит этот прием

Выдает себя **желе** за
усталое **железо**.

(Виноградов Л., 1997: 459)

Следующий контекст показывает и преобразование предлога-проклитики (безударного предлога перед знаменательным словом) *на* в энклитику, и потерю ударения сокращенным архаическим местоимением *мя*:

На фоне квадрата окна –
тяжелый квадрат **чемодана**,
и фикус, и юноша, на
последнем – очки, **борода; на**
часах, что содержат песок –
какое-то новое **время**:
тулупов и теплых носок...
вернее – носков; на **дворе мя**
(меня) выгибает в дугу.

(Сычев, 1999: 39)

Показательно, что в таком контексте местоимение *мя* воспроизводит условия и механизм преобразования местоимения *себя* в постфикс *ся*, формирующий возвратные глаголы типа *мыться*. То, что это *мя* ритмически примыкает к существительному, хотя синтаксически относится к глаголу, только подчеркивает (заставляет заметить) энклитичность местоимения. Пояснение слова *мя* в скобках еще больше отрывает местоимение от глагола, напоминая о том, что в древних текстах возвратное местоимение *ся* часто бывало отделено от глагола другими словами.

В позиции стихотворного переноса, когда ритмическая структура текста входит в противоречие с синтаксической, нередко нарушается не только цельность синтагмы, но и цельность слова. Традиция переносов, идущая от XVIII в. (см.: Лобанова, 1981) и получившая наибольшее развитие в поэзии Цветаевой (Эткинд, 1978; Зубова, 1989; Лосев, 1991, 1992), активно способствует поиску

за пределы языковой игры. У многих современных авторов можно видеть попытки применения этого приема в новых формах и с новыми функциями.

новых способов обострить конфликт между цельностью и фрагментарностью речевых последовательностей – уже не только между ритмом и синтаксисом, но и между ритмом и словообразованием. Уже в начале XX в. и Цветаева, и другие поэты, особенно футуристы, разносили фрагменты слова по разным строкам. В наше время этот прием продолжает развиваться. Так, например, в поэзии В. Казакова при разрыве слова регулярно устраняются орфографические знаки переноса. Этим достигается еще большая самостоятельность каждой из частей разделенного слова, поскольку удлиняется межстиховая пауза. Когда это происходит в нерифмованных стихах, поэтический перенос освобождается и от структурного подкрепления:

ветер уносит себя самого туда где даль
и времена. а я как памятник босой **вде**
ваю пятки в стремя. мой конь северо-
западный несет туман в своем седле, **чу**
гунным шрифтом завершая мосты **приснивши**
еся мне. а дальше? лишь забава, прогулки
конные вдвоем: пришпорена беседа любви
старинным огоньком.

(Казаков, 1995: 76)

был нежен поцелуй, как пламя: чем **боль**
ше времени вокруг, тем кратче **срублен**
ное нами за далью огражденных рук

(Казаков, 1995: 96)

В современных текстах нередко встречается регулярное перераспределение границ между словами даже внутри строки. Перемещение словоразделов в следующем примере превращает текст в глоссолалию (справа словоразделы восстановлены мною. – Л. З.). Такой текст имитирует прерывистую речь и специально затрудняет чтение:

плылтя жело надск рипкой лоб
двака пли тронув шем струну
волоскеск атились вдноз рачка
накрытойве ком окруж ностьгла за

плыл тяжело над скрипкой лоб
две капли тронувшем струну
волоске скатились в дно зрачка
на крытой веком окружность глаза

обычно делосу эта надпра комсил
живородушных ивэ тойду хоте
пронза етух о ка кгвоз дём

обычно дело суэта над мраком сил
живо род ушных и в этой духоте
пронзает ухо как гвоздём

(Суриков, 1996: 4)

В приведенном тексте перераспределение границ слов приводит к намеренной невнятице-глоссолалии. Чаще можно встретить наложение дополнительного осмысленного текста на основной, построение каламбурного типа.:

Тихое **ши пение** пласт **инки**,
шо пот зашиваю **щей** иглы,
динькают **ли тавры**, словно льдинки
в черной **пр ору би**

таинст венной игры

(Мельников, 1990: 139)

Для современной поэзии типична ситуация, когда внутри слова появляются знаки препинания, вставки, поправки и добавления. Вспомним этимологическое расчленение слов *воз-дух*, *к(о)роль(ик)*, *об/в-ернуться* (Голынкин-Вольфсон), *на двор(ц)е*, *ве(т)ер* (Альчук), *в право*, *славии* (Бурихин), *стихо-о! Твореньях* (Шельвах) и приведем еще несколько экзотических примеров, чтобы показать разные способы внедрения каких-либо элементов внутрь слова.

Обычными средствами актуализированного членения слова являются дефис или тире, но встречаются тексты и с другими, более выразительными, интонациями например, запятыми, восклицательными знаками, пробелами:

Беспамятство стен,
Десятичные дроби.
Страх
оши, биться в опре, деленьи порядка.
Черные окна,
словно **эк, раны**
по, тухших дисплеев в облупленных
рамах,
как в **пери, оде**

тянутся по фасаду
 Ночь
 приближается по траектории
ка, мня.
 В **возд, ухе** – звон осколков окон.
 Сон
запро, граммирован!
 (Мельников, 1990: 89)

В таких текстах слово представлено анаграммой: внутри одного слова обнаруживаются другие, анализируются разные возможности осмысления.

Переразложение речевой последовательности, подразумевающее исходный нерасчлененный текст, приводит к гаплогии – к тому, что фрагменты, совпадающие при соединении слов, накладываются друг на друга, и в результате один из двух одинаковых слогов выпадает. Вероятно, в данном случае сказывается тенденция языка к редукции. В результате получается значительное уплотнение текста. Образуются многочисленные гибридные слова – *муженщина* (Сатуновский), *никудали* (Соколов), *соловерь* (Цветков) (что, впрочем, является фактом не столько синтаксиса, сколько окказионального словообразования²⁰⁹), и возникает возможность строить текст по принципу регулярной гаплогии²¹⁰. Границы слова, таким образом, устраняются настолько основательно, что их и невозможно восстановить без разрушения авторской звуковой последовательности:

Есть конверт у письма.
 Есть объем у ведра.
 Есть границы ума.
 Есть пределы **добра.**

Дотянуться до **бра...**

²⁰⁹ Здесь можно вспомнить многочисленные окказиональные слова, образованные контаминацией двух слов при совмещении морфем, слогов или звуков – типа *мартобря* Н. В. Гоголя, *берегиня* В. Хлебникова, *глубизна* М. Цветаевой. Ср. также переведенные Б. Заходером «слова-бумажники» в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Такой способ словообразования приобрел большую популярность в XX в. См., напр.: Исаченко, 1972; Янко-Триницкая, 1975; Бабайцева, 1971; Костюков, 1987; Изотов, 1998; Николина, 1996.

²¹⁰ См. примеры из футуристических текстов В. Маяковского, Г. Золотухина, В. Каменского и лингвистический комментарий к ним: Сахно, 1995: 38, 45; Штайн, 1996: 103–104.

та... ракана убить...

До утра без добра

быть собой. И не быть.

(Виноградов Л., 1997: 459)

КА-НА-ВА-ГОН-КО-БЫЛ
В КИ-НО-НЕ-ДО-МА-МА-
ША-ТА-ЛА-ПУХ-НУЛ Я-
ОТ-О-БЕ-ДА-И КЛИЗ-
МУ-ЧАЛ-КОШ-КУ-СКОМ-
СТЕК-ЛА-МПЫ.

(перевод [авторский])

Канава. Вагон. Гон кобыл.

Был в кино, но не дома.

Мамаша шатала лопух.

Пухнул я от обеда и клизм.

Мучал кошку куском стекла лампы.

(Григорьев О. , 1993: 171)

Наиболее развита эта система тотальной гаплогии в поэзии А. Горнона. Приведем пример такого уплотнения текста из его стихов:

Скрип-пенье слов – паром-о-плот,
и целина как цель-ина-че,
ориентирует
о-болт-усов-ремённой передачи
зерно
со школьных парт и проф
скор-миф на-сетке городов
немое-сей погонных мэтров
за новый выводок предметов
из колеи отката-строф.

(Горнон, 1991: 99)²¹¹

²¹¹ Этот фрагмент стихотворения «Ретро» анализируется в статье: Березовчук, 1995.

Одним из актуальных направлений современной теоретической и прикладной лингвистики является сегментология, решающая задачи членения звучащей речи на распознаваемые фрагменты. «На самом деле устная речь – это причудливое сочетание неразборчивых звуков, плохо произнесенных слогов, пауз и стяжений. И, что хуже всего, нет никакой видимой связи между разрывами в произносимых звуках и границами между отдельными словами» (Линдсей, Норман, 1974: 140)²¹². «Анализ сенсорной информации реализуется условно по ступеням, и на каждой ступени выделяются свои сегменты, которые членятся на ключевые и фоновые. При переходе от одной ступени к другой из сенсорной информации извлекаются все новые сведения» (Потапова, 1995: 7).

Тексты, построенные по принципу регулярной гаплоггии, оказываются наглядной моделью этой ситуации, перенесенной из устной разновидности речи в письменную, где дискретность должна была бы быть выраженной. При этом последовательное представление новых сведений заменяется одновременным, такие тексты запрограммированы на отказ от выбора единственно правильного чтения. Тем не менее проблема членения текста все же ставится, но она, в свою очередь, переносится из письменной речи в устную. Читая стихи вслух, А. Горнон использует наложение на магнитофонную пленку нескольких фаз своего голоса, так что многие из значений могут вычленяться. Затем происходит обратное перенесение: в графическом представлении текстов используются разнообразные полиграфические возможности – шрифты, размер букв, линия расположения, цвет и т.д. Многие тексты похожи и внешне и по существу оказываются похожими на ребусы. О поэтике А. Горнона см.: (Шифрин, 1991, 1993, 1994; Березовчук, 1995).

Исследования в области экспериментальной фонетики показывают, что в потоке речи все слоги являются открытыми, то есть оканчиваются гласными звуками (см.: Бондарко, 1977: 139). «Это значит, что между членением речи на произносительные единицы (слоги) и на смысловые единицы (морфемы, слова, фразы) н е т с о в п а д е н и я , скорее даже существует противоречие. <...> Мы "узнаем", где кончается одно слово и начинается другое <...> в первую очередь используя с м ы с л всего высказывания» (указ. соч.: 139–140). В таком случае

²¹² Авторы приводят такой пример альтернативного членения звуковой последовательности: 1)

тексты с вариантной сегментацией и гаплогией продуцируют наложение нескольких смыслов на одну буквенно-звуковую последовательность, синтаксической компрессией обостряя и преодолевая реально существующее противоречие между фонетикой и семантикой.

Вместе с тем в таких текстах можно обнаружить четкую аналогию слоговой, а также морфемной структуры текста с фонетической. В потоке речи каждый звук артикулируется таким образом, что в конце его произнесения органы речи настраиваются на произнесение следующего за ним, происходит наложение последней стадии предшествующего звука на первую стадию последующего.

Во всех случаях пересегментации речевой последовательности и тем более при гаплогии как конструктивном принципе текстопостроения возникает противоречие между предложением, словосочетанием, словом, морфемой, слогом. Ни одна из этих языковых единиц не остается тождественной себе в совокупности разных прочтений. Это отражает языковой конфликт, вполне реальный в естественной речи, особенно заметный благодаря различию в психологических механизмах отправления и получения сообщений.

в) Нелинейный текст

Одно из самых существенных отличий художественной речи от практической – заданная автором ориентация на нелинейное восприятие языковых единиц и структур, то есть на мысленное возвращение читателя к предшествующим фрагментам текста. В поэзии этот признак выражен более отчетливо, чем в прозе, хотя бы потому, что рифма и ритм задают необходимость мысленных возвращений к тому, что однажды на поверхностном уровне уже воспринято, и необходимость осознания того, что первичное восприятие недостаточно.

В современной поэзии, направленной на языковые эксперименты и допускающей поэтические вольности с большой свободой, нелинейность текста принимает самые наглядные формы. Философия постмодернизма с идеей о нелинейности времени и культом письменного текста побуждает видеть в таких экс-

Угар и чад; в огне ведро мадеры; 2) «Уга!» – рычат во гневе дромадеры (указ соч.: 145).

периментах поиска максимальной выразительности при минимальных средствах, что, собственно, и является самым главным свойством поэзии.

Способов нелинейного развертывания текста существует немало, часто размываются границы между поэзией и художественной графикой, например, в «кругометах» и «видеомах» А. Вознесенского (Вознесенский, 1994: 102–123; 273–286), «листовертях» Д. Авалиани (Авалиани, 1995), зрительном представлении «полифоносемантики» (Горнон, 1995: 273–283)²¹³. Попытки соединения поэзии с графикой имеют древнейшую традицию (см.: Сазонова, 1991). Собственно, даже и классическая традиция записывать и печатать стихи в столбик, с главными буквами в начале строк, с делением на строфы представляет собой сближение поэтического текста с графикой, только современный читатель к этому способу подачи текста настолько привык, что теперь требуются новые средства для снятия автоматизма восприятия. Поэтому классическая традиция в расположении стихов так часто и нарушается.

Рассмотрим нелинейность подачи языковых единиц на примерах вставных структур с нарушением цельности слова и на примерах перемещения слогов и морфем.

Включение постороннего элемента в слово (в риторике это обозначается термином «тмезис») может быть вызвано устойчивыми типизированными ассоциациями с какой-либо звуковой последовательностью. Поскольку наша речь в большой степени клиширована, еще недопроизнесенное слово становится стимулом к стереотипной реакции, уводя мысль в другую сторону:

« <...>
Первый отряд на пропол-
ку, остальные на встречу с героем».
Волей-неволей-бол
перед отбоем.

(Лосев, 1987: 95)

Здесь вставное слово, создавая каламбурно-омонимическую языковую ситуацию, внедряется в речь о регламентированной жизни в пионерском лагере. Цельность слова нарушается переключением с описания на внутреннюю

речь²¹⁴. Вставные конструкции, помещенные в скобки, усиливают самостоятельность и актуализируют омонимию морфем, меняют ритмику слова.

Поправка, дополнение, уточняющая реплика могут находиться внутри слова, становясь его частью. Формирование смысла предстает не результатом, а процессом с учетом неисключаемой альтернативы:

Д а м а .
 Мне мало мало
 я любила
 меня любил
Шопен (подумав) **гауэр**
 (Бирюков, 1995: 135)

Наступал год дракона, знатоки говорят, что дракон
 страсть и ужас вполне мог запрятать в обычный
 флакон.
 <...>
 Эта дуэль, этот выход и крышка,
при (как перво) губившей и кровь,
 эта трезвость, барашек и крыса – всё знаки,
 отметины.
 (Щербина, 1991: 45)

Вставные вопросительные конструкции превращают части слова в реплики диалога (возможно, в разговор с самим собой), театрализируют слово с тенденцией представить половинки слов словами другого значения:

Сер – это кто? – **жант**.
Вер – какой это? – **ный**.
Со – что ли? – **держант**.
Стра – кого это? – **ны**.

Го – что прикажете? – **тов**
В яро – ваше ...ство! – **сти**
Вра – этих? – ага! – **гов**.

²¹³ Термины названных авторов.

²¹⁴ О сходстве поэзии с внутренней речью см.: Ковтунова, 1986: 179; Караулов, 1995.

Сне – под нёготь их! – **сти.**

Но **вра** – медленно – **ги**

Спе – по приказу – **шат,**

Хоть **но** – от удара – **ги**

Дро – а что делать? – **жат.**

Толь – и откуда? – **ко**

Ма – их берется? – **ать!**

Сколь – ежегодно – **ко**

Выни – приходится – **мать!**

Сер – это кто? – **жант.**

Груст – столетьями – **но**

Сер – приходится – **жанту,**

Уст – если б только! – **но**

Содер – ругаться – **жанту.**

(Пригов, 1996: 81)

В данном случае имеет значение армейская тема стихотворения и его персонаж – сержант. Автором воспроизводится ритмическая структура команд с долгой паузой в середине слова и сильно акцентированным последним слогом – типа *смир – но! напра – во!* Функциональное назначение такой структуры команд состоит в том, чтобы солдат успел подготовиться к их выполнению и выполнить в четко фиксированный момент. Текст Пригова рисует картину, когда человек, вместо того чтобы без рассуждений выполнять команду, начинает именно рассуждать, лингвистически осмысливать ситуацию.

Кроме того, что такая разорванная речь изображает говоренье на другом языке, специфическом для особого социума, она является и своеобразной моделью собственно поэтического языка со стихотворными переносами – анжамбеманами. Происходит парадоксальное сближение функционально противоположных типов речи – армейской и поэтической.

Если освободить этот текст от вставных конструкций, то обнаружится сюжет: адаптация новобранца к армейскому быту и постепенное овладение армейским языком. В первой и второй строфе рисуется плакатная ситуация. Все слова первой строфы вне вставок принадлежат пропагандистской речи, а все

слова-вставки – внутренней речи новобранца. Но уже во второй строфе вопросы персонажа сменяются готовностью выполнить приказ:

Сержант	Готов	это кто?	что прикажете?
Верный	В ярости	какой это?	ваше ...ство!
Содержант	Врагов.	что ли?	этих? – ага!
Страны	Снести.	кого это?	под нёготь их!

Следующая строфа представляет собой опять включение внутренней речи во внешнюю, анализ происходящей с человеком метаморфозы и самооправдание:

Но враги	медленно
Спешат,	по приказу
Хоть ноги	от удара
Дрожат.	а что делать?

Далее оказывается, что уже невозможно с такой четкостью вычленить рамочные и вставные конструкции без разрушения информативной целостности высказываний, поскольку некоторые слова переходят из внешней речи во внутреннюю:

Только	Грустно	и откуда?	столетьями
Маать!	Сержанту,	их берется?	приходится
Сколько	Устно	ежегодно	если б только!
Вынимать!	Содержанту.	приходится	ругаться
Сержант.		это кто?	

Правильной последовательностью речи персонажа, вероятно, можно было бы считать такую (теряющую, впрочем, ту связность, которая была свойственна каждому из типов текста в начале стихотворения):

Только и откуда их берется	столетьями грустно
Ма – ать!	приходится сержанту,
Сколько ежегодно –	Если б только устно
приходится вынимать?	ругаться содержанту

В стихах А. Вознесенского начала и концы слов меняются местами. Создается эффект и опережения, и задержки речи, что вызывает экспрессию сбивчивого говорения:

таша говорю я **на**
низм ты говоришь **кому**
ыкант наливает **муз**
иноактриса пошла **к**
сотка улыбнулась **кра**
вать советует **уби**
лам сломалась жизнь **попо**

(Вознесенский, 1990: 81)

Вместе с тем такой текст, который в устном исполнении (то есть при развертывании текста во времени), предстает воплощением разорванных связей, парадоксальным образом организуется в гармоническую последовательность, когда он представлен письменно или печатно (а это развертывание и восприятие текста в пространстве). Приведенный текст легко представить себе свернутым в цилиндр, наклеенным на афишную тумбу – тогда каждая строка, расположенная по окружности, восстанавливает свою синтаксическую цельность. В такой структуре текста с перестановкой начал и концов несомненно сказывается задача поэта придать стихам дополнительное пространственное измерение, опираясь на возможности архитектуры.

Метатезы (перестановки частей слова) в современной поэзии – один из самых философски осмысленных приемов, хорошо разработанный в поэтике авангарда начала XX в. (см. глубокий анализ этого явления: Фарыно, 1988). Рассмотрим примеры из современной поэзии, когда метатеза выходит за рамки слова (риторика называет это явление термином «верлан»). Разрушая цельность каждого из охваченных ею слов, она в то же время объединяет в общее представление разные лексические единицы:

круче плечи темя плоче
уши зоркие вперед
подотечественник в роще

соберезовик берет

(Цветков, 1985: 11)

Долго ли длится ночь,

перетираемая

мобом и нерем

(Бирюков, 1995: 70)

и долгожданное богатство

разбыть добоем по ночам

добыть разбоем по ночам

(Волошин, 1995: 75)

В первом из этих трех текстов обмен приставками между словами *соотечественник* и *подберезовик* выполняет одновременно несколько смыслообразовательных функций: верлан меняет отношения сопричастности, родства, общности, свойственные приставке *со-* и слову *соотечественник*, на отношение подчиненности, вносимое приставкой *под-*. Обозначается отчуждение человека от людей, страны, устанавливается его родство с грибом, деревом, но при этом активизируется и традиционный символ родины *березка*.

Перестановка слогов в словах *морем* и *небом* изобразительна: ночью они кажутся единым пространством, а слова *море* и *небо* как поэтические символы простора, вечности, воли – изофункциональны.

Верлан в строке *разбыть добоем по ночам* проявляет свойство фразеологизированного сочетания восприниматься целиком – до такой степени, что конец сочетания опережает начало. В исследованиях по детской речи описывается такой механизм восприятия и воспроизведения слова, при котором дети раньше произносят те слоги или звуки, которые они позже услышали, что является частным случаем обратной перспективы при восприятии действительности и отражается также в изобразительном творчестве детей (Тюрин, 1983: 214, 216)²¹⁵. А это имеет прямое отношение к истории восприятия и отражения мира в искусстве.

²¹⁵ Не случайно верлан – один из распространенных видов языковой игры. Ср.: – *Глубокоуважаемый / Вагоноуважатый! / Вагоноуважаемый / Глубокоуважатый! / Во что бы то ни стало / Мне надо выходить. / Нельзя ли у трамвала / Вокзай остановить?* (Маршак, 1968: 100).

Приведенная здесь строка О. Волошина, доводя до абсурда клишированное выражение *добыть разбоем*, вместе с тем и дефразеологизирует его, обновляя метафоричность исходных слов. Механизм этой перестановки можно видеть и в этимологическом расчленении глагола *раздобыть*.

Перестановки, охватывающие словосочетание, – явление, пограничное между синтаксисом и словообразованием: с одной стороны, повышается степень спаянности элементов сочетания, с другой, – ослабляются внутрисловные связи между морфемами или слогами. Слово, распадаясь на части, вызывает появление других (оказиональных) слов.

Во многих случаях актуализации нелинейного членения текста давно известные приемы, генетически связанные с травестийными аспектами карнавала, традициями смеховой культуры, перестают быть комическими и выражают серьезный смысл. Если учесть, что комизм словесного травестирования вторичен по отношению к древнейшему мифологическому смыслу деформации слова, то можно сказать, что эксперименты с нелинейным построением текста у современных авторов представляют собой возвращение к серьезному понятийному содержанию деформированных структур на новом этапе и с новой мотивацией.

2. Порядок слов

Как показала И. И. Ковтунова, «в стихах возможны такие формы словорасположения, которые прозаическая речь вообще не допускает, <...> варианты словорасположения, общие для стихов и прозы, обладают в этих двух сферах речи разной стилистической значимостью <...> В стихах слово экспрессивно выделяется или прячется в зависимости от своего положения в стихотворной строке, а не в зависимости от того, как расположено это слово по отношению к другим связанным с ним словам, входящим в синтаксическую конструкцию, <...> взаимодействие слов, создаваемое ритмом, может разрушать привычные смысловые связи и рождать новые, не зависящие от синтаксических связей» (Ковтунова, 1976: 53, 64). Эти свойства поэтического синтаксиса в современных

текстах накладываются на свойства многочисленных синтаксических архаизмов.

Поскольку порядок слов в современном русском языке значительно отличается от древнерусского и старославянского (см.: Булаховский, 1958: 417–430), разнообразные отклонения от современной нормы нередко можно интерпретировать как не окончательно утраченные элементы древнего синтаксиса. Многие конструкции, уже в XVIII–XIX вв. отсутствовавшие в обиходном языке, оказались зафиксированными не только в церковных текстах, но и в поэзии того времени с ее многочисленными поэтическими вольностями. Трудность восприятия текстов Ломоносова, Тредиаковского, Кантемира связана с особенностями синтаксиса гораздо больше, чем с устаревшими словами и грамматическими формами. Измененный (по отношению к живому языку того времени) порядок слов особенно характерен для высокого стиля оды, и в язык XX в. проникло именно это стилистическое значение инверсии. Обзор современных текстов показывает, что инверсия при иронической имитации высокого стиля – ведущий прием, задающий тексту общую интонацию. Поэты XVIII в., синтаксические структуры которых взяты за образец, представляются современному сознанию косноязычными пророками – в соответствии с общекультурной мифологией (см. о ней: Лотман, 1996: 681), а подражающий им современный автор – объектом самоиронии. Примечателен тот факт, что инверсия чаще всего встречается в стихах, лексика которых далека от высокого стиля: архаический или псевдоархаический порядок слов выступает в этом случае как резко контрастный элемент текста, и естественно, что он не только маркирует несоответствие синтаксиса предмету изображения, но и выполняет разные другие функции. Это может быть, например, изобразительная функция, дефразеологизация, создание абсурдного или синтаксически неоднозначного текста.

Изобразительную (иконическую) функцию «перепутанного» порядка слов покажем на следующих примерах:

Тому семнадцать, как хожу кругами
 вокруг постов своих сторожевых,
 над реками, семнадцать берегами
 я лет хожу в пространствах нежилых.

(Гандельсман, 1998-а: 34)

Мне снилось – я умер. И сверху полуночный кто-то,
 Чьего я не мог рассмотреть, **хоть старался**, лица.
 Направил: Запойный, вставай и ступай на работу:
 Подымешься в небо, послужишь созвездьем Стрельца.
 (Соколов, 1990: 177)

На кухне у меня все в идеальном порядке.
 В образцовом порядке у меня все на кухне.
В порядке полном у на кухне меня всё.

<...>

У меня карниз в три ряда.
 Делал, между прочим, сам.
 Сам, между прочим, делал.
Между сам делал прочим.

(Галкина, 1989: 123, 125)

В стихах В. Гандельсмана и С. Соколова придаточные предложения помещены внутри словосочетаний, у Н. Галкиной слова как будто рассыпаны в беспорядке. Гандельсман синтаксически показывает то самое хождение кругами, о котором говорится в тексте.

У С. Соколова в стихотворении из цикла «Записки запойного охотника» вставка уступительной конструкции *хоть старался* внутрь словосочетания *не мог рассмотреть лица* передает и сбивчивую речь пьяницы, и непоследовательность восприятия во сне, и затрудненность действия *рассмотреть*. Сообщение о том, как персонаж *старался*, помещено внутрь сообщения о самом действии. Здесь имеет значение и отдаленность объекта наблюдения, и его неузнанность. А поскольку это неузнанное лицо – Бог, встречающий умершего, возникает основание для восприятия инверсии и как элемента высокого стиля.

Гипертрофированно тавтологичный текст Н. Галкиной об идеальном порядке на кухне похож на заклинание, на попытку уверить себя или других в невероятном. Строки с самым невыносимым порядком слов *В порядке полном у на кухне меня всё* и *Между сам делал прочим* вносят резкое противоречие между лексическим значением слов и смыслом фразы. Во второй из этих запутанных фраз разбивается устойчивое сочетание, ставшее вводной конструкцией *между*

прочим. В нормативной речи, несмотря на раздельное написание, это сочетание не может быть проницаемым.

В современной поэзии нередко встречается и дефразеологизирующая инверсия, то есть ослабление или разрушение фразеологических связей словосочетаний дистантным расположением их элементов:

Как **бикфордов втыкаю в магнитофон**

Шнур – копьё Дон-Кихота!

Так корону к челу подключают – читай,

И – на площадь, как строчка в разбрызг черноточий.

Жил как лишь бы, как все – а душа вот чиста,

В ней отчаянье, Отче.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 38)

Для перехода в следующий класс

Трудилась **в поте обезьяна в клетке**

Лица, чтобы оставить на бобах

Велосипед – не цирковой, на глаз

Наметанный, но гоночный! – калеке

Не удавалась радость на губах...

(Лён, 1990: 7)

Тем часом по нуже муж будучи в отлучке

Решился в кураже спалить лягушья штучки:

На месте неглиже – **четыре пепла кучки**

(Крепс, 1996: 207)

При этом часто создаются ложные словосочетания: *в клетке лица, четыре пепла, тебя меня*, что создает комический эффект: текст сначала воспринимается как абсурдный, а затем как осмысленный.

Особый интерес представляет собой постпозиция предлога, то есть превращение предлога в послелог. В тех случаях, когда предлог стоит после слова, к которому он относится, можно видеть и архаическое явление, и результат дальнейшего изменения синтаксических конструкций. В древнерусском языке и в поэзии XVIII–XIX вв. вполне обычно постпозитивное употребление предлогов *для* и *ради* и наречий-предлогов *среди*, *вокруг*, *мимо* (см. примеры: Булахов-

ский, 1958: 426). До сих пор среди клишированных шуток застолья популярно изречение, пародирующее стиль проповеди: *не только пьянства окаянного, но сугреву для*. Она нашла отражение в таком, например, контексте:

Да, бывало, и пивали и гуливали,
Но не только **стаканчиков для**
Забегали, сидели, покуривали,
Вечерок до рассвету продля.

(Ким, 1990-б: 233)

Стилистическое значение послелогов, определяемое их принадлежностью к архаическому синтаксису, хорошо видно в двух следующих текстах с подражанием поэтическому языку XVIII в.:

В том-то и суть: крепок орех – порчены зубы.
Не обессудь: это и грех. Грех не прелюбы.
Спать не любя суть чепуха. Много мотиву.
Грех на себя. Нету греха **ближних противу**.
Скорбно ли есть душу терзать? Скорбно ли аще
грешную десь на душу взять? Сахару слаще.

(Бродский, 1992-II: 9)

Тайно песни мои слагаю.
Мало кто слышит, как **слез мигаю**
Завесы незрячей сквозь, бо плачу
О том, что вряд ли переиначу.

(Охапкин, 1989: 123)

У Бродского в стихотворении «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром» стилистическое значение постпозитивного предлога поддерживается обилием и других архаизмов в синтаксисе, лексике, морфологии, фонетике, а у Охапкина – множественной инверсией, приводящей к солецизму – нарушению грамматических связей. Солецизм спровоцирован изменением грамматического управления в истории языка: архаическая конструкция *сквозь слез* с родительным падежом множественного числа представляется современному носителю русского языка аграмматичной. Для уяснения смысла строк О. Охапкина можно

было бы восстановить логические связи между словами – исходя из современного порядка слов и современного сочетания предлога *сквозь* с винительным падежом существительного: *как мигаю сквозь [незрячие] завесы слез*. Но тогда обнаружится смешение винительного падежа множественного числа слова *завесы* (*сквозь завесы*) с его же родительным падежом единственного числа (*завесы незрячей*). Логические и синтаксические связи запутываются еще больше из-за постпозиции прилагательного *незрячей*, увеличивающей дистанцию между компонентами двух возможных сочетаний – *мигаю сквозь* или *сквозь завесы слез*. Если учесть, что для современного восприятия исходным является сочетание *сквозь слезы*, то и форма родительного падежа *слез* предстает нарушением грамматической нормы, так как элементы сочетания *завесы слез* разделены глаголом *мигаю*. Очевидно, что такой запутанный порядок слов с грамматической невнятицей, как и во многих подобных случаях, имеет свой смысл: на изобразительность синтаксиса указывают слова *бо плачу / О том, что вряд ли переиначу*. Невнятный синтаксис у О. Охупкина – это и есть плач по утраченному языку.

Конструкции с постпозитивным предлогом часто включаются в остро иронические тексты, где перераспределяются логические связи между служебной и самостоятельной частью речи. Когда предлог в постпозиции становится ударным, на него перемещается смысловой центр синтагмы:

Спит усталая красotka
юбки без.

Высоки ее колготки,
 до небес.

(Йодов, Вещагин, 1994: 25)

Но и в том случае, когда на предлоге нет ударения, инверсия все же способствует выведению предложно-падежного сочетания из автоматизма восприятия. В следующем тексте после предлога возникает пауза, интонационно изолирующая и тем самым выделяющая сочетание *тебя без*:

пляж гол песок на нем окатан
 и нагота твоя халатом

окутана
и океан
тебя без пуст по оком

(Кузьминский, 1995-а: 46)

В постпозитивном употреблении предлога можно видеть и контаминацию архаической беспредложной конструкции с предложной. Так, в следующем примере сначала читается сочетание *припав окладу*, и только после этого сочетания появляется предлог *ко*:

пред образом сим образиной стоя
припав **окладу ко** вспаленными устами
бесстыдно глаз в грудя твои устава

(Кузьминский, 1995-а: 27)

Не исключено, что архаическая постпозиция предлога и объясняется тем, что предлог добавлялся к уже имеющейся конструкции, дублируя сложившиеся отношения, но на первых порах не ослабляя связи между глаголом и существительным. Можно предположить и то, что в древности предлог относился в большей степени к существительному, чем к глаголу. Описывая синтаксические отношения современного русского языка, мы говорим о глагольном управлении типа *припасть к*, а для древних конструкций, по-видимому, актуально субстантивное управление с возможной препозицией или постпозицией предлога к существительному: *к окладу* или *окладу к (ко)*.

В следующем тексте постпозитивное употребление составного предлога *из-под*, возможно, обыгрывает омофонию (одинаковое звучание) этого предлога с существительным *испод*. Обратим также внимание на то, что рядом имеется и препозиция предлога с тем же существительным:

Подо мною конь кипит
Бьет искрой **копыт из-под**
А мне б искру **из-под копыт**
Да засунуть под капот

(Богатов, 1996: 7)

В ряде случаев частицы и союзы, прочно закрепившиеся в постпозиции по отношению к глаголу, переносятся в препозицию, воссоздавая ситуацию свободного перемещения служебных слов, свойственную древнерусскому синтаксису:

катит чистопольем словцо, –

радужное, что – **ли** яйцо,
по чертополошьей пыли
вереница жемчуга **ли**
следует в Иерусалим,

травят **ли** уста в шелесте
Господина Звёзд Прелести,
ли верблюжье вервие вьют,

маялась по Вас, по Мою
ли виолончель челюсти,

ли повеял Сыч–Гамаюн,
на могучий севши, на сук,

ли горючей лунью в Маю
соловей истёк (человек),

ли дюралюминием – жук
в соответственной голове

(Волга, 1993: 28)

Я свиваюсь в клубок: **бы не видеть**, как тот
ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА – так варан привстает,
чтобы дротиком кануть вперед.

Бы не шизым орлом, бы не волком кружа
сырым полю по русскому: пришлый ходжа –
не хозяин магнитному полю.

<...>

Спрячь ладонью руины в волшебном стекле.

Лишь бы город Итиль на ночном Итиле,
 чьи истоки туманны, а устье во мгле,
 засыпал. **Бы взхлеб**, до упаду,
 но писалось Нестору. **Бы про родник**,
 летописец к которому жадно приник,
 не вместить бы написанных книг.

(Сид, 1997: 40-41)

Частица *бы* является по своему происхождению бывшим аористом 2-го и 3-го лица от глагола *быти*. Был период, когда *бы* уже функционировало как частица в сослагательном наклонении и в то же время сохраняло функцию глагола прошедшего времени. На этой стадии развития языка образовалась возможность употребления *бы* и перед перфективным причастием в составе плюсквамперфекта (предпрошедшего времени), и после него (в одной синтагме могли находиться и глагол *бы*, и частица *бы*: онъ бы сказалъ бы). В современном языке такие конструкции – не редкость. Но это либо речевые ошибки, либо художественный прием. В стихотворении Ю. Мориц хорошо обыгрывается плеонастическое *бы* и препозитивное *бы*: на частицу, обозначающую не реальность, а только желательность действия, переносится основная смысловая нагрузка. Обратим внимание на то, что в последних двух строках фрагмента две частицы *бы* находятся в непосредственном контакте. Концентрация частицы в тексте создает эффект передразнивания:

Был бы поэт нормален – так нет,
 качал он права и ворчал,
 вечные жалобы,
 а не мешало **бы**
 выбрать укромный причал

<...>

бы в рот **бы** воды,
бы замел **бы** следы,
бы залег **бы** на дно глубоко...
 беды избежал **бы**,
 стихов нарожал **бы**,
бы козье **бы** пил молоко.

(Мориц, 1996: 15–16)

Измененный порядок слов может приводить к синтаксической, а следовательно, и содержательной двусмысленности некоторых конструкций. Это происходит главным образом потому, что затрудненность восприятия инвертированного текста требует от читателя мысленной перестановки слов. Основанием для нее неизбежно становится современная синтаксическая норма в обозначении логических связей. Тогда современный способ развертывания текста накладывается на реликты синтаксической архаики и на окказиональный авторский синтаксис. Рассмотрим это явление на трех примерах.

Синтаксическая неоднозначность следующего текста определена омонимией родительного и дательного падежей:

Базиль²¹⁶, привыкший к **жизни прозе**,
 Не рад такой метаморфозе:
 Взъерошив круглое чело.
 Он смотрит на девицу зло
 И трется у хозяйских брючин,
 Глухою ревностью измучен.

(Крепс, 1992: 7–8)

В первой строке можно выделить два сочетания: *привыкши к жизни* и *к жизни прозе*. Характерно, что линейная последовательность слов сначала провоцирует на восприятие слова *жизни* в дательном падеже, затем читателю приходится изменить грамматическую трактовку и признать, что это все-таки родительный. Но первое грамматическое впечатление остается в памяти, создавая ситуацию контактного расположения двух дательных падежей. Современное сознание могло бы принять и дефис между словами: *к жизни-прозе*. Подобные парные сочетания с дефисом (ср.: *к девице-красе*) или без него (*к девице красе*) являются наследием древних паратактических конструкций (о паратаксисе в древнерусском языке и его переосмысленных реликтах в современной поэзии см. ниже).

²¹⁶ Кличка кота.

Предлог может иметь двойную отнесенность – и к предшествующему слову (сочетанию), и к последующему – то есть быть одновременно и постпозитивным, и препозитивным:

Иль неприступные, подслеповатые
камня кремнистого из
башен клешни по холмам и зубчатые
 стены, растущие вниз.

(Кублановский, 1993: 82)

В данном случае предлог *из* может входить в группы *камня кремнистого из* и *из башен*. Первому членению способствует ритмическое единство строки, второму – более естественный для современного синтаксиса непосредственный контакт предлога *из* с существительным *башен*. Двойная отнесенность порождает тройной смысл: 1) *клешни башен из кремнистого камня*; 2) *клешни из башен кремнистого камня*; 3) *клешни из кремнистого камня башен*. Образное содержание фрагмента побуждает воспринимать такой синтаксис как иконический: слово *неприступные* указывает на затрудненность преодоления, слово *клешни* – образ разветвленности и подвижности, сочетание *стены, растущие вниз* дает представление об измененном направлении, то есть о нарушенном порядке вещей.

3. Синтаксически однородные структуры.

Нерасчлененность древнейших текстов на слова компенсируется ярко выраженным членением речевой последовательности на семантически и синтаксически объединенные фрагменты (предикативные единицы, синтагмы, предложения) с помощью сочинительных союзов. Типичной чертой построения древнерусских текстов является цепное нанизывание предложений и их частей: *Иъзгнаша варяги за море, и не даша имъ дани, и почаша сами в собѣР володѣти,*

и не бР в них правды, и въста родъ на родъ, и быша в них усобищР, и воевати почаша сами на ся (Повесть временных лет, 1996: 13)²¹⁷.

Цепное нанизывание было свойственно и серии синтаксически однородных бессоюзных предложений. Устная народная поэзия тоже изобилует структурами с синтаксическим параллелизмом. В традиционной литературе это один из самых освоенных, а потому и шаблонных приемов повтора. По этому поводу современный автор рефлексировал:

Когда я первые свои стихотворенья,
Волнуясь, сочинял свои

И от волнения и неуменья

Все строчки начинал с союза «и»,

Мне не хватило кликов лебединых,

Ребячливости, пороха, огня,

И тетя Муза в крашенных седилах

Сверкнула фиксой, глядя на меня.

(Гандлевский, 1999: 47)

Не приводя примеров текстов с синтаксически тождественными структурами, обычными для традиционной поэзии, покажем параллелизм, обнаруживающий свою структурную сущность в парадоксе:

О, какие ранние овощи!..

Это лето последним делится.

А на небе, на небе ни облачка!..

А в лесу, а в лесу ни деревца.

(Вишневский, 1992: 262)

В этих строчках банальный образ, клишированное выражение *на небе ни облачка* обнаруживает свою принадлежность к штампам благодаря тому, что идиллическое описание погоды структурно подобно описанию унылого пейзажа.

²¹⁷ Членение текста на слова и расстановка знаков препинания осуществлены при издании текста.

Приведем еще один любопытный текст, также включающий литературные штампы в синтаксически однородные структуры и тем самым снимающий с красивого выражения его переносный традиционно-поэтический смысл. Стихотворение пародирует касыду – жанр традиционной восточной лирики, оно и называется «Касыда»:

припухли губы у моей любимой

опухли ноги у моей любимой

набухли вены у моей любимой

увяли ноздри у моей любимой

оглохли уши у моей любимой

<...>

большое сердце у моей любимой

большая печень у моей любимой

большие ноги у моей любимой

все совершенно у моей любимой

(Ровнер, 1992: 30)

Синтаксическим (и более широко – грамматическим) повтором являются и построения с нанизыванием однородных членов предложения. Такие построения, традиционные для стихотворной речи, стремятся в современной поэзии актуализировать свою структуру, во-первых, значительно увеличивая длину синонимического или перечислительного ряда, а во-вторых, множа количество таких рядов в тексте:

Ах, оставьте меня, злые, больные капризы!

Видишь: четвертый этаж; видишь, крестясь

на помятом карнизе,

В прорву двора обращаю измученный взор.

Серым **провалом, товаром, пролетом** и сизым

Мне отвечает загаженный птицами двор.

Я **упаду, расплывусь, развернусь** в голубином помете:

Вы **не поймете, пойдете, снесете, внесете укор.**

Снизу жильцы мне грозят растворенными окнами:

Ты **хулиган, сумасшедший, зазнайка**, ты ходишь

неслышно, как вор!

Жизнь столь **прекрасна, опасна, чудесна, да ясна.**

А кокнешься?

Гибель и гроб. Забытье. На поминках гнилой помидор.

Что же мне делать, **постылые, милые, добрые, грубые?**

Скоро нога **поползет, задрожит, заскользит, запоет.**

Скоро меня **повлекут, повезут, позовут** корабли многотрубые,
дымом своим **зачерня, закоптя, заслоня** небосвод.

(Вензель, 1992: 6)

И растёт, наплывает **тревога, трирема,**

трагедия, трещина,

и никак не растает **таблетка, облатка, тусклая капсула,**

рассосаться не может её **оболочка, обложка,**

обличие, облачко,

раствориться не хочет **окно, циркуль, соль**

и любое творение,

и никак не нащупать **опору, основу,**

корпус, остов, корпусулу.

(Строчков, 1994: 339)

Такой синтаксис напоминает синонимические цепочки в средневековом стиле «плетение словес» (XIV–XV вв.), например, в сочинениях Епифания Премудрого. По теории С. Матхаузеровой, стиль «плетение словес» следует рассматривать не как стиль орнаментальной прозы, а как форму ранней поэзии (Матхаузерова, 1974: 86–90). Вероятно, за сходством риторического приема в средневековом и современном тексте кроется принципиальное различие его философских оснований. Стиль «плетение словес» возник из идеи исихазма о непознаваемости и неназываемости Бога (см.: Прохоров, 1968; Мейендорф, 1974). Согласно учению исихазма, к имени Бога (и вообще к названию сущности чего-либо) можно лишь приблизиться, пробуя разные способы именованья. Именно эта ситуация отражена в стихах А. Миронова:

Отраженный, разъятый, несходственный образ Творца,
заклейменный, задушенный в синонимической клетки.

(Миронов, 1993: 64)

Однако в данном случае современный автор оценивает синонимические подоби́я не как конструктивный принцип стиля, а – напротив – как деструктивный.

Для современного познания мира важны подробности. Синонимы и перечисления теперь нужны не для того, чтобы постепенно уточнять понятие, а для того, чтобы выражать многообразие мира, равнозначность сущностей.

Синтаксическая однородность номинативных структур наиболее адекватно отвечает современной потребности представить мир каталогом²¹⁸. Эта потребность нашла свое выражение и в способах представления текстов, например, в стихах Л. Рубинштейна на карточках (Рубинштейн, 1996)²¹⁹, в том, что поэзия заимствует структуру текста из научной или деловой письменной речи:

Ты зажала в губах поцелуй
а) как веточку, б) как мышонка,
 что пищит, точно радиобуй,
 монотонно и звонко.
 (Кальпиди, 1997: 699)

Самый выразительный из текстов с длинными цепочками однородных членов предложений – поэма И. Бродского «Большая Элегия Джону Донну». Начинается она так:

Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг.
 Уснули **стены, пол, постель, картины,**
 уснули **стол, ковры, засовы, крюк,**
весь гардероб, буфет, свеча, гардины.
 Уснуло все. **Бутыль, стакан, тазы,**
хлеб, хлебный нож, фарфор, хрусталь, посуда,
ночник, белье, шкафы, стекло, часы,
ступеньки лестниц, двери. Ночь повсюду.
 Повсюду ночь: **в углах, в глазах, в белье,**
среди бумаг, в столе, в готовой речи,

²¹⁸ Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине»: *Янтарь на трубках Цареграда, / Фарфор и бронза на столе, / И, чувств изнеженных отрада, / Духи в граненом хрустале; / Гребенки, пилочки стальные, / Прямые ножницы, кривые / И щетки тридцати родов / И для ногтей и для зубов* (Пушкин, 1969-V: 25).

²¹⁹ См. об этом жанре: Зорин, 1989; Рубинштейн, 1993; Чижова, 1995.

**в ее словах, в дровах, в щипцах, в угле
остывшего камина, в каждой вещи.
В камзоле, башмаках, в чулках, в тенях
за зеркалом, в кровати, в спинке стула,
опять в тазу, в распяты, в простынях,
в метле у входа, в туфлях. Все уснуло.**

(Бродский, 1992-I: 247)

Любопытный пример каталогизации действий можно видеть в стихотворении В. Строчкова «Затянувшаяся танка», построенном на длинной цепочке деепричастных оборотов:

**Поутру встав, стеля постель и моясь,
и завтракая, и посуду моя,
жену целуя, запирая дверь,
спускаясь в лифте и садясь в автобус,
единый предъявляя контролёру,
читая книгу в метрополитене,
давась в троллейбусе, спеша на проходную,
садясь за стол, подписывая акты,
рассчитывая планы по объёму,
труду, реализации; ругаясь
по телефону, споря с руководством
и подчинёнными; обедая; потом
опять подписывая и ругаясь,
и споря; и потом, идя с работы,
к метро пешком, потом в метро читая,
садясь в автобус, поднимаясь в лифте
и в дверь звоня, здороваясь с женой
и умываясь, ужиная, моя
посуду и смотря программу «Время»
и серию про жизнь секретаря
обкома, умываясь перед сном,
любя жену и после, засыпая,
всё думал напряжённо о другом...**

(Строчков, 1994: 170)

Этот текст можно понимать как реакцию на то, что деепричастие представляет собой второстепенное сказуемое. И действительно, все жизненно важные действия представлены как второстепенные. Однако длинный перечислительный ряд этих действий, показанных привычными и рутинными, говорит о том, что они и есть содержание жизни, а последняя строка *всё думал напряженно о другом* – указывает на иллюзорность предмета размышлений. По существу, автор иронизирует над представлением о главном и неглавном, то есть об иерархии ценностей.

Многие из текстов с перечислительными рядами однородных членов предложения осуществляют общие тенденции современной поэзии: «С усилением модальной неопределенности связано распространение именного стиля, употребления именительных падежей, инфинитивов, отглагольных существительных. Одна из линий десинтаксизации – создание напряжения открытой незавершенной связи. Для этой цели часто используются периферийные формы имени и глагола: творительный падеж и деепричастия, предполагающие отношение периферийной, сдвинутой на вторую позицию, формы к центральной» (Кожевникова, 1993: 229).

В конструкциях с однородными структурами, цепочечными конструкциями большой размер структурированных фрагментов или целого способствует тому, что смещаются или нарушаются границы между целым и частью, а также между динамикой и статикой изображаемой действительности. Структурный повтор во многих случаях создает своеобразную ретардацию повествования с фиксацией внимания на подробностях.

Повтор одного и того же слова в тексте может выполнять самые разные функции (см.: Лотман, 1994: 40–117). Обратим внимание на то, что во многих текстах лексический повтор, охватывая обозначения предметов, признаков, действий, состояний, отношений, становится основой структуры текста. Он изображает и сомнамбулическую сосредоточенность на объекте наблюдения, и застывшую реальность (даже в динамике – ср. в следующем тексте *хватают хватают, внезапно внезапно*):

Это **птицы птицы**
кормятся пеной воды

белой прозрачной кормятся
 пеной воды
пустой пустой

<...>

Клювы клювы из гладкой воды
 ловят свое серебро
хватают хватают
 сырое свое серебро
внезапно внезапно
 вдруг

Видишь видишь
 как всплескивает блестит
 как появляется
как желание
как желание
связано связано
 летит

Видишь видишь изгибы связки
их их серебро серебро
видишь видишь для глаза нити
 для глаза сети
для свет

Ты прозрачное сито одно
сеет сеет для всех
сквозь сквозь
серебряных смыслов
лови лови

Это **река река**
 русло себя впереди
свернуто свернуто
 себя впереди
 голубая гибкая
 себя впереди

Эти тонкие корни **текут текут**

дышат растут
остановятся на остановятся на
 глубокие корни
 дышат уже
пьют пьют
 <...>
Видишь видишь живой
 вырезает воздух себе
 этот росток
 пространство себе
живой живой
 этот ребенок

(Летцев, 1991: 44–45)

Заклинательная функция тотального лексического повтора отчетливо видна в следующих текстах:

Отойди от костра, отойди от костра, отойди
 от костра, отойди от костра, отойди от костра.
 Никогда никуда, никуда не уйдешь от тайги,
 одинокой тайги без конца, без конца, без конца.
 От холодной воды отодвинь, отодвинь огоньки,
 отодвинь огоньки, огоньки, огоньки от винта.
 И туман, и туман в одинокую даль отгони,
 где знакомая гарь на ветру не видна, не видна.

(Байтов, 1997: 3)

когда из двух углов, из двух углов
 друг к другу бросятся,
 одежды вороха,
 зверь двухголов,

когда из двух углов, из двух углов
 друг к другу бросятся, друг к другу,
 одежды вороха, обрывки слов
 одежды вороха, обрывки слов,

когда кричат, кричат,
 как бы до этого не быв,

изнанкой кожи ознобив
ночное небо с выводком волчат.

(Гандельсман, 1998-а: 46)

Лексический повтор-редупликация – один из древнейших способов обозначения множественности, интенсивности, свойственный многим архаическим языкам. Этот способ, переставая быть регулярным грамматическим явлением, сохранился в русском языке как выразительный элемент эмоциональной речи, как стилистическое средство экспрессии и в значительной степени фразеологизировался: удвоению подвержены только некоторые слова, часто сами по себе являющиеся интенсификаторами признаков, обстоятельств, предикатов: *он умный-умный; а глаза добрые-добрые; я его очень-очень люблю; никогда-никогда не забуду; я об этом всё думаю, думаю; так проголодалась, что ем, ем; пожалуйста-пожалуйста, проходите; ничего-ничего, не беспокойтесь; туда, туда садитесь; потом-потом; ох ты дурак-дурак; а там всё болота, болота; еще, еще*. Особенно активны такие структуры в речи женщин и детей²²⁰.

Как это часто бывает в поэзии, лексико-фразеологическое ограничение на построение этой структуры игнорируется. Это хорошо показывает следующие тексты:

Мимо **побегов, побегов** осоки,
Скорый не столько идет, сколько мчится.
В нем и в ботинках, в ботинках высоких
Мчится охотник один за жар-птицей.
Строг проводник относительно чаю:
Чаю? не чайте, весь вышел давно.

<...>

Н-да-с, размышляет **высоких-высоких**
Этих владелец **ботинок-ботинок**,
Глядя на: Пейте фруктовые соки! –
Высший указ, помещенный в простенок.
Сумерки, насморки, вот и граница.
И по вагонам, сверяя листы,
Горных, речных и болотных полиций

²²⁰ О семантике этих конструкций см.: Шведова, 1960: 32–43; Собинникова, 1973.

Бродят с проверкой ботинок посты.
 Ваши **ботинки. Ботинки?** извольте,
 Только учтите, что левая жмет.
 Вы арестованы! Впрочем, позвольте,
 Недразуменье, Федот, да не тот.

(Соколов, 1990: 169)

Прилетает птица
 в клюве
 держит маленький фонарь
 отражаются хвосты **букв букв букв**
 и опять горит фонарь

(Эрль, 1995: 29)

В кровавых лампах оплывших окон – фигуры девок!
 тела на лапах в лохмотьях елок, – о жизни древо!

<...>

зады мы любим, они – как солнца! – а **возле возле**
 молодые люди, и все в кальсонах, и все в волосьях

(Соснора, 1995: 639)

обвалится **еще-еще** один
 ржавый лепесток с перекошенных
 страхом ворот

(Бирюков, 1995: 120–121)

В первом примере сочетание *ботинок-ботинок* становится контекстуально производным, во-первых, от конструкции с уточнением *в ботинках, в ботинках высоких* и, во-вторых, от фразеологизированного удвоения *высоких-высоких*. В конце фрагмента удвоение трансформируется в элементы реплик, принадлежащих разным персонажам: *Ваши ботинки. Ботинки? извольте.*

Любопытную синтаксическую двузначность конструкции с повтором слова можно видеть в следующем тексте:

Повстречался мне философ
 в круговерти бытия.
 Он спросил меня: «Вы – Лосев?»
 Я ответил, что **я я.**

И тотчас засомневался:
я ли я или не я.
А философ рассмеялся,
разлагаясь и гния.
(Лосев, 1996: 52)

В данном случае контактное расположение двух местоимений *я* предполагает, что первое из них – тема (предмет, о котором последует сообщение), а второе – рема (содержание сообщения). В то же время конструкция читается не только как двусоставное предложение 'я это и есть я'; 'да, это и есть я', но и как экспрессивный повтор 'я, я (конечно, я, а кто же еще?)'. Повтор здесь предстает одновременно и ложным, и истинным, как и само суждение. В обоих прочтениях экзистенциальность выражена предельно кратко. Лаконичностью формулы и тавтологией усиливается категоричность утверждения, которая после этого сразу же сменяется сомнением. При этом и сомнение представлено вроде бы четкой формулой логического вопроса *я ли я или не я*, но из-за сильного фонетического повтора эта формула воспринимается как глоссолалия. Игра слов состоит и в том, что в контексте о философе (Ницше? Фрейде?) обнаруживается художественный билингвизм: сочетание *я я* можно читать и как немецкое выражение, означающее 'да, да'.

4. Компрессия

Многие поэты и филологи отмечали, что поэзия отличается от прозы лаконичностью речи, сгущением мысли. По наблюдениям Г. Н. Акимовой, даже у поэтов XVIII в. «синтаксические построения в одах оказались более укороченными сравнительно со всеми прозаическими жанрами» (Акимова, 1977: 103); «материал оды Ломоносова и Сумарокова <...> выявляет некую общую закономерность, синтаксическую неразвернутость стихотворной речи, особенно заметную в период процветания объемных и синтаксически развернутых предложений в прозе письменных жанров» (указ. соч.: 108).

По словам И. Бродского, «пишущий стихотворение пишет его прежде всего потому, что стихосложение – колоссальный ускоритель сознания, мышления, мироощущения» (Бродский, 1992-I: 16).

Незавершенность и несовершенство речевых структур, изображающих неструктурированные подробности бытия, торопливое косноязычие, внутренняя речь или речь «для своих», содержащая множество намеков, оказываются особенно родственными поэзии. И все эти свойства деформированной, редуцированной речи отчетливо согласуются с важнейшей причиной языковых преобразований, состоящей в экономии речевых усилий (см.: Мартине, 1963; Николаева, 1991: 16). Но, кроме того, очень существенно, что поэты постоянно отождествляют бытие с языком, утрата личности осмысливается как утрата языка, а утрата языка – как гибель личности.

В таком случае особую функциональную нагрузку приобретают эллипсис, усечение, свертывание синтаксических структур, незамещение каких-либо синтаксических позиций. Например, часто наблюдается пропуск инфинитива:

– Остерегись, мой друг, ступая в воду
 Ногою робкою, сперва ее попробуй:
 Не холодна ль она еще с утра,
 Простудишься – умрешь.
Я не могу утрат.

(Ширали, 1992-а: 107)

Хочу письмо тебе.
 Жить без тебя – не настояще.

Вот как без тебя: топчусь по углам
 (это косяк), ищу очами: ау, где я?
 Не дышатся стихи. Кто-то взял за горло и душит.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 47)

Женя сказала Лидка была милее
 обе добрые но Лидка милее
Мамочка разве могла к ней хорошо
 а ребенок не разбирает назло мамочке любит

(Харитонов, 1997: 525)

Мы погодим «трагически погиб»,

покуда Церковь отпевать не смеет.

Сама Весна вступает в холода

и Духов День голубит свой прогиб,

покуда Вознесенье семенееет.

(Бурихин, 1992: 82)

Возможно, причина этого явления состоит в том, что инфинитив входит в составное глагольное сказуемое, а оно имеет тенденцию становиться простым глагольным сказуемым, используя механизм семантического включения (см. об этом явлении: Янко-Триницкая, 1964; Глотова, 1972). При этом синтаксический эллипсис сопровождается семантическим (см.: Никитина, 1966). Безличный предикатив (слово категории состояния) в этом случае уподобляется личной форме глагола:

Я не брал в лесу

певчих ягоды

эх, знал, что в саду

нельзя яблоки.

Дай Ты мне, Бог,

хоть раз ю обнять,

мне б зато Тебе

язык-волк отдать.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 12)

В тексте может быть опущен любой достаточно ясный по ситуации, но не вполне ясный по форме или лексическому наполнению фрагмент речи:

На дороге у камня пути наши разные сходятся,

потому что от камня уже они разбегаются,

ты – женатому быть, я – коня потеряешь, убитому

никому не захочется, нет дураков больше, хватит уж.

(Воркунов, 1995: 33)

Здесь возможны по крайней мере два прочтения: *Ты [увидишь надпись] «женатому быть...»* и *Ты [исполнишь предназначение] «женатому быть...»*.

Семантическое включение осуществляется и незамещением позиции прямого дополнения, указывающего на объект действия:

– Есть у вас больные люди?

– Есть у нас больные люди.

– Что вы будете им делать?

– Мы им будем **удалять!**

<...>

– А когда больных не будет?

– Мы лечить здоровых будем!

– Что вы будете им делать?

– Мы им будем **удалять!**

(Дмитриев, 1997: 655)

Осуществляется компрессия в комплексах союзов и союзных слов местоименного происхождения *для того чтобы*; *кроме того что*, при этом их семантикой нагружаются предлоги. Устраняются слова, которые «сами собой разумеются» – слова, выражающие логические связи и обычно соединяющие главное предложение с придаточным. После предлога появляются знаки препинания:

И – юнь юнейшая; а я – на убыль,

ее июля чтец и лицегляд, –

и нет, и да: я ей не для прелюбы...

Для: образ от безлюбья исцелять.

(Бобышев, 1992-б: 92)

И покой нисходит к жизни проходящей

Ничего не жалко, **кроме – не случится**

свет зажечь озябшим, в темноту

смотрящим,

над кроваткой беспокойною склониться.

(Царькова, 1993: 37)

Эти контексты показывают, как происходит «вовлечение предложений или их компонентов в сферу связей слов» (Шведова, 1966: 123; примеры Н. Ю. Шведовой: «*Выдумали удобное "как другие"*, Каждое выступление начинается

с "разрешите приветствовать" и заканчивается трафаретным "разрешите заверить", Ничего не скажешь, любопытное объяснение. Особенно для "стал хуже учиться"» (указ. соч.: 126–128).

Употребление предложений как слов позволяет видеть самый простой механизм ускорения мысли. Показательно, что фразеологизированная цитата, выполняющая функцию слова, вводится в текст без кавычек. В следующем примере без кавычек дается и цитата, функционально подобная слову:

Так жизнь сворачивается не сразу,
так тяжелые остановки духа
превращают любви совершенный разум
в жили-были старик со старухой.

(Гандельсман, 1998-б: 40)

В языке вполне возможна замена глаголов речи глаголами, указывающими на иной способ передачи сообщения или на сопутствующие этому обстоятельства: *он писал, [сообщая], что придет; мне позвонили, [сообщая], что собрание будет завтра*. В поэзии синтаксическая конструкция, основанная на этом свойстве языка, может быть нестандартной и тем самым показывать механизм эллипсиса:

Меня напротив в поезде метро
Сидела женщина
С лицом о том,
Что, слава богу,
День окончен,
Путь к дому долог
И можно ослабеть,
Лицо разжать
И задремать, рукой прикрыв глаза,
И только вздрагивать при объявлении остановок...

(Ширали, 1992-б: 43)

Обратим внимание на то, что управление глагола предложным падежом [*говорить, рассказывать, повествовать*] *о том, что...* становится управлением существительного – ср. вполне нормативные выражения: *эта книга о том,*

что...; этот фильм о том, что... В таком контексте, как у Ширали, лицо предстает текстом, и эта метафора создается синтаксическими средствами. Возможно, что здесь метафоричность пропущенного причастия *говорящим* (*с лицом, [говорящим] о том, что...*) переносится на определяемое существительное.

Пропуск глагола речи либо в личной форме (*говорят? разговаривают? беседуют?*), либо в форме деепричастия (*говоря? разговаривая? беседуя?*) обнаруживается и после глагола, указывающего на ситуацию беседы:

Негодуют, едят **ни о чём**,
 Расстилают своё ското-ложе.
 Чем на дедушку больше похожи,
 Тем заметней легки на подъём.

(Литвак, 1994: 39)

В таком случае происходит включение семантики говорения в глагол, который интенсивно этому сопротивляется. Художественный эффект от такого включения – создание смысла ‘первостепенная цель – еда, второстепенная – разговор’.

Есть примеры того, как из высказывания вытесняется деепричастие:

Когда я зол –
Я сержусь кулаком об стол,
 А жена посудой об пол.

(О. Григорьев, 1997: 182)

В смятенье чувств,
 Полутонов,
 Оттенков
 Легчайших,
 Легче, чем
 Тень твоего крыла,
 Проляжет по глазам,
Замучится о чем-то.
 И, может, лишь о том,
 Что ты уже была.

(Ширали, 1992-б: 30)

Оба примера демонстрируют возможность двоякого механизма сокращения высказывания: строки О. Григорьева во-первых, можно понимать как пропуск деепричастия [*стуча*], и тогда второстепенное сказуемое объединяется с основным, во вторых, как прямую замену глагола физического действия глаголом чувства [*стучу*] *кулаком об стол* → *сержусь кулаком об стол*). У В. Ширали либо пропущено деепричастие [*думая*], [*вспоминая*], либо контекстуально объединены значения глаголов *задуматься* и *замучиться*.

Примеры ненормативных сочетаний *с лицом о том, едят ни о чем, замучится о чем-то* указывают на одну из характерных закономерностей в динамике синтаксиса, связанной с изменением объема значения: «Наиболее активными – в своем "наступлении" на другие значения – являются слова (преимущественно глаголы), сочетающиеся с предложно-падежными формами изъяснительной семантики, и особенно – с формой "о + предл. пад."» (Кручинина, 1976: 37–38). И. Н. Кручинина приводит много примеров с сочетаниями *успокоиться о, пугаться о, благодарить о, торопиться о* и подобных из писем А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева (указ. соч.: 37–39).

Следующий текст показывает, что возможен пропуск более чем одного слова:

Как он утром, животное?! –
стал стар, не проснулся вовремя, торопился на поезд,
не додумался что-то там, разволновался, рассуетился,
уши шумели, муха мешала в глаза?..

Как бы там ни было – вот ведь как получилось...

(Соснора, 1998: 128)

Здесь либо опускается деепричастие вместе с глагольным элементом фразеологизма (*летая, лезла*), либо происходит замена глагола движения *лезла* глаголом воздействия *мешала*. Во всех таких контекстах авторы резко меняют глагольное управление, приводящее к окказиональному расширению значения глаголов (*сердиться, замучиться, мешать*).

По-видимому, изменение глагольного управления может приводить к семантическому переносу непосредственно. Так, у Е. Шварц в следующем тек-

сте ощутима компрессия текста, но затруднительно выстроить нормативно оформленное предложение с соблюдением логических связей:

Печален старичок, допив настой на травке,
И **думает коту**, лежащему на лавке:

Ты знаешь, деточка, зверек пушистый,
Что вечер настает февральский, скорый, мгlistый?

(Шварц, 1995: 70)

Между тем в языке имеется фразеологизированная конструкция, в которой глагол *думать* сочетается с дательным падежом объекта: *Что он себе думает?*

Изменение глагольного управления может приводить и к сужению значения (в следующем примере *стоять* ‘стоять в очереди’):

Люди **куда-то стоят**
Прямо, потом назад,
В подворотню, сквозь дом,
В угол и снова кругом.

(О. Григорьев, 1997: 222)

В данном случае изменение управления (*стоять за чем* → *стоять куда*) очень ощутимо, так как семантика глагола *стоять* предполагает статическое состояние, а местоименное наречие *куда-то*, в нормативном синтаксисе сочетающееся с глаголами движения, исключает статику. Вполне разговорная конструкция *куда-то стоят* показывает, что глагол движения становится глаголом цели (ср.: *стоять за хлебом*). В стихотворении О. Григорьева нарушенное согласование надежно мотивировано контекстом: стоя в очереди, люди передвигаются, и поэт подробно описывает направление их движения.

Либо следствием, либо причиной компрессии предложения или его части является олицетворяющая метафора:

Жду небесного справедлива
Ладонями вверх вздыхая...

(Рябинов, 1994: 280)

Фразеологический эллипсис предстает реакцией на клишированность речи и стандартные выражения:

Мы горды **своими**
И, вперед глядя,
Отдаем **во имя**
И **на благо** для!

Я чувствую, друг, как всегда,
Твой локоть, а также плечо!
Сегодня мы **как никогда**,
А завтра – **гораздо еще!**

(Ким, 1990-б: 117)

Пока камин до дыр мнет кочерыжкой крошка,
Иван **живет как сыр** в избе на курьих ножках
С заморскою ягой в отрывках и окрошках.

(Крепс, 1996: 207)

В первом из этих двух примеров стандартные фразы предстают надоевшими от своей предсказуемости, а во втором фразеологизированное сравнение подается как абсурдное.

Во многих текстах стереотипные фразы замещаются предложениями. Приведем два стихотворения, в которых этот синтаксический сдвиг становится не просто приемом, а смыслом произведения:

Мы построим скоро сказочный дом
с расписными потолками внутри.

И, возможно, доживем – **до**.

Только вряд ли будем жить – **при**.

И, конечно же, не вдруг и не к нам
в закрома посыплет манна с небес.

Только мне ведь наплевать – **на**.

Я прекрасно обойдусь – **без**.

Погашу свои сухие глаза

и пойму, как безнадежно я жив,
 и как глупо умирать – **за**,
 если даже состоишь – **в...**
 И пока в руке не дрогнет перо,
 и пока не дрогнет сердце во мне,
 буду петь я и писать – **про**,
 чтоб остаться навсегда – **вне**.
 Поднимаешься и падаешь вниз,
 как последний на земле снегопад...
 Но опять поют восставшие **из**.
 И горит моя звезда – **над!**

(Григорьев Г. , 1990: 30)

Когда уходишь **из**,
 кто поручится за
 тот факт, что не каприз,
 а грозная гроза,
 являя власть свою,
 равняя давний счет,
 несчастную семью
 семью плетью сечет?

<...>

Но пребыванию **вне**
 и пребыванию **над**
 ни страху, ни вине
 не возводить преград!
 Не отрекаясь **от**,
 не зарекаясь **впредь**,
 смотрю в проем ворот,
 как мне дано смотреть.
 Принимаю все сполна,
 не жму на тормоза.
 Не полагаюсь **на**.
 Не укрываюсь **за**.

(Борисова, 1995: 474–475)

Характерно, что авторы не ставят многоточия после предлогов, за которыми не следует существительных, тем самым демонстрируя самодостаточность предлога, его способность принимать ударение. Обнажается механизм

семантического включения, становится заметной тенденция к синтагматическому перемещению предлога – он отрывается от существительного и присоединяется к глаголу (в результате стандартизации глагольного управления). В таком случае предлог превращается в послелог английского типа с тенденцией стать наречием, а русский язык осуществляет свое стремление к аналитизму (ср.: *вам с сахаром или без? кто за, кто против?*). Предлог легко трансформируется в послелог в случае эвфемистического усечения: *послать на* и др. Эллиптическое и эвфемистическое происхождение конструкций, преобразующих предлог в послелог, задает – вопреки фразеологическому происхождению такого эллипсиса – принципиальную открытость для замещения позиции каким-либо словом²²¹. Так открывается простор для конкуренции свободного слова с исходным фразеологически связанным.

В стихотворении Бродского «Итака» конструкция с предлогом, превращенным в послелог, принимает на себя всю горечь содержания, изложенного в четырех строфах:

Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.

Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.

Твой пацан попрос; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты – отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.

То ли остров не тот, то ли впрямь, залив
синевой зрачок, стал твой глаз брезглив:

²²¹ Если понимать эллипсис как «с в е р т ы в а н и е» высказывания, опущение какого-то его члена <...>, отсутствие словоформы на фоне ее присутствия в других аналогичных случаях»

от куска земли горизонт волна
не забудет, видать, **набегая на.**

(Бродский, 1994-III: 232)

Учитывая открытость ряда для разнообразных потенциальных продолжений, конструкцию *набегая на* можно было бы продолжить словами *горизонт, землю, глаза, меня, жизнь* и т.д. Этот послелог английского типа выдает самое мучительное для Бродского – потерю *части речи*, поскольку всё творчество Бродского – утверждение того, что язык – последнее прибежище и спасение поэта.

М. Крепс видит приоритет И. Бродского в употреблении служебных частей речи в рифменной позиции конца строки. Однако точнее было бы сказать, что Бродский развил этот прием (который был известен и в поэзии Серебряного века, например, у Маяковского, Цветаевой) и воплотил в своем творчестве многие скрытые потенции предлогов, союзов, частиц. Несомненно, Бродский пошел в этом значительно дальше своих предшественников и сделал выдвижение в смысловой центр высказывания служебных частей речи характерной чертой своей поэтики, поэтому наблюдение Крепса, несмотря на некоторое смещение исторической перспективы, остается существенно значимым. Приведем фрагмент из исследования Крепса с подобранными им примерами:

«В силу <...> закона песенного благозвучия сочинительные и подчинительные союзы почти никогда не заканчивали строку и, следовательно, никогда не рифмовались. Я думаю, что новаторство Бродского в первую очередь обусловлено именно его решением использовать союзы в рифме – новаторство, которое волей-неволей потянуло за собой и зашагивание. Другими словами, не сдвиг союза и решение писать анжамбеманами вызвало употребление составной рифмы с союзом, но рифма с союзом необходимо навязывала употребление анжамбемана:

Даже кукушки в ночи звучание
трогает мало – пусть жизнь оболгана
или оправдана им надолго, но²²²
старение есть отрастание органа

(Норман, 1978: 97), то здесь аналогичных случаев оказывается много, но все они неопределенны.

²²² Слова подчеркнуты М. Крепсом.

слуха, рассчитанного на молчание.

("1972 год")

Подобным же образом новаторское для русской поэзии привлечение в составную рифму и всех других мелких служебных слов (предлоги, частицы) вызвало новаторство расщепления доселе нерассекаемых сочетаний:

Солнечный луч, разбившийся о дворец, о
купол собора, в котором лежит Лоренцо

("Декабрь во Флоренции")

... Пот катится по лицу.

Фонари в конце улицы, точно пуговицы у
расстегнутой на груди рубашки.

("Колыбельная Трескового Мыса")

В стихотворении "Декабрь во Флоренции" решение рифмовать такие сочетания, как "пар, но – попарно", "взор от – ворот", "фонари и – Синьории", "века на – вулкана – кулака, но", "черны ли – починили", "дворец о – Лоренцо", "двери – две ли", "ни вниз, ни – дороговизне", "зеркала. То – золото" и "устами – к листам. И" не могли не вызвать качественно нового контекста, невозможного при соблюдении правил старой поэтики» (Крепс, 1984: 191–192)

Во всех случаях постпозиция предлогов, их интонационное отделение от того слова, с которым они в норме составляют синтагму, и тем более их автономное употребление способствуют приближению этих предлогов к статусу наречия. Такая потенциальная трансформация поддерживается уже образовавшейся в языке грамматической полисемией (или омонимией генетического происхождения) предлогов и наречий: *он сел рядом* и *он сел рядом с нами*; *он где-то около дома* и *он где-то около*.

У Е. Кропивницкого есть текст с резкими переносами (анжамбеманами) в следующую строку тех частей синтагм, которые следуют за союзом *и* в перечислительных конструкциях:

Он соскучился по водке

По гулянке. **И**

По соседке, по молодке,
По гармошке. **И**

По деревне по родимой,
Где все мило. **И**
По березыньке любимой,
Где был счастлив. **И**

Он запил. Запил он глухо.
Хмуро, жутко. **И**
Матом крыл,и съездил в ухо,
Гукал, гикал – ии – и!

(Кропивницкий Е., 1998: 16–17)

Несмотря на то что в этом тексте перед каждым из союзов *и* стоит точка, что создает парцелляцию (расчленение единого предложения на интонационно завершённые части), каждый из союзов ритмически объединяется с предшествующей ему синтагмой, демонстрируя свое стремление занять место в постпозиции. Союз, вопреки своему статусу незначительной части речи в нормативной грамматике, получает ударение в сильной позиции конца строки и становится смысловым центром текста.

Когда союз *и* оказывается в постпозиции, возникают ситуации, допускающие разные толкования:

потому и курю: любит меня сигаретхен
вот – умрет. С кем тогда – **и**?

(Иконников-Галицкий, 1995-б: 351)

Я вернусь, понимаешь,
не впиши в поминальник.
Стража, факелы взвились.
Ты о них помолись – **и**.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 45)

В первом тексте можно видеть инверсию (из фразы *и с кем тогда*), а можно и недоговоренность, демонстрируемую опущением присоединительной части (например, *и [как быть?]*). Во втором примере возможно: *И ты о них по-*

молись или *Ты о них помолись – и [вздохни], [поплачь]*. Но знак вопроса и точка запрещают продолжение фраз. Провозглашаемая автором самодостаточность союза *и* указывает одновременно и на непоправимую незавершенность мысли, и на ее законченность (как будто говоря: если фразу нельзя продолжить, ее нужно закончить на том, что есть. Желание неосуществимо, возможности беспредельны).

Сильнейшую тенденцию к превращению служебных частей речи в самостоятельные (вероятно, этому в большой степени способствовала поэтика анжамбеманов) показывает следующее стихотворение, построенное на тотальном эллипсисе, в результате которого комбинация союзов и частиц образует и сюжет, и портрет человека размышляющего, но недовольного своими или чужими размышлениями:

Коль скоро,
 прежде чем,
 поскольку,
 не так чтоб,
 именно,
 зато,
 как будто,
 вследствие,
 и только,
 тем более,
 что ни за что,
 но лишь,
 ввиду того что,
 ибо,
 едва-едва,
 и либо-либо, –
 добро бы,
 ежели кабы,
 равно как,
 нежели,
 дабы!

(Сатуновский, 1994: 91)

А. Кушнер и С. Бирюков делают темами своих стихов главенствующее место служебных и модальных слов в речи как отражении сознания:

А тут еще гласность... Ну, гласность, понятно, нужна.
И правда... выкладывай всю ее, правду, и совесть.
Совсем не останется слов у нас скоро... Со сна
Ищу – не найду... только «может быть», «значит» и «то есть».
(Кушнер, 1991: 20)

Я говорил на птичьем языке,
на языке синичьем и скворчином,
да, были у меня свои причины
так говорить, так жить на сквозняке.

А ну, попробуй как-нибудь иначе –
из междометий и служебных слов
вся речь вокруг: вот – как бы, дескать, значит.
Застенчив быт и потому суров.
(Бирюков, 1997: 702)

К автономизации стремятся не только модальные слова (знаки отношения к высказыванию – уверенности, сомнения и т. п.) и служебные части речи, но и части слова – буквы, слоги, морфемы.

Сокращения слова до одной буквы способствуют, во-первых, обычаю употреблять инициалы в письменных текстах и, во-вторых, эвфемистические буквенные замены нецензурных или грубых слов:

он ждал ее у памятника П
она же не пришла к нему на С
он невзначай подумал: ну и Б!
и к этой Д утратил интерес

он в М спустился и в набитом В
до Р добрался на одной ноге
среди М и Ж он был как Ц в траве
где каждый фарцевал каким-то Г
(Гецевич, 1995: 4)

Увязался М за Ж
 И схватил ее за Ж.
 Разозлилась Ж на М
 Да как даст ему по М.

(Григорьев О., 1997: 186)

Культивируется поэтика полуслова. Очень часто недоговоренное слово иконично в изображении ситуации – засыпания, смерти, увечья, перебивания речи собеседником, заглушающего шума и т. д. (ср. недосказанные страшные слова в «Молодце» М. Цветаевой²²³, *Их надо или ку или у* из пьесы Е. Шварца «Тень», *И мертвые губы шепнули: «Грена...»* из стихотворения М. Светлова «Гренада» и другие примеры²²⁴). Но подобные мотивировки, или, как писал Р. Якобсон, «оправдание иррационального поэтического построения» (Якобсон, 1987: 277), – внешние поводы, а внутренняя причина деформации слова состоит в потребности языка (по формулировке Якобсона, «обнажение приема» – Якобсон, 1987: 286 и др.). В данном случае это потребность говорить как можно короче, не продолжать то, что уже и так ясно. В предыдущих главах книги уже приводились примеры с полусловами Г. Сапгира. Добавим еще несколько примеров, в которых усечение иконично:

Как важно оборвать **стихотворе...**

(Вишневский, 1992: 78)

с трибун присягали твердили в трубу
 напрячься и времени больше не **бу**

(Цветков, 1985: 57)

И лобзают образа
 с плачем жертвы **обреза́...**

(Бродский, 1994-III: 117)

Но не слышит **человек**,
 продолжает быстрый бег.

²²³ См. об этом: Зубова, 1992; Хворостьянова, 1996.

²²⁴ О прерванной речи см., напр. работы: Артюшков, 1988; Северская, 1988.

Пробегают по Москве –
остается: «**ЧЕЛОВЕ...**»

Где ты, Детское село?
Остается лишь: «**ЧЕЛО...**».

Майка виснет на плече:
остается: «**ЧЕ...**»
.....
Человечка нет печального.
Есть дороженька песчаная...

(Вознесенский, 1990: 408)

Последнее **желань...**
останется **послед...**
Я выпил бы «Шампань»,
а ты, как будто, нет?

(Воркунов, 1995: 19)

Флаг... флаг... флаг...
На ветру.
А утихло, и –
Фла... фла... фла...

(Овчинников, 1997: 557)

Любопытны эксперименты усечения слов в их начале – при том, что для восприятия слова наибольшей различительной силой обладает именно начало слова. Так, например, И. Холин показывает, что в знаменитых цитатах (зд.: *Я помню чудное мгновенье*) достаточно обрывков слов для узнавания полного текста:

Я мню дное венье
Передо виласть ы

(Холин, 1997: 412)

В стихотворении А. Сурикова под названием «Без я...» можно видеть реакцию на грубое учительское клише – команду, подавляющую индивидуальность учеников.

корь рко аж боль сквозь веко и рот
 в **му** зак лёг в роту зуб где гвоздь куса
 искра зажигает фитиль порох вспых пли
 пулей **дро блоко** от **блони понец** и негр
блон нага сундук на суку сук над дуплом
 возжи **мщик** цо кобылу с цепей сундук
сен взор пред ним стоим баба нага
 пот со лба кап в сапог мысль **сна**
 в небо **стреб мщик** к ей в тумане глаз
нтарный блоки пахучи нагайка дрожит

(Суриков, 1996: 5)

Заметна тенденция современного языка к вычленению из слова постфиксов (суффиксов вместе с окончаниями). Постфиксы гораздо менее информативны для восприятия речи, чем приставки и корни. И эта тенденция, и слабая информативность конца слова изображены в следующем тексте (в данном случае с окончанием слова объединяется последний согласный корня):

– Где вы были?
 – Мы по крышам ходили.
 – По ШАМ или ШЕ?
 – Что по ШАМ или ШЕ?
 – По крышам или по крыше?
 – По ШАМ.
 – Что – по ШАМ?
 – По крышам.

(О. Григорьев, 1997: 31)

Несмотря на ослабленную информативность, постфиксы обнаруживают тенденцию к автономному употреблению и в практической речи – ср: *вечер для тех, кому за -дцать; Цветаева не принадлежала ни к каким –измам*. В поэзии этот процесс идет гораздо активнее:

А он такой –**оватенький**
 весь из себя –**еватенький**
 горстьми кидает катеньки

своей зазнобе Катеньке.

Не **-ующий**, не **-еющий**
пирующий, да **-ующий**
кукующе ликующий

(Кондратов, 1980: 246)

Все **аемые** и **яемые**

всем **ающим** и **яющим**:

«Что вы щиплетесь, что вы колетесь!
как вам не ай и яй!»

Все **ающие** и **яющие**

всем **аемым** и **яемым**:

«А вы двигайтесь, двигайтесь!
Ишь, лентяи-яи!»

Все **ущиеся** и **ющиея**

всем **ащимся** и **ящимся**:

«Что вы акаете? Что вы якаете,
как москвичи?»

Все **ащиея** и **ящиея**

всем **ущимся** и **ющимся**:

«А вы не мычите, не брюзжите
и отстаньте-яньте!»

Все **ательные-ятельные**

всем **ованным-ёванным**:

«Почто ругаетесь матерно
в общественных местах?»

а каждый **ованный-ёванный**:

каждого **ательного-ятельного**

к маме евонной

лично и недвусмысленно!

Блаженны **инные** и **янные**, ибо их есть
царствие небесное.

Блаженны **авливаемые-овываемые**, ибо их есть
не пора ещё.

Блаженны **ующиея-ающиея**, ибо их есть

нихт вас нах послать унд вас нах пойтить.
 Дважды блаженны **айшие** и **ейшие**, ибо их есть
 у нас, а нас есть у них!

(Левин, 1995: 175)

Фрагмент из этого стихотворения приводит К. Э. Штайн с комментарием: «Так, используя в качестве подлежащих только суффиксы и окончания прилагательных и причастий, получают некие неидентифицируемые объекты, обладающие двойной семантикой: семантикой непосредственных звучаний и семантикой подразумеваемых слов, в которых эти элементы используются. <...> Формообразовательные элементы – суффиксы причастий – создают значимое отношение актива и пассива, противопоставление активных и пассивных субъектов держится на сближении их в общей неудовлетворенности друг другом, взаимной вражде, текст "прорезают" ономатопы ай-яй со значением 'укоризны', 'неодобрения', они отслаиваются не только от маргинальных элементов (аемые, яемые, ающим, яющим), но и от слов двигайтесь, лентяи, составляя с собственно ономатопами ай, яй одну гармоническую вертикаль» (Штайн, 1996: 105)²²⁵.

Приобретая самостоятельность, аффиксы (или концы слов, захватывающие часть корня) в частичных повторах-отзвуках, подобных эху, демонстрируют свое подобие словам и через омонимию или сходство со знаменательными словами:

мы находим действительно
 действительно што винительнава
тельнава тела
 тела центростремительная
тельная сила
 сила имеет
 имеет единственный
венный источник
 источник **точник** разложения
 разложение направления
ления движения
 движения на поэтические

²²⁵ Подчеркнуто К. Э. Штайн.

поэтически **тические**

эти линии

(Сигей, 1991:162)

Своеобразной моделью убывания, прекращения речи является логогриф – «стилистический прием построения фразы или стиха путем подбора таких слов, последовательное сочетание которых дает картину постепенного убывания звуков (или букв) первоначального длинного слова» (Квятковский, 1966: 146). Если в древние времена этот прием был элементом словесной магии (ср. латинское изречение *Amore, more, ore, re sis mihi amicus* – ‘Любовью, характером, молитвой будь мне другом’ – там же), то впоследствии он становится одной из словесных игр типа *В колхозе «Победа» после обеда случилась беда: пропала еда. Да.* Это типичное направление в эволюции сакральных текстов или их специфических структур.²²⁶

Современная поэзия с ее установкой на двойной код, полистилистику и философию логоцентризма (мир рассматривается как текст) часто совмещает игровые приемы с их исходным сакральным смыслом. Убывание текста приобретает изобразительный (иконический) характер, при этом каждая ступень сокращения текста сопровождается семантическим приращением.

Так, например, в стихах К. Кедрова редукция философского определения Бога читается как отказ от самой попытки определения, что соответствует исходному постулату о непознаваемости Бога. Стихотворение называется «Утверждение отрицания» (ср. закон диалектики «отрицание отрицания»):

«Бог есть субстанция с бесконечным множеством атрибутов»

«Бог есть субстанция с бесконечным множеством... »

«Бог есть субстанция с бесконечным ... »

«Бог есть субстанция... »

«Бог есть... »

«Бог... »

«...» (Кедров, 1991: 93)

²²⁶ См. также стихотворение А. Миронова «Я перестал лгать...» (с. 000)

Вместе с тем такой текст представляет собой последовательное настойчивое утверждение абсолютного бытия Бога. И это основано на языковых потенциях слова во фразе. В каждой из строк меняется синтаксическая структура предложения – его актуальное членение. Внешне все предложения, кроме первого, представлены как усеченные, но логическое ударение всегда стоит на последнем слове строки и делает его ремой (новым сообщением) высказывания. В результате с каждым шагом последнее слово строки повышает свою значимость, оно становится семантически всё более и более полноценным. Форма логогрифа предполагает, таким образом, вслушивание в каждое слово. При этом меняется и грамматический статус слов: слово *бесконечным* субстантивируется, а семантически пустая связка *есть* превращается в экзистенциальный глагол. Строка *Бог...* обозначает номинативную самодостаточность слова как утверждение бытия, однако тут же вносится противоречие: многоточие как знак интонационной незавершенности высказывания оставляет простор для других трактовок вплоть до противоположной. Последняя строка, состоящая из многоточия, делает именно эту интонационную, а следовательно, и смысловую незавершенность ремой высказывания, чем и утверждается неназываемость Бога.

Другой логогриф того же автора демонстрирует трансформацию знаменитого мичуринского изречения-идеологемы с полным переосмыслением предиката: претензия на абсолютное могущество человека предстает абсолютной беспомощностью:

Мы не можем ждать милости от природы
 мы не можем ждать милости
 мы не можем ждать
 мы не можем (Кедров, 1991-а: 96)

И в этом случае мы видим, как, последовательно делая каждое из слов центром высказывания, К. Кедров превращает синтаксически зависимый элемент фразы в независимый, семантически самодостаточный. Незамещение синтаксических позиций при глаголах *ждать* и *не можем* приводит к семантическому включению в глагол потенциально любого содержания и, в результате, к новому абсолютивному значению глагола, который в таких случаях снова стремится к сужению, то есть фразеологической обусловленности значения, – ср.

глаголы *пить*, *сидеть*, *брать* в их абсолютном употреблении со значениями – 'пьянствовать', 'находиться в заключении', 'быть взяточником'.

Импульсом к переосмыслению мичуринского высказывания, возможно, является стилистическая ошибка Мичурина: сочетание *от природы* может быть понято не только как синтаксическое дополнение, но и как обстоятельство причины – 'по природным свойствам'.

Логогрифические стихи часто показывают не только убывание высказывания, но и убывание слова. При этом возникает ситуация, когда обрывки слова семантизируются, как, например, в следующем стихотворении А. Кондратова, озаглавленном «Ликвидация поэзии»:

Поэзия. Поэзия!

Оэзия поэзия

эзия оэзия!

Эзия, эзия,

эзия зия!

Зия, зия,

и я – зия...

И я, и я,

я и я,

я, я

я

..... (Кондратов, 1980: 252)

Обесмысливание слова *поэзия* его усечением *Оэзия* вместе с тем актуализирует полное нередуцированное произнесение звука [о] и функционально сближает его с одическим восклицанием *О!* Этому способствует как написание *Оэзия* с заглавной буквой, так и сама структура текста с патетическим повтором, с восклицательными знаками. Усеченный элемент *зия* может быть воспри-

няют как окказиональное деепричастие от глагола *зиять* – 'обнаруживать пустоту'. Напомним, что в поэтике есть термин *зияние*, обозначающий сочетание двух гласных, чуждое славянской фонетике и нежелательное в классическом стихосложении. Собственно, именно такое зияние присутствует в самом слове *поэзия*. Далее семантизируются звуки [и], [ја], превращаясь в соединительный союз и местоимение 1-го лица. Таким образом, слово *поэзия* превращается в авторское *я*, которое в конце текста тоже исчезает, что обозначено многоточием. Ликвидация поэзии предстает ликвидацией самосознания, утратой личности и, наконец, самого бытия.

Подобных примеров стихов-логогрифов в современной поэзии встречается немало. Логогриф располагает к рефлексии над словом, он является способом филологического анализа слова, попадающего в разные синтаксические позиции или распадающегося на части. Логогриф постоянно ставит проблему тождества и различия, всегда связан с осмыслением бытия в процессе его прекращения. Поэтому поэзия постоянно стремится вернуть логогриф из игровой сферы в область философии.

Иконичность всех рассмотренных текстов, как и вообще изобразительность языкового знака, сама по себе отражает архетипическое представление о единой сущности предмета и слова. Метафорическое отождествление поэта со словом тоже восходит к мифологии экзистенциального тождества имени с его носителем.

4. Архаические конструкции в современном тексте

а) Согласованное определение-существительное

Для древних славянских языков было характерно такое строение словосочетания, предложения, текста, при котором ведущая роль принадлежала согласованию, а не управлению. Логически подчиненные компоненты были оформлены как самостоятельные: *шуба сукно красномалиново, по книгам по новому письму* (см.: Потебня, 1968: 216–218; Савельева, 1963). Конструкции такого типа в лингвистике называются паратаксом. Этот термин имеет и более широ-

кое значение. Паратаксичной можно назвать такую организацию словосочетания, предложения или текста, в которой «нет сигналов субординации компонентов высказывания, указателей на их иерархичность» (Тарланов, 1999: 136). Современная поэзия с ее философией непризнания иерархий нуждается в таком языке, находя его прежде всего в фольклоре. «Будучи изначально и продолжая оставаться типическим порождением неподготовленной коммуникации, они [конструкции паратаксиса. – Л. З.] подверглись в фольклоре эстетической специализации в качестве средства синтаксической автономизации художественного признака <...> и превратились в одну из излюбленнейших народными мастерами моделей синтаксического оформления устнопоэтических текстов» (Артеменко, 1977: 14–15).

Чаще всего паратаксис древнего типа и можно видеть в тех текстах современной поэзии, которые содержат в себе элементы фольклорной поэтики или исторической стилизации:

Ты небо включил как люстру,
 земля как **река скатерть**,
 лодки в ней – люди, люди,
 репы их – капли, капли,
 (катится по ланите
 пуля к едрене Лотте)
 ты загулял по лютне –
 пальцы по венам – лодки.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 23)

Я знаю – Брут. Но я вошел в Сенат.
 Я запер круг истории моей.
 Давно равно мне – дверь или стена,
 смерть или присмерть, сметь – или не сметь.
 Я сам не знаю что, но ТО влекло
 в объятья крови, в Рим моих убийц,
 но выжег мне на лбу **письмо клеймо**
 и поднял руку. И сказал: Иди.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 16)

Но стилизация не является непременным условием появлением паратак-
сиса в современном тексте:

Это было только метро кольцо,
это «о» сквозное польстит кольцу,
это было близко твое лицо
к моему в темноте лицу.

(Новиков, 1999: 11)

Снял очки. Мир так занятен,
непонятен и красив,
состоит из разных пятен,
в разной степени живых!
Вот пятно блуждает папа
и роняет звуки слов.
Вот пятно плывет анапа,
вот летит пятно тамбов.

<...>

Этот мир калейдоскопа
объяснить никак нельзя.
Вот плывет пятно европа,
вот летит пятно земля.

(Ванталов, 1997: 607)

Сочетания *река скатерть*, *письмо клеймо*, *пятно Тамбов* написаны без де-
фиса. Поэты дают такую картину мира, в которой предмет и признак предста-
влены равными сущностями. Но при этом в приведенных текстах нет слияния
двух понятий или образов в единый комплекс.

Паратаксис органично включается в поэтику примитива:

Здесь жили турки, геноуэзцы
Татары, русские, мордва
Коринфцы и пелопонесцы
И вот сию здесь Пушкин я
Сию я Пригов возле моря
Я Лермонтов сию близ гор
С собой веду я разговоры
Веду с собою разговор

<...>

Встречаю множество прохожих
Их Лермонтов я не люблю
А Пригов – вот их не люблю
Но Пушкин женщин здесь люблю
 В духовном смысле не люблю
 А не люблю я их за дело
 Поскольку вот какое дело
 Живут они не в высшем смысле
 А наподобие цветка
 Без пистолета у виска
 Судьбу хоть бы на гран превысить
 За это вот и не люблю
 А в общем-то я всех люблю

(Пригов, 1993: 22–23)

Немало подобных конструкций соответствует норме (*диван-кровать, газета «Правда»*) и является моделью новых номинаций как в деловом, так и в разговорном языке: *сапоги Австрия, спальня Румыния*.

В последнее время все чаще стали встречаться сочетания двух существительных, одно из которых употреблено в функции определения. Большие списки новообразований типа *бизнес-справочник, джаз-фестиваль* приводятся в лингвистических работах (напр., Земская, 1992; Костомаров, 1996; Голанова, 1998). Особенно агрессивно такие сочетания распространяются в рекламе (*ленор-полосканье, памперс-кожа наших малышей*), которая, кажется, и должна дразнить для того, чтобы ее запомнили. Подобные конструкции производят впечатление категорически чуждых русскому языку. Как правило, по крайней мере, одно из слов, чаще существительное-определение представляет собой недоосвоенное заимствование, но иногда и напротив, заимствованием является определяемое слово: *Горбачев-фонд; Огород-клуб* (название телевизионной рубрики).

В современных стихах эта ситуация воспроизводится с применением той лексики, которая еще не охвачена известными сочетаниями:

Поедем в **кукареку-парк**,
 зелёный и многоэтажный,

где петухи гуляют важно,
на поводках ведя собак.

(Сапгир, 1995: 95)

Плеханов-вальс, Плеханов-вальс,

Звучит на танцплощадке
Я вас люблю, я вижу в вас
Свой идеал в зачатке.

(Стратановский, 1993-а: 31)

Определяющее существительное нередко утрачивает согласование с определяемым словом по падежам, что приближает слово-определение к статусу морфемы:

По-прежнему ли в дикой **Русь-земле**

Живут не окрестясь антропофаги

Но умные и пишут на бумаге

И, говорят, слыхали обо мне

(Пригов, 1997-а: 107)

Лавина холода

спрессована в гармошку.

Сыграй мне, лёд,

свой шлягер на дорожку,

вруби мой след

в каток **мороз-пути**

И отпусти

дышать морозным бунтом.

(Залогина, 1997: 7)

Ночью, в **Набоков-отеле**

школьницу, полую Лолу

В номер на птицу-постель

змей-господин завлечет

(Стратановский, 1993-а: 33)

В последнем тексте можно видеть некоторую градацию субстантивных определений по признаку их освоенности: сочетание *в Набоков-отеле* – новое

для русского языка, *на птицу-постель* – авторская метафора, а *змей-господин* больше похоже на языковую метафору.

Сочетания в *Русь-земле, мороз-пути, в Набоков-отеле* напоминают судьбу слов типа *Новгород*. Сначала склонялись обе части слова: к *Новгороду*, затем первая часть стала неизменяемой: к *Новгороду*.

Следующий шаг от определяющих существительных к морфеме – утрата согласования в роде:

Иностранцам – не верь. Шведам – в первую очередь. Бар
выбирай хорошенько. Там ходит одна...

Швед-королева... со бзиком!

Будешь пить с ней, спроси ее в лоб: – Где борьба?
(Паспорт не проверяй. Узнаешь по бескозырке.)

(Соснора, 1998: 105)

В «**Обувь**»-магазине русалка
Кислую состроила мину.

(Зондберг, 1997: 19)

Нарушается и согласование в числе:

А после
вернёмся обратно домой.
В разные плоскости
и прочие **дурь-напасти**.

(Залогина, 1997: 19)

Я буду жить, как нотный знак в веках.
Вне каст, вне башен и не в словесах.

<...>

Мечтой медведя, вылетом коня,
еж-иглами ли, ястребом без «ять»...
Ни Святополком (бешенством!) меня,
ни А. М. Курбским (беженцем!) – не взять!

(Соснора, 1998: 104)

В некоторых случаях не только существительное-определение теряет формы согласования, но и определяемое существительное (второй компонент) перестает склоняться:

Пишут пишут книги **о секс-страсть** в сердце,
грусть с позолотцей, грядущего Манна,
я книг не умею, не умираю о славе, –
Serwus, madonna.

(Соснора, 1998: 165)

Само определение подвергается морфологической деформации:

Существеннее миф о волосах
Самсона...
Здесь же: кто есть кто? –
Амнон? Фамарь? Восстанье? Иоав? –
Никто – никто...
Есть «столб Авессалома»,
поставленный в пустыне так как есть,
до **библь-страстей**... Уж если есть пустыня²²⁷,
то почему бы в ней не быть столбу?

(Соснора, 1998: 184)

В. Соснора явно иронизирует над модной конструкцией, но ее положение в повествовании с обращением к истории и к мифам заставляет подумать и о происхождении, и о судьбе аппозитивного определения-существительного.

Судьба субстантивного определения в русском языке тесно связана с превращением существительного в прилагательное, а их генетическое единство позволяет и современное прилагательное представить существительным, теряющим формы словоизменения. Такой сдвиг приводит к воспроизведению синкретического существительного-прилагательного, типичного для языка фольклора:

²²⁷ В сборнике «Верховный час» (Соснора, 1987) напечатано *пустыни*, что, вероятно, является более точным авторским вариантом: в стихии архаического языка это правильная древняя форма

И не видеть смертный грех
 Счастья и в горе.
 А не видишь – чтоб прозреть
 Выпей **зелен-море**.

(Шварц, 1996: 33)

Особенно выразительно обнаруживаются свойства подобных фольклорных сочетаний, когда синтаксическая модель, или, по крайней мере, один из ее элементов, наполняется современной лексикой:

Как я жил – как жилец. Уважал коридоры.
 В ванную впотьмах **в чуж-квартире**... О жуть!

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 37)

Поэзия напоминает, что синтаксическая модель с аппозитивным определением-существительным вполне естественна для русского языка – ср. выражения *жар-птица*, *бой-баба*. Такие субстантивные определения были единственно возможными в древних славянских языках, когда прилагательное еще не было вычленено из синкретического единства предмета с его признаком. Во многих языках, в том числе в английском модель подобных сочетаний осталась продуктивной, а в русском сохранились только ее фразеологизированные реликты типа *жар-птица*. Сейчас мы получаем импульс к восстановлению этой модели через английский. Навязчивость рекламы и журналистского жаргона такому восстановлению и способствуют, и препятствуют, поскольку стилистический контекст проникновения модели в русский язык вызывает естественное отторжение. Но и поэзия экспериментирует в этом направлении, иногда пародируя кальки с английского, иногда поэтизируя архаические конструкции в контексте фольклорных или исторических стилизаций. Поэзия показывает многообразие переходных случаев, связывающих новую конструкцию с древней.

б) Двойной именительный падеж

Наследием древнерусского синтаксиса и – в широком смысле – паратаксиса – является и двойной именительный падеж в конструкциях составного именного сказуемого: *Андрей же князь, толикъ умникъ сы, во всРхъ дРлРхъ добль сы, и погуби смыслъ свой невоздержаніемъ; Преставися епископ Володимерскый Стефанъ, ... бывъ прежде игумень* (примеры из кн.: Потебня, 1958: 188). «Генетически первичный второй именительный – это принадлежность архаического, паратаксического синтаксиса с его полицентричностью, слабо обозначенным структурированием компонентов высказывания» (Тарланов, 1999: 168). Основная тенденция в историческом развитии именной части составного именного сказуемого – развитие конструкций с творительным предикативным (*он был /стал/ учителем*) на месте древних структур с именительным падежом в именной части сказуемого (*он был /стал/ учитель*). Согласно наблюдениям Д. Н. Овсяннико-Куликовского, творительный падеж появлялся раньше и чаще при глаголах превращения. Если именительный падеж обозначал постоянный признак, то творительный указывал на признак временный, случайный (Овсяннико-Куликовский, 1912: 165).

В современных стихах часто можно увидеть конструкции с именительным падежом именно при глаголах превращения – *стать, сделаться*, а также при глагольных формах будущего времени, которые тоже указывают на становление:

На той Березине
 где пуговица-речка
 пленила двух французов
 девичья краса.
 Француза оба отдали концы
 и только что напились кваса –
 как **сделались отцы.**

(Эрль, 1995: 39)

Мне б разрыв-травой разжиться
 И напитокъ чорна сока,
 Ах, как **стала бы я птица**

Улетела б я далеко.

(Шварц, 1996: 34)

Заливая стакан за ворот,
говорю тебе как инструктор:
отправляйся, малютка, в город –
станешь доктор или кондуктор.

(Щербаков, 1997: 152–153)

чтобы **стал он академик**, знаменитый меж людей,
дай ему, отчизна, денег на лопаты и на клей –
черепки он будет клеить, вымыв мертвою водой,
и историю лелеять на ладони молодой.

(Кенжеев, 1993: 21)

будет час – его не будет
холод станет лед и брат
и устало хлынут люди
к тишине осенних врат

(Казаков, 1995: 26)

Подобные конструкции выглядят старомодно-разговорными, когда глагол-связка стоит в прошедшем или будущем времени или в сослагательном наклонении, а в настоящем времени они вполне современны и нормативны: *я учитель, он гений*. Поэтому сохранение двойного именительного в конструкциях с прошедшим или будущим временем можно понимать как проявление тенденции языка к системной унификации составного именного сказуемого независимо от грамматического времени. Но системная унификация может осуществляться и в противоположном направлении. В народном языке еще сохранилась модель с творительным предикативным в настоящем времени: *он здесь учителем*. А если глагол-связка знаменателен, творительный падеж с настоящим временем глагола нормативен: *он назначен учителем, он притворяется дураком, он кажется гением*.

в) Относительное прилагательное в синтаксической структуре.

К паратаксису в широком смысле относятся и конструкции с согласованным определением, которое выражено относительным прилагательным.

В современном русском языке существуют синонимические конструкции с согласованным определением (*солнечный свет*) и несогласованным (*свет солнца*). Как показывают исследования, «сличение ранних переводов с греческого языка с их подлинниками с полной убедительностью свидетельствуют о том, что дописьменным славянским языкам было свойственно употреблять приименный родительный падеж главным образом в значении меры – количества. Остальные отношения между предметами предпочтительно выражались относительным прилагательным» (Шатерникова, 1940: 202); «В целом до XVIII века относительное прилагательное сохраняет широту своего употребления и преобладает над конструкцией с приименным родительным» (Указ. соч.: 203). Таким образом, согласованное определение типично для русского языка до XVIII в., а конструкции с управляемой падежной формой – для современного.

Но четкой границы между нормой и отклонением от нее не существует: во многих случаях синтаксическая структура определений обнаруживает лексическую зависимость, то есть является фразеологизированной. Так, если в современном языке вполне возможно сочетание *воздушная яма*, то абсолютно невозможно *дворовая яма*. Сочетания *домашняя хозяйка* и *хозяйка дома* имеют разные значения. Предпочтительнее выражения *лесная поляна*, *серебряная ложка*, *уличный кот*, а не *хозяйство в доме*, *поляна в лесу*, *ложка из серебра*, *кот (с) улицы*. С другой стороны, только управление возможно для таких определений, как *угол дома*, *сопротивление воздуха*, *благосостояние страны*.

Попытка преобразовать несогласованное определение в согласованное (например, *странное благосостояние*) показывает, что относительное прилагательное (*домашний*, *воздушный*, *странный*) имеет тенденцию к переходу в качественное с резким изменением значения. «Относительное прилагательное сузило свои функции. Оно уступило место конструкции с существительным в тех случаях, где надо указать на связь двух предметов, и закрепилось в тех функциях, где надо передать качественный оттенок значения» (Указ. соч.: 205).

Архаизация большинства относительных прилагательных (например, в сочетаниях *докторское предписание, водный шум*) связана с тем, что прилагательные утрачивают значение единичной отнесенности к лицу или предмету, передавая эту функцию косвенным падежам существительного, и развивают обобщенное значение свойственности, типичности (Белошапкина, 1964: 131–132).

Семантический сдвиг от единичного к типовому связан с философией восприятия действительности, он кардинально меняет картину мира. Но, поскольку любое изменение в языке происходит постепенно, поскольку старые и новые элементы какое-то время сосуществуют как вариантыные способы выражения смысла, создается ситуация, когда оказывается возможным маркировать либо семантическую неопределенность, либо совмещение значений, либо метафоризировать высказывание.

Из-за неравномерности в развитии новых значений для одних случаев в качестве определения возможно только прилагательное, для других – только существительное, для третьих возможны варианты.

Сейчас в нормативном языке стали невозможными относительные прилагательные-определения, если они обозначают отношение к предмету, который является субъектом-производителем действия (ср.: *течение звездное*), отношение к предмету-объекту действия (ср.: *лиание слезное*), отношение предмету, обозначающему орудие, образ осуществления действия (ср.: *ударение копейное* – примеры из книги: Георгиева, 1968: 57).

В последние годы наблюдается любопытное явление: появляются новые сочетания с прилагательным на месте, казалось бы, устоявшейся падежной формы существительных: *структуры власти* → *властные структуры*, *дом мод* → *модный дом*. Вероятно, это не возвращение к старым атрибутивным отношениям, а наложение качественно-метафорического значения прилагательного на его терминологическое значение: *властные структуры* – не просто 'структуры власти', но и 'сильные, могущественные'; *модный дом* – не только 'дом, где шьют и продают модную одежду', но и 'тот, который в моде, престижный'.

В современной поэзии ненормативные сочетания с относительными прилагательными употребляются часто, например²²⁸: *Перьевая проба, роща свечная, свечное пламя, телевизорным бельмом, ранкою ладошной, в костном хрусте, книга макулатурная, в графе именной, фонарное течение, время речное, смысл речной, шерстяного бутуза, в гастрономную очередь, воздух сосенный, тарелочный стук, самолетного крыла, восторг леденцовый, пепелищную птицей, над чащобным пределом, кларнетным клапаном, в укропной чаще, победная лапта, стеклянной водки, кильки жестяной, морозными розами, мамонт облачный, в тканном отделе, рептильный испуг, азбучный режут арбуз, оранжевые стекла, лампочный ловит сигнал, блиц получился улыбочный, с бордовым осадком, гербарной бумаги, животного света, пожарный июнь, звонами медальными, склепные пустоты, в филармоническом вакхическом восторге, улитных распаленных труб, в строительстве органном, к пещерным мощам, об огне свечном, о пещных огнях, в снегопадных столбах, всадник табуреточный на кухне.*

Обратим внимание на два противоположных стилистических ряда. В части контекстов архаическая структура соответствует типичным для нее задачам: воспроизведение исторического колорита, включение в текст церковно-славянских элементов при изображении религиозного сознания, создание высокого стиля, воспроизведение или имитация традиционных поэтизмов и т.п. Но чаще ненормативные относительные прилагательные в атрибутивной функции или определяемые ими существительные в рассматриваемых текстах относятся к бытовой лексике.

Многообразие контекстов позволяет, во-первых, хорошо почувствовать специфику древнерусских конструкций с относительным прилагательным, особенно в условиях полистилистики (слово почти всегда предстает одновременно и как архаическое книжное, и как элемент современной небрежной речи), а во-вторых, установить границы современного употребления: как это бывает обычно, границы становятся ощутимыми именно потому, что нарушаются.

Рассмотрим примеры в более широких контекстах и посмотрим, что происходит с семантикой относительных прилагательных в функции согласованно-

²²⁸ Контексты с указанием авторов приведены ниже.

го определения. Наиболее важным их свойством представляется семантическая двойственность, активно используемая поэтами.

Так, например, конструкции с относительным прилагательным могут выражать и субъектные отношения (первые три примера), и объектные (два последних примера):

грех возъемлющий Мира,
 за всех, за меня на кресте
 в **костном хрусте** висишь,
 ГОСПОДИ ИИСУСЕ ХРИСТЕ!
 (Бобышев, 1992-б: 28)

Под разговоров старушечьих тонкий помол
 спящая очередь **лампочный ловит сигнал...**
 (Пурин, 1995: 19)

То потрепещет, то ничуть.
 Смерть бабочки? **свечное** пламя?
 Горячий воск бежит ручьями
 по всей руке и по плечу.
 (Аронзон, 1997: 541)

Впрочем, допетровская Россия
 знала толк в **строительстве органном**,
 даже и за море их дарили,
 и персидский шах с бухарским ханом
 музыку московскую ценили.
 (Чернов, 1991: 74)

тому свершилась **перьевая проба**.
 (Бобышев, 1992-б: 8)

Сама возможность выразить и субъектные, и объектные отношения может стать существенной для тех контекстов, в которых важна нерасчлененность субъекта и объекта:

Окошечко кухни блокадной,

Где пара летающих рук
Швыряет ораве всеядной
Железный **тарелочный** стук...

(Крестинский, 1993: 5)

В данном случае нерасчлененность субъекта и объекта основана на том, что в прилагательном *тарелочный* нейтрализуется различие между сочетаниями *стук тарелок* и *стук тарелками*, обозначаемое разными падежами существительного *тарелка*.

Согласованное прилагательное легко осуществляет тенденцию к наложению качественного значения прилагательного на относительное:

В зло-веселой Москве, у кладбища, в ограде собрались
Юроды Христа ради.
Порешили они покаяться – и отправиться ко святым
костям,
К **пещерным мощам**, что покоятся в граде Киевском.

(Шварц, 1995: 79)

но чем выше наводят границу,
тем бессоннее тянет опять,
обратясь **пепелищною птицей**,
над **чашобным пределом** летать

(Кублановский, 1993: 65)

Я, **всадник табуреточный** на кухне,
гляжу, что дело движется к утру.

(Щербина, 1989: 457)

Прилагательное *табуреточный* – ‘сидящий на табуретке’ можно понимать и по-другому: ‘ставший как табуретка, деревянный, неподвижный’. В подобных случаях можно видеть превращение логического определения в эпитет.

Двойственность логического основания для образования относительного прилагательного и его способность употребляться в значении качественного приводят к энантиосемии – противоречию в оценке:

Под боком **книга макулатурная** в ребро
 упирается,
 На лице газета шуршит.

(Галкина, 1989: 140) ²²⁹

Согласованное определение с семантикой сравнения обнаруживает значительную компрессию смысла и преобразует необычное сравнение в метафору, указывая на категоричность индивидуально-авторского логического определения, превращаемого в эпитет:

Вижу: сидишь аккуратный за праздником с твердой
 бородкой,
 думаешь: мама, где твой смех довоенный,
 благо разгадки,
 что кому предназначено; **азбучный режут арбуз**,
 раздают ломти,
 (Парщиков, 1995: 58)

Внимайте же князю, сый рекл: это – зга.
 И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
 Алеет **морозными розами** шаль.
 И-эх, ничего-то не жаль.
 (Лосев, 1985: 87)

Сочетание *азбучный арбуз* ('похожий на картинку к букве «А» в азбуках для детей') имеет и фразеологическую коннотацию, основанную на выражении *азбучная истина*.

Довольно странной оказывается строка *алеет морозными розами шаль*: если шаль *алеет*, значит, это не иней, который можно было бы описать как *морозные розы*. Возможно, этим алогизмом, который почти не замечен читателю, приученному к штампам, объединены четыре литературные банальности: *морозный узор*, *алая роза*, *раскраснеться от мороза* и рифма *розы-морозы*.

²²⁹ Подробнее о сочетании *книга макулатурная* в связи с энантиосемией см. на сс. 000

Компрессия согласованного определения позволяет включить в текст скрытую цитату, например, в следующих текстах, метафору Г. Р. Державина *река времен*:

проснись, бестелесный октябрь!
ты к холоду ближе, чем созвездная тьма,
чем **время речное**.
в дырявые сумерки, туман проливной
играли засады, с безглавого неба
уйдя

(Казаков, 1995: 71)

сгибают дождь в одну погибель,
тогда нисходит **смысл речной**
на все: на даже изваянье –
чугунно-конное весной,

(Казаков, 1995: 207)

Согласованное определение с относительным прилагательным обнаруживает и метафорическую природу образа (первый пример из следующей группы контекстов), и метонимическую (второй пример):

Я снова брожу в черепковском лесу,
Березовой памятью жив,
И **роща свечная** дрожит на весу,
Дыхание заворожив.

(Сопровский, 1997: 596)

Смотри – под арматурною стеной
сидит во мне товарищ костяной
и важно отвечает на вопросы
стеклянной водки, кильки жестяной,
бумажной папиросы.

(Лосев, 1985: 137)

Современное существительное, от которого образовано относительное прилагательное, современная ситуация, чаще бытовая, усиливают представление о ненормативности согласованного определения:

Запиши на всякий случай

Телефонный номер Блока:

Шесть – двенадцать – два нуля.

(Кушнер, 1994: 14)

Сядем тесно и сутуло,

Поглядим своим умом,

Как равнину затянуло

Телевизорным бельмом.

(Слепакова, 1997: 477)

И тенью **самолетного крыла**

Передо мною жизнь моя прошла.

(Крестинский, 1990: 107)

И вот он напрягает лоб,

кларнетным клапаном бликует,

и вот он так специально дует,

как будто произносит «ю-у!»

(Левин, 1995: 122)

Окказиональный характер относительного прилагательного указывает на то, что норме свойственна фразеологизированность сочетаний:

Как в **тканном отделе** – повсюду **рептильный испуг**.

(Парщиков, 1995: 41)

Падает занавес листьев – стоп-кадр затяжной,

Преодолеть предлагая и гордость, и робость

Зрячему зрителю – прочерк **в графе именной** –

И надзирателю – вместо фамилии пропуск –

Всем анонимам, готовым назваться за мной,

И имярекам театра по имени – глобус...

(Галкина, 1989: 52)

На столе – Чикаго тридцатых годов, вокзал
 переполненных пепельниц, косточки слив и птиц...
 То ли, то ли в прихожей мучительно им сказал,
 одевающимся? Хорошо ли последний **блиц**
 получился **улыбочный**?... Господи, как же все
 разговоры проскальзывают – суета, слова...
 Гладиолусы в сытой и бодрой своей красе –
 что арийцы у рва.

(Пурин, 1995: 35)

Омонимические отношения окказиональных относительных прилагательных с нормативными еще отчетливее указывают на узкую сочетаемость современных относительных прилагательных, на их фразеологизацию. Естественно, что значение слов, сформированное во фразеологизмах, например, *животный страх* ‘страх за жизнь’ (или – в современной интерпретации ‘инстинктивный страх, подобный страху животного’), *животный инстинкт* ‘биологический, а не духовный; низменный инстинкт’, *в пожарном порядке* ‘очень быстро’, *газетная шапка* ‘заголовок’, *облачная мечта* ‘несбыточная мечта’, а также коннотация слова *облачный* ‘очень легкий’ становятся подтекстом в следующих строках:

На улицах сорного лета
 Экскурсии, игры детей
 И боль от **животного света**
 Грядущей любви и смертей
 (Стратановский, 1993-а: 11)

Полдень жизни моей
 беспощадно **пожарный июнь**
 Догорай же скорей,
 погибай на железном корню
 (Стратановский, 1993-а: 39)

Вот и я в **газетной шапке**, на носу зеленый листик,
 Встану с теннисной ракеткой – всюду буду тут стоять!
 Не пойду на ужин в 9. Отойдите! Наблюдаю,

Как проходят километры места чудного вокруг.

(Коваль, 1999: 88)

Мы сидим с тобой у реки,
по реке плывут парики

<...>

Мамонт облачный пролетел,
в небе множество дивных тел,
там такое порой несут –
нас бы мигом за это в суд!

(Мориц, 1996: 6)

В следующем примере видна игра со звуко-смысловым сближением слов *укромный* и *укропный* при замещении прилагательного из устойчивого сочетания *в укромной чаще*:

В укропной чаще прячется злодей
с лицом чернее марсианской ночи.

(Левин, 1995: 67)

Многочисленные примеры с многообразной и противоречивой семантикой согласованного определения показывают, что поэзии совершенно необходим мощный смысловой и образный потенциал этих конструкций, и, возможно, именно поэтическое сознание человека препятствует тенденции к ограничению функций относительных прилагательных в русском языке.

г) Оборот «дательный самостоятельный»

В старославянских и древнерусских памятниках письменности XI–XVII вв. часто встречается синтаксическая конструкция, в которой и субъект, обозначенный существительным, местоимением, наречием, и предикат, обозначенный причастием, выражены дательным падежом. По значению эта конструкция, называемая «оборот дательный самостоятельный», чаще всего соответствует современному придаточному предложению: *Уже вшедишу солнцю*

князь великы встав повелР заутреню пети (Московская летопись) ‘когда взошло солнце, князь великий, встав, повелел петь заутреню’, иногда деепричастному обороту: *и копаѣцю ми обрРтохъ тРло его лежТще* (Синайский патерик)²³⁰ ‘копая, я обнаружил его тело’. Возможны и другие значения дательного самостоятельного как элемента сложносочиненного или простого предложения, спектр значений представлен в древнерусских текстах шире, чем в старославянских (Сабенина, 1978: 417-432; 1985: 76–78), хотя возникает оборот именно в старославянском.

Л. А. Булаховский говорит о судьбе этой конструкции так:

«Этот оборот уже в XVIII в. употреблялся только как архаический. Ломоносов в "Российской грамматике" (§ 468) высказывал сожаление об его утрате: "И хотя, – писал он, – есть еще некоторые того остатки Российскому слуху сносные, как: *бывшу мне на море востала сильная буря*: однако протчия из употребления вышли. В высоких стихах можно по моему мнению с разсуждением некоторыя принять. Может быть со временем общий слух к тому привыкнет и сия потерянная краткость и красота в Российское слово возвратится."

Дательный самостоятельный не редок, напр., у А. Н. Р а д и щ е в а . В своих стихах этот оборот употребляет А. Х. В о с т о к о в : *Наставишу утру* возвратился Мстислав с Светланой в Киев град (Светлана и Мстислав, 1802 г.), и др. Очень запоздалый пример его употребления встречается у В. А. Ж у к о в с к о г о в "Цейксе и Гальционе" (1821): Вдруг с волной упадет [судно] и, *кругом взгроможденному морю*, Видит как будто из адския бездны далекое небо.

Весьма вероятно, что употребление дательного самостоятельного уже в древней летописи – факт только книжный, отражающий влияние церковнославянских образцов» (Булаховский, 1958 : 439). Вместе с тем, имеются факты употребления дательного самостоятельного в говорах: *Я выехал уже закатившись солнцу* (см. примеры и комментарий: Булаховский, 1958 : 440). А. А. Потенбня приводит много примеров дательного самостоятельного с нарушенным согласованием причастия и существительного или местоимения. Случаи, когда причастие стоит в именительном падеже (*умираючи ему, призва к собР епископа*), свидетельствуют о переходном состоянии от причастия к деепричастию

²³⁰ Примеры приведены из работы: Сабенина, 1985: 76, 78.

(Потебня, 1958: 330–332). Утрата дательного самостоятельного обнаруживается и в таких конструкциях, которые «допускают дательный чисто предметный»: *тобР съ нами увРдавъшюся, тоже Рхати; и не бысть помилованія никому же ниоткуда же, церквам горящим, крестьяномъ убиваемомъ, другимъ вяжемьмъ* (см.: Потебня, 1958: 327, 330); *Деревлянѡмъ же пришедъшимъ повелР Ольга мовь створити, рькуще сице: «Измывшеся придите ко мнР»*²³¹ (Повесть временных лет, 1996: 28). Подобные примеры указывает на синтаксическую двусмысленность конструкций: предложения могут быть прочитаны и с дательным самостоятельным, и с дательным объектным. Эта двусмысленность обнажает механизм перехода от старого синтаксиса к новому, указывая на зависимость строения фразы от языкового сознания читателей.

Когда современные авторы помещают дательный падеж существительных в конструкции с причастием или деепричастием (а деепричастие появилось в результате потери причастием способности к изменению по родам, падежам, числам), тоже создаются ситуации синтаксической двусмысленности, и такое употребление дательного падежа хранит память о дательном самостоятельном.

Так, например, у Е. Шварц возможный дательный самостоятельный совпадает с современным значением дательного падежа в перечислительной конструкции:

Легко пойдем и по Луне,
Во тьме играющим звездам
 На барабане, когда оне
 Идут под землю навстречу нам.

(Шварц, 1993: 140)

Отсутствие предлога *по* в строке *во тьме играющим звездам* мешает понимать это словосочетание как второй элемент перечислительного ряда, синтаксически подобный сочетанию *по луне*. Наличие других архаизмов – акцентологического *звездѡм*, грамматического *оне* – побуждает видеть архаизм и в употреблении дательного падежа, понимая конструкцию как аналог придаточному

²³¹ Запятая, внесенная в текст при его издании, свидетельствует о том, что конструкция интерпретирована издателями как дательный самостоятельный.

предложению времени: *Легко пойдём и по луне, когда во тьме играют звезды на барабанах.*

У В. Казакова о дательном самостоятельном сигнализирует место запятой:

опрокинул бочку – брага
потекла по дну оврага,
и пьянеющим кустам
пчелы двинулись к устам.

(Казаков, 1995: 51)

Если бы конструкции *по дну оврага* и *пьянеющим кустам* были синтаксически однородными, запятая перед союзом *и* была бы невозможна²³².

В другом случае Казаков помещает причастие дательного падежа и существительное той же формы в такой контекст, где без представления о дательном самостоятельном невозможно понять логику его синтаксической структуры:

завернув недвижно в шубу
они несли ее она
прикосновения не грубы
бокал осушенный до дна
и пар дыханья молодого
лицо **склонившимся глазам**
помчались прочь огнями дома
не обернуться вдруг назад

(Казаков, 1995: 36)

Если иметь в виду дательный самостоятельный, то текст можно понять так: 'когда склонились (закрылись, сомкнулись) глаза, помчались прочь лицо, пар дыханья, бокал'.

²³² О значении знаков препинания для интерпретации древнерусских текстов говорит А. А. Потебня: «Большую или меньшую близость отрицательной формы к первому дательному можно выразить знаками препинания. Между тем как в "тобР съ нами увРдавъшюся тоже Рхати" или вовсе не нужно запятой, или она должна стоять после "увРдавъшюся"; в соответственном выражении нового языка является интерпункция: "тебе, уладившись с нами, ехать", или "условившись с нами, тебе ехать"» (Потебня, 1958: 327).

В стихотворении Бродского «Бегство в Египет» есть синтаксическая конструкция, имитирующая дательный самостоятельный:

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, **случившись ночлегом,**
они жгли костер. В заметаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительно навывк
свеченья – не только в державе чернявых,
сейчас, – но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

(Бродский, 1994-III: 161)

Но если в стихотворении речь идет об одном ночлеге, как следует из совершенного вида деепричастия *случившись*, то форма *ночлегом* представляет собой не дательный падеж, а творительный. В древнем тексте форма *ночлегом* вполне могла бы быть формой дательного падежа множественного числа²³³, омонимия современного творительного с древним дательным и дает основание для стилизации. Столкновение разновременных пластов языка заставляет думать и о других возможностях чтения, поскольку в истории языка менялось значение глагола *случиться*. В тексте Бродского современное значение этого глагола ‘произойти’ взаимодействует с архаическим значением ‘сойтись, встретиться’. Имитация дательного самостоятельного с переменной дательного падежа на творительный свидетельствует о потребности переосмысления архаической конструкции.

д) Оборот типа «встав и рече»

²³³ В церковно-славянском тексте Библии слова *ночлегом* нет. В книгах «Бытие» и «Исход» на месте слова *ночлег* из канонического русского перевода употреблено слово *стань*. В каноническом переводе Библии предложения читаются так: *И случилось, что, когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, – вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками* (Быт., 43, 21) *Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его* (Исх., 4, 24). Оборот дательный самостоятельный

В древнеславянских памятниках письменности часто встречается оборот типа «встав и рече». Поскольку те слова, которые мы сейчас понимаем как деепричастия, в древности были причастиями (они изменялись по родам, по числам и по падежам), в обороте типа «встав и рече» присутствовали значения и действия, и признака: второстепенное сказуемое было одновременно и определением. В таких случаях «предложение, чуть сдерживая свое единство, еще как бы распадается надвое, что, однако же, не тождественно с полным его раздвоением <...> Удержание союза и по превращении причастия в деепричастие может быть объяснено как случай "переживания" явлением того строя, среди которого оно возникло» (Потебня, 1958: 190–191). В поэзии «чуть», «как бы» и «однако же» имеют важное значение – все эти пограничные ситуации, как и совмещение старого качества с новым, позволяют передать те нюансы мироощущения, которые свойственны поэтическому сознанию.

Современная поэзия активно использует семантический потенциал этой конструкции, так как ей свойственно уравнивать главное с второстепенным, признак, присущий субъекту или объекту, с действием или состоянием, обстоятельство с действием, признак предмета с обстоятельством его действия или состояния. В следующем тексте конструкция с деепричастным оборотом, присоединенным союзом *и* к глаголу, мотивирована сюжетно: речь идет о покойнике, лежащем в соборе. А это и напоминает и о церковно-славянском языке, и о вечности, с представлением о которой часто бывает связана языковая архаика:

Я помню запах человека,
гонимого еще недавно.
**Лежал он, как собор, в соборе,
и головой цветы сминая.**
И полусонный запах роз
мешался с запахом нездешним.

(Миронов, 1993:10)

Глагол в личной форме может объединяться союзом *и* также и с другими частями речи, например, с прилагательными:

со словами *случилось* и *ночлег* встречается в Лаврентьевской летописи: *Идущема же има, ста-ша ночлегу* (Повесть временных лет, 115).

Все мысли в голове моей
подпрыгивают и бессвязны,
 и все стихи моих друзей
 безобразны и безобразны.

(Лосев, 1985: 74)

Чудак, попав за ограждение,
 под крики дворников, свистки,
 возможно думал: «Вырождение!
 сосульки **тают и легки...** »

(Матиевский, 1995: 64)

Летит к Луне Ник Даллансон, у него
 веселый характер.

Разговорчив он и болтает, и говорит:

– Земля похожа на яйцо, которое я снес.

(Ширали, 1992-а: 118)

В этих контекстах союз *и* соединяет глагольные сказуемые с именными. Как члены предложения они однородны, как части речи – нет. Глаголы *подпрыгивают, тают, болтает* являются выразителями динамики, а прилагательные *бессвязны, легки, разговорчив* обозначают статические признаки оценки.

Возможно и соединение сочинительной связью именной части сказуемого с обстоятельством, когда эти члены предложения выражены разными частями речи – прилагательным и наречием:

В год Рафаэля, Байрона, Моцарта, Пушкина, – кто там
 еще? –

я все шел и, дыханье свое выпуская шарами

<...>

остолбевал на тридцать седьмом, и, в который раз,
бледный и скорбно стоял над пропастью сей незатейливой
 фразы: **МОЙ МИЛЫЙ!**

(Соснора, 1994-а: 12)

Синтаксическое осмысление последовательности *бледный и скорбно стоял* может быть разным, но предпочтительным кажется понимать эту конструкцию как контаминированную: *бледный стоял + скорбно стоял*.

Во всех этих примерах, в массе своей показывающих неслучайность проникновения конструкции типа *встав и рече* и ее функциональных подобий в современные тексты, можно видеть стремление к синкретическому представлению различных явлений на грамматическом уровне. Типична ситуация, когда сами авторы мотивируют такого рода конструкции бессвязностью, косноязычием, нарушенным порядком вещей, смятением сознания.

е) Изоморфизм приставки и предлога

Для древнерусского синтаксиса были типичны конструкции, в которых приставочные глаголы требовали после себя предлога, повторяющего приставку: *Посадников псковских <...> унял у себѣ да всадил в костер* (Словарь XI–XVII вв.-III: 114); *сии же доглаголаша до мене лжу* (Словарь XI–XVII вв.-IV: 280); *на путь наидѣмъ, иже истиньнымъ путь жизни* (Словарь XI–XVII вв.-X: 106); *Изъ мечети на воздухъ сеи излѣтѣ змии огнянь* (Словарь XI–XVII вв.-VI: 161). Ю. С. Степанов говорит о том, что такие конструкции представляли собой элементарный тип согласования изобразительного характера (Степанов, 1989: 72). Изначально приставка и предлог были единой языковой единицей, что частично сохраняется в наречиях, слитное или раздельное написание которых является проблемой – ср. орфографическую непоследовательность написаний *в обнимку* и *вдогонку*, *вовѣки* и *во веки веков*.

В некоторых случаях изоморфизм приставки и предлога сохраняется и в современном языке: *спрыгнуть с крыши, отойти от стены, наехать на камень, войти в комнату, зайти за угол, пойти по дороге, дойти до поворота*. Но в языке образовались и такие конструкции, в которых глаголы получили переносное значение и в этом значении утратили прежнее управление предложно-падежным сочетанием. Один из таких глаголов – *найти*.

В стихотворении Н. Горбаневской есть рассуждение по этому поводу:

На меня или меня ты нашел,

ужли вправду я достойна твоих
умножённых, как великих княжон,
слов, ходящих на своих на двоих?

Отвечает мне **нашедший меня**:

«Если вправду я **нашел на тебя**,
значит, небо эту ночь удлиня,
над тобою наклонилось любя,

значит, росчерк твой и вправду остёр,
хоть затупленным пером и скрипя,
значит, утром кто-то сложит костер,
звонких стрóf, как тонких дров нарубя».

(Горбаневская, 1997: 14)

Обратим внимание на то, что этот текст содержит и архаические деепричастия *удлиня, нарубя*. У Н. Горбаневской предлог подчиняется приставке, а в следующих текстах – напротив – глагольная приставка оказывается зависимой от предлога:

Не так же ль у тебя такой же ночью
век оборотень душу уволок?
Не так же ль **на меня** ужасной ношей
напрыгивает оборотень волк?

(Бобышев, 1995: 24)

Смерть – море ты рассвета голубое.
И так **в тебя** легко **вмирать** –
Как было прежде под водою
Висеть, нырять.

(Шварц, 1993: 29)

Пока скользила по стене рука,
я словно прорывался сквозь века,
чтоб **в комнату вомчаться** на пределе
и вынырнуть на уровне панели.

(Яснов, 1990-б: 168)

Ход строки двоякий –
небозема знаки.

Но дрожит струна неодинаково
близ Тамбова, около Саратова.
Но стрела, **излетев из Калуги**, –
В Байконуре вернется на круги.

(Бирюков, 1995: 71)

увидеть под синим копытом Стрельца
в одной из неведомых северных ям
и также глаза **изронить из лица**
в одной из неведомых северных ям.

(Кравцов, 1996: 8)

Слова *напрыгивает*, *вмирать*, *вомчаться*, *излетев*, *изронить* в современном тексте являются окказионализмами. Их приставки полностью определяются моделью с изоморфизмом приставки и предлога. И если в тексте С. Бирюкова можно видеть простую замену приставки *вы-* приставкой *из-*, то у К. Кравцова окказионально все сочетание *изронить из лица* (поскольку и *выронить из лица*, и просто *из лица* – ненормативные сочетания). В этих случаях производящим фактором для окказионального слова является не словообразовательная, а синтаксическая модель.

ж) Отрицание

Конструкции с отрицанием в современной поэзии обнаруживают значительное разнообразие, отражая различные стадии их становления в русском языке. В текстах можно наблюдать многочисленные опыты над отрицанием: авторы перемещают, объединяют и разъединяют элементы отрицательных конструкций, экспериментируют с синонимией, антонимией и омонимией отрицательных и усилительных формантов *не* и *ни*, отсекают или дублируют элементы конструкций, проводят орфографические и словообразовательные эксперименты.

Прежде всего рассмотрим некоторые манипуляции с монологическими конструкциями, составляющими одну из ярких примет синтаксической архаики.

Современная норма требует двойного отрицания в оборотах типа *никто не пришел, никогда не видел, никак не объяснил, нигде не нашел*. А древнейшим способом выражения отрицания были конструкции без частицы *не* при глаголе: *и ничьсо же въкоуси отъ брашьна; и никтоже приходиль къ нимъ; николи же помышлю на страну вашу* (примеры из кн.: Борковский, Кузнецов, 1965: 439). Многие исследователи отмечают церковно-славянскую стилистику этого оборота, но подобные конструкции имеются и в диалектах: *никто ему велел, никого и разбудил, нигде возьмешь* (см. полемику по этому вопросу: указ. соч.: 440–441). По наблюдениям Л. В. Савельевой, в текстах, где одиночное и двойное отрицание различаются стилистически, например, в «Хождении игумена Даниила» и в «Лаврентьевской летописи», монологический тип отрицания передает прямую речь евангельских и библейских персонажей, используется при обращении к книжным образам и темам, к эпическим сюжетам, а в разговорно-бытовых контекстах преобладает двойное отрицание (см.: Савельева, 1987: 162).

Воспроизведение монологической модели в современной поэзии оказывается прежде всего экспериментом над порядком слов:

Возобновляющийся взгляд
вернулся к ней, и кровь вскипела.
Она двенадцать раз подряд
пыталась возвернуться в тело.

**Она проснётся никогда,
точнее: никогда проснётся,**
и сильно красная вода
над ней сомкнётся.

(Кальпиди, 1998: 14)

В соответствии с древней синтаксической моделью одиночного отрицания, местоимение или наречие должно предшествовать глаголу-сказуемому. В. Кальпиди начав с инверсии, получает не столько отрицание, сколько сдвиг в значении слова *никогда*, превращающий это наречие в концепт (одно из назва-

ний небытия), затем возвращается к исходному следованию глагола за наречием, комментируя это словом *точнее*. Но концептуализация осуществляется и в этом случае, тем самым демонстрируя зависимость лексического значения слова не столько от порядка слов, сколько от переосмысливаемой архаической модели отрицания.

В следующем примере постпозиция отрицательного местоимения *ничто* и употребление слова *нет* в позиции дополнения тоже определяют их концептуализацию (грамматически – субстантивацию). Грамматический и семантический сдвиг особенно заметны в сравнительном обороте *как ничто*:

он **означал ничто**, он был прозрачной ночи,
слегка касаясь звезд, слегка **касясь нет**,
и, **будучи ничем**, был, **как ничто**, отточен,
последней белизны подчеркивая цвет.

(Казаков, 1995: 65)

У того же автора слово *никогда* как обозначение небытия приходит в резкое противоречие с лексическим значением глагола *бывало* и с грамматическим значением повторяемости, выраженным несовершенным видом глагола:

бывало, никогда – в осенний день полночный,
когда на башне бьют века, а не часы,
глядел в твои мои сентябрьские очи:
о, Боже, сколь они ответны и чисты!

(Казаков, 1995: 200)

Здесь можно видеть и смысловое сближение наречия *никогда* с наречиями *иногда* или *некогда* в значении ‘когда-то’. Если принять такую интерпретацию, тогда окажется актуальной синонимия приставок *ни* и *не*, которая тоже имела место в истории языка.

В тексте А. Миронова обнаруживается концептуализация местоимения *никто*, графически выделенная автором (в издании курсив). Отметим, что и здесь местоимение постпозитивно:

Я все думаю *ни о ком* –
не о том, с чем душа простилась –

это тело переместилось
как бокал с круговым вином.

(Миронов, 1993: 41)

Нормативная склоняемость и проницаемость местоимения *никто* (возможность разделения его частей предлогом) оказывается нейтральной только при сохранении отрицательного значения: *не думать ни о ком*, но при семантическом сдвиге в сторону субстантива-концепта конструкция обнаруживает резкую окказиональность.

С. Лён тоже ставит глагол (его деепричастную форму) в препозицию к слову с показателем отрицания *ни*:

Возведя ни единой дамб,
Домовину щадя до зим,
И Зосима пришёл по водам,
И Савватий пришёл засим.

(Лён, 1990: 12)

Здесь можно видеть, как автор троекратно усложняет задачу – и тем, что на месте стандартного отрицательного местоимения (*никакой*) употребляет сочетание *ни единой*, и тем, что это сочетание представляет собой синонимическую и стилистическую замену нейтрального оборота *ни одной*, и тем, что при существительном в родительном падеже *дамб* опущен предлог *из* (если весь деепричастный оборот – архаизированная конструкция со значением *не возведя ни одной из дамб*, что, вероятно, не является единственным прочтением строки.²³⁴

Следующий контекст – стилизация под «жестокий романс» – дает увидеть, что в языке образуется синонимия отрицательного местоимения *ничего* с местоимением *всё*:

Она ушла и не простилась.
По небу плыли облака.

²³⁴ Эту строку можно понимать и так: слово *дамб* мужского рода в винительном падеже (для древнерусского языка характерна родовая вариантность существительных), а *единой* русифицированное, ставшее разговорным прилагательное с окончанием *-ой* в именительном и винительном падежах).

Слезой горючей обагрилась
его усатая щека.

<...>

Он **всё вокруг не замечает**,
а за окном встаёт рассвет,
а он сидит и вспоминает
её смазливый силуэт.

(Левин, 1995: 154)

Подобная синонимия антонимов наблюдается и в обиходном языке – ср.: *ему всё не нравится* и *ему ничего не нравится*, *его все не любят* и *его никто не любит*; *он всегда не успевает* и *он никогда не успевает*. Норма в таких случаях предпочитает конструкции с двойным отрицанием.

Неопределенные местоимения с приставкой, утратившей отрицательное значение, например слова *некто*, *нечто*, теряют способность склоняться. При попытках их изменения по падежам происходит ретроспективный грамматический сдвиг в сторону отрицательного местоимения, от которого они образовались. Так, формы *некого*, *некому*, *некем*, *нечего*, *нечему*, *нечем* являются формами местоимений *никто* и *ничто*, а не *некто* и *нечто*. Это проявляется в таком тексте:

Пустырями, пустырями,
НЕКЕМ нанята,
Со своими фонарями
Ходит темнота.

(Каменкович, 1996: 37)

В цитированных строках (с авторским выделением местоимения заглавными буквами) происходит наложение значений, присущих словам *некто* и *никто*, а следовательно, и объединение смыслов ('кем-то нанята' и 'никем не нанята'). Первое прочтение тяготеет к современной утвердительной конструкции, второе – к архаической мононегативной.

Отрицание в предложениях с повторением частицы *ни* при однородных членах проявляет свою тенденцию к опущению частицы *не* перед сказуемым или к устранению слова *нет*. Такое употребление не выходит за рамки литера-

турной нормы, если однородные члены предложения являются подлежащими или дополнениями и выражены существительными:

С горки едет Егор –
Ни татарин, ни гость –
 Скндачка на бугор,
 На колхозный погост.

(Лён, 1990: 8)

Метатель бисера, бедолага.
 Черное творчество, белая бумага.

Очарованный дым одиночеств.

Ни отечества, ни пророчеств.

(Шельвах, 1992: 46)

Но если однородные члены представлены прилагательным или глаголом, частица *ни* обнаруживает свою синонимию с частицей *не*, актуализируя генетическую общность с ней:

Сидит ворон сине-черный, **весь ни толстый, ни худой**,
 и, как всякий тип ученый, он играет на трубе,
 а под ним – Дворец Буфетов с Государственной едой,
 где старушки золотые в светлом Г и светлом Б
 шлют на всех других старушек свои мысли в КГБ.

(Мориц, 1996: 13)

«Поэта далеко заводит речь...»²³⁵

И не поэта.

Туда, где нам **ни сесть, ни стать, ни лечь,**

ни тьмы, ни света.

(Горбаневская, 1997: 46)

В русском языке подобные конструкции без обобщающего отрицания формируются не только существительными или местоимениями (*ни рыба ни*

²³⁵ Н. Горбаневская цитирует строку из стихотворения М. Цветаевой «Поэт – издалека заводит речь...» (Цветаева, 1994-II: 184).

мясо, ни уму ни сердцу, ни то ни сё), но и другими частями речи: *ни жив ни мертв, ни мычит ни телится, ни в сказке сказать, ни пером описать, ни жарко ни холодно*. Авторское лексическое наполнение этой конструкции во многих текстах указывает, во-первых, на фразеологичность сочетаний с повторением *ни* без обобщающего отрицания, во-вторых, на грамматическую ограниченность в составе нормативных оборотов.

Повторение *ни* в перечислительном ряду с отрицанием и противопоставлением является заметной чертой архаического синтаксиса:

Вот опять начинается с разных сторон.
 В эти годы **ни волк, ни варан, ни гиббон,**
но ходжа подступал к Сталинграду.
 (Сид, 1997: 41)

Обратим внимание и на орфографический архаизм *ходжа* в этом тексте.

Архаичны также конструкции с опущенным *ни* при первом члене перечислительного ряда:

Когда мундир не нужен будет
Ни кобура, ни револьвер
 И станут братия все люди
 И каждый – Милиционер
 (Пригов, 1990: 77)

В современном русском языке есть конструкции с частицей *ни*, которая обозначает полное отсутствие кого-н., чего-н. или неосуществление чего-н. Они построены по модели *ни одного человека (не встретил), ни одной книги (не написал)*. Слово *один* в таких оборотах выполняет функцию неопределенного артикля. Имеется также немало выражений того же значения без слова *один*: *не съел ни кусочка, не оставил ни крошки, на небе ни облачка, в лесу ни ветерка, не встретил ни души, ни дня не пропустил, ни разу не ошибся, не сказал ни слова*. Необычное употребление конструкций без слова *один* в поэзии позволяет увидеть, что норма устанавливает лексические ограничения на этот оборот:

Сед, как судак. Влюблен. Но нелюбим.

В жизни своей не замучил **ни женщины**. Был драматургом.

(Соснора, 1994-а: 7)

я исцелил мир, но тебе

нет **ни знаменья**.

(Соснора, 1994: 23)

Ни в горсти молотка не принес,

не [sic! – Л. З.] иголки до завтраго дня.

(Соснора, 1987: 60)

Не хочу писать я

ни стихотворенья.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 13)

Номерок бы да в морг – **ни белья** не дал Бог.

В груди шахтёр востёр – а на-гора ноль ведра.

(Иконников-Галицкий, 1995-а: 36)

Очнулась у страшных владений Бога:

Ни дерева в поле мне до рассвета.

(Каменкович, 1996: 20)

Эти примеры обнаруживают избыточность сочетания *ни одного* (*ни одной*) в составе отрицательных конструкций. Его окказиональное устранение не приводит к устранению категоричности. Кроме того, тексты современных авторов побуждают к анализу лексических закономерностей неупотребления слова *один*. Так, в сочетании *ни белья* пропущенное, а значит, подразумеваемое (на фоне нормы) выражение *ни одного* противоречит семантике собирательности. В этом случае норма позволяет выразить категоричность местоимением *никакого*, тоже семантически избыточного. Сочетание *ни дерева* указывает на желательность уменьшительной формы слова (*ни деревца*) для сохранения нормативности оборота. Строки А. Иконникова-Галицкого *Не хочу писать я / ни стихотворенья* относят стихотворения к классу предметов.

У современных авторов часто встречаются отрицательные конструкции с архаизмом *несть*:

И несть ни слова, ни сиянья

Всю эту муку превозмочь...

(Юрьев, 1991: 153)

Декрет

Настоящим

все

становятся матерями

Исполнение доложить мне

или моему секретарю

Рюрику

в случае невыполнения

расстрел

с пожизненной выплатой

и выселением в селения

праведных

где несть

идеже несть

болезни печали

ни въздыхания

но жизнь

быстротечная

Секретарь Рюрик

Исполнение доложить.

(Кедров, 1991: 42–43)

Обратим внимание на то, что все эти тексты представляют собой многоуровневую стилизацию. У К. Кедрова она остро иронична. Слово *несть* (бывший глагол с отрицанием) в этих примерах употреблено не только как древнее соответствие современному *нет* в безличных предложениях (текст О. Юрьева), но и в сложной конструкции с отрицанием отрицания (текст К. Кедрова).

Приведем также несколько примеров с архаическим составным союзом *ниже* (← *ни* + *же*), который может находиться в конструкциях и с одиночным, и с двойным отрицанием:

Но ни томительные встречи

Ниже́ что будет он простужен

Не извратят его обычай

Стоять упруго и снаружи
(Волохонский, 1994: 29–30)

Голос из хора, крошево на ноже,
Медленный вдох и выдох, ушедший к горним,
Не осязать во тьме, не продлить, **ниже**
Выполоть с корнем –
Слуги выносят Зюлейку и бланманже
(Зельченко, 1994: 18)

По-новому говоря: поэты самовлюбленны и эгоистичны
Их головы ветрены, в чувствах базар, а души пластичны
Как самоварная медь, если ее как следует подогреть,
а потом как следует вдарить
Вот самоварчика-то и нет. Ни водицы хлебнуть,
ниже чайку не напарить.
(Волохонский, 1994: 50)

Очень показательны примеры с комбинацией частиц *ни* (*не*) и *даже*. Они демонстрируют, как осуществлялись сложения в древнерусском языке:

Все прошло. Так тихо на душе:
ни цветка, **ни даже ветерка**,
нет ни глаз моих и нет ушей,
сердце – твердым знаком вертикаль.
(Соснора, 1994-а: 16)

Мой глаз консервы укрощает
и паки никому не угрожает
ни даже англичанину, который пиво пьет
и не портному даже, что штанину шьет
и всех своим искусством поражает
(Эрль, 1995: 15)

Современное языковое сознание воспринимает эти конструкции как усиленные в соответствии с современным значением частицы *даже*. У форманта *же* (в составе сращения *ниже*) тоже развилось усиленное значение, однако для ранних стадий существования русского языка актуальным было присо-

единительное значение союзов *да* и *же*. Генетически частица *даже* представляет собой результат дублирования присоединения союзами *да* и *же*, способными выполнять одну и ту же функцию.

Память о происхождении вопросительного слова *неужели* (← *не* + *уже* + *ли*) активизируется в окказиональном образовании *неужето ли*:

Старушка в кассу денежки кладет
 Откуда денежки-то у старушки
 Уж не работает и видно пьет
 Да разные там внучки и внучки
 Откуда денежки-то – ох-ох-ох!
Неужето ли старая ворует
 Да нет, конечно – просто накопила их
 За долгую за жизнь за трудовую
 (Пригов, 1997-а: 180)

Образование *неужето ли* можно понимать как контаминацию разговорно-просторечного *неужто* с литературным *неужели*, возникающую при ненормативной вокализации. Аналогичная вокализация имеется и в слове *внучки*.

Окказиональные явления, связанные с отрицанием, постоянно демонстрируют пересечение собственно синтаксических процессов со словообразовательными. К словообразованию можно отнести и примеры с ненормативной этимологизирующей орфографией отрицательных местоимений:

минули годы и камень смененный плоскостью **Ни Кем** не снят
 Гору **Ни Кто** не застроил дачами палисадниками не стеснил
 все охранились овраги вверх дном ни один перевал
 <...>
 воздух блажен и не больше **Ни Кто** не грешит без лавочников
 <...>
 вот ведь в итоге-то вывод: счастье злачное на **Ни Чьей** крови.
 (Соснора, 1998: 152)²³⁶;

Поверьте мне, японских женщин
 Еще никто не превзошел

²³⁶ Весь этот текст представляет собой переключку с «Поэмой Горы» М. Цветаевой.

Ни красотой, ни уменьем
 Ни в качестве обычных жен
 И **ни когда** над Хиросимой
 Цветок губительный возшел...

(Пригов, 1989: 14)

Словообразовательные потенции отрицания проявляются также при употреблении сочетаний частицы *не* с существительными:

К потолку наш треножник примерз:
 эта лампа не греет меня.

О, не греет, а грозно горит!
 Ни грустильниц, ни дна, ни вина...

Даже голосом не говорит
 эта комнатная **не луна!**

(Соснора, 1987: 60)

Льва вывели... Сто тридцать семь солдат
 спустили цепи, обнажили шлемы
 к сандалиям... Действительно: был лев.
 Стоял на лапах. Львиными двумя
 не щурясь на лежащего **не льва**
 смотрел, как лев умеет...

Пес проснулся.

(Соснора., 1987: 65)

на вершине того кургана – Алатырь-камень
 с немигающими очами.

Видит он – за два океана,
 знает он – за вчера и завтра,
 он вдыхает **не-воздух** из устьиц ветра,
 вдыхает – невидимое Время.

(Каменкович, 1996: 45)

Номинативная функция соединения *не* с существительным очевидна. Полное превращение сочетаний в слова, принятое нормой, в языке представлено

достаточно широко: *нетерпение, незнание, несчастье, неправда, неволя, незадача, нелюди, незачет*. В некоторых случаях слово с приставкой *не* даже вытеснило из языка производящее слово: *невежа, неряха, негодяй, нехристь, невидаль*. Раздельное написание *не* у Сосноры и полуслитное у Каменкович говорит о пограничном состоянии этих окказиональных образований: они находятся на границе между словосочетанием и словом.

Современные поэты обращают внимание и на синонимию винительного падежа с родительным, которая проявляется при отрицании в конструкциях типа «*пью воду*» и «*не пью воды*»:

Пустившись в бурный пляс себя невестки губят,
Седой коронотряс их взглядом не голубит,
Костей, летящих в глаз, цари не очень любят.
(Крепс, 1996: 207)

Ой, **не пишется ни песен ни романсов!**..
Ничего-то я никак не сотворю...
Что является огромным потрясеньем для финансов,
О духовном мире уж не говорю.
(Ким, 1990-а: 150)

Любовь – это свет,
В раю его есть,
В аду, если влезть,
Нет.
(Белецкий, 1996: 1)

В этих примерах проявляется свойство родительного падежа обозначать: одушевленность (текст М. Крепса) и часть чего-н. (тексты Ю. Кима и Р. Белецкого). Эти же контексты актуализируют ограничения на употребление родительного падежа. М. Крепс показывает роль наречия-обстоятельства степени *очень*, а также роль инверсии с выдвижением дополнения в начало предложения, мешающих употреблению родительного падежа при отрицании. У Ю. Кима заметна игра с активом и пассивом – контаминирование нормативных конструкций *не пишутся песни и романсы* и *не пишу песен и романсов*. У Р. Белецкого аналогия отрицательного оборота распространяется на утвердительный.

Контаминация предложений *я больше не люблю вас* и *я ненавижу вас* приводит к грамматической и семантической двусмысленности:

Костер пылающий угас,
Его судьба задула злая.
Я больше ненавижу вас,
Я знать вас больше не желаю.
(Иртеньев, 1998: 57)

В данном случае слово *больше* можно понимать как частицу в значении ‘теперь, впредь’ и как наречие в значении ‘сильнее’.

Таким образом, пробуя разные способы отрицания, современные поэты выявляют немало языковых закономерностей и возможностей.

Разнообразие лингвистических экспериментов с синтаксисом, продемонстрированное в этой главе, далеко не исчерпывает всего материала. В книге рассмотрены лишь некоторые явления. Все они свидетельствуют о тесной связи синтаксиса с другими языковыми уровнями – фонетикой, словообразованием, лексической семантикой, морфологией. Часто в одних и тех же окказиональных структурах соединяются инновации с архаизмами. Архаические структуры обычно получают художественную мотивацию на уровне содержания и образа. В синтаксисе современных поэтических текстов обнаруживается значительное влияние и книжного языка, и разговорной речи. О. А. Лаптева высказывает такое предположение о генезисе устно-разговорного синтаксиса: «Видимо, существует некоторый общий набор синтаксических особенностей, присущий народно-разговорному типу древнерусского литературного языка, современным диалектам и устно-разговорной разновидности. Этот набор устно-разговорная разновидность унаследовала скорее всего непосредственно из древне- (и старо-) русского состояния <...>, минуя ступень письменно-литературного языка, в значительной степени восходящего к книжно-литературному типу древнерусского языка. <...> С другой стороны, ядру синтаксических особенностей устно-разговорной разновидности принадлежит и ряд инноваций, видимо, совсем недавнего времени» (Лаптева, 1976: 374). Материал из современной поэзии показывает, что поэты по-своему восстанавливают распавшуюся связь времен в синтак-

сисе (как и в языковых структурах всех уровней) и связь разговорного языка с книжным.

В целом отклонения от синтаксической нормы свидетельствуют об одновременном существовании двух противоположных тенденций языка: о его стремлении к соединению слов в единые речевые блоки – подобно соединению морфем в слове – и о стремлении всех речевых единиц к самостоятельному функционированию вне синтагматической зависимости. В этом видно развитие тех свойств поэтического синтаксиса XX в., о которых писал Е. Г. Эткинд: «Слово в контексте стиха стремится к автономности – и чем ближе к нашему времени, тем больше. В классической поэзии предложение нередко мало отличалось от единицы прозаической речи, – это значит, что и слово оказывалось в синтаксическом подчинении. В поэзии XX века слово в большой степени уходит из-под власти синтаксиса» (Эткинд, 1985: 97–98).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получается так, что единственный выход иском
 между влагой и пламенем, временем и языком.
 Обитателю мира сего, не в укор поднебесью,
 совершенно бессмысленно плакаться и вопрошать...
 Как бы там ни случилось, но я научился дышать
 этой дьявольской смесью

(Куллэ, 1997: 691).

Как показывает материал, многие современные поэты, экспериментирующие с языком, эпатируют читателя не только темами, изображением «непоэтических» ситуаций, «непоэтической» лексикой, но и намеренно вызывающими языковыми аномалиями.

Подобно тому как за внешней несерьезностью, грубостью и неряшливостью речи стоит постоянное стремление осмыслить сущность бытия через житейские подробности несовершенного и непостоянного мироустройства, – за нарочитым нарушением норм на всех языковых уровнях стоит потребность познать язык в его противоречиях и познать прежде всего себя в языке, вложить в слово и форму нетривиальную информацию.

Несовершенство мира порождает поэтов, несовершенство языка порождает возможности выразить больше того, что предлагается словарем и правилами построения фраз.

Конфликт между привычным и новым, нормой и поэтическими вольностями в художественном тексте накладывается на неизбежное противоречие между стабильностью и динамикой языка как двумя условиями его существования и функционирования.

В современной поэзии наблюдается отчетливая тенденция к выведению слова, формы, морфемы из стандартной сочетаемости, идет активный процесс освобождения языковых единиц от любой синтагматической зависимости – параллельно с постоянной фразеологизацией языковых единиц и превращением словесных блоков в слова.

Нарушения нормы в ряде текстов показывают альтернативный путь развития фонетики, семантики, грамматики.

Деструкция языка в художественном тексте прямым образом связана с переживанием утраты бытия. Кроме того, она связана с потребностью поэта обратиться к предшествующим этапам развития языка, к его исходным элементам, пройти исторический путь языка заново, воссоздавая утраченное. То, что, на первый взгляд, может показаться регрессом, на самом деле оказывается ревизией забытого и нередко его окказиональной реставрацией.

Анализ текстов подтверждает, что «семиологическое пространство заполнено свободно передвигающимися обломками различных структур, которые, однако, устойчиво хранят в себе память о целом и, попадая в чужие пространства, могут вдруг бурно реставрироваться» (Лотман, 1992: 177). Поэтому можно сказать, что поэтика языковой деформации не разрушает, а сохраняет язык, если иметь в виду, что язык – это прежде всего саморегулируемая система и совокупность возможностей для выражения разнообразных значений. Востребованность прежних структур определяется тенденциями развития языка: «в настоящем можно отыскать только повод, а главная причина всегда кричит из будущего» (Кальпиди, 1992: 17).

В поэзии происходит регенерация языка: казалось бы навсегда утраченные свойства слова вновь становятся ощутимыми в особых условиях стихотворного текста, так как «в языке ничто не пропадает даром» (Бицилли, 1996: 227). Двойственность возможного современного и архаического значения языковых единиц отражает реальный конфликт между разными свойствами слова, который и приводил к изменению.

Языковые сдвиги в произведениях современных поэтов во всем их многообразии позволяют утверждать, что поэзия активно отражает предшествующие, а нередко и вероятные будущие языковые состояния (во всяком случае, указывает возможные направления развития). Не следует забывать, что языко-

вые изменения – факт, относящийся не только к прошлому, но и к будущему. В авторской трансформации слова и формы нередко можно видеть сконцентрированную и мотивированную контекстом, доступную наблюдению динамику исторических процессов, которая в обиходном языке, вне художественных задач, охватывает столетия.

Исходя из личной потребности выразить свое мироощущение, поэты, тем не менее, выполняют некую задачу, которая определена вовсе не их произволом (хотя иногда так кажется не только их критикам, но и часто им самим), а меняющимися свойствами вещей и меняющимся языком. Сама динамика языковых процессов часто становится предметом рефлексии, предметом изображения, даже темой и сюжетом.

Итак, каждая эпоха говорит на своем языке, но поэты постоянно нарушают границы собственного времени, проникая как в будущее языка, так и в его прошлое, и тем самым восстанавливают связь времен.

Источники художественных текстов

- Авалиани Д.* Пламя в пургу. М., 1995.
- Авалиани Д.* Рукопись.
- Айги Г.* Теперь всегда снега. М., 1992.
- Айги Г.* // Сегодня. 1995 г. 14 янв.
- Айзенберг М.* Указатель имён. М., 1993.
- Акчурина М.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Альчук А.* Сов семь. М., 1994.
- Анненский И.* Стихотворения и трагедии. Л., 1990.
- Антонова Н.* От ада и до рая. М; СПб., 1991.
- Арабов Ю.* Автостоп. М., 1991. [а]
- Арабов Ю.* // Юность. 1991. № 10. [б]
- Арбенин К.* Транзитная пуля. 44 текста песен группы «Зимовье зверей». М., 1997.
- Аристов В.* Отдаляясь от этой зимы. М., 1992.
- Аронзон Л.* // Вестник новой литературы. 1991. № 3.
- Аронзон Л.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Аронзон Л.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Артамонов В.* Воскресенье. СПб., 1994.
- Ахмадулина Б.* Гряда камней. Стихотворения 1957–1992. М., 1995.
- Ахмадулина Б.* Возле елки. Книга новых стихотворений. СПб., 1999.
- Ахметьев И.* Стихи и только стихи. М., 1993.
- Багрицкий Э.* Стихотворения и поэмы. М; Л., 1964.
- Байтов Н.* Чтобы не быть голословным. М., 1997.
- Баратынский Е. А.* Стихотворения. Поэмы. М., 1983.
- Барскова П.* Раса брезгливых. М., 1994.
- Бауэр В.* Начало охотничьего сезона. СПб., 2000.
- Белецкий Р.* Стихи. М., 1996.
- Бергер А.* // Петрополь. Альманах. Л., 1990. Вып. 2.
- Беспозванная П.* // Ключ. Литературный альманах. СПб., 1995.
- Бетаки В.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Бешенковская О.* // Звезда. 1992. № 3.
- Бешенковская О.* Подземные цветы. СПб., 1996.
- Библия.* Книги священного писания Ветхого и Нового завета. Канонические. Л., 1990.

- Біблія* сирРчь книги свТщеннаго писаніТ ветхаго и новаго завета съ параллельными мРстами. Санкт-Петербургъ, 1900; репринт 1995.
- Бирюков С.* Знак бесконечности. Тамбов, 1995.
- Бирюков С.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Бобрецов В.* Сизифов грех. М; СПб., 1994.
- Бобрецов В.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Бобышев Д.* Полнота всего. СПб., 1992. [а]
- Бобышев Д.* Русские терцины и другие стихотворения. СПб., 1992. [б]
- Бобышев Д.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Бобышев Д.* Ангелы и силы. New York., 1997.
- Богатов А.* Стихи. М., 1996.
- Бонифаций* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Борисова М.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Бродский И.* Стихотворения. Таллинн, 1991.
- Бродский И.* Сочинения: В 4 т. СПб., 1992–1994²³⁷.
- Бударагин В.* Песочные часы. Л., 1990.
- Буковская Т.* Отчаяние и надежда. Л., 1991.
- Булатовский И.* Белый свет. СПб., 1995.
- Булатовский И.* Любовь для старости. СПб., 1996.
- Бунимович Е.* Естественный отбор. М., 1999.
- Буренин В. П.* Венок и швабра, или Сюрприз драматургу. Мело-трагедия с недоразумениями в четырех картинах, с фантастическим прологом, небывалым эпилогом, хором и танцами петербургской Зги и разрушением театра // Русская театральная пародия XIX – начала XX века. М., 1976.
- Бурихин И.* // Вестник новой литературы. 1990. № 2.
- Бурихин И.* Мы на мертвой волне. М., 1992.
- Ванталов Б.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Введенский А.* // Поэты группы «ОБЭИУ». СПб., 1994.
- Вещагин [sic] Я., Йодов Н., Проходимцев П.* Избранное из сборника Таллинн, 1994.
- Вензель Е.* Стихи. СПб., 1992.
- Виноградов И.* Плоти́на // Звезда. 1981. № 3.

²³⁷ В тексте работы указания на тома многотомных изданий обозначены римскими цифрами.

- Виноградов Л.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Вишневский В.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Вишневский В.* Спасибо мне, что есть я у тебя. М., 1992.
- Воденников Д.* Репейник. М., 1996.
- Вознесенский А.* Аксиома самоиска. М., 1990.
- Вознесенский А.* Россия воскрес: Безразмерный молитвенный сонет // Дружба народов. № 10, 1993.
- Вознесенский А. А.* Гадание по книге: Вещи последних лет. М., 1994.
- Волга Г.* Город Тах. СПб., 1993.
- Волохонский А.* Анютины глядки. Пермь, 1994.
- Волошин О.* Сны о вечном. М., 1995.
- Волчек Д.* Говорящий тюльпан. СПб., 1992.
- Вольтская Т.* Стрела. М.; СПб., 1994.
- Вольф С.* // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1993. Вып. 3.
- Воркунов А.* Троянский кот. М., 1995.
- Воронежский Р.* По дороге в булочную. Стихи и проза. СПб., 1998.
- Востриков И.* // Лаптев и Востриков. Стихи. Кинешма, 1993.
- Высоцкий В.* Собрание сочинений: В 4 кн. М., 1997. Кн. 1.
- Галкина Н.* Голос из хора. Л., 1989.
- Галкина Н.* Оккервиль. Л., 1990.
- Галкина Н.* Погода на вчера. СПб., 1999.
- Гандельсман В.* Вечерней почтой. М.; СПб., 1995. [а]
- Гандельсман В.* Там на Неве дом... СПб., 1995. [б]
- Гандельсман В.* Долгота дня. СПб., 1998. [а]
- Гандельсман В.* Эдип. СПб.; Нью-Йорк, 1998. [б]
- Гандлевский С.* Праздник. СПб., 1995.
- Гандлевский С.* // Личное дело-2. М., 1999.
- Гецевич Г.* Стихи. М., 1995.
- Гликин М.* Я – метролль. М., 1995.
- Глозман В.* In folio. Иерусалим; Страсбург, 1995.
- Головин А.* Сеньоре За. СПб., 1994.
- Головин А.* Барышни и цацы. СПб., 1996.
- Гольинко-Вольфсон Д.* Homo scribens. СПб., 1994. [а]
- Гольинко-Вольфсон Д.* // Комментарии. М., 1994. № 3. [б]
- Гольинко Д.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. СПб., 1995.
- Голь Н.* Наше наследие. СПб., 1994.

- Голь Н.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Горбаневская Н.* Набор. М., 1996.
- Горбаневская Н.* Кто о чем поет. М., 1997.
- Горбовский Г.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Горнон А.* // Лабиринт-Эксцентр. № 2. Л.; Свердловск. 1991. № 2.
- Гороховский В.* // Гуманитарный фонд (газета). Ростов, 1992 г. № 48.
- Грибоедов А. С.* Горе от ума // Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1988.
- Григорьев Г.* Футбол-1985. Свидание со СПИДом. Л., 1990
- Григорьев О.* // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1993. Вып. 3.
- Григорьев О.* Птица в клетке. СПб., 1997.
- Гронас М.* // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2.
- Денисенко А.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Державин Г. Р.* Стихотворения. Л., 1957.
- Державин Г.* Оды. Л., 1985.
- Джангиров К.* // Молодая поэзия-89. М., 1989.
- Дмитриев А.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Достоевский Ф. М.* Собрание сочинений: В 10 т. Т. 9. М., 1958.
- Драгомощенко А.* Ксении. СПб., 1993.
- Друк В.* Коммутатор. М., 1991.
- Друскин Л.* // Нева. 1989. № 9.
- Еременко А.* Стихи. М., 1991.
- Еремин М.* // Эхо – Echo. Paris, 1979. Вып. 2-3.
- Еремин М.* Стихотворения. М., 1991.
- Еремин М.* Стихотворения. М., 1996.
- Жданов И.* Место земли. М., 1991.
- Жуков И.* Ястребы охлаждения. Иваново, 1999.
- Заболоцкий Н. А.* // Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994.
- Заболоцкий Н. А.* Огонь, мерцающий в сосуде... М., 1995.
- Залогина О.* Стихи. СПб., 1994.
- Залогина О.* Песни огня. СПб., 1997.
- Заходер Б.* Заходерзости. М., 1997.
- Зельченко В.* Коллаж. СПб., 1991.
- Зельченко В.* Из Африки. М., 1994.
- Знаменская И.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Знаменская И.* // Петрополь. Альманах. II. СПб., 1990.

- Знаменская И.* Глаз вопиющего. СПб., 1997.
- Зондберг О.* Книга признаний. М., 1997.
- Иванов Вяч.* Стихотворения. Поэмы. Трагедия. В 2 кн. Кн. 1. СПб., 1995.
- Игнатова Е.* Небесное зарево. Иерусалим, 1992.
- Иконников-Галицкий А.* "АГГЕЛОС. СПб., 1995. [а]
- Иконников-Галицкий А.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995. [б]
- Иртеньев И.* Ряд допущений. М., 1998.
- Искренко Н. Ю.* Интерпретация момента. М., 1996.
- Искренко Н.* О главном (Из дневника Н. И.). М., 1998.
- Казаков В.* Избранные сочинения: В 3 т. Т. 3. Стихотворения. М., 1995.
- Казарин Ю.* Пятая книга. Екатеринбург, 1996.
- Кальпиди В.* // Лабиринт-Эксцентр. № 2. Л.; Свердловск. 1991. № 2.
- Кальпиди В.* Мерцание. Пермь, 1995.
- Кальпиди В.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Кальпиди В.* Ресницы. СПб., 1998.
- Каменкович М.* Река Смородина. СПб., 1996.
- Каминский Е.* Толпа. Л., 1990.
- Камянов Б.* Исполнение пророчеств. М., 1992.
- Карамзин Н. М.* Сочинения: В 9 т. Т. 8. М., 1820.
- Кедров К.* Компьютер любви. М., 1990.
- Кедров К.* Верфълием: (новая поэзия). М., 1991. [а]
- Кекова С.* Песочные часы. М.; СПб., Феникс, 1995. [а]
- Кекова С.* // Постскриптум. СПб.; М., 1995. № 1. [б]
- Кенжеев Б.* Стихи последних лет. М., 1992.
- Кенжеев Б.* Из книги AMO ERGO SUM. М., 1993.
- Кибиров Т.* Сантименты. Белгород, 1994.
- Кибиров Т.* Парафразис. СПб., 1997.
- Кибиров Т.* Интимная лирика. СПб., 1998.
- Ким Ю.* Летучий ковер. М., 1990. [а]
- Ким Ю.* Творческий вечер. М., 1990. [б]
- Киперман Ж.* Общежитие. СПб., 1994.
- Климов В.* Сдвиг по фразе. М., 1994.
- Коваль В.* // Личное дело-2. М., 1999.
- Кондратов А.* // Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны: В 5 томах. Т. 1. Сост. К. К. Кузьминский и Г.Л. Ковалев. Neutonville, Mass. 1980.
- Кондратов А.* // Вы да вы. Brooklyn., New-York, 1995-III.
- Кононов Н.* Змей. СПб., 1988.

- Констриктор Б.* // Новое литературное обозрение. М., 1997. № 23.
- Коркия В.* Свободное время. М., 1988.
- Костров Е. И.* // Поэты XVIII века: в 2 т. Т. 2. Л., 1972.
- Кочетков Л.* Рукопись.
- Красовицкий С.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Кравцов К.* // ГФ: Новая литературная газета. 1996. № 1
- Крепс М.* Русский Пигмалион. Поэма. СПб., 1992.
- Крепс М.* Царевна-лягушка // Петрополь. Литературная панорама 1993–1996. СПб., 1996. Вып. 6.
- Крестинский А.* Отзовется душа. Л., 1990.
- Крестинский А.* Тихий рокер. СПб., 1993.
- Кривулин В.* Основные записи: (Узоры и краски). Л.; Париж. 1988.
- Кривулин В.* // Нева. 1989. № 9.
- Кривулин В.* Обращение. Л., 1990. [а]
- Кривулин В.* // Вестник новой литературы. 1990. № 1. [б]
- Кривулин В.* // Дружба народов. 1990. № 11. [в]
- Кривулин В.* Концерт по заявкам. СПб., 1993. [а]
- Кривулин В.* // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2. [б]
- Кривулин В.* Купание в иордани. СПб., 1998.
- Крикунов К.* Стекло-12-крылая птица. СПб., 1995.
- Кропивницкий Л.* Капризы подсознания. М., 1990.
- Кропивницкий Е.* // Стрелец. 1998. № 1.
- Крутой И. (А. Тюрин)* // Молодая поэзия-89. М., 1989.
- Крыжановский А.* // Звезда. 1991. № 7.
- Крюкова Е.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Кублановский Ю.* Чужбинное. М., 1993.
- Кублановский Ю.* Памяти Петрограда. СПб., 1994.
- Кудимова М.* // Знамя. 1989. № 8.
- Кузнецов Ю.* Стихи и поэмы. М., 1990.
- Кузьмин Д.* Рукопись.
- Кузьминский К.* Стихи. СПб., 1995. [а]
- Кузьминский К.* Пулеметные лепты: (Троекнижие). СПб., 1995. [б]
- Кутик И.* Лук Одиссея. СПб., 1993.
- Кучерявкин В.* // Митин журнал. 1993. № 50.
- Кучерявкин В.* Танец мертвой ноги. СПб., 1994.
- Кушнер А.* Ночная музыка. Л., 1991.
- Кушнер А.* На сумрачной звезде. СПб., 1994.
- Лаптев М.* Корни огня. М., 1994.

- Левин А.* Биомеханика. Стихотворения 1983–1995 г. М., 1995.
- Левин А.* // Дружба народов. 1997. № 2.
- Левчин Р.* Вода-огонь [СПб.], 1996
- Лейкин В.* Образы и подобию. Л., 1991.
- Лермонтов М. Ю.* Полное собрание стихотворений: В 2 т. Т. 1. Л., 1989.
- Летов Е.* // Егор Летов, Яна Дягилева, Константин Рябинов. Русское поле экспериментов. М., 1994.
- Летцев В.* Имена // Лабиринт-Эксцентр. СПб.; Екатеринбург, 1991. № 3.
- Лехциер В.* // Диалог без посредников. Самара, 1998.
- Лён С.* Игра в жмурки: книга метафизических построений – 1974 год. М., 1990.
- Литвак С.* Песни ученика. М., 1994.
- Литвак С.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Ломоносов М. В.* Избранные произведения. М.; Л., 1986.
- Лосев Л.* Чудесный десант. Tenaflly, 1985.
- Лосев Л.* Тайный советник. Tenaflly, 1987.
- Лосев Л.* // Звезда. 1991. № 8.
- Лосев Л.* Новые сведения о Карле и Кларе. Третья книга стихов СПб., 1996.
- Лосев Л.* Москвы от Лосеффа // Знамя. 1999. № 2.
- Мандельштам О. Э.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1991.
- Мандельштам О. Э.* Полное собрание стихотворений. СПб., 1995.
- Мартынова О.* // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1991. Вып. 2.
- Маршак С. Я.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 1. М., 1968.
- Машевский А.* // Звезда. 1992. № 2.
- Машевский А.* Признание. СПб., 1997.
- Матиевский В.* Стихотворения. СПб., 1995.
- Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955–1961.
- Мельников А.* Ализм. Стихи. СПб., 1990.
- Мельников А.* Транскрипция дыхания. Стихи. СПб., 1993.
- Мериме П.* Хроника времен Карла IX. Минск, 1955.
- Миронов А., Эрль В.* // [Владимир Эрль]. Книга Хеленуктизм. СПб., 1989.
- Миронов А.* Метафизические радости. Стихотворения 1964–1982 г. СПб., 1993.
- Митюшев П.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Михайловская Т.* Солнечное сплетение. Книга одностиший. СПб., 1995.
- Мнацаканова Е.* Vita breve. Пермь, 1994.
- Могутин Я.* // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2.
- Мориц Ю.* В логове голоса. М., 1990.
- Мориц Ю.* // Октябрь. 1996. № 5.

- Моротская С.* Метафизика свободного полета. Нижний Новгород, 1993.
- Моротская С.* // Арион. 1999. № 2.
- Мякишев Е.* Ловитва. Стихи. СПб., 1992.
- Мякишев Е.* Взбирающийся лес. СПб., 1998.
- Найман А.* // Звезда. СПб., 1995. № 4.
- Нарочно не придумаешь.* Ч. I, II. Библиотека «Крокодила». № 16, 17. М., 1981.
- Некрасов Вс.* // Антология новейшей русской поэзии у Голубой лагуны: В 5 томах. Т. 1. Сост. К. К. Кузьминский и Г.Л. Ковалев. Neutonville, Mass. 1980.
- Некрасов В.* Стихи из журнала. М., 1989.
- Нерлер П.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Несмеянова М.* Рукопись.
- Николаев С.* Мутанты. СПб., 1994.
- Новиков Д.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989
- Новиков Д.* // Личное дело №. М., 1991.
- Новиков Д.* Самопал. СПб., 1999.
- Овчинников И.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Охапкин О.* Стихи. Л.; Париж, 1989.
- Охапкин О.* Возвращение Одиссея. СПб., 1994.
- Парциков А.* Cyrilic light. М., 1995.
- Парциков А.* Выбранное. М., 1996.
- Пастернак Б.* Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965.
- Петров В. П.* // Поэты XVIII века: в 2 т. Т. 1. Л., 1972.
- Петров С. В.* // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1994. Вып. 4.
- Петрова А.* Линия отрыва. СПб., 1994.
- Повесть временных лет* по Лаврентьевской летописи 1377 г. СПб., 1996.
- Покровская С.* // Последний экземпляр. Саратов, 1993. Вып. № 1.
- Полишкаров А.* Клинопись грозы. Л., 1991.
- Поляков А.* Epistulae ex Ponto. Стихи. Симферополь, 1995.
- Постникова О.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Пригов Д. А.* // Русская альтернативная поэзия XX века. М., 1989.
- Пригов Д.* // Дружба народов. 1990. № 4.
- Пригов Д.* // Личное дело №. М., 1991.
- Пригов Д. А.* // Третья модернизация. М., 1993.
- Пригов Д. А.* Собрание стихов. Том 1. 1963–1974. Wien, 1996.
- Пригов Д. А.* Написанное с 1975 по 1989. М., 1997. [а]
- Пригов Д. А.* Советские тексты. М., 1997. [б]
- Пригов Д. А.* Собрание стихов. Том 2. 1975–1977. Wien, 1997. [в]
- Пригов Д. А.* Подобранный Пригов. М., 1997. [г]

- Пригов Д. А.* Написанное с 1990 по 1994. М., 1998.
- Прийма А.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Пробштейн Я.* Реквием. М., 1993.
- Проворов С.* // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2.
- Прокофьев О.* // 5 поэтов «Черновика»: № 1–8. СПб., 1993.
- Пурин А.* Евразия и другие стихотворения. СПб., 1995.
- Пушкин А. С.* Собрание сочинений: В 8 т. М., 1967–1970.
- Ратушинская И.* Вне лимита. М., 1986.
- Ребров А.* Крылица. Л., 1991.
- Рейн Е.* Сапожок. Книга итальянских стихов. М., 1995.
- Ровнер А.* Этажи Гадеса. Нью Йорк; Париж; М., 1992.
- Рубинштейн Л.* Регулярное письмо. СПб., 1996.
- Рябинов К.* // Летов Е., Дягилева Я., Рябинов К. Русское поле экспериментов. М., 1994.
- Саед-Шах А.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Салимон В.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Санчук В.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Сапгир Г.* Избранные стихи. М.; Париж; Нью-Йорк, 1993.
- Сапгир Г.* Смеянцы. М., 1995.
- Сапгир Г.* Мертвый сезон. М., 1996.
- Сапего М.* Разрозненные ХЭ. Стихи. СПб., 1995.
- Сатуновский Я.* Рубленая проза. München; М.; Минск, 1994.
- Сергеев А.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Сигей С.* // Лабиринт-эксцентр №3. Екатеринбург, 1991.
- Сид И.* // «ГФ – Новая литературная газета». М., 1994. Вып.2. / «Боспорский Форум современной культуры»: Специальный выпуск.
- Сид И.* // Лаптев М. Максимова М. Звягинцев Н. Поляков А. Сид И. Полуостров. М., 1997.
- Скворцов М.* // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2.
- Скородумова Ю.* Читиво для пальцев. М., 1993.
- Слепакова Н.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Сливкин Е.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Слово о полку Игореве.* Л., 1985.
- Сологуб Ф.* Стихотворения. Л., 2000.
- Соковнин М.* Рассыпанный набор. М., 1995.
- Соколов С.* Между собакой и волком. М., 1990.

- Сопровский А.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Соснора В.* Песнь лунная. Л., 1982.
- Соснора В.* Избранное. Ann Arbor, 1987.
- Соснора В.* 37. Книга стихов. СПб., 1994.
- Соснора В.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Соснора В.* Верховный час. СПб., 1998.
- Соснора В.* Куда пошел? И где окно? Книга новых стихотворений. СПб., 1999.
- Стефанит и Ихнилат:* Средневековая книга басен по русским рукописям XV–XVII веков. Л., 1969.
- Стратановский С.* Стихи. СПб., 1993. [а]
- Стратановский С.* // В Петербурге мы сойдемся снова. СПб., 1993. [б]
- Стратановский С.* Рукопись.
- Строчков В.* Глаголы несовершенного времени: Избранные стихотворения 1981–1992 годов. М., 1994.
- Строчков В.* Наречия и обстоятельства. М., 1995.
- Суриков А.* Тако-диноко. М., 1996.
- Сухотин М.* // Новое литературное обозрение. № 36. М., 1999.
- Сычев А.* Экзерсис. СПб., 1999.
- Толстой Л. Н. Собрание сочинения: В 14 т. М., 1951–1953. Т. 8. М., 1952.
- Тюрин А.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Уфлянд В.* Стихотворные тексты. СПб., 1993.
- Уфлянд В.* Рифмованные упорядоченные тексты. СПб., 1997.
- Ушакова Е.* Ночное солнце. СПб., 1991.
- Феоктистов Е.* Стихотворения. СПб., 1994.
- Фет А. А.* Полное собрание стихотворений. Л., 1959.
- Филатова Т.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Филиппов В.* // Вестник новой литературы. СПб., 1992. № 4.
- Харитонов Е.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Хармс Д.* // Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994.
- Хвостенко А.* Продолжение. СПб., 1995.
- Хвостенко А., Волохонский А.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995.
- Хлебников В.* Творения. М., 1986.
- Хлебников О.* Наземный переход. М., 1989.
- Хлебников О.* На краю века. Ижевск, 1996.
- Холин И.* Избранные стихи и поэмы. М., 1999.

- Хорват Е.* // Самиздат века. Сост. А. Стреляный, Г. Сапгир, В. Бахтин, Н. Ордынский. Минск; М., 1997.
- Царькова Т.* Город простолюдинов. СПб., 1993.
- Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. М. 1994.
- Цветков А.* Состояние сна. Ann Arbor, Michigan, 1981.
- Цветков А.* Эдем. Ann Arbor, Michigan., 1985.
- Цветков А.* Стихотворения. СПб., 1996.
- Чейгин П.* // Звезда. 1992. № 3.
- Чейгин П.* // Сны: Поэтическая метафизика Петербурга. СПб., 1995. [а]
- Чейгин П.* // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов. Поэтическая антология. СПб., 1995. [б]
- Чернов А.* Городские портреты. М., 1980.
- Чернов А.* СПб, или нежилой фонд. Париж, 1991.
- Черновик.* № 10. СПб., 1994.
- Чехов А. П.* Собрание сочинений: В 12 т. Т. 4. М., 1961.
- Чухонцев О.* Стихотворения. М., 1989.
- Шварц Е.* Стороны света. Л., 1989.
- Шварц Е.* // Вестник новой литературы. СПб., 1990. Вып. 2.
- Шварц Е.* // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1991. Вып. 2.
- Шварц Е.* Лоция ночи. СПб., 1993.
- Шварц Е.* Песня птицы на дне морском. СПб., 1995.
- Шварц Е.* Mundus imaginalis. СПб., 1996.
- Шварц Е.* Западно-восточный ветер. СПб., 1997. [а]
- Шварц Е.* Определение в дурную погоду. СПб., 1997. [б]
- Шварц Е.* Соло на раскаленной трубе. СПб., 1998
- Шейн П. В.* Грибы отказываются идти на войну // Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т.п. Т. I. Вып. 1. СПб., 1898.
- Шельвах А.* Поход грибов // Родник. М., 1990.
- Шельвах А.* Черновик отваги. СПб., 1992.
- Ширали В.* Сопротивление. Стихи. Книга 1. СПб., 1992. [а]
- Ширали В.* Сопротивление. Стихи. Книга 2. СПб., 1992. [б]
- Шостаковская И.* Ирина Шостаковская в представлении издательства «Автохтон». [М.], 1999.
- Шпаликов Г.* Пароход белый-беленький. М., 1998.
- Щербаков М.* Вишневое варенье. М., 1990. [а]
- Щербаков М.* Нет и не было яда. М., 1990. [б]
- Щербаков М.* Другая жизнь. М., 1997.
- Щербина Т.* // Порыв: Сборник стихов. Новые имена. М., 1989.
- Щербина Т.* Ноль ноль. М., 1991.
- Эзрохи З.* Шестой этаж. СПб., 1995. [а]

Эзрохи З. // Поздние петербуржцы. Поэтическая антология. Сост. В. Н. Топоров, М. Максимов.

Поэтическая антология. СПб., 1995. [б]

[*Эрль В.*] Книга Хеленуктизм. СПб., 1989.

Эрль В. Трава, трава. СПб., 1995.

Юрьев О. // Камера хранения: Лит. альманах. СПб., 1991. Вып. 2.

Юрьев О. // Вестник новой литературы. СПб., 1992. № 3.

Ярмуш М. Тень будущего. Стихи. М., 1994.

Яснов М. В ритме прибоа. Л., 1986.

Яснов М. Неправильные глаголы. М., 1990. [а]

Яснов М. // Петрополь. Альманах. СПб., 1990. Вып. 2. [б]

Яснов М. Алфавит разлуки. Подземный переход. СПб., 1995.

Литература

- Азарх Ю. С.* Словообразование и формобразование существительных в истории русского языка. М., 1984.
- Акимова Г. Н.* О некоторых особенностях поэтического синтаксиса // Вопросы языкознания. 1977. № 1.
- Аксаков К. С.* Сочинения филологические // Полное собрание сочинений: В 3 т. Т. 3. Ч. 2: Опыт русской грамматики. М., 1880.
- Апресян Ю. Д.* Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967.
- Артеменко Е. Б.* Синтаксический строй русской народной лирической песни в аспекте ее художественной организации. Воронеж, 1977.
- Артюшков И. В.* Экспрессивные возможности прерванных высказываний // Риторика и синтаксические структуры. Красноярск, 1988.
- Архангельский В. Л.* Сокращение устойчивых фраз, основанное на лексической детерминации по двум и более элементам // Вопросы теории и истории русского языка. Калуга, 1969. Вып. 2.
- Ахапкин Д.* «Филологическая метафора» в поэтике Иосифа Бродского // Русская филология. 9. Сборник научных работ молодых филологов. Тарту, 1998.
- Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
- Бабайцева В. В.* Гибридные слова в системе частей речи современного русского языка // Русский язык в школе. 1971. № 3.
- Балалыкина З. А.* К вопросу о лексической и словообразовательной энантиосемии в русском языке // Актуальные проблемы грамматики и лексикологии. Казань, 1989.
- Балалыкина Э. А.* Развитие противоположных семантических оттенков в пределах одного слова в истории русского языка // Семантика русского языка в диахронии. Калининград, 1994.
- Барина Г. А.* Редукция и выпадение интервокальных согласных в разговорной речи // Развитие фонетики в современном русском языке. М., 1971.
- Бацевич Ф. С.* Типология энантиосемичных значений глаголов в современном русском языке // Исследования по семантике. Уфа, 1986.
- Бахтин М. М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1996.
- Белошапкова В.А.* Изменения в субстантивных словосочетаниях // Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX в. Изменения в системе словосочетаний. М., 1964.
- Берг М.* «Вторая культура». Прошлое и настоящее // Вестник новой литературы. № 3. Л., 1991.
- Березовчук Л.* Суггестия артикулируемого смысла. Заметки о фоносемантической поэтике Александра Горнона // Новое литературное обозрение. М., 1995. № 14.
- Бехерт И.* Эргативность как исходный пункт изучения прагматической основы грамматических категорий // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982. Вып. 11.

- Бирих А., Мокиенко В., Степанова Л.* История и этимология русских фразеологизмов (Библиографический указатель. 1825–1994). München. 1994.
- Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И.* Словарь русской фразеологии: Историко-этимологический справочник. СПб., 1998.
- Бирюков С.* Есмь! // Литературное обозрение. 1989. № 4.
- Бицилли П. М.* Избранные труды по филологии. М., 1996.
- Блинова О. И.* Заметки о морфологическом варьировании имен существительных в говорах // Вопросы русского языка. Томск, 1965.
- Богуславский И. М.* Сфера действия лексических единиц. М., 1996.
- Бондарко А. В.* Теория морфологических категорий. Л., 1976.
- Бондарко А. В.* Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.
- Бондарко Л. В.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
- Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. М., 1965.
- Бродский И.* Нобелевская лекция // Бродский И. Сочинения: В 4 т. Т. 1. СПб., 1992.
- Буланин Л. Л.* Фонетика современного русского языка. М., 1970.
- Булаховский Л. А.* Введение в языкознание. Ч. 2. Л., 1953.
- Булаховский Л. А.* Исторический комментарий к литературному русскому языку. Киев, 1958.
- Бурлюк Д., Бурлюк Н., Крученых А., Кандинский В., Лифшиц Б., Маяковский В., Хлебников В.* Пощечина общественному вкусу. М., 1913.
- Варбот Ж.* Ни зги // Наука и жизнь. 1983. № 5.
- Варбот Ж.* Ни зги не видно // Наука и жизнь. 1984. № 5.
- Вельш В.* «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия // Путь. Международный философский журнал. 1992. № 1.
- Вежебицка А.* Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1968. Вып. 8.
- Виноградов В. В.* Русский язык: (Грамматическое учение о слове). М., 1972.
- Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков. М., 1982.
- Винокур Г. О.* «Горе от ума» как памятник русской художественной речи // Учен. зап. МГУ. Тр. каф. русск. яз. 1948. Вып. 128. Кн. 1.
- Винокур Г. О.* Наследство XVIII в. в стихотворном языке Пушкина // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Винокур Т. Г.* Об эллиптическом словоупотреблении в современной разговорной речи // Развитие синтаксиса современного русского языка. М., 1965.
- Владышевская Т. Ф., Сергеев В. Н.* «Покаянный стих», «Зрю ты, гробе...» в литературе, живописи и музыке XVII века // Древнерусское искусство XV–XVII веков. М., 1981.
- Воейков А. Ф.* Разбор поэмы «Руслан и Людмила», сочин. Александра Пушкина // Пушкин в прижизненной критике. 1820–1827. СПб., 1996.
- Востоков А.* Русская грамматика... по начертанию его же сокращенной грамматики изложенная, изд. 12. СПб., 1874.

- Высотский С. С.* Утрата среднего рода в говорах к западу от Москвы // Доклады и сообщения Ин-та русского языка АН СССР. 1948. Вып. 1.
- Габинская О. А.* Слияние как способ образования новых слов в современном русском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 1969.
- Гандлевский С.* Разрешение от скорби // Личное дело №. М., 1991.
- Гаспаров М.Л.* Историческая поэтика и сравнительное стиховедение: (Проблема сравнительной метрики) // Историческая поэтика: Итоги и перспективы. М., 1986.
- Георгиева В.Л.* История синтаксических явлений русского языка. М., 1968.
- Герасимова Н. М.* Энергетика цвета в цветаевском «Молодце» // Имя. Сюжет. Миф. СПб., 1995.
- Гин Я. И.* Поэтика грамматического рода. Петрозаводск, 1992.
- Гин Я. И.* Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб., 1996.
- Гинзбург Л. Я.* О старом и новом. Л., 1982.
- Гинзбург Е.Л.* Из заметок о синтаксических приемах выразительности. Гипаллага // Речевые приемы и ошибки: типология, деривация и функционирование. Пермь, 1989.
- Глинкина Л. А.* О родовариантных формах существительных в древнерусском языке (По «Материалам...» И. И. Срезневского) // Вопросы словообразования и лексикологии древнерусского языка. М., 1974.
- Глинкина Л. А.* Подлежащее // Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.
- Глотова И. П.* Лексические включения в разговорной речи // Вопросы стилистики. Саратов, 1972. Вып. 4.
- Голанова Е. И.* О «мнимых сложных словах» (развитие класса сложных прилагательных в современном русском языке) // Лики языка. К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998.
- Горелов И. Н.* Энантисемия как столкновение противоречивых тенденций языкового развития // Вопросы языкознания. 1976. № 4.
- Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1997.
- Григорьев В. П.* Финали «согласный + сонант» в поэтической речи // Фонетика; фонология; грамматика. М., 1971.
- Григорьев В. П., Парнис А. Е.* Комментарии // Хлебников В. Творения. М., 1986.
- Гройс Б.* Полуторный стиль: социалистический реализм между модернизмом и постмодернизмом // Новое литературное обозрение. 1995. № 15.
- Гура А. В.* Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997.
- Гусейнов Г.* Сколько ни таимничай, а будет сказаться // Знание – сила. 1989. № 1.
- Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978–1980.
- Дубинский Е. Н.* Уточнение фразеологического компонента как стилистический прием // Вопросы стилистики. Саратов, 1973. Вып. 6.
- Евтеева Л. В.* Проблемы русской исторической семасиологии // История структурных элементов русского языка. М., 1982.

- Еремина В. И.* Ритуал и фольклор. Л., 1991.
- Есперсен О.* Философия грамматики. М., 1958.
- Еськова Н. А.* О недостаточности действующего правила употребления так называемой буквы ё // Вопросы культуры речи. 1967. Вып. 8.
- Жаркова Е. Х.* Энантиосемия лексико-грамматического и словообразовательного типа в кругу смежных явлений: (На материале имен существительных русского языка). Автореф, дис. ... канд. филол. наук. Л., 1988.
- Жолковский А. К.* Графоманство как прием (Лебядкин, Хлебников, Лимонов и другие) // Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994
- Жолобов О. Ф.* Грамматический символизм в древнерусских литературных текстах // Литературный язык Древней Руси. Л., 1989.
- Жуковский В. А.* // Друзья Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., 1986. Т. 1.
- Зеленин Д. К.* Этимологические заметки // Филологические записки. 1903. № 2.
- Земская Е. А.* Словообразование как деятельность. М., 1992.
- Золян С. Т.* О принципах композиционной организации поэтического текста // Проблемы структурной лингвистики. 1983. М., 1986.
- Зорин А.* Стихи на карточках (поэтический язык Льва Рубинштейна) // Русская альтернативная поэзия XX века. М., 1989.
- Зубова Л. В.* Языковой сдвиг в позиции поэтического переноса // Проблемы структурной лингвистики 1985–1987. М., 1989.
- Зубова Л. В.* Слово-подтекст в поэзии М. Цветаевой // Diachronica (Сборник научных статей по истории русского литературного языка). Таллинн, 1992.
- Зубова Л.* «По следу слуха народного»: (Синкретизм и компрессия слова в поэме «Молодец» // Марина Цветаева. Песнь жизни. Actes du colloque international de l'université Paris IV. 19–25 octobre 1992. Париж, 1996.
- Зубова Л. В.* Язык поэзии Марины Цветаевой (фонетика, словообразование, фразеология). СПб., 1999.
- Иванов Вал. Вс.* Историческая грамматика русского языка. М., 1964.
- Иванова В. Ф.* Судьба буквы «ё» // Русский язык в школе. 1988. № 2.
- Иванова Н. Н.* Высокая и поэтическая лексика // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977.
- Изотов В. П.* Словообразование на базе предложений // Актуальные вопросы синтаксиса. Посв. 75-летию со дня рождения проф. А. К. Федорова. Орел, 1994.
- Изотов В. П.* Словотекст // Текст: грани и границы. Орел, 1995.
- Изотов В. П.* Текстословие // Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Тезисы международной научно-методической конференции. М., 1996.
- Изотов В. П.* Параметры описания системы способов словообразования. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Орел, 1998.

- Ильин И. П.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
- Ильин И. П.* Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998.
- Ионова И. А.* Морфология поэтической речи. Кишинев, 1988.
- Исаченко А. В.* Роль усечения в русском словообразовании // The International Journal of Slavic Linguistics and Poetics 15. 1972.
- Истрин В. А.* 1100 лет славянской азбуки. М., 1988.
- Калакуцкая Л. П.* Русский литературный язык в конце второго тысячелетия // Филологический сборник (к 100- летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М., 1995.
- Кандаурова Т. Н.* О функциях маркированных славянизмов в поэтических текстах конца XX века // Семантика языковых единиц. Памяти А. Ф. Лосева. М., 1994.
- Караулов Ю. Н.* Еще один аргумент // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В. В. Виноградова). М., 1995.
- Кашкин В. Б.* Перфект как субъективное время // Вестник Ленингр. ун-та. 1980. № 2.
- Квятковский А.* Поэтический словарь. М., 1966.
- Керимов Т. Х.* Письмо; Постмодернизм // Современный философский словарь. М.; Бишкек; Екатеринбург, 1996.
- Климова Л. И.* Антонимичные значения полисемантических слов в современном русском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1975.
- Кнабе Г. С.* Знак. Истина. Круг: (Ю. М. Лотман и проблема постмодерна) // Лотмановский сборник. I. М., 1995.
- Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Ковтунова И. И.* Поэтический синтаксис. М., 1986.
- Ковтунова И. И.* Теоретические вопросы // Очерки истории языка русской поэзии XX века: Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993.
- Кожевникова Н. А.* Смещение синтаксической перспективы // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993. [а]
- Кожевникова Н. А.* Тропы и грамматические структуры // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Грамматические категории. Синтаксис текста. М., 1993. [б]
- Кожевникова Н. А.* Эволюция тропов в языке русской поэзии XX в. // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Образные средства поэтического языка и их трансформация. М., 1995.
- Копелиович А. Б.* Семантико-грамматическое развитие категории рода в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1971.
- Копелиович А. Б.* Род как словообразовательная категория // Вопросы грамматического строя русского языка. Хабаровск, 1977.
- Копелиович А. Б.* Очерки по истории грамматического рода. Владивосток, 1989.
- Коркия В.* Собрание обвинений // Юность. 1987. № 7.
- Костомаров В. Г.* «Изафет» в русском синтаксисе словосочетания // Словарь. Грамматика. Текст. М., 1996.

- Костомаров В. Г.* Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1999.
- Костюков В. М.* Гибридные слова – средство комического // Русская речь. 1987. № 6.
- Красильникова Е. В.* О некоторых линиях эволюции поэтического языка Н. А. Заболоцкого // Проблемы структурной лингвистики 1983. М., 1986.
- Крепс М.* О поэзии Иосифа Бродского. Анн Арбор, 1984.
- Кривулин В.* [предисловие к публикации] // Вавилон: Вестник молодой литературы. 1993. № 2.
- Крученых А.* 500 новых острот и каламбуров Пушкина. М., 1924.
- Крученых А.* Кукиш прошлякам. М.–Таллинн, 1992.
- Кручинина И. Н.* Элементы разговорного синтаксиса в произведениях эпистолярного жанра // Синтаксис и стилистика. М., 1976.
- Кузнецов П. С.* Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1959.
- Курицын В.* Постмодернизм: новая первобытная культура // Новый мир. 1992. № 2.
- Курицын В.* К ситуации постмодернизма // Новое литературное обозрение. М., 1995. № 11.
- Лабов У.* Структура денотативных значений // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. 14.
- Лаврентьева М. Б.* Энантиосемия как результат метафоризации // Проблемы грамматики, словообразования и лексики сибирских говоров. Красноярск, 1978.
- Лаптева О. А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976.
- Ларин Б. А.* Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений (*стыд – срам*) // Ларин Б. А. История русского языка и общее языкознание. М., 1977.
- Леонтьев А. А.* Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности. М., 1965.
- Линдсей П., Норман Д.* Переработка информации у человека. М., 1974.
- Линецкий В.* Постмодернизму вопреки (*Еще раз о литературе новой волны*) // Вестник новой литературы. СПб., 1993. № 6.
- Лиотар Ж.-Ф.* Заметка о смыслах «пост» // Иностранная литература. 1994. № 1.
- Липовецкий М.* Русский постмодернизм: Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
- Лихачев Д. С.* Предисловие; Смех как мировоззрение // Лихачев Д. С., Панченко А. М., Поньрко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
- Лобанова М. С.* Синтаксическая характеристика стихового переноса: (На материале русской поэзии XVIII–первой половины XIX в.). Автореф. дис. ... канд. Филол. наук. Л., 1981.
- Ломоносов М. В.* Российская грамматика // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 7. Труды по филологии. М.; Л., 1952.
- Лосев Л.* Чеховский лиризм // Поэтика Бродского. Сборник статей под ред. Л. В. Лосева. Тенафлу, 1986.
- Лосев Л.* Значение переноса у Цветаевой // Marina Tsvetaeva. Actes du 1-er colloque international Lausanne, 30. VI – 3. VII. 1982). Bern, 1991.

- Лосев Л.* Перпендикуляр (Еще к вопросу о поэтике переноса у Цветаевой) // Марина Цветаева. Симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения. Нортфилд, Вермонт, 1992.
- Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. М., 1992.
- Лотман Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
- Лотман Ю. М.* О поэтах и поэзии. СПб., 1996.
- Малая советская энциклопедия.* М., 1958.
- Мальшиева Г. Н.* Очерки русской поэзии 1980-х годов: (Специфика жанров и стилей). М., 1996.
- Маньковская Н. Б.* Постмодернизм // Культурология. XX век. Словарь. СПб., 1997.
- Маньковская Н.* Эстетика постмодернизма. М., 2000.
- Марков В. М.* Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. М., 1974.
- Мартине А.* Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. М., 1963. Вып. 3.
- Матхаузерова С.* Древнерусские теории языка и стиля. Прага, 1974.
- Мейендорф И. Ф.* О византийском исихазме и его роли в культурном и историческом развитии Восточной Европы в XIV в. // Труды отдела древнерусской литературы. XXIX. Вопросы истории русской средневековой литературы. Л., 1974.
- Мец А. Г.* Примечания // Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб., 1995.
- Миртов А. В.* Родоизменяемые существительные // Русский язык в школе. М., 1946. № 1.
- Михельсон М. И.* Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний: В 2 т. Т. 1. М., 1994.
- Моисеев А. И.* «Глокая куздра» Л. В. Щербы (канонический текст, варианты и подражания) // Проблемы комплексного анализа языка и речи. Л., 1982.
- Мокиенко В. М.* К историко-этимологической интерпретации фразеологизма *ни зги не видно* // *Linguistica et philologica*: Сборник статей к 75-летию профессора Юрия Владимировича Откупщикова. СПб., 1999.
- Мучник И. П.* Категория рода и ее развитие в современном русском литературном языке // Развитие современного русского литературного языка. М., 1963.
- Невская Л. Г.* Лит. *margas* (семантические связи постоянного эпитета) // Славянское и балканское языкознание: Язык в этнолингвистическом аспекте. М., 1984.
- Некрасова Е. А.* Олицетворение // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке. М., 1994.
- Никитина С. Е.* О семантическом эллипсисе в предложных сочетаниях (к постановке вопроса) // Проблемы лингвистического анализа. М., 1966.
- Николаева Т. М.* Принципы нейтрализации церковностарославянизмов в публицистике протопопа Аввакума // История русского языка. Казань, 1992.
- Николаева Т. М.* Диахрония или эволюция? Об одной тенденции развития языка // Вопросы языкознания. 1991. № 2.
- Николаева Т. М.* Металингвистический фразеологизм – новый прием поэтики текста // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998.

- Николина Н. А.* «Скорнение» в современной речи // Язык как творчество. К 70-летию В. П. Григорьева. М., 1996.
- Новиков Л. А.* Антонимия в русском языке. М., 1973.
- Норман Б. Ю.* Синтаксис речевой деятельности. Минск, 1978.
- Обнорский С. П.* Именное склонение в современном русском языке. Л., 1927. Вып. 1. Единственное число.
- Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка. Ч. М., 1952.
- Обратный словарь русского языка.* М., 1974.
- Овсянко-Куликовский Д. Н.* Синтаксис русского языка. СПб., 1912.
- Осинов Б. И.* История русской орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1992.
- Откупщиков Ю. В.* Из истории индоевропейского словообразования. Л., 1967
- Павлович Н. В.* Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке. М., 1995.
- Пани Л.* Нескучный сад: Поэты, прозаики. 80-е – 90-е. Заметки о русской литературе конца XX века. Tenaflу, 1998.
- Панов М. В.* История русского литературного произношения XVIII–XX вв. М., 1990.
- Панченко А. М., Смирнов И. П.* Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала XX в. // Древнерусская литература и русская культура XVIII–XX вв. Л., 1971.
- Панченко А. М.* Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
- Пауль Г.* Принципы истории языка. М., 1960.
- Пешковский А. М.* Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
- Пильгун М. А.* Из истории существительных среднего рода в русском языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. СПб., 1993.
- Попов Р. Н.* Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. М., 1976.
- Потапова Р. Г.* Теоретические и прикладные аспекты речевой сегментологии // Проблемы фонетики. II. Л. Л. Касаткин. М., 1995.
- Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М., 1958.
- Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. Т. 3. Об изменении значения и заменах существительного. М., 1968.
- Потебня А. А.* Мысль и язык. Киев, 1993.
- Преображенский А.* Этимологический словарь русского языка: В 2 т. Т. 1. М., 1959.
- Проффер К.* Остановка в сумасшедшем доме: поэма Бродского «Горбунов и Горчаков» // Поэтика Бродского. Сборник статей под редакцией Л. В. Лосева. Tenaflу, 1986.
- Прохоров Г. М.* Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Литературные связи древних славян. Л., 1968.
- Прохорова В. Н.* О словах с противоположными значениями в русских говорах // Филологические науки. 1961. № 1.
- Псковский областной словарь с историческими данными.* Т. 12. СПб., 1996.

- Пярли: Pärli Ülle.* Синтаксис и смысл. Цикл *Часть речи* И. Бродского // Модернизм и постмодернизм в русской культуре. *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V. (Slavica Fennica 16)*. Helsinki, 1996.
- Ренская Т. В.* О фразеологическом эллипсисе в синтаксическом аспекте // Проблемы русской фразеологии. Республиканский сборник. Тула, 1978.
- Реформатский А. А.* Слоговые согласные в русском языке // Развитие фонетики современного русского языка. Фонологические подсистемы. С. С. Высоцкий и др. /2/ М., 1971.
- Рикёр П.* Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
- Рубинштейн Л.* Язык – поле борьбы и свободы (Беседа с Хольтом Майером) // Новое литературное обозрение. М., 1993. № 2.
- Рыбников В. Н., Чукин С. Г.* Постмодернизм в культуре и культура постмодернизма // Символы в культуре. СПб., 1992.
- Сабенина А. М.* Дательный самостоятельный // Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Простое предложение. М., 1978.
- Сабенина А. М.* «Дательный самостоятельный» как высокий стилистический вариант предложения // Восточные славяне. Языки, история, культура. К 85-летию академика В. И. Борковского. М., 1985.
- Савельева Л. В.* Паратаксические субстантивные словосочетания в древнерусском языке. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1963.
- Савельева Л. В.* Функциональная стилистика моно- и полинегативных структур в древнерусском литературно-письменном языке // Проблемы исторического языкознания. Литературный язык Древней Руси. Л., 1987. Вып. 3.
- Сазонова Л. И.* Поэзия русского барокко (вторая половина XVII – начало XVIII вв.). М., 1991.
- Самойлова Г. С.* О роли абстрактных существительных в развитии категории среднего рода в истории русского языка // Взаимодействие выразительных средств и семантика в истории древнерусского языка и русского языка. Горький, 1987.
- Сахно И. М.* Катахреза (сдвиг) в авангардистском тексте // Русский текст. 1995. № 3.
- Северская О. И.* Прерванные синтаксические конструкции в поэтическом тексте // Риторика и синтаксические структуры. Красноярск, 1988.
- Седакова О. А.* Метафорическая лексика погребального обряда: Материалы к словарю // Проблемы лексикологии. М., 1983.
- Седакова О.* Музыка глухого времени (русская лирика 70-х годов) // Вестник новой литературы. Л., 1990. № 2.
- Седакова О.* Защищен? // Сегодня. 31 декабря 1994 г.
- Серебрянников Б. А.* Отражение развития человеческого мышления в структуре языка // Вопросы языкознания. 1970.
- Серебрянников Б. А.* О некоторых фонетических особенностях конечных формативов // Современные проблемы литературоведения и языкознания: (К 70-летию академика М. В. Храпченко). М., 1974.

- Словарь русских донских говоров*: В 3 т. Т. 1. Ростов, 1975.
- Словарь русских народных говоров*. Т. 11. Л., 1976.
- Словарь русского языка XVIII в.* Л., 1989. Вып. 5.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.* М., 1975 – ...
- Словарь современного русского языка*: В 20 т.
- Словарь современного русского языка*: В 4 т. Т. 1. М., 1981;
- Смирнов И. П.* Барокко и опыт поэтической культуры начала XX века // *Славянское барокко: Историко-культурные проблемы эпохи*. М., 1979.
- Смирнова О. И.* Один случай энантиосемии // *Лексикология и словообразование древнерусского языка*. М., 1966.
- Смирнова О. И.* Проблема энантиосемии в исторической лексикологии. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1976. 26 с.
- Смоленская С. С., Давыдов М. В.* Интонация как показатель энантиосемии слов и словосочетаний // *Вестник МГУ*. 1972. № 3.
- Собинникова В. И.* Смежное лексическое повторение в обиходно-бытовой речи диалекта и народных сказках // *Материалы по русско-славянскому языкознанию*. Воронеж, 1973.
- Соколов О. М.* Энантиосемия в кругу смежных явлений // *Филологические науки*. 1980. № 6.
- Соколов О. М.* Внутрилексемная семантическая поляризация грамматико-словообразовательного типа (на материалах русской глагольной лексики) // *Вопросы словообразования в индоевропейских языках*. Томск, 1985.
- Соколова М. А.* Из истории слов основного словарного фонда русского языка // *Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР*. 1952. № 2.
- Соколова М. А.* Очерки по исторической грамматике русского языка. Л., 1962.
- Степанов А.* Куда мы, может быть, идем? // *Вестник новой литературы*. СПб., 1990. № 1.
- Степанов Ю. С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.
- Строчков В.* По ту сторону речи. Послесловие автора // *Строчков В. Глаголы несовершенного времени. Избранные стихотворения 1981–1992 годов*. М., 1994.
- Тараненко А. А.* Языковая семантика в ее динамических аспектах (основные семантические процессы). Киев, 1989.
- Тарланов З. К.* О синтаксических архаизмах // *Проблемы развития языка*. Саратов, 1981.
- Тарланов З. К.* Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилологии. Петрозаводск, 1999.
- Татар Б.* К вопросу о происхождении фразеологической единицы «ни зги не видно» (in memoriam E. Balecky) // *Russica*. Budapest. 1983.
- Тименчик Р. Д.* Тынянов и некоторые тенденции эстетической мысли 1910-х годов. // *Тыняновский сборник. Вторые тыняновские чтения*. Рига, 1986.
- Толстой Н. И.* Из опытов типологии славянского словарного состава // *Вопросы языкознания*. М., 1963. № 1.

- Толстой Н. И.* Десна – ‘dextra’ // Толстой Н. И. Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997.
- Томашевский Б. В.* Пушкин. Книга первая. М., 1956.
- Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.; Л., 1959.
- Топоров В. Н.* О некоторых теоретических аспектах этимологии // Этимология. 1984. М., 1986.
- Туманян Э. Г.* О природе языковых изменений // Вопросы языкознания. 1999. № 6.
- Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тюрин П. Т.* Метатезис в детской речи и его аспекты в общей теории языка // Психолингвистические проблемы семантики. М., 1983.
- Уорф Б.* Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1960. Вып. 1.
- Фарыно Е.* Паронимия – анаграмма – палиндром в поэтике авангарда // Wiener Slawistischer Almanach. Band.21. Wien, 1988.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Пер. с нем. М., 1986–1987.
- Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII–XX в.:* В 2 т. Т. 1. Новосибирск, 1991.
- Хазанов Б.* Мост над эпохой провала // Камера хранения. Лит. альманах. СПб., 1991. Вып. 2.
- Хворостьянова Е. В.* «Жест смысла» (инвариантные структуры ритма как семантический принцип поэмы М. Цветаевой «Молодец») // Wiener Slawistischer Almanach (Wien). 1996. Bd. 37.
- Хрусталева О.* Конец века // Митин журнал. СПб., 1993. № 50.
- Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. Т. 2. М., 1994.
- Чиждова Е. А.* Репрезентация концептуальной картины мира в художественном тексте: (На материале альтернативной литературы). Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.
- Чистяков В. А.* Представления о дороге в загробный мир в русских похоронных причитаниях // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982.
- Чурилова Н. Н.* Из наблюдений над эллиптически словоупотреблением в ситуациях разговорной речи (безобъектное употребление некоторых глаголов) // Вопросы синтаксиса русского языка. Калуга, 1969.
- Чурилова Н. Н.* Из наблюдений над конструкциями с отсутствующим прямым дополнением // Синтаксис и норма. М., 1974.
- Шатерникова Л. Н.* Из истории синтаксической роли относительного прилагательного // Учен. зап. Вологодского гос. пед. ин-та. 1940. Вып. 1.
- Шведова Н. Ю.* Активные процессы в современном русском синтаксисе (словосочетание). М., 1966.
- Шевелева М. Н.* Аномальные церковнославянские формы с глаголом *быти* и их диалектные соответствия: (К вопросу о соотношении церковнославянской нормы и диалектной си-

- стемы) // Исследования по славянскому историческому языкознанию. Памяти профессора Г. А. Хабургаева. М., 1993.
- Шерцль В.* О словах с противоположным значением (или о так называемой энантиосемии) // Филологические записки. Воронеж, 1883. Вып I; Воронеж, 1884. Вып. V–VI.
- Шифрин Б.* Пришельцы из возможных миров языка // Лабиринт-эксцентр Л.–Свердловск, 1991. № 1.
- Шифрин Б.* От «сдвига» к «морфемной волне»: де-фикс-а(к)ция Александра Горнона // Поэтика русского авангарда. Спец. выпуск журнала «Кредо». Тамбов, 1993. № 3–4.
- Шифрин Б.* набросок к поэтике Александра Горнона // Черновик. СПб., 1994. № 10.
- Шмелев Д. Н.* Архаические формы в современном русском языке. М., 1960.
- Шмелев Д. Н.* О понятии «фразеологическая связанность» // Иностранные языки в школе. 1970. № 1.
- Штайн Е. Э.* Морфема в гармонической организации поэтического текста // Русский текст. СПб., 1996. № 4.
- Шульская О. В.* Г л а з а и о ч и в русской поэзии XX в. // Проблемы структурной лингвистики. 1983. М., 1986.
- Шульская О. В.* Из наблюдений над изменением стилистического статуса слова в художественной речи XX в. // Kalbotyga. Вильнюс, 1988. № 39 (2).
- Эпштейн М. Н.* Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX–XX веков. М., 1988.
- Эпштейн М.* Истоки и смысл русского постмодернизма // Звезда. 1996. № 8.
- Этимологический словарь русского языка* / Под руководством и ред. Н. М. Шанского. М., 1968.
- Этимологический словарь славянских языков.* Праславянский лексический фонд. / Под ред. ОН. Трубачева. М., 1974 – ...
- Эткинд Е.* Материя стиха. Париж, 1978.
- Эткинд Е. Г.* «Взять нотой выше, идеей выше...» // Часть речи. Альманах литературы и искусства. 1. Нью-Йорк, 1980.
- Якобсон Р.* Избранные труды. М., 1985.
- Якобсон Р.* Новейшая русская поэзия. набросок первый: Подступы к Хлебникову // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
- Якобсон Р. О.* Звук и значение // Фоносемантические идеи зарубежного языкознания. Л., 1990.
- Яковлева Е. С.* О понятии «культурная память» в применении к семантике слова // Вопросы языкознания. 1998. № 3. [а]
- Яковлева Е. С.* Человек ⇔ животное: взаимные языковые проекции // Лики языка: К 45-летию научной деятельности Е. А. Земской. М., 1998. [б]
- Якубинский Л. П.* Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986.
- Янгиров Р.* Постскрипtum к «загадкам перекрестных слов» // Новое литературное обозрение. 1997. № 25.
- Янко-Триницкая Н. А.* Процессы включения в лексике и словообразовании // Развитие грамматики и лексики современного русского языка. М., 1964.

Янко-Триницкая Н. А. Междусловное наложение // Развитие современного русского языка. 1972.
М., 1975.

Именной указатель современных авторов стихов

Авалиани Дмитрий
Айги Геннадий
Айзенберг Михаил
Акчурин Марат
Альчук Анна
Антонова Наталия
Арабов Юрий
Арбенин Константин
Аристов Владимир
Аронзон Леонид
Артамонов Валерий
Ахмадулина Белла
Ахметьев Иван
Байтов Николай
Барскова Полина
Бауэр Владимир
Белецкий Родион
Бергер Анатолий
Беспрозованная Полина
Бетаки Василий
Бешенковская Ольга
Бирюков Сергей
Бобрецов Валентин
Бобышев Дмитрий
Богатов Артур
Бонифаций
Борисова Майя
Британишский Владимир
Бродский Иосиф
Бударагин Владимир
Буковская Тамара
Булатовский Игорь
Бунимович Евгений
Бурихин Игорь
Ванталов Борис
Вещагин Яков
Вензель Евгений

Виноградов Леонид.
Вишневский Владимир
Воденников Дмитрий
Вознесенский Андрей
Волга Герман
Волохонский Анри
Волошин Олег
Волчек Дмитрий
Вольтская Татьяна
Вольф Сергей
Воркунов Андрей
Воронежский Рома
Востриков Игорь
Высоцкий Владимир
Галкина Наталья
Гандлевский Сергей
Гецевич Герман
Гликин Максим
Глозман Владимир
Головин Андрей
Голышко-Вольфсон Дмитрий
Голь Николай
Горбаневская Наталья
Горбовский Глеб
Горнон Александр
Гороховский Викентий
Григорьев Геннадий
Григорьев Олег
Гронас Михаил
Денисенко Александр
Джангиров Карен
Дмитриев Андрей
Драгомощенко Аркадий
Дроздов Владимир
Друк Владимир
Друскин Лев
Еременко Алексей
Еремин Михаил
Жданов Иван

Жуков Игорь
Залогина Ольга
Заходер Борис
Зельченко Всеволод
Знаменская Ирина
Зондберг Ольга
Игнатова Елена
Иконников-Галицкий Анджей
Иртеньев Игорь
Искренко Нина
Йодов Нефедор
Казаков Владимир
Казарин Юрий
Кальпиди Виталий
Каменкович Мария
Каминский Евгений
Камянов Борис
Кедров Константин
Кекова Светлана
Кенжеев Борис
Кибиров Тимур
Ким Юлий
Киперман Женя
Климов Владимир
Коваль Виктор
Кондратов Александр
Кононов Николай
Коркия Виктор
Кочетков Леонид
Красовицкий Станислав
Кравцов Константин
Крепс Михаил
Крестинский Александр
Кривулин Виктор
Крикунов Константин
Кропивницкий Евгений
Кропивницкий Лев
Круглов Сергей
Крутой Иван (Андрей Тюрин)

Крыжановский Андрей
Крюкова Елена
Кублановский Юрий
Кудимова Марина
Кузнецов Юрий
Кузьмин Дмитрий
Кузьминский Константин
Кутик Илья
Кучерявкин Владимир
Кушнер Александр
Лаптев Михаил
Левин Александр
Левчин Рафаэль
Лейкин Вячеслав
Летов Егор
Летцев Виктор
Лехциер Виталий
Лён Слава
Литвак Света
Лосев Лев
Мартынова Ольга
Машевский Алексей
Матиевский Владимир
Мельников Андрей
Миронов Александр
Митюшов Павел
Михайловская Татьяна.
Мнацаканова Елизавета
Могутин Ярослав
Мориц Юнна
Моротская Стелла
Мякишев Евгений
Найман Анатолий
Некрасов Всеволод
Нерлер Павел
Несмеянова Мария
Николаев Сергей
Новиков Денис
Овчинников Иван

Охапкин Олег
Парщиков Алексей
Петров Сергей
Петрова Александра
Покровская Светлана
Полишкаров Алексей
Поляков Андрей
Постникова Ольга
Пригов Дмитрий
Прийма Алексей
Пробштейн Ян
Проворов Сергей
Прокофьев Олег
Проходимцев Прохор
Пурин Алексей
Ратушинская Ирина
Ребров Андрей
Рейн Евгений
Ровнер Аркадий
Рубинштейн Лев
Рябинов Константин
Сед-Шах Анна
Салимон Владимир
Санчук Виктор
Сапгир Генрих
Сапего Михаил
Сатуновский Ян
Сергеев Андрей
Сигей Сергей
Сид Игорь
Скворцов Макс
Скородумова Юлия
Слепакова Нонна
Сливкин Евгений
Соковнин Михаил
Соколов Саша .
Сопровский Александр
Соснора Виктор
Стратановский Сергей

Строчков Владимир
Суриков Александр
Сухотин Михаил
Сычев Алексей
Тюрин Андрей
Уфлянд Владимир
Ушакова Елена
Феоктистов Евгений
Филатова Татьяна
Филиппов Василий
Харитонов Евгений
Хвостенко Алексей
Хлебников Олег
Холин Игорь
Хорват Евгений
Цветков Алексей
Чейгин Петр
Чернов Андрей
Чухонцев Олег
Шварц Елена
Шельвах Алексей
Ширали Виктор
Шостаковская Ирина
Шпаликов Геннадий
Щербаков Михаил
Щербина Татьяна
Эрохи Зоя
Эрль Владимир
Юрьев Олег
Ярмуш Михаил
Яснов Михаил